



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧЪ

КАРАМЗИНЪ,

ПО ЕГО СОЧИНЕНИЯМЪ, ПИСЬМАМЪ И ОТЗЫВАМЪ СОВРЕМЕННИКОВЪ.

24

Рогодинъ
820

13

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧЪ

КАРАМЗИНЪ,

ПО ЕГО СОЧИНЕНІЯМЪ, ПИСЬМАМЪ И ОТЗЫВАМЪ
СОВРЕМЕННОКОВЪ.

МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ВІОГРАФІИ,

СЪ ПРИМЪЧАНІЯМИ И ОБЪЯСНЕНІЯМИ

М. ПОГОДИНА.

ЧАСТЬ I.

МОСКВА.

ТИПОГРАФІА А. И. МАМОНТОВА, АРМЯНСКІЙ ПЕР. № 14.

1866.

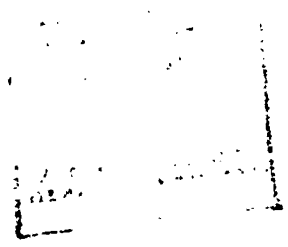
PRINTED IN RUSSIA.

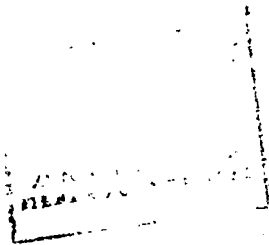
THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
703400 A
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1934 L

NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS

**ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ,
ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ ЦЕСАРЕВИЧУ,
АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ.**









А. И. Шубинъ рис. и гравировалъ

Н. М. КАРАМЗИНЪ

(1816)

Digitized by Google

ALAN J. LEE AND
FILM FOUNDATION

Всепресвѣтлѣйшій Государь,

ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ!

Въ нынѣшнемъ году исполнилось столѣтіе послѣ кончины Ломоносова, отца Русской Словесности, и исполняется столѣтіе рожденію его достойнаго преемника, знаменитаго Исторіографа нашего Карамзина. Академія воздала честь Ломоносову богатымъ изданіемъ матеріаловъ для его біографіи. Членъ Академіи, я занялся собраніемъ свѣдѣній о жизни и дѣятельности Карамзина, по собственнымъ его сочиненіямъ, письмамъ и отзывамъ современниковъ. Смѣю надѣяться, что этотъ трудъ принесетъ пользу молодому поколѣнію, ставя предъ его глазами прекрасный примѣръ гражданскихъ доблестей и человѣческихъ добродѣтелей, въ соединеніи съ высокимъ талантомъ. Вашему Императорскому Высочеству, какъ его представителю, и какъ призванному покровителю просвѣщенія, которое составляетъ главную основу государственнаго благосостоянія, осмѣливаюсь я посвятить свою *мозаическую картину*, и выразить искреннее желаніе, чтобъ Вы, на трудномъ, хотя и славномъ пути Вашемъ, встрѣчали какъ можно чаще гражданъ, исполненныхъ Карамзинскаго духа и преданности Православной Церкви, Престолу и Отечеству, нашей святой Руси; — гражданъ, говорящихъ, не обинуясь, правду.

Съ глубочайшимъ почтеніемъ честь имѣю именоваться,

Вашего Императорскаго Высочества,

покорнѣйшимъ слугою

Михаилъ Погодинъ.

Августа 16, 1865 года.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Представляя соотечественникамъ свой усердный трудъ, считаю нужнымъ предупредить ихъ о цѣли, которую я себѣ назначилъ, о средствахъ, которыя избралъ для ея достиженія, и наконецъ о причинахъ, на которыхъ выборъ мой основанъ.

Большая часть извѣстныхъ сочиненій біографическихъ производитъ въ читателѣ впечатлѣніе, такъ сказать, смѣшанное: къ лицу біографіи присоединяется лице автора съ его взглядами на вещи, и читатель невольно ставится на ту точку, на коей стоялъ самъ авторъ, принужденъ бываетъ смотрѣть его глазами, или въ его очки, такъ что предметъ біографіи является не столько въ своемъ свѣтѣ, сколько въ тѣни, падающей на него отъ автора.

Барамзинъ, по моему мнѣнію, представляетъ собою также высокое, своеобразное, удивительное лице въ Исторіи Русской жизни, нашего общественнаго образованія, не только въ Исторіи Русской словесности, что всякая примѣсь въ его біографіи, въ какомъ бы то видѣ ни было, казалась мнѣ помѣхою неумѣстною, не позволительнымъ развлеченіемъ. Барамзина, думалъ я, нужно изолировать, какъ выражаются физики, обособить совершенно, чтобъ читатели для лучшаго своего назиданія видѣли его одного, а все прочее, только въ отношеніи къ нему.

И вотъ я, откинувъ въ сторону всякія мысли объ авторскомъ самолюбіи, пренебрегая заранѣе возгласами, которые раздадутся изъ противныхъ лагерей, принялся

отыскивать въ сочиненіяхъ и письмахъ Карамзина характеристическія черты, выражающія сущность его природы, во всѣхъ отношеніяхъ, подслушивать его искреннія рѣчи съ ближними, подсматривать его невольныя движенія, угадывать его завѣтныя мысли, ловить звуки, вырывавшіеся изъ его сердца въ различныхъ обстоятельствахъ жизни. Я обращался съ своими вопросами къ его современникамъ, припоминалъ все, мною слышанное и узнанное, съ тѣхъ поръ, какъ себя помню, а самъ при передачѣ полученныхъ свѣдѣній, прятался за кулисами, за ширмами, являясь только въ необходимыхъ случаяхъ на сцену для поясненія или дополненія.

Написать біографію, въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова, было бы для меня, разумѣется, легче, нежели рыться безпрестанно въ книгахъ и рукописяхъ, перечитывать по нѣскольгу разъ всѣ сочиненія, всѣ письма, выписывать по строчкѣ изъ одного и того же документа для разныхъ отдѣленій, переставлять параграфы по десяти разъ, но я не боялся работы, лишь бы изобразить Карамзина, какъ можно вѣрнѣе и нагляднѣе, не опустивъ ни одной черты изъ собранныхъ матеріаловъ.

И если, по прочтеніи моей книги, этотъ прекрасный, величавый, милый образъ, предстанетъ въ воображеніи читателя, полный, цѣлый и живой;—если на той или другой страницѣ забьется сердце у чистаго юноши, не поврежденнаго нелѣпыми толками нашего времени, и на глазахъ навернутся слезы, какъ это случалось часто со мною;—если въ молодомъ нашемъ поколѣніи обновится и возбудится чувство любви и благоговѣнія къ Карамзину, какъ идеалу Русскаго писателя, гражданина и человѣка, то цѣль моя достигнута,—я доволенъ,—больше ничего не желаю,—и пусть судятъ меня, кому какъ угодно.

24 Ноября 1866 г.

М. Погодинъ.

Г Л А В А I.

(1766—1789).

Происхожденіе.—Дѣтство.—Нѣмецкій учитель.—Воспитаніе.—Любовь къ чтенію.—Романы.—Пансіонъ Москов. Профессора Шадена.—Занятія.—Вступленіе въ военную службу.—Знакомство съ И. И. Дмитріевымъ.—Первые литературные опыты.—Оставленіе службы.—Жизнь въ Симбирскѣ, И. П. Тургеневъ.—Отъездъ съ нимъ въ Москву, вступленіе въ кругъ Новиковскаго Дружескаго общества, А. А. Петровъ.—Его вліяніе.—Московскія занятія.—Участіе въ Дѣтскомъ чтеніи.—Переводы и изданія.—Знакомства.—Семейство Плещеевыхъ.—Переписка съ И. И. Дмитріевымъ.—Оставленіе Дружескаго общества.—Намѣреніе путешествовать.—Первое письмо съ дороги.

Николай Михайловичъ Карамзинъ, по его словамъ, въ автобіографической запискѣ для Митрополита Евгенія, родился въ 1766 году, Декабря 1-го числа, въ Симбирской губерніи.

Родъ Симбирскихъ дворянъ Карамзиныхъ происходитъ отъ Татарскаго мурзы, по имени Кара-мурза,* который при царяхъ поступилъ на службу Москвы, принялъ св. крещеніе и получилъ земли въ Нижегородской губерніи, подобно многимъ другимъ выходцамъ, сдѣлавшимся родоначальниками дворянскихъ Русскихъ фамилій.

Отецъ Карамзина Михаилъ Егоровичъ—человѣкъ очень добрый и простой, служилъ въ молодости, въ Оренбургѣ, при Неплюевѣ, въ легкомъ полевомъ баталіонѣ, уволенъ капитаномъ и пожалованъ былъ въ послѣдствіи, на равнѣ съ прочими офицерами, землею въ Оренбургской, нынѣ Самарской губерніи. Онъ устроилъ тамъ особую усадьбу,

* Такое имя встрѣчается и теперь на Кавказѣ. См. Записки Кавказскаго офицера, помѣщенныя въ Русскомъ Вѣстникѣ 1864 года.

куда часто приѣзжалъ изъ Симбирска хозяйничать и охотиться. Онъ женатъ былъ два раза. Отъ перваго брака родился Николай Михайловичъ, второй сынъ.

Брестнымъ отцемъ его былъ сосѣдъ, помѣщикъ Бударявцевъ.*

Мать его, изъ рода Пазухиныхъ, Екатерина Петровна, скончалась во время его младенчества. Воспоминаніе объ ней сохранилось въ слѣдующихъ стихахъ Карамзина: (Посланіе къ женщинамъ 1793.)

Ахъ! я не зналъ тебя!... ты, давъ мнѣ жизнь, сокрылась!

Среди весеннихъ ясныхъ дней

Въ жилище мрака преселилась!

Я въ первый жизни часъ наказанъ былъ судьбой!

Не могъ тебя ласкать, ласкаемъ быть тобой!

Другіе на колѣняхъ

Любозныхъ матерей въ веселіи цвѣли,

А я въ печальныхъ тѣняхъ

Рѣкою слезы лилъ на мохъ сырой земли,

На мохъ твоей могилы!**..

Но образъ твой священный, милый

Въ груди моей напечатлѣнь,

И съ чувствомъ въ ней соединень!

Твой тихій нравъ остался мнѣ въ наслѣдство.

Извѣстіемъ о младенцѣ Карамзинѣ мы обязаны другу его, знаменитому нашему поэту, Ивану Ивановичу Дмитріеву:

«Въ 1770 году,» говоритъ онъ, «въ провинціальномъ городѣ Симбирскѣ, старшій братъ мой и я, десятилѣтній отрокъ, находились на свадебномъ пиру подъ руководствомъ нашего учителя г. Манженя. Въ толпѣ пирующихъ

* Не объ этомъ ли Бударявцевѣ упоминаетъ И. П. Дмитріевъ въ своихъ запискахъ, при описаніи Пугачевского времени: въ Казани, въ монастырѣ, у раки св. угодника убитъ былъ столѣтній старецъ Неведь Матвѣевичъ Бударявцевъ?

** Слѣдовательно несправедливо говоритъ г. Галаховъ, что Карамзинъ лишился матери по осьмому году. (Статья въ Современникѣ, 1857 г. январь. с. 5).

увидѣлъ я въ первый разъ пятилѣтняго мальчика въ шелковои перуви. еневомъ камзольчикѣ съ рукавами, котораго русская нянюшка подводила за руку къ новобрачной и обружавшимъ ее барынямъ. Это былъ будущій нашъ Исторіографъ Карамзинъ. Отецъ его, Симбирскій помѣщикъ, отставной Капитанъ Михаилъ Егоровичъ, соединился тогда вторымъ бракомъ съ родною сестрою моего родителя, воспитанною по ея сиротству въ нашемъ семействѣ.»

«Въ отрочествѣ своемъ, Карамзинъ былъ обучаемъ Нѣмецкому языку тамошнимъ пятидесятилѣтнимъ врачомъ изъ Нѣмцевъ, котораго прозвище я позабылъ, но очень помню его привлекательную, не смотря на спинной горбъ, фязіогномію; онъ говорилъ тихо; въ глазахъ и на устахъ его сіяла кротость и человѣколюбіе. Я узналъ и полюбилъ его, по случаю болѣзни младшаго моего брата, еще младенца, который отъ оспы на нѣсколько дней потерялъ зрѣніе. Добрый старикъ думалъ утѣшать его, привозя къ нему разные дѣтскіе гостинцы; но эти вещи лишь больше раздражали больного, потому что онъ не могъ ихъ видѣть. Тогда онъ обратился къ другому средству: перевезъ къ намъ маленькій свой клавесинъ, и въ каждое посѣщеніе игралъ на немъ по одной штучкѣ передъ кроватью младенца, желая тѣмъ сколько нибудь развлекать его и успокоивать.»

Таковъ былъ тотъ добрый наставникъ, которому довелось имѣть первое нравственное вліяніе на своего воспитанника, будущаго славнаго писателя.

Богатая, разнообразная природа Волжская, вѣроятно, подѣйствовала очень рано на развитіе способностей даровитаго дитяти.

Въ стихотвореніи къ Волгѣ Карамзинъ говоритъ:

Дерзну ли я на слабой лирѣ
Тебя, о Волга! величать,

Гдѣ въ первый разъ открылъ я взоръ,
 Небеснымъ свѣтомъ озарился,
 И чувствомъ жизни наслаждался;
 Гдѣ птичекъ нѣжныхъ громкій хоръ
 Воспѣлъ рожденіе младенца;
 Гдѣ я природу полюбилъ, —
 Ей первенца души и сердца,
 Слезу, улыбку посвятилъ,
 И росъ въ веселіи невинномъ,
 Какъ юный ширтъ въ лѣсу пустынномъ.

Карамзинъ воспитывался въ деревнѣ. Повторимъ здѣсь слова Князя Вяземскаго о воспитаніи того времени, въ сочиненіи его о Фонѣ Визинѣ: «Тогдашнее воспитаніе, при всѣхъ своихъ недостаткахъ, имѣло и хорошую сторону: ребенокъ долѣе оставался на русскихъ рукахъ, былъ окруженъ русскою атмосферою, въ которой ранѣе знакомился съ языкомъ и обычаями русскими. Европейское воспитаніе, которое уже въ возмужаломъ возрастѣ довершало воспитаніе домашнее, исправляло предрасудки, просвѣщало умъ, но не искореняло первоначальныхъ впечатлѣній, которыя были преимущественно отечественныя...» «Болѣе домоѣдства въ жизни родителей, болѣе приверженности къ исправленію частныхъ обязанностей и соблюденію обрядовъ русскаго православія, можетъ быть менѣе суетности, но въ семейственномъ кругу болѣе живаго участія въ дѣлахъ общественныхъ, и между тѣмъ, болѣе независимости въ нравахъ, способствовали тогда къ нѣкоторому практическому гражданскому воспитанію; оно имѣло свои недостатки, и весьма важные, но, какъ замѣчено выше, имѣло въ себѣ что-то положительное, дѣйствовавшее въ народномъ смыслѣ.»

Очень рано началъ Карамзинъ читать, — и первыми книгами его были, кажется, романы, которые немедленно и оказали свое дѣйствіе, возбуждая воображеніе.

Описывая одинъ вечеръ (въ Женевѣ), проведенный за городомъ подъ открытымъ небомъ, онъ говоритъ:

«Темнота сгущалась; вѣтеръ усиливался и шумѣлъ ужасно между деревьями; облака неслись быстро, натекли на городъ, и пошелъ дождь. Обративъ глаза на долину, вдругъ увидѣлъ я множество огней, которые въ темнотѣ представляли романическое зрѣлище. Мнѣ казалось, что я вижу тамъ замки благодѣтельныхъ Фей—и всѣ *сказки*, которыя восплаляли младенческое мое воображеніе, и дѣлали меня въ ребячествѣ маленькимъ *Донъ-Кихотомъ*, оживились въ моей памяти. Между прочими тогдашними подвигами моими вспомнилъ я одинъ вечеръ, сумрачный и бурный, въ который, ощутивъ вдохновеніе божественныхъ Фей, укрался я отъ своего, впрочемъ весьма бдительнаго, дядьки, забрался въ ту горницу, гдѣ хранились разныя оружія, покрытыя почтенною ржавчиною — схватилъ саблю, которая пришла къ мнѣ по ругѣ, и, заткнувъ ее за кушакъ тулупа своего, отправился на гумно искать приключеній, и противиться силѣ злыхъ волшебниковъ; но, чувствуя въ себѣ на каждомъ шагу умноженіе страха, махнулъ саблею нѣсколько разъ по черному воздуху, и благополучно возвратился въ свою комнату, думая, что подвигъ мой былъ довольно важень. Лѣта младенчества! кто помышляетъ объ васъ безъ удовольствія? И чѣмъ старѣе мы становимся, тѣмъ пріятнѣе вы намъ кажетесь.»

Въ другомъ мѣстѣ онъ свидѣтельствуетъ о томъ же романическомъ расположеніи:

«Мнѣ было 8 или 9 лѣтъ отъ роду, когда я въ первый разъ читалъ Римскую (исторію), и воображая себя маленькимъ Сципіономъ, высоко поднималъ голову. Съ того времени люблю его, какъ своего героя. Аннибала я ненавидѣлъ въ счастливыя времена славы его, но въ рѣшительный день, передъ стѣнами Карфагенскими, сердце мое едва ли не ему желало побѣды. Когда всѣ лавры на

головѣ его увяли и засохли; когда онъ, укрываясь отъ злобы мстительныхъ Римлянъ, скитался изъ земли въ землю, тогда я былъ вѣжнымъ другомъ хотя несчастнаго, но великаго Аннибала и врагомъ жестокихъ республиканцевъ.»

Чувствительность, соединенная съ человѣколюбіемъ, — даръ благой природы—обнаружилась и развилась въ немъ очень рано, оставаясь отличительнымъ его свойствомъ на всю жизнь, до самой кончины.

«По сіе время,» говоритъ онъ, въ статейкѣ, напечатанной въ Московскомъ Журналѣ подъ заглавіемъ: Фролъ Силинъ, «не могу я безъ сердечнаго содроганія вспомнить того страшнаго года, который живетъ въ памяти у Низовыхъ жителей подъ именемъ голоднаго; того лѣта, въ которое отъ долговременной засухи пожелтѣвшія поля орощаемы были однѣми слезами горестныхъ поселянъ; той осени, въ которую вмѣсто обыкновенныхъ веселыхъ пѣсенъ раздавались въ селахъ стenanія и вопль отчаянныхъ, видящихъ пустоту въ гумнахъ и житницахъ своихъ; и той зимы, въ которую цѣлыя семейства, оставя дома свои, просили милостыни на дорогахъ, и, не смотря на вьюги и морозы, цѣлые дни и ночи подъ открытымъ небомъ на снѣгу проводили. Щадя чувствительное сердце моего читателя, не хочу описывать ему ужасныхъ сценъ сего времени. *Я жилъ тогда въ деревнѣ, близъ Симбирска, былъ еще ребенкомъ, но умѣлъ уже чувствовать какъ большой человѣкъ, и страдалъ, видя страданія моихъ ближнихъ.*»

Изъ числа книгъ, читанныхъ имъ въ дѣтствѣ, осталась у него въ памяти Книга Языкъ, переведенная Сергѣемъ Волчковымъ, по страшно тяжелому слогу.

Присоединимъ къ этимъ воспоминаніямъ черты, переданныя въ повѣсти «Рыцарь нашего времени,» о которой самъ Карамзинъ объяснился въ примѣчаніи къ IX—XIII главамъ: «сей романъ основанъ на воспоминаніяхъ моло-

дости, которыми авторъ занимался во время душевной и тѣлесной болѣзни. * Это говорилъ онъ и въ кругу своего семейства. Тоже свидѣтельствовалъ И. И. Дмитріевъ, который долженъ былъ знать это по всѣмъ отношеніямъ, и не сталъ бы утверждать безъ основанія. Впрочемъ, даже безъ этихъ показаній, нельзя не примѣтить на разсказѣ печати истины. Карамзинъ описываетъ *свое* дѣтство въ слѣдующихъ словахъ, совершенно согласныхъ съ вышеприведенными извѣстіями.

«Первая свѣтская книга, которую маленькій герой нашъ, читая и читая, наизусть вытвердилъ, была Езоповы басни. Скоро отдали Леону ключъ отъ желтаго шкафа, въ которомъ хранилась библіотека покойной его матери, и гдѣ на двухъ полкахъ стояли романы, а на третьей нѣсколько духовныхъ книгъ: важная эпоха въ образованіи его ума и сердца! Даира, восточная повѣсть, Селимъ и Дамассина, Мирамондъ, исторія Лорда Н, ** все было прочтено въ одно лѣто, съ такимъ любопытствомъ, съ такимъ живымъ удовольствіемъ».....

«Но чѣмъ же романы плѣняли его? Неужели картина любви имѣла столько прелестей для восьми или девятилѣтняго мальчика, чтобы онъ могъ забывать веселыя игры своего возраста и цѣлый день просиживать на одномъ

* См. Вѣстникъ Европы 1803 г. № 14.

** Даира, восточная повѣсть, перев. съ Франц. (Н. Даниловскаго), два изданія 1766 и 1794.

Селимъ и Дамассина, Африканск. повѣсть, перев. съ Франц. 1761 г.

Похожденія Мирамонда, въ сочиненіяхъ Эмина, изд. 1763, 1781 и 1792.

Всѣ эти книги составляли любимое чтеніе охотниковъ того времени. Еслибъ Карамзинъ не прочелъ ихъ въ ребячествѣ, то не зналъ бы и заглавій ихъ. Сравни слова о романахъ съ вышеприведенными его словами о себѣ: «всѣ сказки, которыя восплаляли младенческое мое воображеніе и дѣлали меня въ ребячествѣ «Донъ Кишотомъ.» Ясно, что то и другое воспоминаніе принадлежитъ къ одному времени. Именно—желтый шкафъ есть также черта съ натуры.

Библіографическія замѣчанія принадлежатъ г. Галахову въ его статьѣ о Карамзинѣ. (Современникъ, 1853, № 1.)

иѣствѣ, вшиваясь, такъ сказать, всѣмъ дѣтскимъ вниманіемъ своимъ въ нескладицу Мирамонда или Даиры? Нѣтъ, Леонъ занимался болѣе происшествіями, связію вещей и случаевъ, нежели чувствами любви романической».

«Леону открылся новый свѣтъ въ романахъ; онъ увидѣлъ, какъ въ магическомъ фонарѣ, множество разнообразныхъ людей на сценѣ, множество чудныхъ дѣйствій, приключеній—игру судьбы, дотолѣ ему совсѣмъ неизвѣстную.... (но тайное предчувствіе сердца говорило ему: ахъ! и ты нѣкогда будешь ея жертвою! и тебя схватить, унести сей вихорь.... куда?... куда?...). Предъ глазами его безпрестанно поднимался новый занавѣсъ: ландшафтъ за ландшафтомъ, группа за группою являлись взору. Душа Леонова плавала въ книжномъ свѣтѣ, какъ Христофоръ Колумбъ на Атлантическомъ океанѣ, для открытія.... сокрытаго. Сіе чтеніе не только не повредило его юной душѣ, но было еще весьма полезно для образованія въ немъ внутренняго чувства. Въ Даирѣ, Мирамондѣ, въ Селимѣ и Дамассинѣ, (знаетъ ли ихъ читатель?), однимъ словомъ, во всѣхъ романахъ желтаго шкафа герои и героини, не смотря на многочисленныя искушенія рока, остаются добродѣтельными, всѣ злодѣи описываются самыми черными красками, первые наконецъ торжествуютъ, послѣдніе, какъ прахъ исчезаютъ. Въ нѣжной Леоновой душѣ непримѣтнымъ образомъ, но буквами неизгладимыми, начерталось слѣдствіе: и такъ любезность и добродѣтель одно! и такъ зло безобразно и гнусно! и такъ добродѣтельный всегда побѣждаетъ, а злодѣй гибнетъ! Сколько такое чувство спасительно въ жизни, какою твердою опорой служитъ оно для доброй нравственности, нѣтъ нужды доказывать. Ахъ! Леонъ въ совершенныхъ лѣтахъ часто увидитъ противное, но сердце его не разстанется съ своею утѣшительною системою; вопреки самой очевидности, онъ скажетъ: «нѣтъ, нѣтъ! торжество порока есть обманъ и призрагъ».

«Съ какимъ живымъ удовольствіемъ маленькій нашъ герой, въ шесть или семь часовъ лѣтнаго утра, поцѣловавъ руку у *своего отца*, спѣшилъ съ книгою на высокий берегъ Волги, въ орѣховые кусточки, подъ сѣнь древняго дуба! Тамъ въ бѣленькомъ своемъ камзолчикѣ, бросаясь на зелень, читалъ...»

О чтеніи Карамзинъ засвидѣтельствовалъ послѣ самъ, что оно происходило точно такъ, какъ здѣсь описано.

«Иногда, оставляя книгу, смотрѣлъ онъ на синее пространство Волги, на бѣлые парусы судовъ и лодожъ, на станицы рыболововъ, которые изъ-подъ облаговъ дерзко опускаются въ пѣну волнъ, и въ то же мгновеніе снова парятъ въ воздухъ. Сія картина такъ сильно впечатлѣлась въ его юной душѣ, что онъ чрезъ 20 лѣтъ послѣ того, въ кипѣнннхъ страстей, въ пламенной дѣятельности сердца, не могъ безъ особливаго радостнаго движенія видѣть большой рѣки, плывущихъ судовъ, летающихъ рыболововъ: Волга, родина и безпечная юность тотчасъ представлялись его воображенію, трогали душу, извлекали слезы.* Кто не испыталъ нѣжной силы подобныхъ воспоминаній, тотъ не знаетъ весьма сладкаго чувства. Родина, Апрѣль жизни, первые цвѣтки весны душевной! какъ вы милы всякому, кто рожденъ съ любезною склонностію къ меланхоліи».

«Леонъ на десятомъ году отъ рожденія могъ уже часа по два играть воображеніемъ и строить замки на воздухъ. *Опасности и героическая дружба* были любимую его мечтою. Достоинно замѣчанія то, что онъ въ опасностяхъ всегда воображалъ себя *избавителемъ, а не избавленнымъ*: знакъ гордаго, славолюбиваго сердца! Герой нашъ мысленно летѣлъ во мракѣ ночи на крикъ путешественника, умиращаемаго разбойниками, или бралъ штурмомъ высокую башню, гдѣ страдалъ въ цѣняхъ другъ его. Такое

* Черта съ натуры.

Донъ-Кишотство воображенія заранѣ опредѣляло моральный характеръ Леоновой жизни».

«Сверхъ того, онъ любилъ грустить, не зная о чемъ. Бѣдный... Ранняя склонность къ меланхолии не есть ли предчувствіе житейскихъ горестей!... Голубые глаза Леоновы сіяли сквозь какой-то флеръ, прозрачную завѣсу чувствительности. Печальное сиротство еще усилило это природное расположеніе къ грусти. Ахъ! самый лучший родитель никогда не можетъ замѣнить матери, нѣжившаго существа на земномъ шарѣ! Одна женская любовь, всегда внимательная и ласковая, удовлетворяетъ сердцу во всѣхъ отношеніяхъ!...»

«Въ одинъ жаркій день онъ, по своему обыкновению, читалъ книгу подъ сѣнію древняго дуба; старикъ дядька сидѣлъ на травѣ въ десяти шагахъ отъ него.—Вдругъ нашла туча и солнце закрылось черными парами. Дядька звалъ домой Леона; «погоди», отвѣчалъ онъ, не спуская глазъ съ книги. Блеснула молнія, загремѣлъ громъ, пошелъ дождикъ. Старикъ непремѣнно хотѣлъ идти домой. Леонъ завернулъ книгу въ платокъ, всталъ и посмотрѣлъ на бурное небо. Гроза усиливалась: онъ любовался блескомъ молніи, и шелъ тихо, безъ всякаго страха. Вдругъ изъ густаго лѣса выбѣжалъ медвѣдь, и прямо бросился на Леона. Дядька не могъ даже и закричать отъ ужаса. Двадцать шаговъ отдѣляютъ нашего маленькаго друга отъ неизбѣжной смерти; онъ задумался, и не видитъ опасности: еще секунда, двѣ — и несчастный будетъ жертвою яростнаго звѣря. Грянулъ страшный громъ... какого Леонъ никогда не слыхивалъ; казалось, что небо надъ нимъ обрушилось, и что молнія обвилась вокругъ головы его. Онъ закрылъ глаза, упалъ на колѣни и только могъ сказать: «Господи!» Черезъ полминуты взглянулъ — и видитъ предъ собою убитаго громомъ медвѣдя. Дядька наслау могъ образумиться и сказать ему, какимъ чудеснымъ образомъ

Богъ спасъ его. Леонъ все еще стоялъ на колѣняхъ, дрожалъ отъ страха и дѣйствія электрической силы; наконецъ устремилъ глаза на небо, и, не смотря на черныя густыя тучи, онъ видѣлъ, чувствовалъ тамъ присутствіе Бога Спасителя. Слезы его лились градомъ; онъ молился въ глубинѣ души своей, съ пламенною ревностію, необыкновенною въ младенцѣ; и молитва его была... благодарность! Леонъ не будетъ уже никогда атеистомъ, если прочитаетъ и Спинозу и Гоббеса и Систему природы. *Читатель! вѣрь! или не вѣрь: но этотъ случай не выдумка*».

Въ другой статьѣ «Дережня» (1792) Карамзинъ рассказываетъ это именно о себѣ: «Какъ мила природа въ деревенской одеждѣ своей: она воспоминаетъ мнѣ лѣта моего младенчества, лѣта, протекшія въ тишинѣ сельской, на краю Европы, среди народовъ варварскихъ. Тамъ воспитывался духъ мой въ простотѣ естественной; велигіе феномены были первымъ предметомъ его вниманія. Ударъ грома, скатившійся надъ моею головою съ небснаго свода, сообщилъ мнѣ первое понятіе о величествѣ міроправителя, и сей ударъ былъ основаніемъ моеи Религіи».

Въ семействѣ Карамзинъ рассказывалъ неоднократно, какъ ударъ грома спасъ его отъ медвѣдя въ первые годы его дѣтства, и рассказывалъ точно такъ, какъ описано въ исторіи Леона.

Вотъ какъ описываетъ Карамзинъ общество своего героя, которое, по свидѣтельству М. А. Дмитріева, сходно съ рассказомъ его дяди о тогдашнемъ Симбирскомъ обществѣ; слѣдовательно можно полагать, что оно описано Карамзиннымъ также съ природы.

«Капитанъ Радущинъ, отецъ Леоновъ, любилъ угощать добрыхъ пріятелей, чѣмъ Богъ послалъ. Сынъ всякій разъ съ великимъ удовольствіемъ бѣжалъ сказать ему: «батюшка! ѣдутъ гости!» а Капитанъ нашъ отвѣчалъ: добро пожаловать! надѣвалъ круглый парикъ свой, и шелъ къ

нимъ навстрѣчу съ лицомъ веселымъ. Провинціалы наши не могли наговориться другъ съ другомъ; не знали, что за звѣрь политика и литература, а разсуждали, спорили и шумѣли. Деревенское хозяйство, извѣстныя тяжбы въ губерніи, анекдоты старины, служили богатою матеріею для разсказовъ и примѣчаній.... Ахъ! давно уже смерть и время бросили на васъ темный покровъ забвенія, витязи С...скаго уѣзда, вѣрные друзья Капитана Радущина! Лебрюнъ и Лампи не сохранили для насъ вашего образа; но я не даромъ авторъ Леоновой исторіи: зеркало памяти моей ясно. Какъ теперь смотрю на тебя, заслуженный Маіоръ Ѳадей Громиловъ, въ черномъ большомъ парикѣ, зимою и лѣтомъ въ малиновомъ бархатномъ камзолѣ, съ кортикомъ на бедрѣ и въ желтыхъ татарскихъ сапогахъ; слышу, слышу, какъ ты, не привыкнувъ ходить на цыпкахъ въ комнатахъ знатныхъ господъ, стучишь ногами еще за двѣ горницы, и подаешь о себѣ вѣсть издали громкимъ своимъ голосомъ, которому нѣкогда рота ландмилиціи повиновалась, и который въ яркихъ звукахъ своихъ нерѣдко ужасалъ дурныхъ воеводъ провинціи! Вижу и тебя, сѣдовласый Ротмистръ Буриловъ, прострѣленный насквозь Башкирскою стрѣлою въ степяхъ Уфимскихъ; слабый ногами, но твердый душею; ходившій на клюкахъ, но сильно махавшій ими, когда надлежало тебѣ представить живо или ударъ твоего эскадрона, или омерзѣніе свое къ бесчестному дѣлу какогонибудь недостойнаго дворянина нашего уѣзда. Гляжу и на важную осанку твою, бывший воеводскій товарищъ Прямодушинъ, и на орлиный носъ твой, за который не могъ водить тебя секретарь провинціи, ибо совѣсть умиѣ крючкотворства; вижу, какъ ты, разсказывая о Биронѣ и Тайной Канцеляріи, опираешься на длинную трость съ серебрянымъ набалдашникомъ, которую подарилъ тебѣ фельдмаршалъ Минихъ... вижу всѣхъ васъ, достойные матадоры провинціи, которыхъ

бесѣда имѣла вліяніе на характеръ моего героя; и чтобы представить разительнѣе все благородство сердець вашихъ, сообщаю здѣсь условія, заключенныя вами между собою въ домѣ отца Леонова, и написанныя рукою Пряמודушина.

Договоръ братскаго общества. «Мы нижеподписавшіеся клянемся честію благородныхъ людей жить и умереть братьями, стоять другъ за друга горою во всякомъ случаѣ, не жалѣть ни трудовъ ни денегъ для услугъ взаимныхъ, поступать всегда единодушно, наблюдать общую пользу дворянства, вступаться за притѣсненныхъ, и помнить Русскую пословицу: тотъ дворянинъ, кто за многихъ одинъ; не бояться ни знатныхъ, ни сильныхъ, а только Бога и государя; смѣло говорить правду губернаторамъ и воеводамъ, никогда не быть ихъ прихлебателями и не такать противъ совѣсти. А кто изъ насъ не сдержитъ своей клятвы, тому будетъ стыдно и того выключить изъ братскаго общества.»

«Хотя тайная хроника говоритъ мнѣ на ухо, что сей дружескій союзъ нашихъ дворянъ заключенъ былъ въ день Леонова рожденія, которое отецъ всегда праздновалъ съ великимъ усердіемъ и съ отиѣнною роскошью, (такъ, что посылалъ въ городъ даже за свѣжими лимонами); хотя читатель догадается, что въ такой веселый день, особливо къ вечеру, хозяинъ и гости не могли быть въ обыкновенномъ расположеніи ума и сердца; хотя

Въ восторгахъ Бахуса намъ море по колѣно,
И съ рюмкою въ рукѣ мы всѣ богатыри;

однакожь исторія, которая лжетъ только изъ году въ годъ, (первое Апрѣля и еще 29-е Февраля), увѣряетъ, что они, проснувшись на другой день, снова утвердили его, и (что не всегда дѣлаютъ и великія державы европейскія) старались исполнять во всей точности.»

Дворянское общество существовало дѣйствительно и

составилось въ домѣ отца Карамзина. Члены затѣяли даже для себя особые мундиры.

«Одна смерть разрушила ихъ братскую связь,» продолжаетъ авторъ.... «Здѣсь хочется мнѣ заглянуть впередъ. Долго еще ждать времени; а можетъ быть тогда, въ богатствѣ случаевъ, я забуду сію любезную черту. И такъ скажу.... Когда судьба, нѣсколько времени игравъ Леономъ въ большомъ свѣтѣ, бросила его опять на родину *, онъ нашелъ маіора Громилова сидящаго надъ больнымъ Прямодушнымъ, который лежалъ въ параличѣ и не владѣлъ руками. (Всѣ прочіе друзья ихъ были уже на томъ свѣтѣ.) Громиловъ кормилъ больного изъ рукъ своихъ, плакалъ горько и сказалъ Леону: тошно, тошно быть сиротою на старости!... Добрые люди! Пусть другіе называютъ васъ дикарями: Леонъ въ дѣтствѣ слушалъ съ удовольствіемъ вашу бесѣду словоохотную, *отъ васъ заимствовалъ Русское дружелюбіе, отъ васъ набрался духу Русскаго и благородной дворянской гордости*, которой онъ послѣ не находилъ даже и въ знатныхъ боярахъ, ** ибо спесь и высокомѣріе не замѣняютъ ее; ибо гордость дворянская есть чувство своего достоинства, которое удаляетъ чело-вѣка отъ подлости и дѣлаетъ презрительныхъ: добрые старики! миръ вашему праху!»

Присоединю еще одну черту, очень любопытную, о маленькомъ Леонѣ, которую должно приписать самому Карамзину. «Славный маіоръ Ѡаддей Громиловъ, который зналъ людей не хуже Военнаго Устава, и воеводскій товарищъ Прямодушинъ, котораго длинный орлиный носъ былъ неоспоримымъ знакомъ наблюдательнаго духа, часто говаривали капитану Радущину: «Сынъ твой родился въ

* Ясно, что Карамзинъ говоритъ это о себѣ.

** Эту мысль Карамзинъ повторяетъ часто отъ себя въ разныхъ своихъ сочиненіяхъ.

сорочкѣ; что взглянешь, то полюбишь его!» Это доказываетъ между прочимъ, что старики наши, не зная Лафатера, имѣли уже понятіе о физиогномикѣ и считали дарованіе нравиться людямъ за великое благополучіе, (горе человѣку, который не умѣетъ цѣнить его!)... Леонъ вкрадывался въ любовь какимъ-то привѣтливимъ видомъ, какими-то умильными взорами, какимъ-то мягкимъ звукомъ голоса, который пріятно отзывался въ сердцѣ.»

Я приписываю смѣло всё эти подробности, — чувствованія, мысли, происшествія, — самому Карамзину. Такія черты не выдумываются. Всякій авторъ согласится со мною, что на нихъ лежитъ печать правды, которую поддѣлать нельзя. Послѣдующая жизнь Карамзина служитъ тому подтвержденіемъ; мы видимъ въ немъ именно тѣ свойства, которыхъ начало здѣсь замѣчено.

Наконецъ собственное его свидѣтельство о нѣкоторыхъ случаяхъ не оставляетъ уже никакого сомнѣнія въ біографическомъ значеніи этой повѣсти.

Самое лице графини, полюбившей мальчика, не есть выдумка, хотя, разумѣется, нѣкоторыя подробности сочинены для украшенія. Это была сосѣдка Карамзиныхъ, Пушкина. Мужъ ея давалъ также мальчику читать книги, и между прочими Ролленеву исторію, въ переводѣ Тредьяковскаго.

Нѣсколько времени учился онъ въ пансіонѣ Г. Фовеля, который по просьбѣ тамошнихъ дворянъ былъ приглашенъ въ Симбирскъ чрезъ Александра Ивановича Теряева, служившаго въ Сенатѣ. Маленькій Карамзинъ былъ у него всегда первымъ ученикомъ.

Во времени пребыванія въ Симбирскѣ относится воспоминаніе объ одномъ Симбирскомъ столѣтнемъ старикѣ, который въ ребячествѣ угощалъ его банею и зеленымъ чаемъ. Этотъ старикъ, Елисей Кашиинцевъ, звонилъ въ колокола, когда Симбирскъ праздновалъ Полтавскую по-

бѣду, и послѣ былъ гребцемъ на лодкѣ Петра Великаго, когда тотъ поплылъ въ Астрахань начинать Персидскую войну. Карамзинъ упоминаетъ объ немъ въ запискѣ, писанной для Имп. Александра Павловича о городахъ, лежащихъ на его пути. Карамзинъ очень обрадовался, найдя послѣ, по какому-то случаю, у живописца Орловскаго старинные часы съ вырѣзаннымъ именемъ Елисея Кашинцева.

Съ приближеніемъ юношескаго возраста, кажется по 14-му году, какъ говорилъ мнѣ И. И. Дмитріевъ, Карамзинъ отправленъ былъ въ Москву, подъ покровительство того же Теряева, и отданъ въ учебное заведеніе Г. Шадена, одного изъ лучшихъ профессоровъ Московскаго университета, по свидѣтельству всѣхъ современниковъ*.

Вѣроятно этотъ профессоръ имѣлъ на него сильное вліяніе, и я почитаю не лишнимъ привести о Шаденѣ свидѣтельство Фонъ Визина, который также у него учился: «сей ученый мужъ,» говоритъ Фонъ-Визинъ, «имѣетъ отъ мѣняное дарованіе преподавать лекціи и изъяснять такъ внятно, (онъ учился у него логикѣ), что успѣхи наши были очевидны.»

Почтенный нашъ практическій педагогъ, Антонъ Антоновичъ Прокоповичъ-Антонскій, говорилъ мнѣ о Шаденѣ, какъ о человѣкѣ очень добромъ, и профессорѣ самомъ точномъ. Краснорѣчіе, любовь къ истинѣ, преданность религіи, раченіе къ должности, — вотъ были отличительныя его качества, засвидѣтельствованныя и въ его эпитафін.

И. Ѳ. Тимковскій свидѣтельствуеетъ тоже**.

* Г. Старчевскій, с. 19, основательно замѣчаетъ по словамъ Карамзина, (приведеннымъ ниже), о чтеніи имъ въ пансіонѣ англійскихъ донесеній во время Американской войны, (продолжавшейся отъ 1776 по 1780 г.), что время вступленія Карамзина къ проф. Шадену заключается между этими предѣлами, вѣроятно въ 1779 или 1780, когда Карамзину было лѣтъ 14.

** См. статью его въ Москвитинѣ, 1851, № 9 и 10: Памятникъ И. И. Шувалову.

Пансіонъ Шаденовъ помѣщался въ Нѣмецкой слободѣ. Въ началу пребыванія тамъ Карамзина должно относиться слѣдующее воспоминаніе въ письмахъ Русскаго путешественника:

«Смотря на памятникъ добродѣтельнаго мужа (Геллерта), дружбою сооруженный, вспомнилъ я то счастливое время моего ребячества, когда Геллертовы басни составляли почти всю мою библіотеку; когда, читая его Ингле и Ярико, обливался я горькими слезами, читая Золотаго осла, смѣялся отъ всего сердца; когда профессоръ, преподавая намъ, маленькимъ своимъ ученикамъ, мораль по Геллертовымъ лекціямъ, съ жаромъ говаривалъ: «Друзья мои, будьте таковыми, каковыми учить васъ быть Геллертъ, и вы будете счастливы.»

Товарищами Карамзину въ пансіонѣ Шадена были два брата Бекетовы, Платонъ Петровичъ и Иванъ Петровичъ, которые въ послѣдствіи сдѣлались извѣстными своею любовью—первый къ исторіи и словесности, второй къ нумизматикѣ.

Вотъ еще воспоминаніе изъ пансіонскаго времени, приведенное самимъ Карамзинымъ въ письмахъ Русскаго путешественника:

«Было время, когда я, почти не видавъ англичанъ, восхищался ими и воображалъ Англію самую пріятнѣйшею для сердца моего землею. Съ какимъ восторгомъ, будучи пансіонеромъ профессора Шадена, читалъ я во время Американской войны донесенія торжествующихъ британскихъ адмираловъ! Родней, Гоу, не сходили у меня съ языка; я праздновалъ побѣды ихъ, и звалъ къ себѣ въ гости маленькихъ соучениковъ моихъ. Мнѣ казалось, что быть храбрымъ есть.... быть англичаниномъ, великодушнымъ—тоже, чувствительнымъ,—тоже. Романы, если не ошибаюсь, были главнымъ основаніемъ такого мнѣнія.»

Мы видимъ отсюда, что юноша былъ любознательнъ,

воспримчивъ, читалъ газеты и принималъ живое участіе въ событіяхъ, обнаруживая вездѣ свою пылкую натуру.

Еще въ примѣчаніи къ одной статьѣ Вѣстника Европы Карамзинъ говоритъ:

«Я въ ребячествѣ своемъ читалъ въ газетахъ описаніе бѣдственной смерти англійскаго маіора Андре и плакалъ. Это горестное впечатлѣніе возобновилось въ моемъ сердцѣ, когда и увидѣлъ монументъ его въ Вестминстерскомъ аббатствѣ, сооруженный благодарнымъ королемъ и народомъ. Не многіе англичане тужили болѣе меня о несчастномъ Андре.*

«Я помню еще одно обстоятельство изъ тогдашнихъ вѣдомостей: меньшей братъ маіора Андре, узнавъ въ Ллойдовомъ кофейномъ домѣ о его несчастной смерти, упалъ безъ памяти, и въ ту же минуту умеръ.**

Въ пансіонѣ, по словамъ А. И. Тургенева,*** было обращено особенное вниманіе на изученіе языковъ, и молодой Карамзинъ прилежно занялся ими, вскорѣ сдѣлалъ значительные успѣхи, и пріобрѣлъ еще большее расположеніе къ себѣ Шадена, который сталъ водить его съ собою къ знакомымъ иностранцамъ, чтобъ доставить ему случаи упражняться въ разговорахъ на нѣмецкомъ и французскомъ языкахъ.

Замѣтивъ въ мальчикѣ необыкновенный даръ слова, съ которымъ онъ рассказывалъ самыя обыкновенныя вещи увлекательно, и обращалъ на себя общее вниманіе, Шадень, по мѣрѣ того какъ онъ становился старше, началъ давать ему читать хорошія книги, съ цѣлію образовать его вкусъ, и уже предвидѣлъ въ немъ литератора.

Изъ пансіона, въ послѣднее время его тамъ пребыванія, ходилъ молодой Карамзинъ и въ разные классы Мо-

* Вѣстникъ Европы 1802. Янв. с. 48.

** Ibidem с. 57.

*** У Г. Старчевскаго, с. 16.

сковскаго университета, какъ о томъ упоминаетъ въ автобіографической запискѣ своей для митрополита Евгенія. Профессоръ Маттеи былъ вмѣстѣ съ Шаденомъ его руководителемъ.

Въ университетѣ прежде всего, вѣроятно, онъ познакомился съ отечественной исторіею и общими правилами словесности. Въ запискѣ о Москвѣ онъ написалъ послѣ; «мы всѣ учились въ немъ, если не наукамъ, то русской грамотѣ.»

Карамзинъ, вѣроятно, по совѣту Шадена, думалъ ѣхать въ Лейпцигъ для слушанія лекцій въ тамошнемъ университетѣ, но не могъ по обстоятельствамъ исполнить этого желанія. Вотъ какъ онъ выражаетъ послѣ свое желаніе о томъ въ письмѣ изъ Лейпцига:

«Здѣсь-то, милые друзья мои, желалъ я провести мою юность; сюда стремились мысли мои за нѣсколько лѣтъ предъ симъ (слѣд. изъ Шаденова пансіона); здѣсь хотѣлъ я собрать нужное для *исканія той истины, о которой съ самыхъ младенческихъ лѣтъ тоскуетъ мое сердце!* Но судьба не хотѣла исполнить моего желанія. Воображая, какъ бы я могъ провести тѣ лѣта, въ которыя, такъ сказать, образуется душа наша, и какъ я провелъ ихъ, чувствую горестъ въ сердцѣ и слезы въ глазахъ. Нельзя возвратить прошедшаго!»

Въ пансіонѣ Шадена Карамзинъ оставался «до вступленія въ настоящую службу, около четырехъ лѣтъ.»

«По тогдашнему обыкновенію,» говоритъ И. И. Дмитріевъ, «въ гвардейскихъ полкахъ, онъ записанъ былъ, также какъ и я, малолѣтній, въ Преображенскій полкъ Подираворщикомъ.»

Въ Петербургъ пріѣхалъ онъ вѣроятно въ началѣ 1783 года, по семнадцатому году отъ роду. Тогда началось и знакомство его съ Дмитріевымъ, о коемъ такъ рассказываетъ послѣдній:

«Однажды я, будучи еще и самъ сержантомъ, возвращаюсь съ прогулки; слуга мой, встрѣтя меня на крыльцѣ, сказываетъ мнѣ, что кто-то ждетъ меня, пріѣхавшій изъ Симбирска. Вхожу въ горницу, вижу миловиднаго, румянаго юношу, который съ пріятною улыбкою вручаетъ мнѣ письмо отъ моего родителя».

«Стоило только услышать имя Карамзина, какъ мы уже были въ объятіяхъ другъ друга. Стоило намъ сойтись три раза, какъ мы уже стали короткими знакомцами».

Еще болѣе Карамзинъ сблизился и подружился въ Петербургѣ съ старшимъ братомъ Ивана Ивановича, Александромъ Ивановичемъ, о которомъ сохранилось нѣсколько воспоминаній въ письмахъ Русскаго путешественника и въ статьѣ: «Цвѣтокъ на гробъ моего Агатона». Мы приведемъ ихъ на своемъ мѣстѣ.

«Едва ли не съ годъ мы были неразлучны,» продолжаетъ Дмитріевъ, «склонность наша къ словесности, можетъ быть, что-то сходное и въ нравственныхъ качествахъ, укрѣпляли нашу связь день отъ дня болѣе: мы давали взаимный отчетъ въ нашемъ чтеніи. Между тѣмъ я показывалъ ему иногда мелкіе мои переводы, которые были печатаны особо, и въ тогдашнихъ журналахъ; слѣдуя моему примѣру, онъ принялся и самъ за переводы. Первымъ опытомъ его былъ разговоръ Австрійской Маріи Терезіи съ нашей Императрицей Елисаветою въ Елисейскихъ поляхъ, переведенный имъ съ Нѣмецкаго языка».

«Я совѣтывалъ ему показать его книгопродавцу Миллеру, который покупалъ и печаталъ переводы, платя за нихъ, по произвольной оцѣнкѣ и согласію переводчика, книгами изъ своей книжной лавки. Не могу безъ улыбки вспомнить, съ какимъ торжественнымъ видомъ добрый и милый юноша—Карамзинъ вбѣжалъ ко мнѣ, держа въ обѣихъ рукахъ по два томика Фильдингова Томаса Юнеса, (Tom Jones), въ маленькомъ форматѣ съ картинками, пере-

вода Харламова. Это было первымъ возмездіемъ за словесные труды его».

Такъ пишетъ И. И. Дмитріевъ въ своихъ запискахъ, но первымъ печатнымъ трудомъ Карамзина былъ переводъ Геснеровой Идилліи: Деревянная нога (1783).

Предлагаю начало этой піесы: читателю пріятно будетъ увидѣть первые опыты великаго писателя, первые движенія его пера на поприщѣ Русскаго слова, которое послѣ было имъ такъ воздѣлано.

«На горѣ, съ коей текущей источникъ своими струями орошалъ близлежащую долину, пасъ молодой пастухъ своихъ козъ. Ехо его свирели распространялось по всей долины и производило пріятный шумъ. Тутъ увидѣлъ онъ стараго и сѣдинами украшеннаго человѣка, всходящаго на поверхность горы, который, опираясь о свой посохъ, ибо одна его нога была деревянная, тихими шагами къ нему приближался, и сѣлъ возлѣ него на одномъ камнѣ. Молодой пастухъ смотрѣлъ на него съ удивленіемъ и устремилъ взоръ свой на его поддѣльную ногу. Юноша, сказалъ ему съ усмѣшкой старикъ, ты конечно думаешь, что я безразсудно поступаю, всходя на сію гору? Сіе путешествіе изъ долины дѣлаю я каждый годъ одинъ разъ. Нога, которую ты у меня видишь, приноситъ мнѣ болѣе чести, нежели иному двѣ цѣлыя; а по чему? ты долженъ оно узнать. Пусть оно почтительно, старичокъ, сказалъ пастухъ; но я объ закладъ бьюсь, что одно другаго лучше. Но ты, думаю, усталъ. Если хочешь, то я пойду и принесу тебѣ свежей воды изъ сей стремнины текущаго ручья».

Будучи 17 лѣтъ, слѣдовательно въ 1783 году, Карамзинъ вздумалъ ѣхать въ армию. Въ посланіи своемъ къ женщинамъ (1793) онъ говоритъ:

О вы, дѣя коихъ я хотѣлъ враговъ разить,
и въ примѣчаніи къ этому стиху свидѣтельствуешь о своемъ возрастѣ.

Въ то время такое назначеніе зависѣло много отъ полковаго секретаря, а секретарь бралъ взятки, и отъ того назначеніе доставалось всегда только богатымъ офицерамъ. Онъ, къ счастью, отказалъ Карамзину, не могшему располагать лишними деньгами. У него было всего на все сто рублей въ карманѣ, съ трудомъ сбереженныхъ. Неудача, благотворная для Карамзина, охладила его воинскій жаръ. Къ тому же у него не было возможности сшить себѣ хорошій офицерскій мундиръ. Отецъ его между тѣмъ скончался, и онъ, вышедъ вскорѣ въ отставку съ чиномъ поручика, уѣхалъ на родину, вѣроятно, въ концѣ 1783, или началъ 1784 года.

«Въ Симбирскѣ я видѣлся съ нимъ», говоритъ Дмитріевъ, пріѣхавшій видно туда по своимъ надобностямъ, «и пробылъ съ нимъ короткое время. Я нашелъ его уже играющимъ роль надежнаго на себя свѣтскаго человѣка: рѣшительнымъ за вистовымъ столомъ, любезнымъ и занимательнымъ въ дамскомъ кругу и политикомъ передъ отцами семейства, которые, хотя и не привыкли слушать молодежь, но его слушали. Такая жизнь не охладила, однакожъ, въ немъ прежней охоты къ словесности; при первомъ нашемъ свиданіи, съ глазу на глазъ, онъ спрашиваетъ меня, занимаюсь ли по прежнему переводами? Я сказываю ему, что недавно перевелъ изъ книги: Картина смерти Г. Каррачіоли, разговоръ выходца съ того свѣта съ живымъ другомъ его. Онъ удивился странному моему выбору, и дружески совѣтывалъ мнѣ бросить эту работу, убѣждая тѣмъ, что по выбору перевода судятъ и о свойствахъ самаго переводчика, и что я выборомъ моимъ конечно не заслужу завиднаго о себѣ мнѣнія. А я, примолвилъ онъ, думаю переводить изъ Волтера съ Нѣмецкаго. — Что же такое? — Бѣлаго быка. — Какъ! эту дрянъ! и еще подложную! вскричалъ я повторя его же заключенія, и оба земляка севитались».

Бъ этому пребыванію въ Симбирскѣ должно относиться слѣдующее воспоминаніе изъ писемъ къ И. И. Дмитріеву: «последнее твое дружеское письмо, пріятно-меланхолическое, заставило меня слетать воображеніемъ на берегъ Волги, Симбирской вѣнецъ, гдѣ мы съ тобою геройски отражали сонъ, ночью читали Юнга, въ ожиданіи солнца. Да, мы были тогда молоды».

«Разсѣянная свѣтская жизнь не долго продолжалась. Землякъ же нашъ, Иванъ Петровичъ Тургеневъ, уговорилъ молодого Карамзина ѣхать съ нимъ въ Москву».

Карамзинъ переѣхалъ въ Москву изъ Симбирска въ концѣ 1784 года, лѣтъ осмнадцати отъ роду.

Тургеневъ ввелъ молодого своего земляка въ общество Новикова, высшее въ настоящемъ значеніи этого слова; а не условномъ. «Здѣсь-то», говоритъ Дмитріевъ, «началось образованіе Карамзина, не только авторское, но и нравственное. Въ домѣ Новикова онъ имѣлъ случай обращаться въ кругу людей степенныхъ, соединенныхъ дружбою и просвѣщеніемъ».

Мы должны здѣсь познакомиться съ этимъ славнымъ радѣтелемъ отечественнаго просвѣщенія, въ царствованіе императрицы Екатерины II-ой. Всего лучше можемъ узнать сущность и цѣль Новиковскаго общества изъ словъ самаго Карамзина въ запискѣ, писанной имъ для правительства въ позднѣйшее время. Карамзинъ писалъ ее, разумѣется, по своимъ собственнымъ наблюденіямъ и воспоминаніямъ, съ какой стороны ему Дружеское общество было извѣстно.

«Новиковъ въ самыхъ молодыхъ лѣтахъ сдѣлался извѣстенъ публикѣ своимъ отличнымъ авторскимъ дарованіемъ: безъ воспитанія, безъ ученія, писалъ остроумно, пріятно и съ цѣлію нравственною; издалъ многія полезныя творенія, напримѣръ: Древнюю Россійскую Вивлюэику, Дѣтское чтеніе, разныя экономическія учебныя книги. Императрица

Екатерина II-я одобряла труды Новикова и въ журналѣ его (Живописецѣ) напечатаны нѣкоторыя произведенія собственнаго пера ея. Около 1785 года онъ вошелъ въ связь по масонству съ берлинскими теософами, и сдѣлался въ Москвѣ начальникомъ такъ называемыхъ мартинистовъ, которые были (или суть) не что иное, какъ христіанскіе мистики: толковали природу и человѣка, искали таинственнаго смысла въ ветхомъ и новомъ завѣтѣ, хвалились древними преданіями, унижали школьную мудрость и проч.; но требовали истинныхъ христіанскихъ добродѣтелей отъ учениковъ своихъ, не вмѣшивались въ политику, и ставили въ законъ вѣрность къ государю. Ихъ общество, подъ именемъ масонства, распространилось не только въ двухъ столицахъ, но и въ губерніяхъ; открывались ложи; выходили книги масонскія, мистическія, наполненныя загадками. Въ то же время Новиковъ и друзья его на свое иждивеніе воспитывали бѣдныхъ молодыхъ людей, учили ихъ въ школахъ, въ университетахъ; вообще употребляли не малыя суммы на благотворенія».

Помощниками Новикова и вмѣстѣ старшими членами общества были: Семенъ Ивановичъ Гамалея, о которомъ вспоминаетъ однажды Карамзинъ въ своихъ письмахъ, находя сходство въ его физиогноміи съ другомъ Лафатера, Пфеннингеромъ, Иванъ Петровичъ Тургеновъ, о которомъ было говорено выше, Князя Трубецкіе, Юрій Никитичъ и Николай Никитичъ, родственники Хераскова, Иванъ Владимировичъ Лопухинъ, Ѳедоръ Петровичъ Ключаревъ и проч.

«Между тѣмъ,» продолжаетъ Дмитріевъ, «Карамзинъ знакомился и съ молодыми любословами, окончившими только учебный курсъ; Новиковъ употреблялъ ихъ для перевода книгъ съ разныхъ языковъ. Между ними по всей справедливости почитался отличнѣйшимъ Александръ Андреевичъ Петровъ.»

«Петровъ знакомъ былъ съ древними и новыми языками при глубокомъ знаніи отечественнаго слова, одаренъ былъ необыкновеннымъ умомъ и способностію къ здоровой критикѣ; но, къ сожалѣнію, ничего не писалъ для публики и упражнялся только въ переводахъ, изъ коихъ извѣстны иль первые два года Еженедѣльника, подъ названіемъ: Дѣтское чтеніе; Учитель, въ двухъ томахъ; и Багаутгета, такъ же родъ поэмы, писанной на Санскритскомъ языкѣ, и переведенной съ англійскаго.» *

«Карамзинъ полюбилъ Петрова, хотя они были не во всемъ сходны между собою: одинъ пылокъ, откровененъ и безъ малѣйшей желчи; другой же угрюмъ, молчаливъ и подъ часъ насмѣшливъ; но оба питали равную страсть къ познаніямъ, къ изящному, имѣли одинакую силу въ умѣ, одинакую доброту въ сердцѣ, и это заставило ихъ прожить долгое время въ тѣсномъ согласіи подъ одною кровлею у Меншиковой башни, въ старинномъ каменномъ домѣ».

Самъ Карамзинъ такъ описываетъ Петрова въ статьѣ, посвященной его памяти: Цвѣтокъ на гробъ моего Агатона.

«Онъ не былъ ни богатъ, ни знатенъ—онъ былъ чело-
вѣкъ, благородный по душѣ своей, украшенный одними достоинствами, не чинами, не блескомъ роскоши,—и сіи достоинства таились подъ завѣсою скромности.»

«Такъ, за долгъ, за самый священный долгъ почитаю сказать всякому нѣжному сердцу, всякому, кто любитъ чело-
вѣчество, и кто умѣетъ цѣнить его, что въ нашемъ хладномъ сѣверномъ отечествѣ, гдѣ природа не весьма щедрою рукою разсыпаетъ благіе дары свои, родился и жилъ такой чело-
вѣкъ, котораго душа была бы украшеніемъ самой Греціи, отечества Сократовъ и Платоновъ, благо-
гословнѣйшей страны подъ солнцемъ.»

* Подробное свѣдѣніе объ его трудахъ, см. Г. Галахова, Современ-
никъ, 1853, № XI, с. 20.

«*Въ самыхъ цвѣтущихъ лѣтахъ жизни нашей мы увидѣли и полюбили другъ друга. Я полюбилъ въ Агатовѣ мудраго юношу, котораго разумъ украшался лучшими знаніями человѣчества, котораго сердце образовано было нѣжною рукою музъ и грацій. Что онъ полюбилъ во мнѣ, не знаю—можетъ быть *пламенное усердіе къ добру*, непритворную *любовь* ко всему *изящному*, простое сердце, не со-всѣмъ испорченное воспитаніемъ, — *искренность*, нѣкоторую *живость*, нѣкоторый жаръ *чувства*. Я нашелъ въ немъ то, что съ самаго ребячества было пріятнѣйшею мечтою моего воображенія, человѣка, которому могъ я открывать всѣ милыя свои надежды, всѣ тайныя сомнѣнія; который могъ разсуждать и чувствовать со мною, показывать мнѣ мои заблужденія и научать меня не повелительнымъ голо-сомъ учителя, но съ любезною кротостію снисходительнаго друга; однимъ словомъ, я нашелъ въ немъ сокровище, особый даръ неба, который не всякому смертному въ удѣлъ достается, и время нашего знакомства, нашего дру-жества будетъ всегда важнѣйшимъ періодомъ жизни моей.»*

Пробывъ въ Москвѣ можетъ быть около года, Карамзинъ по какимъ-то дѣламъ долженъ былъ съѣздить въ Симбирскъ. Осталось нѣсколько писемъ Петрова къ Карамзину въ Симбирскъ (первое отъ 5 Мая 1785 г.), которыхъ нельзя объяснить безъ этой поѣздки. Письма показывают не только ихъ знакомство, но уже дружбу, и частое упоминовеніе о масонскомъ праздникѣ св. Іоанна доказываетъ о принадлежности Карамзина къ Новиковскому обществу.

Мы приведемъ ихъ почти сполна, потому что онѣ даютъ намъ понятіе объ ихъ отношеніяхъ между собою, объ ихъ занятіяхъ, о предметахъ, привлекавшихъ ихъ особенное вниманіе, — и наконецъ изображаютъ намъ человѣка, кото-рый вскорѣ возымѣлъ рѣшительное вліяніе на Карамзина, его образъ мыслей, его тонъ, его слогъ.

Мы видимъ также изъ этихъ писемъ, согласно съ замѣткою Дмитріева, что литературная дѣятельность занимала Карамзина наиболѣе, и что онъ тогда уже думалъ о переводѣ Шекспира; недовольный пустотою провинціальной жизни, онъ скучалъ въ Симбирскѣ, особенно сначала, и показывалъ врожденное въ немъ расположеніе къ меланхоліи.

Отъ 5-го Мая 1785 года, Петровъ пишетъ къ Карамзину: «сегодня по утру получилъ я письмо твое, котораго столь долго дожидаль. Оно такъ меня обрадовало, что я весь день весель и всѣмъ доволенъ. Приятнѣе же всего для меня то, что изъ словъ твоихъ кажется, будто ты скоро въ Москву возвратишься. Дай Боже, чтобъ это скорѣй случилось! Хотя ты чрезъ то не освободишься отъ слушанія вздору, ибо я, преданнѣйшій твой слуга, осмѣливаюсь ласкать себя надеждою, что могу замѣнить двухъ или трехъ Симбирскихъ болтуновъ, изливающихъ и изсыпающихъ нынѣ въ твои уши порожденія пустотою наполненныхъ головъ своихъ; однако здѣсь конечно найдешь ты и больше лѣкарствъ отъ головныхъ болѣзней, пустословіемъ производимыхъ, больше лѣкарствъ отъ скуки и монашествующей меланхоліи. Между тѣмъ долженъ я тебѣ сказать, что совсѣмъ не понимаю, какъ можешь ты почитать свое состояніе *столь мрачнымъ, какимъ ты его описываешь*. Не погнѣвайся, я думаю, что ты самъ отчасти виноватъ въ тѣхъ непріятностяхъ, которыя терпишь, и хочешь безпрестанно скучать. Терпѣть иногда скуку есть жребій всякаго, отъ жены рожденнаго. Но также всякій человѣкъ имѣетъ способность разгонять скуку и на трудномъ каменистомъ пути своемъ выискивать маленькія тропинки, по которымъ хотя три или четыре шага можетъ ступить спокойно. Я не знаю, чья бы доля въ сей способности была менѣе моей, однако и я по большей части терплю скуку по своей волѣ. Работа, ученье, плоды

праздныхъ и веселыхъ часовъ какого нибудь нѣмца, собственная фантазія, добрый пріятель, вотъ сколько противоскучій или противоядїи скуки, мнѣ одному извѣстныхъ, и всѣ эти противоскучія можно найти не выходя за ворота. Сколько же можно еще ихъ найти, захотѣвши искать? Это все очень хорошо, скажешь ты, но когда скука овладѣетъ мною, то я не могу приняться за работу, ученье нейдетъ въ голову, и *самый Шекспиръ меня не прельщаетъ*; собственная фантазія заводитъ меня только въ пустыя степи или въ дремучіе лѣса, а добраго пріятеля взять негдѣ. На это отвѣчаю, что къ работѣ и къ ученю всякій молодой человѣкъ немного только попринудить себя долженъ, послѣ чего и Шекспиръ и фантазія будутъ приносить удовольствіе; а добрымъ пріятелемъ можетъ быть всякій честный человѣкъ, у котораго есть уши, языкъ и общій человѣческій смыслъ, если только захочешь подладиться къ его тону. Хотя подлаживаться къ чужому тону и требуетъ упражненія, однако по этому-то самому и служить оно противоядіемъ. Каково понравилось тебѣ мое нравоученіе? Постарайся употребить что нибудь изъ него въ свою пользу. Если ничто ужъ тебѣ пособить не можетъ, то мнѣ остается только сожалѣть о томъ и желать, чтобы, какъ можно скорѣе пришла та помощь, о коей воздыхаешь. Уповаю, что мы увидимся еще *прежде Иоаннова дня*, если Богу то будетъ угодно.

Ты описываешь мнѣ вѣднѣе свое состояніе, но я не выразишь, тогда ли только ты былъ въ немъ, когда письмо писалъ, или обыкновенно въ немъ бываешь. Въ первомъ случаѣ я хвалютебя, ибо самъ, какъ тебѣ извѣстно, провождаю утро въ такомъ нарядѣ; въ другомъ же случаѣ напоминаю тебѣ:

Wozu die Aussenseite
 Von einem Dinge? Wozu ein wilder Bart?
 Mir daucht, ein weiser Mann tragt sich, wie andre Leute.

«Ты очень хорошо сдѣлаешь, если напишешь мнѣ еще письмо или два, но болѣе писать, желательно, чтобы не было ужъ тебѣ времени, и чтобы по крайней мѣрѣ въ первыхъ числахъ Іюня мы не имѣли нужды писать другъ къ другу, чего желать, съ равнымъ моему усердіемъ, можешь развѣ только одинъ ты. Касательно до меня самаго, не имѣю ничего сказать. Я живу все по старому, сплю много, работаю мало, часто шатаюсь по улицамъ, заброжу иногда въ театръ, и не однажды въ день о тебѣ вспоминаю. Прости, увѣдомь меня поскорѣе, что ты сталъ спокойнѣе и довольнѣе, чему я весьма обрадуюсь».

Во второмъ письмѣ Петрова *отъ 20 Мая* еще яснѣе видно, что Карамзинъ рѣшительно хотѣлъ переводить Шекспира.

«За двѣ недѣли передъ симъ писалъ я къ тебѣ о твоей скукѣ, и теперь не почитаю за нужное повторять; что жъ касается до праздности, то я никому въ свѣтѣ *не повѣрю, чтобы ты ничему не дѣлалъ*. Хоть ты и секретничаешь, однако я воображаю, какъ по прїѣздѣ твоемъ всѣ Московскіе авторы и переводчики будутъ ходить повѣся головы, для того что бѣдные сіи люди будутъ тогда раза по четыре прїѣзжать и приходять *къ директорамъ типографской компаніи* и получать отъ нихъ непріятный отвѣтъ, что книгъ не можно еще начать печатать, ибо обѣ типографіи заняты печатаніемъ *Россійскаго Шекспира*».

«Охотно бы исполнилъ желаніе твое и помѣстилъ въ Дѣтскомъ чтеніи исторію табака, но по многочисленнымъ и важнымъ причинамъ сіе невозможно, въ чемъ увѣряю тебя не ложнымъ словомъ честнаго журналиста. Если жъ бы можно было, то я сталъ бы просить тебя о помощи, яко знатока и любителя этого символа мірскихъ упражненій и забавъ. Весьма мнѣ непріятно, что ты долженъ отложить до Іюля возвращеніе свое въ Москву. Я ничего столько не желалъ, какъ чтобы увидѣть тебя прежде *Іоаннова дня*».

11-ю Юня. «Слава просвѣщенію нынѣшняго столѣтія, и дальніе края озарившему! Такъ восклицаю я при чтеніи твоихъ эпистолъ, (не смѣю назвать русскимъ именемъ столь ученыхъ писаній), о которыхъ всякій подумалъ бы, что онѣ получены изъ Англіи и Германіи. Чего нѣтъ въ нихъ, касающагося до литературы? Все есть! Ты пишешь о переводахъ, о *собственныхъ сочиненіяхъ*, о *Шекспирѣ*, о трагическихъ характерахъ, о несправедливой Вольтеровой критикѣ, равно какъ о кофе и табакѣ. Первое письмо твое сильно поколебало мое мнѣніе о превосходствѣ надъ тобою въ учености, второе же крѣпкимъ ударомъ сшибло его съ ногъ: я спряталъ свой кусочекъ латыни въ карманъ, отошелъ въ уголь, сложилъ руки на грудь, повѣсилъ голову и призналъ слабость мою предъ тобою, хотя ты по латыни и не учился.»

«Я не сомнѣваюсь, что подъ сочиненіемъ твоимъ о Соломонѣ кроется нѣчто совсѣмъ иное; но будучи не столько остроуменъ и проникателенъ, чтобы уразумѣть сіе подразумѣваемое, приму слова твои за простую исторію и скажу тебѣ мое мнѣніе о твоей пьесѣ, какъ бы она въ самомъ дѣлѣ существовала. Судя по началу сего превзящаго трактата; должно заключить, что если Соломонъ зналъ и говорилъ по нѣмецки, то говорилъ гораздо лучше, нежели ты пишешь. Будучи великій жени, ты столько превознесся надъ малостями, что въ трехъ строкахъ сдѣлалъ пять ошибокъ противъ нѣмецкаго языка. Пожалуй, употреби въ пользу сіе дружеское замѣчаніе, и лучше пиши все свое сочиненіе на русско-славянскомъ языкѣ, долго-сложно-протяжно-парящими словами. Для дополненія же твоего искусства писать такимъ слогомъ, совѣтую тебѣ читать сочиненія въ стихахъ и въ прозѣ Василія Третьяковскаго, коего о въ любви ѣздѣ островъ книжицею, пользуюсь переводною, нынѣ, съ французскаго языка, и весьма ту читаю. Если жъ непремѣнно хочешь писать на нѣмецкомъ

языкъ, то пиши кое-что такое, чего бы никто не читалъ, а съ формированною въ головѣ твоей пьесою о Соломонѣ не осмѣливайся показываться въ публику. Нѣтъ ничего хуже какъ начинать доказательство о чемъ нибудь знаніи какого нибудь языка, съ ошибками противъ того языка. Иной насмѣшникъ спросить:

Для чего же авторъ доказывалъ это не на нѣмецкомъ языкѣ? Пожалуй, не огорчись нелестивыми выраженіями. По слогу писемъ твоихъ примѣчаю, что ты нынѣ въ гораздо спокойнѣйшемъ бываешь расположеніи, нежели былъ сначала по пріѣздѣ въ Симбирскъ. Сердечно этому радуюсь и желаю, чтобъ спокойствіе твое никогда ничѣмъ не нарушалось, и также чтобъ не обратилось въ привычку жить въ Симбирскѣ, къ великому неудовольствію тѣхъ, которые здѣсь ожидаютъ нетерпѣливо увидѣться съ тобою поскорѣе. Басательно до себя скажу то, что я нынѣ со всѣмъ избаловался, такъ что и мышей ловить не гожусь. Лѣньность и праздность столько мною овладѣли, что я почти ни за какую работу не принимаюсь, а потому и рѣдко бываю въ добромъ расположеніи. Это уже не новое, но давнишнее, скажешь ты. Правда! но мнѣ кажется, что прежде я никогда не чувствовалъ тягости, какую навъючиваетъ на насъ бездѣлье, по крайней мѣрѣ чувствовать началъ».

Барамзинъ возвратился въ Москву, вѣроятно, въ Іюнь, судя по послѣднему письму Петрова. Связь ихъ укрѣплялась болѣе и болѣе. Мы продолжаемъ здѣсь извѣстія объ ней изъ воспоминанія Карамзина:

«Свѣтъ былъ тогда чужимъ и мнѣ и ему: ему еще болѣе, нежели мнѣ; но мы любили книги, и не думали о свѣтѣ; имѣли немного, немногимъ были довольны, и не чувствовали недостатка. Прелести разума, прелести душевныя, казались намъ всего любезнѣе—ими плѣнялись мы, ими въ твореніяхъ великихъ умовъ наслаждались, и

не рѣдко за *Оссіаномъ*, *Шекспиромъ*, *Боннетомъ*, про-
сиживали половину зимнихъ ночей. Часто духъ нашъ на
крыльяхъ воображенія облеталъ небесныя пространства,
гдѣ Оріонъ и Сиріусъ въ златыхъ вѣнцахъ сіяютъ; тамъ
искали мы нѣжныхъ друзей своему сердцу, и часто заря
утренняя красила восточное небо, когда я разставался съ
Агатономъ, и возвращался домой съ покойною душою съ
новыми знаніями или съ новыми идеями».

. пріятнѣйшее время,
Когда со мной жила въ кровомъ тишины;
Когда намъ жизнь была не тягостное бремя,
Но радостный восторгъ; когда удалены
Отъ шума отъ заботъ, съ весельемъ мы встрѣчали
Аврору на лугахъ, и въ знойные часы
Въ прохладныхъ гротахъ отдыхали;
Когда вечернія красы
И пѣсни соловья вливали въ духъ нашъ сладость...
Ахъ! часто мракъ темнилъ надъ нами синій сводъ;
Но мы, вкушая радость,
Внимали шуму горныхъ водъ,
И сонъ съ тобою забывали!
Не рѣдко огонь блисталъ, гремѣлъ надъ нами громъ,
Но мы сердечно ликовали
И улыбались предъ Отцомъ,
Который простиралъ къ намъ съ неба длань благую;
Въ восторгъ пѣли мы гимнъ славы, пѣснь святую:
На крыльяхъ молніи къ нему летѣлъ нашъ духъ!..

Такъ описываетъ Карамзинъ это время въ своемъ стихо-
твореніи на разлуку съ П. (Петровымъ) (1792).

Въ письмахъ Русскаго путешественника находимъ мы
нѣсколько воспоминаній объ ихъ занятіяхъ въ это время,
напримѣръ: «Въ церкви св. Андрея сооруженъ памятникъ»,
пишетъ Карамзинъ изъ Парижа, «Аббату Батте, настав-
нику авторовъ, котораго за два года (слѣд. въ 1786 г.)
передъ симъ читалъ я съ любезнымъ Агатономъ, внигая въ
истину его правилъ и разбирая красоты его примѣровъ».

Въ одномъ письмѣ изъ Курляндіи во время путешествія, онъ пишетъ: «я отказался отъ ужина, вышелъ на берегъ, и вспомнилъ одинъ московскій вечеръ, въ который, гуляя съ Петровымъ подь Андроньевымъ монастыремъ, съ отъѣннымъ удовольствіемъ смотрѣли мы на заходящее солнце. Думалъ ли я тогда, что ровно чрезъ годъ буду наслаждаться пріятностями вечера въ Курляндской корчмѣ!»

«Въ семь искреннемъ сообщеніи душъ нашихъ,» продолжаетъ Карамзинъ, «пріобрѣлъ я и нѣкоторое эстетическое чувство, нужное для любителей литературы. Вѣрный вкусъ друга моего, отличавшій съ великою тонкостію посредственное отъ изящнаго, изящное отъ превосходнаго, выученное отъ природнаго, ложныя дарованія отъ истинныхъ, былъ для меня свѣтильникомъ въ искусствѣ и поэзіи. Восхищенный красотою цвѣтовъ, растущихъ на семь полѣ, дерзалъ я иногда младенческими руками обрывать нѣчто подобное онымъ, и незрѣлая свои мысли изливать на бумагу;—онъ былъ первымъ моимъ судьей, и хотя замѣчалъ недостатки, однако же, по снисхожденію и нѣжности своей, ободрялъ меня въ сихъ упражненіяхъ.»

«Одинакіе вкусы могутъ быть при различныхъ свойствахъ души: Агатонъ и я любили одно, но любили различнымъ образомъ. Гдѣ онъ одобрялъ съ покойною улыбкою, тамъ я восхищался; огненной пылкости моей противопоставлялъ онъ холодную свою разсудительность; я былъ мечтатель, онъ дѣятельный философъ. Часто *съ меланхолическихъ припадкахъ*, свѣтъ казался мнѣ противенъ, и часто слезы лились изъ глазъ моихъ; но онъ никогда не жаловался, никогда не вздыхалъ и не плакалъ; всегда утѣшалъ меня, но самъ никогда не требовалъ утѣшенія; я былъ *чувствителенъ*, какъ младенецъ, онъ былъ твердъ, какъ мужъ; но онъ любилъ мое младенчество также, какъ я любилъ его мужество.»

«Если когда нибудь осмѣлюсь я слабымъ перомъ своимъ

начертать исторію моихъ мыслей, тогда опишу, можетъ быть, и нѣкоторыя изъ тѣхъ ночныхъ бесѣдъ, въ которыхъ развивались первыя мои метафизическія понятія. Печать молчанія хранитъ ихъ теперь въ груди моей.»

Въ дополненіе помѣстимъ письма Петрова къ Карамзину, во время случайныхъ его отлучекъ изъ Москвы:

(Отъ 30 Іюля, 1786). Ты въ Москвѣ. А. А. уже уѣхалъ, и потому ты почти всегда бываешь дома, нѣсколько ску-чаешь; но еще болѣе работаешь; десятую долю старыхъ плановъ производишь въ дѣйство, дѣлаешь новые планы; изрѣдка ѣздишь подъ Симоновъ съ котомкою книгъ, и прочее обычное творишь. Не правда ли?—Поэзія, музыка, живопись воспыты ли тобою? Удивленные Чистые пруды внемляютъ ли гимну Томсонову, улучшенному на языкѣ Русскомъ? Лигуетъ ли Русская проза, и любитъ ли ка-кимъ либо новымъ свѣтильникомъ въ ея мірѣ, тобою воз-женнымъ? Отправлено ли уже письмо къ Лаватеру съ луи-доромъ? Прочитай сія вопросы и пересмотри свои компо-зиціи съ отеческою улыбкою, естьли онѣ существуютъ уже въ тѣлахъ; естьли жъ только души ихъ носятся въ головѣ твоей, то встань съ креслъ, подвинь колпакъ не-множко со лбу, приложи палець ко лбу или къ носу, и устремивши взоръ на столигъ, располагай, что когда сдѣлать; потомъ веди сварить кофе, сядь и дѣлай—что тебѣ угодно.

Что касается до меня, то я по отпускѣ сего письма, живъ и здоровъ; но знаю это потому только, что ѣмъ, пью и сплю попеременно; иныхъ же знаковъ жизни ни-какихъ не предвидится. Хотя нынѣшнее мое положеніе и не необыкновенное, однако ты можешь представить себѣ, что оно для меня тяжело, ибо мнѣ кажется, что оно противъ воли моея таково. Сердечно желалъ бы при нынѣшнемъ случаѣ уѣхать въ Москву, но весьма мнѣ нужно погово-рить кое-что съ Н. И., когда ему будетъ свободнѣе:

касательно до предпринимаемой поѣздки въ Вологду, и о многомъ иномъ дальнѣйшемъ.

Вопросы: *что я есмь?* и *что я буду?* всего меня занимаютъ, и сбѣдную мою голову, праздностию разслабленную, кружатъ и въ бѣльшее не устройство приводятъ. Но это сюда не принадлежитъ. Ergo punctum!...

Пожалуйста увѣдомь, получилъ ли ты печатныя тетради: судьбу религіи и карманную Августинову псалтирь, которыя давно къ тебѣ посланы.

(Отъ 1 Августа 1787)... Мнѣ весьма пріятно, что Баттѣ тебѣ нравится. — Фенелонъ, Адиссонъ, Геллертъ, были просты, чувствовали, имѣли природный даръ, это видѣть всякой, кто хотя мало имѣетъ способность отличать ихъ сочиненія отъ Исторіи Англійскаго Милорда Георга; однакожь они учились правиламъ и употребляли ихъ. — ... Простота чувствованія—превыше всякаго умничанья; грѣшно сравнивать патуру, genie, съ педентскими подражаніями, съ натянутыми поддѣлками низкихъ умовъ. Однакожь простота состоитъ ни въ подлинномъ ни въ притворномъ незнаніи.—... Но полно: пора мнѣ оставить критическія свои замѣчанія. Можетъ быть я уже наскучилъ тебѣ худымъ выраженіемъ незрѣлыхъ мыслей. Я хотѣлъ только сказать, что правила кажутся мнѣ нужными.

Я надѣялся, что нынѣшняя поѣздка твоя въ деревню истребитъ въ тебѣ старое закоренѣлое предразсужденіе противъ деревенской жизни, и что ты присоедилишься къ защитникамъ превосходства деревни передъ Москвою въ лѣтнее время. Но теперь вижу, что надежда моя была неосновательна. Не хочу доказывать тебѣ несправедливости твоего равнодушія къ пріятностямъ сельскимъ; ибо сія матерія давно уже часто и пространно была нами трактована, какъ въ присутствіи, такъ и отсутствіи А. И., президента *селозащитительнаго* общества. Позволь только спросить у тебя: какъ можетъ находить вкусъ въ *беллетражѣ*,

въ искусственномъ подражаніи прекрасной натурѣ тотъ, кто въ самомъ оригиналѣ не находитъ пріятностей, когда оный представляется ему въ лучшемъ видѣ?...

Кромѣ Петрова Карамзинъ былъ очень друженъ съ Алексѣемъ Михайловичемъ Кутузовымъ, о которомъ упоминаетъ нѣсколько разъ въ письмахъ Русскаго путешественника, называя его дражайшимъ пріятелемъ, добродушнымъ и любезнымъ человѣкомъ.

Кутузовъ уѣхалъ прежде Карамзина въ чужіе края, и вотъ что писалъ ему однажды изъ Берлина (привожу это мѣсто, чтобъ показать предметы ихъ любимыхъ дружескихъ бесѣдъ): «я нашелъ въ звѣринцѣ длинную алею, состоящую изъ древнихъ сосенъ; мрачность и непремѣняющаяся зелень деревъ производятъ въ душѣ нѣкоторое священное благоговѣніе. Не забуду я одного утра, когда, гуляя въ звѣринцѣ одинъ, и предавшись стремленію своего воображенія, которое, какъ извѣстно тебѣ, склонно къ пасмурнымъ представленіямъ, вступилъ я нечаянно въ сію алею. До того мѣста освѣщало меня лучезарное солнце; но вдругъ исчезъ весь свѣтъ. Я поднялъ глаза, и увидѣлъ передъ собою сей путь мрачности. Только вдали при выходѣ видѣнь былъ свѣтъ. Я остановился и долго глядѣлъ. Наконецъ одна мысль пробудила меня... Не есть ли—думалъ я—не есть ли тьма сія изображеніе твоего состоянія, когда ты, разлучившись съ тѣломъ, вступишь въ неизвѣстный путь? Мысль сія такъ во мнѣ усилилась, что я уже представилъ себя облегченнаго отъ земнаго бремени, идущаго къ оному, вдали свѣтящемуся свѣту, и съ того времени всякій разъ, когда я бываю въ звѣринцѣ, захожу туда и часто поминаю тебя». Любезный меланхоликъ! прибавляетъ Карамзинъ къ этому отрывку изъ письма къ нему Кутузова: я самъ думалъ о тебѣ, вступая въ сію алею, и стоялъ, можетъ быть, точно на томъ мѣстѣ,

гдѣ ты обо мнѣ думалъ. Можетъ быть, ты опять здѣсь стоять будешь, но я буду далеко, далеко отъ тебя!

Карамзинъ надѣялся увидѣть Кутузова въ Берлинѣ: «я такъ ясно представлялъ себѣ Алексѣя, идущаго ко мнѣ на встрѣчу съ трубкою и кричащаго: кого вижу? братъ Рамзей въ Берлинѣ? что руки мои протянулись обнять его.

Мы узнаемъ изъ этого мѣста, что Карамзина въ дружескомъ обществѣ прозвали Рамзеемъ*.

Въ письмахъ Карамзина сохранилось воспоминаніе еще объ одномъ его знакомцѣ этого времени, нѣмецкомъ авторѣ Ленцѣ, который нѣсколько времени жилъ съ нимъ въ одномъ домѣ. Глубокая меланхолія, говоритъ Карамзинъ, вслѣдствіе многихъ несчастій, свела его съ ума, но въ самомъ сумасшествіи онъ удивлялъ насъ иногда своими шитическими идеями, и всего чаще трогалъ добродушіемъ и терпѣніемъ.

Судьба занесла Ленца въ Москву, и его, какъ видно, приютилъ у себя Новиковскій кружокъ. Петровъ и Карамзинъ знали Ленца въ послѣдніе годы его жизни, и вѣроятно чрезъ него въ особенности познакомились съ Шекспиромъ, отъ котораго онъ былъ въ восторгѣ.

Бъ пріятелямъ Карамзина принадлежалъ еще кто-то, называемый имъ въ разныхъ статьяхъ Исидоромъ, который былъ вмѣстѣ другомъ Н. И. Плещеевой, и скончался въ 1791 году.

Въ кругу Дружескаго общества Карамзинъ прожилъ около четырехъ лѣтъ, отъ 19-го до 23 года своей жизни.

Это былъ его университетскій курсъ; здѣсь довершилось, какъ говорится, его образованіе, получившее на первыхъ порахъ оттѣнокъ мистико-философскій.

* Г. Галаховъ входитъ въ изслѣдованіе о происхожденіи этого прозванія, даннаго Карамзину его друзьями, и предлагаетъ біографическое извѣстіе о Михаилѣ Рамзѣ, англійскомъ писателѣ 1686—1743. Мнѣ кажется, что Рамзей есть просто сокращеніе Карамзина.

Въ чемъ же собственно состояли занятія молодого Карамзина въ продолженіи этихъ четырехъ лѣтъ (1785—1788)?

Онъ учился, читалъ, вѣроятно сначала по указаніямъ своихъ наставниковъ и старшихъ товарищей,—писалъ,—мы знаемъ о нѣкоторыхъ опытахъ его сочиненія, помѣщенныхъ въ Дѣтскомъ чтеніи,—очень много переводилъ.

Нѣмецкая литература занимала его въ особенности, благодаря хорошему знанію нѣмецкаго языка, прибрѣтенному еще дома, и потомъ въ пансіонѣ профессора Шадена.

Изъ писемъ Русскаго путешественника мы видимъ, что онъ коротко зналъ тогда уже не только сочиненія первоклассныхъ писателей, подвизавшихъ на славномъ поприщѣ—Клопштока, Галлера, Гердера, Лессинга, Виланда, Гёте, Шиллера, но былъ знакомъ и вообще съ литературою,—съ сочиненіями Морица, Гарве, Платнера, Вейсе, Енгеля, Рамлера, Клейста, Маттизона и проч. Любимѣйшими писателями между нѣмцами были: Гердеръ, Лафатеръ, Геснеръ.

Изъ англичанъ выше всѣхъ ставилъ Карамзинъ Шекспира, котораго переводить мечталъ еще въ Симбирскѣ. Горячимъ сочувствіемъ его пользовался Стернь, котораго онъ зналъ чуть ли не наизусть, Томсонъ, Адиссонъ.

Карамзинъ любилъ переводить мѣста изъ писателей, которые ему особенно нравились. Разбирая одинъ альбомъ въ Женевѣ онъ напоминаетъ:

«Между прочими (выписками) нашелъ я строфу изъ Адиссоновой оды, въ которой поэтъ благодаритъ Бога за всѣ дары, пріятные имъ отъ руки Его—за сердце, чувствительное и способное въ наслажденію—и за друга, вѣрнаго, любезнаго друга! Сія ода напечатана въ Англійскомъ Зрителѣ. Нѣкогда просидѣлъ я цѣлую зимнюю ночь за переводомъ ея, и въ самую ту минуту, когда написалъ послѣдніе два стиха:

И въ самой вѣчности не можно
Воспѣть всей славы твоея!

восходящее солнце освѣтило меня первыми лучами своими. Сіе утро было *одно изъ лучшихъ въ моей жизни.*

Во французской словесности, менѣе ему знакомой, первое мѣсто принадлежало Руссо, любимцу его сердца: *Confessions*, Элоиза, Емилъ, приводили его въ восторгъ.

Особенное расположеніе чувствовалъ онъ къ Боннету, котораго *Contemplations de la nature* намѣревался перевести.

Есть воспоминаніе въ письмахъ о Батте, которое привести мы имѣли уже случай.

Какое дѣйствіе производили эти писатели на Карамзина, мы увидимъ, когда онъ повстрѣчается съ ними лицомъ къ лицу, или посѣтитъ мѣста ихъ дѣятельности. Тамъ познакоимся мы еще лучше и съ собственнымъ его взглядомъ на вещи, приобрѣтеннымъ въ продолженіи этого періода.

Карамзинъ начиналъ учиться по гречески, о чемъ говоритъ въ письмѣ изъ Данцига: «Хотѣлось бы мнѣ видѣть и профессора Тренделенбурга, чтобы поблагодарить его за греческую грамматику, имъ сочиненную, которою я пользовался» (с. 44).

Въ одномъ письмѣ къ Дмитріеву, посылая ему стихи, писанные греческимъ разшѣромъ, онъ говоритъ, что разбиралъ тогда по складамъ греческихъ поэтовъ. Въ письмахъ Русскаго путешественника есть одна цитата по гречески. Мы видимъ, что онъ понималъ и цѣнилъ простоту Гомера, говоря о достоинствѣ нѣмецкихъ переводовъ. Въ письмахъ находятся упоминovenія о Лукіанѣ, о Павзаніѣ, о Діогенѣ Лаертіѣ.

Вообще онъ имѣлъ вѣрное понятіе о древности, и часто употреблялъ сравненія, приводилъ сказанія, дѣлалъ замѣчанія, заимствованныя изъ древняго міра.

Русская исторія привлекала также его вниманіе, и онъ познакоимся хорошо съ главными ея событіями, вѣроятно по Татищеву, Щербатову, Болтину, по изданіямъ Миллера

и Новикова, и составилъ собственное объ ней мнѣніе. Онъ видѣлъ неудовлетворительное ея положеніе, и въ его живомъ воображеніи нарисовался тотчасъ ея желанный обликъ; онъ вѣрно думалъ уже о томъ, какъ бы возбудить ею вниманіе и любопытство соотечественниковъ. Мы удостовѣримся въ этомъ, читая его письмо изъ Парижа о Русской исторіи, по случаю встрѣчи съ Лёвекомъ, которое не могло быть имъ сочинено тогда: данныя запасы именно въ то время, которое мы описываемъ теперь.

Карамзинъ любилъ заниматься стихотворствомъ. Съ Дмитриевымъ, первымъ своимъ литературнымъ другомъ, онъ переписывался въ это время часто стихами, по большей части бѣлыми, а иногда съ римами. Мы передадимъ здѣсь нѣкоторыя его письма, вполнѣ и въ отрывкахъ, чтобы показать его вмѣстѣ съ домашней стороны, познакомить съ образомъ мыслей о разныхъ предметахъ, съ его повседневнымъ слогомъ.

«Вы въ началѣ письма вашего именовали меня М. Г.; но именованіе *друга* мнѣ бы пріятнѣе было слышать изъ устъ твоихъ. Вы радуетесь, что я началъ пользоваться пріятною и спокойною жизнію, то вмѣсто моего на сіе отвѣта потрудитесь прочесть нѣсколько начальныхъ строкъ письма моего къ Александру Ивановичу».

«Дружба ваша ко мнѣ позволяетъ мнѣ надѣяться, что переписка наша продолжится, и подастъ мнѣ случай чаще увѣрять васъ въ моей къ вамъ преданности и моемъ къ вамъ почтеніи.

Отрывокъ изъ втораго письма (1787):»

Часто здѣсь въ юдоли мрачной
Слезы льются изъ очей;
Часто страдаетъ и томится
Терпять много человекъ.

Наслаждаясь, унываемъ;
Веселясь слезы льемъ.

Что забава, то причина
Новая крушить себя.

Не ликуй ты при забавахъ,
Чтобъ не плакать послѣ ихъ;
Чѣмъ кто болѣе смѣется,
Тѣмъ вздыхаетъ чаще тотъ.

Ни къ чему не прилѣпляйся
Слишкомъ сильно на землѣ;
Ты здѣсь странникъ, не хозяинъ;
Все оставить долженъ ты.

Будь увѣренъ, что здѣсь счастье
Не живетъ между людей,
Что здѣсь счастьемъ называютъ,
То едина счастья тѣнь.

Въ письмѣ 1787 г., (вѣроятно *въ сентябрь*), Карамзинъ
поздравляетъ Дмитріева съ днемъ его рожденія.

«Поздравляю тебя со вступленіемъ на 28-й годъ. Желаю,
чтобы будущее было лучше прошедшаго.»

Но что же скажемъ мы о времени прошедшемъ?
Какими радостями, мой другъ, питались въ немъ?
Мы жили, жили мы—и болѣе не скажемъ,
И болѣе сказать не можемъ ничего.

Уже нашъ шаръ земной едва не четверть вѣка
Свершаетъ круглый путь, вокругъ солнца обходя,
Какъ я пришелъ въ сей міръ, или по просту родился,
Но все, мой другъ, мнѣ все казалось время сномъ.
Бывали страшны сны, бывали и пріятны;
Но значать ли что сны? не суть ли только дымъ?

Въ одномъ письмѣ Карамзинъ такъ прославляетъ дружбу:

Счастье истинно хранится
Выше звѣздъ на небесахъ;
Здѣсь живя, ты не можешь
Никогда найти его.

Есть здѣсь счастье едино,
Буде такъ сказать могу,
Коемъ въ мірѣ обладая
Лучшимъ обладаешь ты.

Буди ты благословенна
 Дружба, даръ святой небесъ!
 Буди жизни услажденьемъ
 Ты моею здѣсь на землѣ.

Но и дружбѣ окончатся
 Время нѣкогда придетъ;
 Сама дружба насъ заставитъ
 Послѣ слезы проливать.

Время всѣмъ намъ разлучиться
 Непремѣнно притечетъ;
 Часъ настанетъ, другъ увянетъ,
 Яко роза въ жаркій день.

Все мчезнетъ, что ни видишь,
 Все погибнетъ на землѣ;
 Самый миръ сей истребится,
 Пепломъ будетъ въ нѣкій день.

Въ письмѣ *отъ 18-го мая, 1788 г.* Карамзинъ призываетъ Дмитріева къ стихотворству:

«Пой, братъ, пой! Пѣсни дѣло не худое: кто упражняется въ поэзіи, кто нашель въ ней вкусъ, тотъ рѣже другого будетъ въ жизни «своею скучать, а скука есть злой червь, который точетъ цвѣтъ жизни нашей.»

Болѣзнь есть часть живущихъ въ мирѣ,
 Страдаетъ тотъ, кто въ немъ живетъ.
 Въ странѣ подлунной все томится;
 Нигдѣ покоя въ мирѣ нѣтъ.

Но тѣмъ мы можемъ утѣшаться,
 Что намъ не вѣкъ въ семъ мирѣ жить;
 Что скоро, скоро мы престанемъ
 Страдать, стенать и слезы лить.

Въ духовны сѣры вознесемъ,
 Гдѣ нѣтъ болѣзни, смерти нѣтъ.
 Тогда мой другъ, тогда узнаемъ,
 Почто страдали столько лѣтъ.

Тогда, бывъ свѣтомъ озаренны,
 Падемъ, поклонимся Творцу,
 И слезы радости проливши,
 Воскликнемъ къ нашему отцу:

Ты благъ, премудръ, могущъ чудесно!
 Ты все во благо превратилъ,
 Что намъ великимъ зломъ казалось.
 Ты намъ къ блаженству сотворилъ.

«Я радъ, любезный другъ, что ты терпѣливоносишь свою болѣзнь. Нетерпѣливый человекъ во всякомъ случаѣ увеличиваетъ свое горе, и бываетъ близокъ къ отчаянію; но тотъ, кто въ скорби вооружается терпѣніемъ, бываетъ къ счастливой переменѣ гораздо ближе нетерпѣливаго, и самое настоящее зло не такъ сильно чувствуетъ, отъ того что не ропщетъ и не жалуется.»

Шутя съ Дмитриевымъ, по поводу намѣренія его принять участіе въ Шведской войнѣ, Карамзинъ пишетъ отъ 2 *Юля*, 1788 года: Можетъ быть потомки наши будутъ читать поэму, подъ заглавіемъ Шведская война, въ которой ты конечно будешь играть не послѣднюю роль..... Если же ты и самъ вздумаешь воспѣть великіе подвиги свои и всего воинства нашего, то пожалуй *пой дактилями и хорейми, греческими гекзаметрами, а не ямбическими шестистопными стихами, которые для героическихъ поэмъ не удобны и весьма утомительны.*

Будь нашимъ Гомеромъ, а не Вольтеромъ. Два дактиля и хорей, два дактиля и хорей, напримѣръ:

«Трубы въ походъ гремѣли, крики по воздуху мчались.»

Вотъ оно, вотъ начало Русскихъ гекзаметровъ за двадцать лѣтъ до разсужденія Гнѣдича, Уварова, Капниста, за десять лѣтъ до опытовъ Мерзлякова—въ шуткѣ Карамзина, въ письмѣ къ другу, позабытой безъ сомнѣнія ими обоими, оставшейся для всѣхъ неизвѣстною! Такъ чуетъ геній.

Отъ Августа 3, 1788 года... Что мнѣ писать къ тебѣ? Увѣдомлять ли тебя о новыхъ пѣсняхъ Московскихъ музъ? Но онѣ всѣ уныли и молчатъ.—Ахъ, любезный другъ! чада міра не раждаются во время войны? Философствовать ли? Но тамъ не любятъ читать философскихъ диссертацій, гдѣ летаютъ пули. Что же? Пожелаю тебѣ отъ всего сердца добраго здоровья и спокойствія; попрошу тебя, чтобы ты и впередъ помнилъ меня и писалъ ко мнѣ, (ибо вы можете писать о многомъ, что насъ интересовать будетъ), и потомъ скажу, что я всегда буду твоимъ другомъ.

Отъ 17 Ноября, 1788 года. Карамзинъ написалъ Дмитріеву посланіе, которое долго читалось, и помѣщено даже въ образцовыхъ сочиненіяхъ, изд. Жуковскимъ, и обществомъ любителей отечественной словесности. Оно представляетъ также опытъ новаго разиѣра, очень примѣчательный для того времени, когда у всѣхъ стихотворцевъ господствовала одинъ почти ямбъ.

Многіе Барды, лиру настроя.

Смѣло играютъ. поютъ:

Звуки ихъ лиры, гласы ихъ пѣсней,

Мчатся по рощамъ, шумятъ.

Многіе Барды, тоны возвыся.

Страшныя битвы поютъ;

Въ звукахъ ихъ пѣсней слышны удары.

Стонъ пораженныхъ и смерть.

Многіе Барды, тоны унизя.

Сельскую радость поютъ—

Нравы невинныхъ, кроткихъ пастушекъ.

Вздохи, утѣхи любви.

Многіе Барды въ пьяномъ восторгѣ.

Намъ воспѣваютъ вино.

Всѣхъ призывая имъ утоляти

Скуку, заботы, печаль.

Всѣ ли ихъ пѣсни трогаютъ сердце,
 Душу приводять въ восторгъ?
 Всѣ ли Гомеры, Томсоны, Клейсты?
 Гдѣ Анакреонъ другой?

«Мало осталось Бардовъ великихъ.» —
 Такъ воспѣвая вздохнулъ,
 Слезы изъ сердца тихо катятся,
 Лира валится изъ рукъ.

Быстро зефиръ, съ Невскихъ предѣловъ,
 Быстро несутся ко мнѣ,
 Вѣютъ—вливаютъ сладкія пѣсни,
 Нѣжныя пѣсни въ мой слухъ....

Я восхищаюсь! въ радости сердца
 Громко зываю, пою:
 Древніе Барды духъ свой вляли
 Въ новаго Барда *Несы!*

«Такъ бѣдный московскій стихотворецъ, учащійся нынѣ
 разбирать по складамъ греческихъ поэтовъ, осмѣливается
 греческимъ стихотвореніемъ воспѣвать хвалу своему другу!
 Какъ радуюсь, есть ли подлинно я подалъ тебѣ поводъ
 спѣть такую хорошую пѣснь! (?) Высокая гармонія да
 будетъ всегда душею пѣсней твоихъ.»

Въ дѣтскомъ чтеніи помѣщено нѣсколько стихотвореній
 Барамзина, напр. посланіе къ А. А. П. (разумѣется
 Ал. Ан. Петрову), жившему тогда въ деревнѣ.

Зефиръ прохладой вѣетъ,
 И флору оставляя,
 Зефиръ со мной играетъ,
 Меня утѣшить хочеть;
 Зефиръ, напрасно мыслишь,
 Меня развеселити;
 Мнѣ плакать не давая
 Ты въ сердце не проникнешь:
 Моя же горестъ въ сердцѣ.
 Но если ты намѣренъ

Мнѣ службу сослужить,
Лети, Зефиръ прекрасный.

Въ тому, который любятъ
Меня любовью нѣжной;
Лети въ деревню къ другу:
Найди его подъ тѣнью

Лежащаго покойно,
Ввѣй въ слухъ его тихонько.
Что ты теперь услышишь.

Разставшиися съ тобою:

Чего не думалъ сдѣлать!
Читая философъ,
Прослыть въ ученомъ свѣтѣ;
Схвативъ перо, бумагу,

Хотѣлъ писать я много
О томъ, какъ человѣку
Себя счастливымъ сдѣлать,

И мудрымъ быть въ сей жизни, и проч.

Самое примѣчательное стихотвореніе, написанное Карамзинымъ въ 1787 году, есть Поэзія. Его нѣтъ въ полномъ собраніи стихотвореній Карамзина, но оно безъ сомнѣнія принадлежитъ, какъ предполагаетъ г. Галаховъ, Карамзину, который говоритъ здѣсь о своихъ любимыхъ англійскихъ и нѣмецкихъ поэтахъ: Оссіанъ, Шекспиръ, Мильтонъ, Юнгъ, Томсонъ, Геснеръ, Клопштокъ. Мы приведемъ изъ него нѣсколько стиховъ:

Едва былъ созданъ міръ огромный, великолѣпный,
Явился человѣкъ, прекрасѣйшая тварь,
Предметъ любви Творца, любовію рожденный,
Явился—весь сей міръ привѣтствуетъ его,
Въ восторгѣ и любви единою улыбкой.
Узрѣвъ соборъ красотъ, и *чувствуя себя*,
Сей гордый міра Царь почувствовалъ и Бога,
Причину бытія—толь живо ощутилъ
Величіе творца, Его премудрость, благость,
Что сердце у него въ гимнъ нѣжный излилось,

Стремясь летѣть къ Отцу.... Поэзія святая!
 Се ты въ устахъ его, въ источникѣ своемъ,
 Въ высокой простотѣ—Поэзія святая.
 Благославляю я рожденіе Твое!

Намъ остается говорить о печатныхъ литературныхъ занятіяхъ Карамзина.

Бажется, что первымъ трудомъ, возложеннымъ на него отъ Дружескаго общества, было участіе въ переводѣ Штурмовыхъ размышленій.

Дмитріевъ говоритъ положительно, что имъ переведено изъ этого сочиненія два или три тома,—и нѣтъ никакого основанія отвергать такое свидѣтельство. Дружеское общество не могло оставить Карамзина безъ работы на такое долгое время, которое мы должны бы предполагать, если отстранить его, съ г. Галаховымъ, отъ участія въ переводѣ Штурма. Недостатки перевода легко объясняются неопытностію переводчика, для котораго это былъ второй только опытъ. Впрочемъ языкъ перевода немного хуже языка и въ слѣдующемъ за нимъ опытѣ. Приводимъ нѣсколько строкъ:

«Сохрани меня, святѣйшій Иисусе мой, отъ такого рода жизни, личиною добродѣтели прикрывающагося, и влекущаго за собою извѣстнѣйшую смерть. Хотя бы и всѣ люди не вѣровали въ тебя и посрамляли заповѣди твои, однако я вѣровать въ тебя буду. Но не есмь ли я дерзостный Петръ? Съ какою холодностію и любопытствомъ грѣюся я всегда у огня міра, забывая добродѣтели и обѣты свои! Доколѣ будетъ еще продолжаться сіе, дотолѣ буду я присвоивать себѣ только имя, а не существо благочестія. Теперешнее взываніе мое къ тебѣ да не будетъ только взываніе къ тебѣ по имени, но да будетъ дѣйствительнымъ усерднымъ взываніемъ. Если будетъ сіе такъ, то ты, Боже мой, услышишь меня охотно и исполнишь всѣ прошенія мои.»

Сомнѣніе г. Галахова происходитъ отъ того, что онъ переводъ Штурмовъ относитъ къ позднѣйшему времени его печатанія, * но печатаніе могло, да и должно было кончиться долго спустя послѣ окончанія перевода.

Всякое сомнѣніе уничтожается теперь подлинными собственноручными корректурами Карамзина, съ подписью о печатаніи, размысленій за январь и февраль мѣсяцы, которыя доставилъ мнѣ по благосклонности своей Ѳ. Н. Глинка. (Смотри приложенный снимокъ.)

За Штурмомъ послѣдовало сочиненіе Галлера о происхожденіи зла, вѣроятно также по указанію общества. Оно было напечатано въ типографіи компаніи типографической, 1786 года. Одинъ выборъ этой книги показываетъ уже, въ сферѣ какихъ мыслей Карамзинъ въ то время находился.

Переводъ свой онъ посвятилъ старшему своему брату, Василю Михайловичу, при слѣдующемъ письмѣ:

Родство и дружба соединяютъ сердца наши союзомъ неразрывнымъ. Всегда почитаю я то время счастливѣйшимъ временемъ жизни моей, когда имѣю случай излить предъ Вами ощущенія сердца моего; когда имѣю случай сказать Вамъ, что я Васъ люблю и почитаю. Да внушить же Вамъ приношеніе сіе оную истину, и да послужитъ новымъ для Васъ увѣреніемъ, что я во всю жизнь свою буду Вашимъ покорнѣйшимъ братомъ и слугою.

Николай Карамзинъ.

Предложимъ начало поэмы, изъ коей увидимъ, какъ еще труденъ былъ Карамзину языкъ, и какъ робко онъ слѣдовалъ по Ломоносовскому направленію:

«Нѣжный зефиръ побудилъ меня нѣкогда остановиться между дровами на уединенныхъ холмахъ. Изъ подошвы

* Размысленія о дѣлахъ Божіихъ въ Царствѣ природы и Провидѣнія, на каждый день года, и бесѣды съ Богомъ, или размысленія въ утренніе и вечерніе часы. Въ 12 частяхъ. Переводъ съ нѣмецкаго. 1787—1789.

возвышеній сихъ иетеаетъ тихая рѣка, коея воды составляютъ множество совокупившихся источниковъ. Внизу открывалася мнѣ пространная страна, ограниченная обширностію своею, которой око нигдѣ конца не обрѣтало, кромѣ тѣхъ мѣстъ, гдѣ Юрасъ увѣнчиваетъ страну сію лазуревыми сѣнями. Пригорки покрываютъ зеленые лѣса, чрезъ кои съ плѣняющимъ блескомъ проникаетъ пламенный видъ полей. Тамъ извивается по разнымъ мѣстамъ блистающее сіяніе прозрачной Аары; здѣсь покоится глава Нихтланда въ мирѣ и безстрастіи на буграхъ своихъ, до коихъ высоты никто не достигалъ еще. Вездѣ, что тогмо око объемлетъ, царствуетъ спокойствіе и изобиліе; подъ самымъ соломеннымъ кровомъ мхомъ обросшихъ хижинъ сельскихъ терпима здѣсь свобода, и трудъ всегда наслажденіемъ сопровождается бываетъ. Земля покрыта тамъ множествомъ разнообразныхъ овецъ: онѣ бляютъ и щиплютъ мураву; тучные же волю, возлежа на мягкомъ злакѣ, вкушаютъ сладость цвѣтущаго трилиственника. Быстрый и рѣзвый конь, никакими заботами неотягощенный, носится тамъ по полямъ, вновь зеленью покрывшимся, по коимъ онъ часто влачилъ орало. Колико увеселяетъ видъ лѣса сего! Въ багряномъ сіяніи являются тамо до половины обнаженныя буювыя древа, а здѣсь густая зелень соснѣ осѣняетъ блѣдный мохъ. Въ мрачность зрима сѣни, когда вѣяніе вѣтерга раздѣляетъ тѣсно соединенныя вѣтви древесъ, проникаетъ по часту лучъ солнца, и распространяетъ по ней свѣтъ трепещущій; зеленая ночь разнообразно совокупляется тутъ со златозарнымъ днемъ. Коль пріятна тишина древесъ! Коль пріятно между древами сими раздающееся эхо, когда соборъ счастливыхъ тварей, исполненныхъ спокойствія, въ беззаботномъ наслажденіи, воспѣваютъ радостныя пѣсни.»*

* Повторяемъ — этотъ языкъ очень недалекъ еще отъ перевода Штурмовыхъ размышлений.

Здѣсь переводчикъ дѣлаетъ примѣчаніе:

«Подъ сими счастливыми тварями разумѣтъ Галлеръ Альпійскихъ пастуховъ. Все слышанное мною отъ путешественниковъ по Швейцаріи о родѣ жизни ихъ въ восхищеніе приводило меня. Размышленіе о сихъ счастливицахъ часто понуждало меня восклицать: О смертные, почто уклонились вы отъ начальной невинности своей! почто гордитесь мнимымъ просвѣщеніемъ своимъ?»

Примѣчательно, что эти самыя мысли выражены были Барамзинимъ во время путешествія его по Швейцаріи:

«Ахъ милые друзья мои! для чего не родились мы въ тѣ времена, когда всѣ люди были пастухами и братьями! Я съ радостію отказался бы отъ многихъ удобностей жизни, (которыми обязаны мы просвѣщенію дней нашихъ), чтобы возвратиться въ первобытное состояніе человѣка. Всѣми истинными удовольствіями — тѣми, въ которыхъ участвуетъ сердце, и которыя насъ подлинно счастливыми дѣлаютъ — наслаждались люди и тогда, и еще болѣе, нежели нынѣ — болѣе наслаждались они любовію (ибо тогда ничто не запрещало имъ говорить другъ другу: *я люблю тебя*, и дарамъ природы не предпочитались дары слѣпаго случая, не придающіе человѣку никакой существенной цѣны) — болѣе наслаждались они дружбою, болѣе красотами природы. Теперь жилище и одежда наша покойнѣе: но покойнѣе ли сердце? Ахъ нѣтъ! тысячи заботъ, тысячи безпокойствъ, которыхъ не зналъ человѣкъ въ естественномъ своемъ состояніи, терзаютъ нынѣ внутренность нашу, и всякая пріятность въ жизни ведетъ за собою тьму не-пріятностей.» (С. 146 въ Смирд. изданіи).

При слѣдующемъ мѣстѣ въ поэмѣ Галлера: «Богъ не любитъ никакого принужденія; міръ со всѣми своими недостатками превосходитъ царства ангеловъ, воли лишенныхъ», Барамзинъ дѣлаетъ примѣчаніе: «мысль, полное

вниманіе заслуживающая—свободная воля тогмо может и.таки возстановить падшаго; она есть драгоцѣннѣйшій даръ Творца, сообщенный имъ тварямъ избраннымъ».

Это примѣчаніе, какъ и слѣдующія, показываетъ на-чавшееся знакомство Карамзина съ ученіемъ масоновъ въ Дружескомъ обществѣ.

При словахъ Галлера: «извнѣ не втекаетъ никакое утѣ-шеніе, когда мы во внутренности мучимся. Наслажденіе бываетъ для насъ отвратительно, коль скоро лишается истинныхъ потребностей,» Карамзинъ замѣчаетъ отъ себя: «Истина неопровергаемая и каждымъ человѣкомъ ощу-щаемая! Будешь окруженъ возлюбленными, будешь зна-тенъ, будешь богатъ, но все еще не будешь спокоенъ. Для чего? Для того, что ты лишенъ истинныхъ потреб-ностей: всѣ сіи блага суть для тебя блага чуждыя».

При описаніи состоянія духа по смерти: «Духъ, уда-ленный уже отъ всего того, чѣмъ онъ доселѣ омрачался, зреть себя въ такомъ мірѣ, въ которомъ нѣтъ ничего ему принадлежащаго.... Истина; коей силѣ полагаетъ препоны мятежъ міра, не обрѣтаетъ уже ничего, что бы ощущеніе ея въ сей пустынѣ умалить могло; пожирающій огонь ея проникаетъ внутренность природы и въ глубочай-шемъ мозгѣ ищетъ самомалѣйшихъ слѣдовъ зла;» Карам-зинъ замѣчаетъ: «сочинитель, нѣкоторымъ образомъ темно, предлагаетъ здѣсь священную истину, такую истину, ко-торую мы не найдемъ иногда и во множествѣ томовъ сочиненій нынѣшнихъ модныхъ теологовъ» (слѣд. ему из-вѣстныхъ).

Тогда же принялъ Карамзинъ дѣятельное участіе въ изданіи Дѣтскаго чтенія, журнала для дѣтей, задуманнаго Новиковымъ; и раздаваннаго имъ безденежно при Москов-скихъ вѣдомостяхъ, впродолженіи пяти лѣтъ, съ 1785 по 1789 годъ включительно.

Дѣтское чтеніе, говорить о немъ послѣ самъ Карамзинъ, правилось публикѣ новостію своего предмета и разнообразіемъ матеріи, не смотря на ученическій переводъ многихъ піесъ.

Объ участіи своемъ онъ засвидѣтельствовалъ въ запискѣ, которую мы упоминали часто, что первыми трудами его въ Словесности были переводы, напечатанные въ Дѣтскомъ. чтеніи.

Въ разговорѣ съ нѣмецкимъ педагогомъ Вейсе онъ сказалъ, «что разные піесы изъ его Друга дѣтей переведены на русскій языкъ и нѣкоторыя мною». Къ числу ихъ принадлежитъ сельская драма: Аркадскій памятникъ.

Дмитріевъ сообщаетъ, что для Дѣтскаго чтенія Карамзинъ перевелъ еще съ французскаго *Les Veillées du château*, г-жи Жанлисъ, и напечаталъ тамъ первую повѣсть, имъ сочиненную, и первые опыты свои въ поэзій.

Сочиненіе Жанлисъ переводчикъ назвалъ Деревенскими вечерами, и только перемѣнилъ имена дѣйствующихъ лицъ, равно какъ и мѣста ихъ пребыванія. Такъ говоритъ г. Галаховъ въ своемъ изслѣдованіи объ этомъ эпизодѣ литературной дѣятельности Карамзина, которымъ мы здѣсь и воспользуемся.

«Всѣхъ разсказовъ 15. Они занимаютъ шесть частей, отъ 9 до 14 включительно, составляющихъ цѣлый годъ изданія (1787) и половину 15 части (1788).»

«Весьма замѣчательнъ Пустынникъ по тѣмъ чертамъ сходства въ образѣ мыслей и даже въ обстоятельствахъ жизни, которае находимъ между имъ и самимъ Карамзинымъ.»

«Карамзину», продолжаетъ г. Галаховъ, «если не ошибаемся, принадлежитъ переводъ нѣсколькихъ статей изъ Боннетова сочиненія: *Les Contemplations de la Nature*. Это доказывается примѣчаніемъ къ переводу введенія при первыхъ словахъ: «Возношуся къ Вѣчной причинѣ.»

Переводчикъ говоритъ въ выноскѣ слѣдующее:

«Raison éternelle на языкѣ Боннетовомъ не значить: «вѣчный разумъ», какъ то перевелъ Нѣмецкій переводчикъ, профессоръ Тиціусъ. Въ концѣ первой главы говоритъ Боннетъ: il est hors de l'univers une raison éternelle de son existence. Здѣсь raison не можетъ значить «разумъ,» а великій философъ не употребляетъ одного слова въ столь разныхъ значеніяхъ».

То же самое замѣчаніе повторено въ письмахъ Русскаго путешественника:

«Я сказалъ Боннету,»—пишетъ Карамзинъ, — «что Тиціусъ, не смотря на свою ученость, во многихъ мѣстахъ не понималъ его. Напримѣръ начало: Je m'élève à la raison éternelle, перевелъ онъ: ich erhebe mich zu der ewigen Vernunft, — грубая ошибка! Въмѣсто Vernunft надлежало бы сказать Ursache: подъ словомъ raison разумѣтъ авторъ «причину», а не «разумъ».

«Карамзину должно приписать переводъ «Весны, Лѣта, Осени и Зимы», Томпсонова гимна, заключающаго поэмю «Времена года».

Повѣстью собственнаго сочиненія, о которой сказано въ запискахъ Дмитріева, г. Галаховъ почитаетъ: «Евгеній и Юлія, Русская старинная повѣсть».

«Если предположеніе наше справедливо, «говоритъ онъ, «то съ нея долженъ вести свое начало разрядъ чувствительныхъ повѣстей. Содержаніе ея очень просто: г-жа Л. удалась изъ Москвы въ деревню, гдѣ жила въ совершенномъ уединеніи съ Юліей, дочерью умершей ея пріятельницы. Весну и лѣто проводили они въ наслажденіяхъ пріятностями природы».

«Когда же наступала пасмурная осень и густымъ мракомъ все твореніе покрывала, или свирѣлая зима, отъ сѣвера несущаяся, потрясала міръ бурями своими; когда въ нѣжное Юліино сердце вкрадывалась томная меланхолія, и тихими вздохами колебала грудь ея, тогда брались за

книги, безсмертныя творенія истинныхъ философовъ, для пользы рода человѣческаго, тогда читали и перечитывали письма любезнаго Евгенія, учившагося въ чужихъ краяхъ. Иногда при чтеніи сихъ писемъ глаза Юліны наполнялись слезами пріятными любви и почтенія къ благоразумному и добросердечному юношѣ. Ахъ, когда онъ къ намъ прійдетъ? часто говаривала г-жа Л., какъ счастлива буду я, когда его увижу, прижму къ своему сердцу, и тебя съ нимъ вмѣстѣ, Юлія».

«Наконецъ онъ пріѣхалъ. Дружба его къ Юліи обратилась въ пламенную любовь. Онъ подарилъ ей множество книгъ французскихъ, италіянскихъ и нѣмецкихъ. Юлія прекрасно играла на клавесинѣ и пѣла. Особенно нравилась ей пѣснь Клопштока, къ которой музыку сочинилъ Глюкъ. Евгенийъ и Юлія часто гуляли при свѣтѣ луны, разсматривали звѣздное небо и дивились величеству Божію; внимая шуму водопада, разсуждали о безсмертіи. Сколько высокихъ, нѣжныхъ мыслей сообщали они другъ другу, бывъ оживлены духомъ природы».

«Когда Евгению минуло двадцать два года, а Юліи— двадцать одинъ, они открылись другъ другу во взаимной любви, г-жа Л. была въ восторгѣ.—Но увы! прочное счастье рѣдко существуетъ въ свѣтѣ: Евгенийъ заболѣлъ горячкою и въ девятый день умеръ».

«Одинъ молодой, чувствительный человѣкъ, проѣзжавшій чрезъ деревню г-жи Л. и слышавшій сію печальную повѣсть, посѣтилъ гробъ Евгениевъ, и на бѣломъ камнѣ, лежавшемъ между цвѣтовъ на могилѣ, написалъ карандашемъ слѣдующую эпитафію, которая послѣ была вырѣзана на особливомъ мраморномъ камнѣ:

Сей райскій цвѣтъ не могъ въ семь мірѣ распуститься—
Увялъ, изсохъ, опалъ—и въ рай былъ пренесенъ».

Я совершенно согласенъ съ г. Галаховымъ: слогъ и тонъ этой повѣсти обличаютъ Карамзина.

«Наконецъ обратимъ вниманіе,» продолжаетъ г. Галаховъ, «на «Прогулку», сочиненіе Карамзина, который самъ упоминаетъ о томъ въ одной изъ книжекъ Московскаго журнала. Оно можетъ служить примѣромъ размышленій, занимавшихъ въ то время автора, и вмѣстѣ показать, до какой уже степени образовался слогъ его. Въ концѣ прекраснаго весенняго дня, съ «Томсономъ» въ рукѣ, авторъ пошелъ за городъ прогуляться. Прийдя на берегъ рѣки, онъ увидѣлъ въ чистыхъ водахъ ея отраженіе солнца. Взвѣсивъ на закатъ его, авторъ размышлялъ такъ:

«Въ ликолѣнное свѣтило! сколько вѣковъ освѣщаешь ты міръ нашъ! сколько тысячелѣтій питаешь его животворными своими вліяніями! колкое число мудрыхъ, вѣдавшихъ таинственныя твои дѣйствія, отъ начала міра, воспѣвали силу твою въ гимнахъ торжественныхъ! Индія и Аравія издревле были исполнены почитателей твоихъ: гдѣ же теперь всѣ сіи мудрецы? Но ты, постоянное свѣтило, не ослабѣваешь въ своемъ теченіи; свѣтя всегда съ равнымъ блескомъ, во всякомъ вѣкѣ находишь новыхъ почитателей, новыхъ воспѣвателей чудесныхъ силъ твоихъ. Бывъ свидѣтелемъ тысячи перемѣнъ на землѣ нашей, ты ни въ чемъ не перемѣнилось. Въ сей день, въ сей часъ, въ сію минуту, за пять или за шесть тысячъ лѣтъ предъ симъ, какойнибудь мудрецъ, котораго память загладилась уже въ лѣтописяхъ нашихъ, павъ на колѣни, съ благоговѣніемъ восклицалъ къ тебѣ: солнце заходящее, величественный образъ величественнѣйшаго Творца своего! уже ты сокрываешься отъ насъ, окончивъ дневный путь свой; но завтра паки явишься ты на горизонтъ возвѣщать славу Творца его. * Тщетно ложные мудрецы стараются увѣрять, что ослабѣлъ жаръ твоего пламени! Неистощимъ источникъ, наполняющій

* Это обращеніе къ солнцу, замѣчаетъ г. Галаховъ, с. 63, припомнилъ Карамзинъ, спустя четыре года, по случаю переведенной имъ статьи Гарве, о досугѣ. Моск. Журнала, Ч. 6, с. 174.

тебя свѣтомъ: неистоцимо и ты въ изліяніяхъ своихъ, и пребудешь дотолѣ неистоцимо, доколѣ поставившій тебя на тверди не воззоветъ къ тебѣ: сокройся!»

Когда сокрылось солнце, настала глубокая тишина, которая прерывалась только журчаніемъ рѣки и ручьевъ, стремящихся по зеленому лугу. Наконецъ всѣ предметы сокрылись въ сгустившихся тѣняхъ, и авторъ съ такими словами обращается къ тишинѣ уединенія:

«Священная тишина, ужасъ сердца порочнаго, стихія невинности, убѣжище мудрыхъ, святилище добродѣтели! да не трепещетъ сердце мое въ твоихъ объятіяхъ! или да будетъ трепеть его величайшимъ восторгомъ радости! Будь благословенна тишина уединенія и въ то время, какъ все видимое твореніе погружается въ глубокомъ снѣ, возбуждай меня къ священнымъ размышленіямъ, къ ближайшему собесѣдованію съ сердцемъ моимъ, и утишай въ немъ всякое волненіе, производимое бурями общежитія. Да пробудятся всѣ духовныя силы мои, и да чувствую во глубинѣ души своей, что я существую!... И растекается сіе животворное чувство по всей внутренности моей. Ощущаю живо, что я живу, и есть нѣчто отдѣльное отъ прочаго, есть совершенное цѣлое. Чувство существованія въ самомъ человѣкѣ, на землѣ сей обитающее! колико ты для меня драгоцѣнно! сколь восхитительно для меня думать, что вѣчно буду тобою наслаждаться».

«Изъ сочиненія этого ясно видно, что авторъ его, читавшій Томсона, Юнга, Оссіана, Боннета, вносилъ ихъ мысли и чувства въ собственныя свои произведенія».

По отъѣздѣ Карамзина Дѣтское чтеніе осиротѣло, писалъ къ нему Петровъ.

Въ отношеніи къ языку Шевыревъ удачно назвалъ Дѣтское чтеніе дѣтскою школою Карамзина, гдѣ онъ первоначально вырабатывалъ свой слогъ. Въ отношеніи къ содержанію, справедливо замѣчаетъ г. Галаховъ, что сочиненія

Барамзина представляют много мѣстъ, отразившихъ въ себѣ мысли и чувства, которыя онъ въ Дѣтскомъ чтеніи передавалъ читателямъ, какъ переводчикъ.

Работая для Дѣтскаго чтенія, Барамзинъ предпринималъ и другіе труды. Въ средоточіи типографій, въ кругу переводчиковъ и сочинителей, среди разговоровъ о книгахъ и журналахъ, расположеніе его къ авторству утверждалось больше и больше.

Послѣ Галлеровой поэмы, въ 1787 году, издалъ онъ переводъ Шекспировой трагедіи Юлій Цезарь *, и въ предисловіи выразилъ вѣрное мнѣніе о великомъ англійскомъ трагикѣ, о которомъ тогда не только въ Россіи, но и вообще въ Европѣ господствовали очень смутныя понятія.

«При изданіи сего Шекспирова творенія почитаю почти за необходимость писать предисловіе. До сего времени еще ни одно изъ сочиненій знаменитаго сего автора не было переведено на языкъ нашъ; слѣдственно и ни одинъ изъ соотчичей моихъ, не читавшій Шекспира на другихъ языкахъ, не могъ имѣть достаточно о немъ понятія. Вообще сказать можно, что мы весьма незнакомы съ англійскою литературою. Говорить о причинѣ сего почитаю здѣсь некетати. Доволенъ буду, если вниманіе читателей моихъ не отяготится и тѣмъ, что стану говорить собственно о Шекспирѣ и о его твореніяхъ».

«Авторъ сей жилъ въ Англіи во времена королевы Елисаветы, и былъ одинъ изъ тѣхъ великихъ духовъ, кои славятся вѣки. Сочиненія его суть сочиненія драматическія. Время, сей могущественный истребитель всего того, что подъ солнцемъ находится, не могло еще доселѣ затмить изящности и величія Шекспировыхъ твореній. Вся почти Англія согласна въ хвалѣ, приписываемой мужу

* Юлій Цезарь, трагедія Вилліама Шекспира. Москва. Въ типографіи компаніи типографской, съ указнаго дозволенія. 1787, стр. 136.

сему. Пусть спросят упражнявшагося въ чтеніи Англичанина: каковъ Шекспиръ? Безъ всякаго сомнѣнія будетъ онъ отвѣтствовать: Шекспиръ великъ! Шекспиръ неподражаемъ! Всѣ лучшіе англійскіе писатели, послѣ Шекспира жившіе, съ великимъ тщаніемъ вникали въ красоты его произведеній. Мильтонъ, Юнгъ, Томсонъ и прочіе прославившіеся творцы, пользовались многими его мыслями, различно ихъ украшая. Не многіе изъ писателей столь глубоко проникли въ человѣческое естество, какъ Шекспиръ, не многіе столь хорошо знали всѣ тайнѣйшія человѣка пружины, сокровеннѣйшія его побужденія, отличительность каждой страсти, каждого темперамента и каждого рода жизни, какъ удивительный сей живописецъ. Всѣ великолѣпныя картины его непосредственно натурѣ подражаютъ; всѣ оттѣнки картинъ сихъ въ изумленіе приводятъ внимательнаго разсматривателя. Каждая степень людей, каждый возрастъ, каждая страсть, каждый характеръ говоритъ у него собственнымъ своимъ языкомъ. Для каждой мысли находитъ онъ образъ, для каждого ощущенія выраженіе, для каждого движенія души наилучшій оборотъ. Живописаніе его сильно, и краски его блистательны, когда хочетъ онъ явить сіяніе добродѣтели; кисть его весьма льстива, когда изображаетъ онъ кроткое волненіе нѣжнѣйшихъ страстей: но самая же сія кисть гигантскою представляется, когда описываетъ жестокое волнованіе души.»

«Но сей великій мужъ, подобно многимъ, не освобожденъ отъ колкихъ укоризнъ нѣкоторыхъ худыхъ критиковъ своихъ. Знаменитый софистъ, Волтеръ, силился доказать, что Шекспиръ былъ весьма средственный авторъ, исполненный многихъ и великихъ недостатковъ. Онъ говорилъ: Шекспиръ писалъ безъ правилъ; творенія его суть и трагедіи и комедіи вмѣстѣ, или траги-коми-лирико-пастушьи фарсы безъ плана, безъ связи въ сценахъ, безъ единствъ; непріятная смѣсь высокаго и низкаго, трогательнаго и смѣш-

наго, истинной и ложной остроты, забавнаго и бессмысленнаго; онѣ исполнены такихъ мыслей, которыя достойны мудреца, и при томъ такого вздора, который только шута достоинъ; онѣ исполнены такихъ картинъ, которыя принесли бы честь самому Гомеру, и такихъ карикатуръ, которыхъ бы и самъ Скарронъ устыдился.—Излишнимъ почитаю теперь опровергать пространно мнѣнія сіи, уменьшеніе славы Шекспировой въ предметъ имѣвшія. Скажу только, что всѣ тѣ, которые старались унижить достоинства его, не могли противъ воли своей не сказать, что въ немъ *мною и превосходнаю*. Человѣкъ самолюбивъ; онъ боится хвалить другихъ людей, дабы, по мнѣнію его, самому симъ не унизиться. Волтеръ лучшими мѣстами въ трагедіяхъ своихъ обязанъ Шекспиру; но, не взирая на сіе, сравнивалъ его съ шутомъ и поставялъ ниже Скаррона. Изъ сего бы можно было вывести весьма оскорбительное для памяти Волтеровой слѣдствіе; но я удерживаюсь отъ сего, вспомя, что человѣка сего нѣтъ уже въ мірѣ нашемъ».

«Что Шекспиръ не держался правилъ театральныхъ, правда. Истинною причиною сему, думаю, было пылкое его воображеніе, не могшее покориться никакимъ предписаніямъ. Духъ его парилъ яко орелъ, и не могъ паренія своего измѣрять тою мѣрою, которою измѣряютъ полетъ свой воробьи. Не хотѣлъ онъ соблюдать такъ называемыхъ *единствъ*, которыхъ нынѣшніе наши драматическіе авторы такъ крѣпко придерживаются; не хотѣлъ онъ полагать тѣсныхъ предѣловъ воображенію своему: онъ смотрѣлъ только на натуру, не заботясь впрочемъ ни о чемъ. Известно было ему, что мысль человѣческая мгновенно можетъ перелетать отъ Запада къ Востоку, отъ конца области Моголовой къ предѣламъ Англии. Геній его, подобно генію природы, обнималъ взоромъ своимъ и солнце и атомы. Съ равнымъ искусствомъ изображалъ онъ и героя и шута, умнаго

и безумца, Брута и башмашника. — Драмы его, подобно неизмѣримому театру натуры, исполнены многообразія; все же вмѣстѣ составляетъ совершенное цѣлое, не требующее исправленія отъ нынѣшнихъ *театральныхъ* писателей».

«Трагедія, мною переведенная, есть одно изъ превосходныхъ его твореній. Нѣкоторые недовольны тѣмъ, что Шекспиръ, назвавъ трагедію сію Юліемъ Цезаремъ, послѣ смерти его продолжаетъ еще два дѣйствія; но неудовольствие сіе окажется ложнымъ, если съ основательностію будетъ все разсмотрѣно. Цезарь умерщвленъ въ началѣ третьяго дѣйствія, но духъ его живъ еще: онъ одушевляетъ Октавія и Антонія, гонитъ убійцъ Цезаревыхъ, и послѣ всѣхъ ихъ погубляетъ. Умерщвленіе Цезаря есть содержаніе трагедіи; на умерщвленіи семь основаны всѣ дѣйствія.»

«Характеры, въ сей трагедіи изображенные, заслуживаютъ вниманіе читателей. Характеръ Брутовъ есть наилучшій. Французскіе переводчики Шекспировыхъ твореній * говорятъ объ ономъ такъ: «Брутъ есть самый рѣдкій, самый важный и самый занимательный моральный характеръ. Антоній сказалъ о Брутѣ: *voilà un homme!* а Шекспиръ, изображавшій его намъ, сказать могъ: *voilà un caractère!* ибо онъ есть дѣйствительно изыщнѣйшій изъ всѣхъ характеровъ, когда либо въ драматическихъ сочиненіяхъ изображенныхъ».

«Что касается до перевода моего, то я наиболѣе старался перевести вѣрно, стараясь при томъ избѣгать и противныхъ нашему языку выраженій. Впрочемъ пусть разсуждаютъ о семъ *мощіе разсуждать о семъ справедливо*. Мыслей автора моего нигдѣ не перемѣнялъ я, почитая сіе для переводчика не позволеннымъ».

«Если чтеніе перевода доставитъ Россійскимъ любителямъ литературы достаточное понятіе о Шекспирѣ; если

* Chakespeare, traduit de l'Anglais, dédié au Roi. Paris, 1776. Т. 1. 11 gr. 8.

оно принесетъ имъ удовольствіе: то переводчикъ будетъ награжденъ за трудъ его. — Впрочемъ онъ приготовился и къ противному. Но одно не будетъ ли ему пріятнѣе другаго? Можетъ быть.»

Октября 15, 1786.

Многіе ли изъ Европейскихъ критиковъ судили такъ вѣрно о Шекспирѣ въ это время?

Мы увидимъ въ письмахъ Русскаго путешественника еще нѣсколько отзывовъ о Шекспирѣ, гдѣ предложенныя выше мысли развиваются яснѣе и сильнѣе. Шекспира Барамзинъ зналъ коротко, и цитуетъ его стихи очень часто.

Восторженное сочувствіе къ Шекспиру выражено и въ стихотвореніи Поэзія, сочиненномъ въ томъ же году.

Шекспиръ, природы другъ! кто лучше твоего
 Позналъ сердца людей? Чья кисть съ такимъ искусствомъ
 Живописала ихъ? Во глубинѣ души
 Нашелъ ты ключъ къ великимъ тайнамъ рока.
 И свѣтомъ своего безсмертнаго ума,
 Какъ солнцемъ озарилъ пути ночные жизни?
 Всѣ башни, коихъ верхъ скрывается отъ глазъ,
 Въ туманѣ облаковъ огромные чертоги,
 И всякій гордый храмъ исчезнуть, какъ мечта—
 Въ теченіе вѣковъ и мѣста ихъ не сыщемъ—
 Но ты, великій мужъ, пребудешь незабвенъ.

Предложимъ для образчика переводъ одного монолога Брутова:

«Нѣтъ, никакой клятвы не надобно. — Если не возбуждаетъ насъ народная честь, глубокое чувство издыхающей вольности и пагубное положеніе временъ нашихъ; если сіи причины слабы, то разойдемся еще во время, и каждый ступай обратно на ложе свое; а возрастающее тиранство пусть дотолѣ свирѣпствуетъ, доколѣ не падетъ на всякаго жребій постыдной смерти. Но если сіи причины,

какъ я въ томъ и увѣренъ, содержать въ себѣ столько огня, чтобы воспламенить и самыхъ мягкосердыхъ, и слабыя души женъ укрѣпить храбростію; то почто же намъ, сограждане мои! давать другъ другу клятву, когда и одно благое дѣло наше можетъ ободрить насъ къ освобожденію отечества нашего? Почто намъ другое поручительство, кромѣ соединенныхъ Римлянъ, давшихъ слово и гнушающихся подлостію? Почто другая клятва, кромѣ взаимнаго искренняго обязательства исполнить или умереть? Пусть клянутся трусы и маловѣры, ветхіе остовы и такія терпѣливыя души, которыя благопріятствуютъ несправедливости; пусть клянутся такіе люди, коихъ худое дѣло подозрительными дѣлаетъ: но отъ насъ да будетъ то удалено, чтобы правоту нашего предпріятія и стремительный огонь нашего духа безчестить мыслями, что дѣло наше или наше предпріятіе имѣетъ нужду въ клятвѣ, когда каждая капля крови, которую носить Римлянинъ, и носить съ честію, срамною содѣлается, если нарушитъ онъ хотя малѣйшую часть своего обѣщанія, имъ единожды произнесеннаго».

За Юліемъ Цезаремъ, въ слѣдующемъ году, послѣдовала Эмилія Галотти, трагедія Лессинга, переведенная Карамзинымъ для славнаго русскаго актера того времени Померанцева. (Въ Университетской типографіи у Н. Новикова, 1788).

Вмѣсто предисловія Карамзинъ сказалъ нѣсколько словъ: «къ читателю», совершенно согласныхъ съ его характеромъ:

«Переводивъ сію трагедію для представленія на театрѣ, спѣшилъ я перевести ее поскорѣе, и отъ того не могъ перевести исправно. Послѣ замѣтилъ я, что было переведено дурно, и рѣшилъ переводъ мой выправить и напечатать, чтобъ нѣкоторымъ образомъ загладить проступокъ свой предъ тѣми людьми, которые, зная истинныя красоты драмы, любятъ Лессинговы творенія и сожалѣли, что

переводчикъ Эмилии Галотти не чувствовалъ многихъ прасотъ сей трагедіи, а потому и не показалъ ихъ въ своемъ переводѣ. Вамъ и посвящаю переводъ мой — вамъ, умѣющимъ цѣнить драматическія сочиненія, и никогда не сравнивающимъ Гишпанскихъ фарсовъ съ драмами Лессинга — вамъ, видящимъ въ первыхъ однѣ острыя шутки, а въ послѣднихъ произведенія философа, проникшаго взоромъ своимъ въ глубины сердца человѣческаго. Москва, 1788, Января 13.»

Карамзинъ высоко цѣнилъ эту трагедію Лессинга, и самъ подробно развилъ основанія своего мнѣнія въ разборѣ представленія на Московской сценѣ, которой онъ напечаталъ года черезъ три въ Московскомъ журналѣ.

Изчисляя литературные труды Карамзина, мы должны упомянуть, что онъ перевелъ еще одну Адиссонову оду, о которой говорено выше, одну пѣснь изъ Ылопштоковой Мессіады, по свидѣтельству Дмитріева, и нѣсколько отрывковъ изъ любимыхъ писателей, напр. Гердера.

Наконецъ, онъ хотѣлъ написать какой-то романъ, о которомъ упоминаетъ въ письмахъ Русскаго путешественника слѣдующими словами.

«Нѣкогда началъ было я писать романъ и хотѣлъ въ воображеніи объѣздить точно тѣ земли, въ которыя теперь ѣду. Въ мыслепномъ путешествіи, выѣхавъ изъ Россіи, остановился я ночевать въ корчмѣ: и въ дѣйствительномъ то же случилось. Но въ романѣ писалъ я, что вечеръ былъ самый ненастный, что дождь не оставилъ на мнѣ сухой нитки, и что въ корчмѣ надлежало мнѣ супиться передъ каминомъ, а на дѣлѣ вечеръ выдался самый тихій и ясный. Сей первый ночлегъ былъ несчастливъ для романа: боясь, чтобы ненастное время не продолжилось и не обезпокоило меня въ моемъ путешествіи, сжегъ я его въ печи, въ благословенномъ своемъ жилищѣ на Чистыхъ прудахъ».

Однимъ словомъ, не было предмета въ области наукъ и искусствъ, который не привлекалъ бы къ себѣ его вниманія, и не возбуждалъ его любопытства, его дятельности.

Но всего болѣе его занимали высшіе вопросы и задачи человѣческой жизни, составлявшіе вмѣстѣ цѣль исканія и того общества, которому принадлежалъ онъ. Что мы? Откуда мы? Куда мы? Для чего? Вотъ объ чемъ онъ безпрестанно думалъ, о чемъ бесѣдовалъ съ своими друзьями, по положительнымъ свидѣтельствамъ, (см. выше письма Петрова и Бутузова), на что искалъ отвѣтовъ въ сочиненіяхъ мыслителей всѣхъ временъ, и осмѣлился даже вступить въ переписку съ знаменитымъ Лафатеромъ, ободренный, вѣроятно, отзывами его московскихъ знакомцевъ.

Первое письмо Карамзина было отъ 14 Августа. Лафатеръ отвѣчалъ ему 30 Марта 1788 г. Вотъ его отвѣтъ:

«Только сего дня, въ пятницу, ввечеру, 30-го Марта, получилъ я ваше письмо изъ Москвы отъ 14 Августа, 1787 г. и для того не хочу я откладывать отвѣта до другаго времени, хотя наступающая святая недѣля никакъ не позволяетъ писать пространно. Я желалъ бы, чтобы ваше любезное, отъ сердца писанное, искреннее письмо содержало въ себѣ нѣсколько особливыхъ вопросовъ, которые подали бы мнѣ матерію къ отвѣту, столь вами желанному. Охотно бы хотѣлъ вамъ сказать что нибудь такое, что бы письмецо мое сдѣлало для васъ полезнымъ и достройнымъ прочтенія. Но что же мнѣ теперь остается? Если бы вы меня увидѣли, то увидѣли бы совсѣмъ не такого человѣка, какого себѣ представляете. Я ни что иное, какъ бѣдный слабый смертный, который всякій день долженъ возглашать свое *Господи помилуй*. Однакожъ я всегда стараюсь быть радостнѣе, чтобы дѣлать другихъ радостнѣйшими — спокойнѣе, чтобы болѣе распространять спокойствія, сильнѣе, чтобы разливать болѣе силы вокругъ себя.

О! если бы какимъ нибудь образомъ я могъ быть и вамъ полезенъ!—Никакого изъ моихъ сочиненій не буду вамъ особенно одобрять, кромѣ *Братскихъ писемъ къ юношамъ*. Надѣюсь, что инныя письма скажутъ вамъ то, что будетъ пріятно вашему сердцу, *истины жаждающему*.

Пожалуйте, поклонитесь отъ меня *Ленцу*, и отдайте ему приложенное письмо; и если увидите въ Москвѣ г. доктора Френкеля или пастора Брунера, то увѣряйте ихъ въ моей всегда одинаковой дружбѣ. Я есмь вашъ искренно преданный.

Іоаннъ Каспаръ Лафатеръ.»

Карамзинъ писалъ къ нему, кажется, и другое письмо, судя по слѣдующему мѣсту изъ письма Петрова отъ 1 Августа 1787 года: «худо бы я заплатилъ тебѣ, любезный другъ, за твою ко мнѣ довѣренность, если бы не сказалъ тебѣ прямо, что письмо твое къ Лафатеру мнѣ не очень нравится: почему? Мнѣ кажется, что ты насильно хочешь заставить его знать то, о чемъ онъ ясно и безъ всякихъ обиняковъ писалъ къ тебѣ, что не знаетъ и знать не старается. Но пожалуй замѣть, что мнѣ такъ только кажется, а что мнѣ только кажется, на то и самъ я еще не полагаюсь.»

Мы описали, по возможности, жизнь и занятія Карамзина въ Москвѣ отъ 1785 до 1788 года.

Дмитріевъ, проѣзжавшій черезъ Москву въ С.-Петербургъ, оставилъ намъ, къ счастью, въ своихъ запискахъ изображеніе очень вѣрное, и даже живописное, Карамзина въ эту эпоху его жизни.

«Послѣ свиданія нашего въ Симбирскѣ, какую перемену я нашелъ въ миломъ моемъ пріятелѣ! Это былъ уже не тотъ юноша, который читалъ все безъ разбора, плѣнялся славою воина, мечталъ быть завоевателемъ чернобровой, пылкой Черкешенки: но благочестивый ученикъ мудрости съ пламеннымъ рвеніемъ къ усовершенствованію въ себѣ

человѣка. Тотъ же веселый нравъ, та же любезность, но между тѣмъ главная мысль. первыя желанія его стремились къ высокой цѣли. Тогда я почувствовалъ передъ нимъ всю мою незначительность, и удивлялся, за что онъ любить меня еще по прежнему».

«Я какъ теперь вижу скромное жилище молодыхъ словесниковъ: * оно раздѣлено было тремя перегородками; одна освящалась Иисусомъ на Крестѣ подъ покрываломъ репа, а въ другой на столѣ, покрытомъ зеленымъ сукномъ, стоялъ гипсовый бюстъ Шварца, умершаго не за долго передъ приѣздомъ моимъ изъ Петербурга въ Москву.»

Въ слѣдующихъ стихахъ (изъ посланія къ Дмитріеву, 1793) изображено, я думаю, состояніе души Карамзина въ это время, его желанія и надежды...

И я, о другъ мой! наслаждался
Своею краспою весной,
И я мечтами обольщался —
Любилъ съ горячностью людей,
Какъ нѣжныхъ братій и друзей;
Желалъ добра имъ всей душею;
Готовъ былъ кровію моею
Пожертвовать для счастья ихъ.
И въ самыхъ горестяхъ своихъ
Надеждой сладкой веселился
Не бесполезно жить для нихъ —
Мой духъ сей мыслию гордился!
Источникъ радостей и благъ
Открытъ въ чувствительныхъ душахъ,
Плѣнить ихъ истинной святою,
Ея нетлѣнной красотою,
Орудіемъ небеснымъ быть,
И въ памяти потомства жить,
Базалось мнѣ всего славнѣе,
Всего прекраснѣе, милѣе!

* Карамзинъ жилъ въ то время вмѣстѣ съ Петровымъ, близъ Чистыхъ прудовъ.

Я жребій свой благословляю.
 Любуюсь прелестью награды—
 И тихій свѣтъ моей лампы
 Съ звѣздою утра угасалъ.

Вотъ какое благодѣтельное вліяніе имѣло на Карамзина Москва, или то общество, въ которое, по счастливому соединенію обстоятельствъ, попалъ онъ по прибытіи своемъ изъ Симбирска, введенный И. П. Тургеневымъ. Да! Новикову и его друзьямъ, безъ всякаго сомнѣнія, Россія обязана очень много приуготовленіемъ Карамзина къ его достопамятному дѣйствию на литературномъ поприщѣ.

Впрочемъ Карамзинъ не уклонялся и отъ свѣтскаго общества, въ Москвѣ, какъ и въ Симбирскѣ, что замѣтилъ Дмитріевъ, говоря объ его любезности и веселости.

Самое близкое знакомство у него было съ семействомъ Плещеева, который былъ предсѣдателемъ какой-то палаты. Особенно друженъ онъ былъ съ его женою, молодою, образованною женщиною, на сестрѣ которой онъ женился послѣ. Дмитріевъ замѣчаетъ въ своихъ запискахъ, что въ ея-то семейномъ уединеніи развивались авторскіе таланты юнаго Карамзина. Она питала къ нему чувства нѣжнѣйшей матери.

Вотъ какъ описываетъ Карамзинъ первую встрѣчу съ нею (въ посланіи къ женщинамъ, 1796).

Нанина! десять лѣтъ *) тотъ день благословляю,
 Когда тебя, мой другъ, увидѣлъ въ первый разъ:
 Гармонія сердець соединила насъ
 Въ единый мигъ на вѣкъ. Что былъ и? сиротою
 Въ пространномъ мірѣ семъ, скучалъ самимъ собою,
 Печальнымъ бытіемъ: никто меня не зналъ,

*) Слѣдовательно начало знакомства Карамзина съ семействомъ Плещеевыхъ относится въ 1786 году, на второй годъ по его водвореніи въ Москвѣ.

Никто участія въ судьбѣ моей не бралъ.
 Чувствительность въ груди моей питаю,
 Въ сердцахъ у всѣхъ людей я камень находилъ;
 Среди цвѣтущихъ дней душею увядая,
 Не въ свѣтѣ, но въ пустынѣ жилъ.
 Ты дружбой, искренностью милой,
 Утѣшила мой духъ унылый;
 Святой любовью своей
 Во мнѣ цвѣтъ жизни обновила,
 И въ горестной душѣ моей
 Источникъ радостей открыла....

Съ масонами Барамзинъ разстался передъ своимъ отъѣздомъ за границу: онъ, какъ пчела, извлекъ изъ этой связи, изъ знакомства съ просвѣщенными и почетными людьми, все то, что можно было извлечь, но здравый его смыслъ сказалъ ему: не далѣе. Въ крайностямъ онъ не пошелъ. Темная область таинственныхъ гаданій была не по его вкусу: по своей природѣ онъ любилъ больше всего ясность и наглядность. Вотъ какъ рассказывалъ онъ Н. И. Гречу, въ Петербургѣ, на вопросъ объ отношеніяхъ его къ обществу:

«Я былъ обстоятельствами вовлеченъ въ это общество въ молодости моей, и не могъ не уважать въ немъ людей, искренно и безкорыстно искавшихъ истины, и преданныхъ общеплезному труду. Но я никакъ не могъ раздѣлится съ ними убѣжденія, будто для этого нужна какая либо таинственность,—и не могли мнѣ нравиться ихъ обряды, которые всегда казались мнѣ нелѣпыми. Передъ моею поѣздкою за границу я откровенно заявилъ въ этомъ обществѣ, что, не переставая питать уваженіе къ почтеннымъ членамъ его, и признательность за ихъ постоянное доброе ко мнѣ расположеніе, я однакожь по собственному убѣжденію принимать далѣе участіе въ ихъ собраніяхъ не буду, и долженъ проститься. Отвѣтъ ихъ

былъ благосклонный: сожалѣли, но не удерживали, и на прощанье дали мнѣ объѣдъ. Мы разстались дружелюбно. Вскорѣ за тѣмъ я отправился въ путешествіе!»

Желаніе путешествовать зародилось въ немъ очень давно. Можетъ быть рассказы Ленца и Бутузова, вмѣстѣ съ прежними совѣтами Шадена, заняты въ Лейпцигскомъ университетѣ, подали первую мысль, столько согласную съ его характеромъ. Ему хотѣлось поискать отвѣтовъ на безпокоившіе его вопросы, увидѣть людей, которые оказали на него дѣйствіе своими сочиненіями, увидѣть памятники науки и искусства, которые произвела Европа, увидѣть жизнь просвѣщенныхъ ея народовъ, насладиться красотами природы. Къ тому же побуждало и безотчетное стремленіе отъ извѣстнаго къ неизвѣстному....

Въ одномъ изъ своихъ писемъ такъ рассуждалъ Карамзинъ о путешествіи: «Пріятно, весело, друзья мои, переѣзжать изъ одной земли въ другую, видѣть новые предметы, съ которыми, кажется, самая душа наша обновляется, и чувствовать неопѣненную свободу человѣка, по которой онъ подлинно можетъ назваться царемъ земнаго творенія. Всѣ прочія животныя, будучи привязаны къ нѣкоторымъ климатамъ, не могутъ выдти изъ предѣловъ, начертанныхъ имъ натурою, и умираютъ, гдѣ родятся; но человѣкъ, силою могущественной воли своей, шагаетъ изъ климата въ климатъ, ищетъ вездѣ наслажденій, и находитъ ихъ, вездѣ бываетъ любимымъ гостемъ природы, повсюду отверзающей для него новые источники удовольствія, вездѣ радуется бытіемъ своимъ и благословляетъ свое человѣчество.»

«А мудрая связь общественности, по которой нахожу я во всякой землѣ всѣ возможныя удобства жизни, какъ будто бы нарочно для меня придуманныя, по которой жители всѣхъ странъ предлагаютъ мнѣ плоды своихъ трудовъ, своей промышленности, и призываютъ меня участвовать въ своихъ забавахъ, въ своихъ весельяхъ....»

«Однимъ словомъ, друзья мои, путешествіе питательно для духа и сердца нашего. Путешествуй гипохондрикъ, чтобы исцѣлиться отъ своей гипохондри! Путешествуй мизантропъ, чтобы полюбить человѣчество! Путешествуй, кто только можетъ».

Карамзинъ, по свидѣтельству Дмитріева, запродавъ братьямъ доставшуюся ему долю изъ отцевскаго наслѣдства, и часть полученныхъ денегъ употребилъ на путешествіе.

Желаніе путешествовать занимало всю его душу, а когда наконецъ наступило время исполненія, Карамзину стало грустно. Мы приведемъ его собственныя слова изъ перваго письма съ дороги, чтобы представить состояніе его духа, и вообще познакомиться съ его настроеніемъ въ эту минуту.

«О сердце, сердце! кто знаетъ, чего ты хочешь? Сколько лѣтъ путешествіе было пріятнѣйшею мечтою моего воображенія? Не въ восторгѣ ли сказалъ я самому себѣ: наконецъ ты поѣдешь? Не въ радости ли просыпался всякое утро? Не съ удовольствіемъ ли засыпалъ, думая: ты поѣдешь? Сколько времени не могъ ни о чемъ думать, ни чѣмъ заниматься, кромѣ путешествія? Не считалъ ли дней и часовъ? Но когда пришелъ желаемый день, я сталъ грустить, вообразивъ въ первый разъ живо, что мнѣ надлежало разстаться съ любезнѣйшими для меня людьми въ свѣтѣ, и со всѣмъ, что, такъ сказать, входило въ составъ нравственнаго бытія моего. На что ни смотрѣлъ—на столъ, гдѣ пѣсколько лѣтъ изливались на бумагу незрѣлыя мысли и чувства мои—на окно, подъ которымъ сиживалъ я подгорюнившись въ припадкахъ своей меланхоліи, и гдѣ такъ часто заставало меня восходящее солнце—на готическій домъ, любезный предметъ глазъ моихъ въ часы ночные—однимъ словомъ, все, что попадалось мнѣ въ глаза, было для меня драгоценнымъ памятникомъ прошедшихъ лѣтъ моей жизни, не обильной дѣлами, но за то мыслями и чувствами обильной. Съ вещами бездушными

прощался я какъ съ друзьями; и въ самое то время, какъ былъ рамягченъ, растроганъ, пришли люди мои, начали плакать и просить меня, чтобы я не забылъ ихъ и взялъ опять къ себѣ, когда возвращуся. Слезы заразительны, мои милые, а особливо въ такомъ случаѣ.

«Но вы мнѣ всего любезнѣе, и съ вами надлежало разстаться. Сердце мое такъ много чувствовало, что я говорить забывалъ. Но что вамъ сказывать!—Минута, въ которую мы прощались, была такова, что тысячи пріятныхъ минутъ въ будущемъ едва ли мнѣ за нее заплатятъ.

«Милый Петровъ провожалъ меня до заставы. Тамъ обнялся мы съ нимъ, и еще въ первый разъ видѣлъ я слезы его;—тамъ сѣлъ я въ кибитку, взглянулъ на Москву, гдѣ оставалось для меня столько любезнаго, и сказалъ: Прости! Колокольчикъ зазвенѣлъ, лошади помчались... и другъ вашъ осиротѣлъ въ мирѣ, осиротѣлъ въ душѣ своей!»

Это первое письмо съ дороги, изъ Твери, отъ *18 Мая*, 1789 г. Карамзинъ оканчиваетъ такъ:

«Все прошедшее есть сонъ и тѣнь: ахъ! гдѣ часы, въ которые такъ хорошо бывало сердцу моему посреди васъ, мыше? Если бы человѣку, самому благополучному, вдругъ открылось будущее, то замерло бы сердце его отъ ужаса, и языкъ его онѣмѣлъ бы въ самую ту минуту, въ которую онъ думалъ назвать себя счастливейшимъ изъ смертныхъ!..»

«Во всю дорогу не приходило мнѣ въ голову ни одной радостной мысли; а на послѣдней станціи къ Твери грусть моя такъ усилилась, что я въ деревенскомъ трактирѣ, стоя передъ карриатурами Боролевы Французской и Римскаго Императора, хотѣлъ бы, какъ говорить Шекспиръ, выплакать сердце свое. Тамъ-то все оставленное мною явилось мнѣ въ такомъ трогательномъ видѣ.—Но полно, полно! Мнѣ опять становится чрезмѣрно грустно. Простите! Дай Богъ вамъ утѣшеній! Помните друга, но безъ всякаго горестнаго чувства!»

Остановимся на этомъ письмѣ, читатели! Не правда ли, что вы слышите въ немъ совершенно новый языкъ, сравнительно съ тѣмъ, который слышался въ предшествовавшихъ опытахъ Карамзина, сравнительно съ тѣмъ, который употреблялся современными ему писателями? Какая ясность, простота, какая легкость, плавность, живость, какое свободное теченіе рѣчи!

Да, это письмо составляетъ эпоху въ исторіи Русскаго слова. Съ него начинается наша настоящая литература.

Гдѣ Карамзинъ научился этому языку? Гдѣ нашель его образцы?

Гдѣ—въ своемъ чувствѣ, въ своемъ сердцѣ, въ своемъ слухѣ, посредствомъ долгаго, неутомимаго прилежанія, посредствомъ настойчивой, ревностной работы, внимательнаго, глубокаго размышленія.

Въ продолженіи четырехъ почти лѣтъ въ Москвѣ, онъ безпрестанно учился и читалъ, какъ мы видѣли, переводилъ и писалъ, исправлялъ и переписывалъ—стремясь къ тому темному идеалу, который носилъ въ душѣ своей, и такимъ образомъ выработалъ свой слогъ. Всѣ ступени его восхожденія передъ нашими глазами: Деревянная нога, Штурмовы размышленія, Галлерова поэма, Деревенскіе вечера, Юлій Цезарь, Эмилиа Галотти, переводы изъ Томсона, Гердера, Боннета, стихотворные опыты въ письмахъ къ Дмитріеву, посланіе къ Петрову, переводъ Адиссоновой оды, Поэзія, Евгений и Юлія, повѣсть, Прогулка, наконецъ письмо изъ Твери, которымъ начинается рядъ писемъ Русскаго путешественника.

«На вопросъ мой Г. Карамзину», пишетъ молодой Базанскій литераторъ Каменевъ, посѣтившій Карамзина въ 1799 г., «гдѣ и какимъ образомъ усовершенствовалъ онъ себя въ Россійскомъ языкѣ, отвѣчалъ онъ мнѣ слѣдующее: Родившись въ деревнѣ, воспитывался я въ Симбирскѣ, ходилъ въ пансіонъ и читалъ много книгъ русскихъ. Пріѣхавши

въ Москву, учился въ домѣ профессора Шадена Нѣмецкому и Французскому языкамъ, началъ переводить, сочинять, и въ счастію, познакомился съ Петровымъ, (молодымъ человекомъ, котораго подѣ именемъ Агатона оплакивалъ). Онъ имѣлъ вкусъ моего свѣжѣе и чище; поправлялъ мои манеря, показывалъ красоты авторовъ, и я началъ чувствовать силу и нѣжность выраженій. Вознамѣряясь выйти на сцену, я не могъ сыскать ни одного изъ Русскихъ сочинителей, который бы былъ достоинъ подражанія, и отдавая всю справедливость краснорѣчію Ломоносова, не упустилъ я замѣтить штиль его.... вовсе не свойственный нынѣшнему вѣку, и старался писать чище и живѣе. Я имѣлъ въ головѣ нѣкоторыхъ иностранныхъ авторовъ; сначала подражалъ имъ, но послѣ писалъ уже своимъ, ни отъ кого не заимствованнымъ слогомъ. И это совѣтую всѣмъ подражающимъ мнѣ сочинителямъ, чтобъ не всегда и не вездѣ держаться оборотовъ моихъ, но выражать свои мысли такъ, какъ имъ кажется живѣе».

Въ другой разъ онъ сказалъ Каменеву: «до изданія Московскаго журнала много бумаги мною перемарано, и не иначе можно хорошо писать, какъ писавши прежде худо и посредственно».

Точно такое же объясненіе гораздо позднѣе далъ Карамзинъ и извѣстному нашему поэту-мыслителю, Ѳ. Н. Глинкѣ, который спросилъ его однажды въ Петербургѣ: «откуда взяли вы такой чудесный слогъ? Изъ камина, отвѣчалъ онъ. Какъ изъ камина? Вотъ какъ: я переводилъ одно и то же раза по три, и по прочтеніи бросалъ въ каминъ, пока наконецъ доходилъ до того, что оставался довольнымъ и пускалъ въ свѣтъ».

А сколько лѣтъ было Карамзину, когда онъ самъ, не сознавая того, начиналъ преобразование Русскаго языка, дѣлался основателемъ лучшаго слога и предвѣстникомъ новаго періода въ исторіи Словесности нашей?

Ему былъ только 23 годъ.

ГЛАВА II.

1789—1790.

Путешествіе.—Посѣщеніе Канта въ Кенигсбергѣ.—Берлинъ.—Разговоръ съ Николаемъ.—Мысли о критикѣ, о театрѣ.—Потсдамская церковь.—О переводахъ Рамлера.—Разговоръ съ Морицомъ.—Внезапный отъѣздъ.—Дрезденская галлея.—Окрестности.—Разговоръ о безсмертіи души.—Воспоминаніе о Геллертѣ.—Свиданіе съ Платнеромъ, Вейсе.—Бесѣда съ Гердеромъ.—Знакомство съ Виландомъ.—Впечатлѣнія Швейцаріи.—Бесѣда съ Лафатеромъ и прочими Цирихскими учеными.—Воспоминаніе о Геснерѣ.—Оберландъ.—Благоговѣйное настроеніе.—О Руссо.—Доброе дѣло.—Пребываніе въ Женевѣ.—Прогулка въ Ферней.—О Вольтерѣ.—Размышленія.—Болѣзнь.—Знакомство съ Боннетомъ.—Отъѣздъ.—Свиданіе съ Маттисономъ въ Лионѣ.—Представленіе Карла IX, Шенье. Мысли о французской трагедіи и о Шекспирѣ.—Мысли о совершенствованіи рода человѣческаго.—Восторгъ предъ Парижемъ.—Характеристика Французовъ.—Мысли о революціи.—Парижская жизнь.—Спектакли.—Концерты.—Лебрюнова Магдалина.—Знакомство съ Бартеlemi.—Левекъ.—Мысли о русской исторіи и о преобразованіяхъ Петра I.—О Декартѣ.—Мнѣніе о Французахъ и похвала имъ.—Прощаніе съ Парижемъ.—О Беккерѣ.—Припадокъ грусти.—Впечатлѣніе Лондона.—О роскоши.—Генделева ораторія.—Питтъ.—Размышленія о жизни.—Англійская семейная жизнь, въ противоположность съ нашею.—О женщинахъ и мущинахъ.—Англійскія свойства.—Возвращеніе въ отечество.—Заключеніе.

Карамзинъ провелъ за границую около полутора года, отъ 18 мая 1789 до Сентября 1790. Онъ посѣтилъ Германію, Швейцарію, Францію и Англію. Главныя мѣста, гдѣ онъ наиболѣе останавливался: Берлинъ, Лейпцигъ, Женева, Парижъ и Лондонъ.

Послѣдуемъ за нимъ, шагъ за шагомъ, и предложимъ отрывки изъ его искреннихъ, душевныхъ писемъ къ друзьямъ, отмѣчая мѣста, гдѣ характеръ и образъ мыс-

лей ясно обнаруживается. Отрывки будутъ знакомить читателей съ постепеннымъ образованіемъ слога, и вмѣстѣ напоминать имъ многіе важные для человѣка вопросы. Мы пропустимъ, разумѣется, описанія памятниковъ, произведеній искусства, разныхъ мѣстностей, нечаянныхъ встрѣчъ и другихъ мелочей, которыя, въ свое время, были такъ новы и любопытны для читателей, и доставили пріятное поучительное чтеніе для многихъ поколѣній, не утративъ впрочемъ до сихъ поръ своего достоинства во многихъ отношеніяхъ.

Первое примѣчательное посѣщеніе было къ знаменитому философу 18-го столѣтія, *Канту*, въ Кенигсбергѣ. Вотъ какъ описываетъ его Карамзинъ:

«Вчера послѣ обѣда былъ я у славнаго Канта, глубокомысленнаго, тонкаго метафизика, который опровергаетъ и Малбранша и Лейбница, и Юма и Боннета—Канта, котораго Іудейскій Сократъ, покойный Мендельзонъ, иначе не называлъ, какъ *der alles zermalmende Kant*, т. е. *все сокрушающій Кантъ*. Я не имѣлъ къ нему писемъ; но смѣлость города беретъ—и мнѣ отворились двери въ кабинетъ его».

Нельзя не остановиться на этой смѣлости: такому молодому человѣку, какимъ былъ тогда Карамзинъ, 22 лѣтъ, явиться къ Канту, напроситься на разговоръ съ нимъ философской, предлагать свои сомнѣнія, привлечь его вниманіе, выразумѣть ясно его отвѣты,—это явленіе необыкновенное, которое даетъ уже предчувствовать, чего должно ожидать со временемъ отъ смѣльчака.

«Меня встрѣтилъ маленькой, худенькой старичекъ, отъѣнно бѣлый и нѣжный. Первые слова мои были: «я русской дворянинъ, люблю великихъ мужей, и желаю изъяснить мое почтеніе Канту». Онъ тотчасъ попросилъ меня сѣсть, говоря: «я писалъ такое, что не можетъ нравиться всѣмъ; не многіе любятъ метафизическія тонкости.»

Съ полчаса говорили мы о разныхъ вещахъ: о путешествіяхъ, о Китаѣ, объ открытіи новыхъ земель. Надобно было удивляться его историческимъ и географическимъ знаніямъ, которыя, казалось, могли бы одни загроздить магазинъ человеческой памяти; но это у него, какъ Нѣмцы говорятъ, дѣло постороннее. Потомъ *я, не безъ скачка, обратилъ разговоръ на природу и нравственность человѣка;* и вотъ что могъ удержать въ памяти изъ его разсужденій:

«Дѣятельность есть наше опредѣленіе. Человѣкъ не можетъ быть никогда совершенно доволенъ обладаемымъ, и стремится всегда къ приобрѣтеніямъ. Смерть застаётъ насъ на пути къ чему нибудь, что мы еще имѣть хотимъ. Дай человѣку все, чего желаетъ; но онъ въ ту же минуту почувствуетъ, что это *все* не есть *все*. Не видя цѣли или конца стремленія нашего въ здѣшней жизни, полагаемъ мы будущую, гдѣ узлу надобно развязаться. Сія мысль тѣмъ пріятнѣе для человѣка, что здѣсь нѣтъ никакой соразмѣрности между радостями и горестями, между наслажденіемъ и страданіемъ. Я утѣшаюсь тѣмъ, что мнѣ уже шестьдесятъ лѣтъ, и что скоро придетъ конецъ жизни моей: ибо надѣюсь вступить въ другую, лучшую. Помышляя о тѣхъ услажденіяхъ, которыя имѣлъ я въ жизни, не чувствую теперь удовольствія; но представляя себѣ тѣ случаи, гдѣ дѣйствовалъ сообразно съ *закономъ нравственнымъ*, начертаннымъ у меня въ сердцѣ, радуюсь. Говорю о *нравственномъ законѣ*: назовемъ его совѣстію, чувствомъ добра и зла—но онъ *есть*. Я солгалъ; никто не знаетъ лжи моей, но мнѣ стыдно.—Вѣроятность не есть очевидность, когда мы говоримъ о будущей жизни; но, сообразивъ все, расудоуъ велитъ намъ вѣрить ей. Да и что бы съ нами было, когда бы мы, такъ сказать, *мазани увидѣли ее?* Если бы она намъ очень полюбилась, мы бы не могли уже заниматься нынѣшнею жизнію,

и были въ безпрестанномъ томленіи; а въ противномъ случаѣ не имѣли бы утѣшенія сказать себѣ въ горестяхъ здѣшней жизни: *авось тамъ будетъ лучше!*— Но говоря о нашемъ опредѣленіи, о жизни будущей и проч., предполагаемъ уже бытіе Всевѣчнаго творческаго разума, все для чего нибудь, и все благотворящаго. Что? какъ?... Но здѣсь первый мудрецъ признается въ своемъ невѣжествѣ. Здѣсь разумъ погашаетъ свѣтильникъ свой, и мы во тьмѣ остаемся; одна фантазія можетъ носиться во тьмѣ сей и творить несобытное».

«Почтенный мужъ», заключаетъ Карамзинъ свое изложеніе, «прости, если въ сихъ строкахъ обезобразилъ я мысли твои».

Нѣтъ, отвѣтимъ мы ему теперь, нынѣ, чрезъ 75 лѣтъ, къ этимъ строкамъ не прибавилось почти ничего: они остаются священнымъ завѣтомъ мудреца, посвятившаго всю свою жизнь на размышленіе о судьбахъ человѣческихъ.

«Кантъ записалъ мнѣ», говоритъ Карамзинъ, «титулы двухъ своихъ сочиненій, которыхъ я не читалъ, (значить прочія онъ читалъ), *Kritik der reinen Vernunft* и *Metaphysik der Sitten*, и сію записку буду хранить какъ священный памятникъ».

«Вписавъ въ свою карманную книжку мое имя, пожелалъ онъ, чтобы рѣшились *всѣ мои сомнѣнія*; потомъ мы съ нимъ разстались».

«Вотъ вамъ, друзья мои, краткое описаніе весьма любопытной для меня бесѣды, которая продолжалась около трехъ часовъ. Кантъ говоритъ скоро, весьма тихо, и не вразумительно; и потому надлежало мнѣ слушать его съ напряженіемъ всѣхъ нервъ слуха. Домикъ у него маленькій, и внутри приборовъ не много. Все просто—кромѣ его метафизики». (с. 29—32).

Далѣе по дорогѣ къ Берлину, проѣзжая одно мѣстечко, кто-то изъ спутниковъ Карамзина напомнилъ ему: «здѣсь жилъ и умеръ Коперникъ». И такъ это Фрауенбергъ? «Какъ досадно было мнѣ», восклицаетъ Карамзинъ, «что я не

могъ видѣть тѣхъ комнатъ, въ которыхъ жилъ сей славный математикъ и астрономъ, и гдѣ онъ, по своимъ наблюденіямъ и вычетамъ, опредѣлилъ движеніе земли вокругъ ея оси и солнца—земли, которая, по мнѣнію его предшественниковъ, стояла неподвижно въ центрѣ планетъ, и которую послѣ Тихо-де-Браге хотѣлъ было опять оставить, но тщетно!—И такимъ образомъ Ниоагоровы идеи, надъ которыми смѣялись Греки, вѣрившіе своимъ чувствамъ болѣе, нежели философу, воскресли въ системѣ Николая Коперника. Сей астрономъ былъ счастливѣе Галлея: суевѣріе—хотя онъ жилъ еще подъ его скипетромъ—не заставило его клятвенно отрицаться отъ ученія истины. Коперникъ умеръ спокойно въ своемъ мирномъ жилищѣ, но Тихо-де-Браге долженъ былъ оставить свой философскій замокъ и отечество. *Науки, подобно религии, имѣли своихъ страдальцевъ.*

Кромѣ знакомства со многими историческими подробностями, мы видимъ изъ этого мѣста, какъ почиталъ Карамзинъ науку и ея представителей.

Въ Берлинѣ Карамзинъ надѣялся найти любезнаго своего Кутузова. «Въ послѣднюю ночь нашего путешествія приближаясь къ Берлину, началъ я думать, что тамъ дѣлать буду, и кого увижу. Ночью всякія мечты воображенія бываютъ живѣе, и я такъ ясно представилъ себѣ любезнаго Алексѣя, идущаго ко мнѣ на встрѣчу съ трубкою и кричащаго: *кого вижу? Братъ Рамзей въ Берлинѣ?* что руки мои протянулись обнять его; но вмѣсто моего дражайшаго пріятели, который въ сію минуту былъ отъ меня такъ далеко, чуть я не обнялъ мокрой женщины, сидѣвшей съ нами въ коляскѣ». (с. 55)

«Но если я не найду его въ Берлинѣ! пришло мнѣ вдругъ на мысль—и въ самую ту минуту встрѣтилась намъ коляска—насилу могъ я удержаться, чтобы не закричать: *стой!* Это вѣрно онъ, думалъ я, это вѣрно онъ! Прости!

Пріѣзжай благополучно въ наше отечество, къ своимъ друзьямъ! ты увидишь моихъ любезныхъ; увидишь, и не скажешь имъ ничего обо мнѣ.— Между тѣмъ мы пріѣхали на станцію. Я тотчасъ пошелъ къ почтмейстеру спросить, кто проѣхалъ въ коляскѣ. Русскій купецъ изъ Риги, отвѣчалъ онъ. Тутъ я готовъ былъ вспрыгнуть отъ радости, что это былъ не нашъ Алексѣй.»

Замѣтимъ живость воображенія, впечатлительность, нетерпѣливость.

«Коляска наша остановилась у почтового дома. Тамъ прежде всего спросилъ я у секретаря, гдѣ живетъ Алексѣй. И что же? Съ хладнокровіемъ, совсѣмъ противнымъ моему нетерпѣнію, отвѣчалъ онъ: его уже здѣсь нѣтъ!—Его здѣсь нѣтъ?—Нѣтъ, сударь, повторилъ онъ, и началъ перебирать письма.—Гдѣ же онъ?—Во Франкфуртѣ на Майнѣ. Подите къ своему священнику; тамъ лучше все узнаете.—...Вообразите друга вашего, идущаго въ самыхъ горестныхъ размышленіяхъ по Берлинскимъ улицамъ, въ слѣдъ за инвалидомъ, который несъ чемоданъ мой! Ни огромные дома, ни многолюдство, ни стукъ каретъ не могли вывести меня изъ меланхолической задумчивости. *Я самъ себя казался жалкимъ сиротою, бѣднымъ, несчастнымъ*, и единственно отъ того, что Алексѣй не хотѣлъ меня дожидаться въ Берлинѣ».

«Человѣкъ рожденъ къ общежитію и дружбѣ—сію истину живо чувствовало мое сердце, когда я шелъ къ Д., * желая найти въ немъ хотя часть любезныхъ свойствъ нашего Алексѣя, желая полюбить его, и говорить съ нимъ со всею *дружескою искренностію, свойственною моему сердцу!*—Благодарю судьбу! Я нашелъ, чего желалъ—нашелъ Д. любезнаго, добродушнаго, искренняго человѣка. Онъ любитъ свое отечество, и я люблю его; онъ сроденъ

* Карамзинъ говоритъ здѣсь, кажется, о Берлинскомъ Русскомъ священникѣ. Желательно бы узнать полное его имя.

къ откровенности, и я тоже: и такъ долго ли было намъ познакомиться?»

Въ Берлинѣ посѣтилъ Карамзинъ *Николай*. «Онъ встрѣтилъ меня съ такою ловкостію, съ такою учтивостію, какой нельзя было бы ожидать отъ Нѣмецкаго ученаго и книгопродавца».

«Васъ знаютъ и въ Россіи, сказалъ я ему: знаютъ, что Нѣмецкая литература обязана вамъ частію своихъ успѣховъ. Приѣхавъ въ Берлинъ, спѣшилъ я видѣть друга Лессингова и Мендельсона.— Благодарю васъ, отвѣчалъ онъ съ улыбкою и посадилъ меня на софѣ.... Скоро обратилъ я разговоръ на Берлинскій іезуитизмъ. Надобно знать, что съ нѣкотораго времени начали писать въ Германіи, или, лучше сказать, въ Берлинѣ, и Николай первый подалъ къ тому мысль—будто есть тайные іезуиты, которые всѣми силами стараются снова овладѣть Европою; будто Баллиостро и подобные суть ихъ миссіонеры, которые, обольщая легковѣрныхъ людей пышными обѣщаніями, поработаютъ ихъ власти тайныхъ іезуитскихъ начальниковъ и проч. и проч... Началась ужасная война (с. 64)...

«—Все это очень хорошо, сказалъ я; но зачѣмъ съ такою жестокостію писать противъ нѣкоторыхъ почтеннѣйшихъ мужей Германіи, для того единственно, что они сомнѣваются въ существованіи тайныхъ іезуитовъ, и въ томъ, чтобы католики могли нынѣ быть опасны протестантамъ? Признаться вамъ, я не могъ безъ досады читать колкаго отвѣта Доктора Бистера *Г. Гарве*, одному изъ первыхъ вашихъ философовъ, который съ такою скромностію предложилъ свои сомнѣнія».

Изъ этихъ словъ мы видимъ, что Карамзинъ былъ коротко знакомъ съ нѣмецкою литературою, какъ нами было замѣчено выше, и слѣдилъ за всѣми ея подробностями.

«Признаться», заключаетъ Карамзинъ, «сердце мое не можетъ одобрить тона, въ которомъ господа Берлинцы пишутъ:

...Гдѣ искать терпимости, если самые философы, самые просвѣтителѣ—а они такъ себя называютъ, оказываютъ столько ненависти къ тѣмъ, которые думаютъ не такъ, какъ они? *Тотъ есть для меня истинный философъ, кто со всеми можетъ ужиться въ миръ; кто любитъ и бессмысленныхъ съ ея образомъ мыслей.* Должно показывать заблужденія разума человѣческаго съ благороднымъ жаромъ, но безъ злобы. Скажи человѣку, что онъ ошибается, и почему; но не поноси сердца его, и не называй его безумцемъ. Люди, люди! подъ какимъ предлогомъ вы себя не мучите! Лафатеръ есть одинъ изъ тѣхъ, которыхъ Берлинцы бранятъ при всякомъ случаѣ; и если онъ у нихъ не совершенный иезуитъ, то по крайней мѣрѣ великій мечтатель. Я къ Лафатеру не пристрастенъ, и обо многомъ *думаю совсѣмъ не такъ, какъ онъ думаетъ; однакожъ увѣренъ, что его физиогномическіе фрагменты будутъ читаемы и тогда, когда забудутъ, что жилъ на свѣтѣ почтенный Докторъ Бистеръ».*

Въ этихъ словахъ ясно выразилъ образъ мыслей Карамзина о противорѣчіяхъ, несогласіяхъ, спорахъ, и вообще объ отношеніяхъ писателя къ критику. Такъ онъ думалъ и поступалъ во все продолженіе своей жизни,—на верху своей славы, какъ и при началѣ поприща.

Въ Берлинѣ былъ онъ въ театрѣ: «Представляли драму: *Ненависть къ людямъ и раскаяніе*, сочиненную Коцебу, Ревельскимъ жителемъ. Авторъ осмѣлился вывести на сцену невѣрную жену, которая, забывъ мужа и дѣтей, ушла съ любовникомъ; но она мила, несчастлива—и я *плакалъ какъ ребенокъ*, не думая осуждать сочинителя. Сколько бываетъ въ свѣтѣ подобныхъ исторій!..* Коцебу знаетъ сердце. Жаль только, что онъ въ одно время заставляетъ

* Вѣроятно это представленіе подало поводъ Карамзину написать послѣ драматическій отрывокъ: Софія. См. ниже.

зрителей и плакать и смѣяться! Жаль, что не имѣеть вкуса, или не хочетъ его слушаться! Послѣдняя сцена въ пиесѣ несравненна. Г. Флекъ играетъ ролю мужа съ такимъ чувствомъ, что каждое слово его доходить до сердца. По крайней мѣрѣ я еще не видывалъ такого актера. Въ немъ соединены великія природныя дарованія съ великимъ искусствомъ. Г-жа Унцельманъ представляетъ жену очень трогательно. Въ игрѣ ея обнаруживается какая-то нѣжная томность, которая дѣлаетъ ее любезною для зрителя... Я думаю, что у Нѣмцевъ не было бы такихъ актеровъ, если бы не было у нихъ Лессинга, Гете, Шиллера и другихъ драматическихъ авторовъ, которые съ такою живостию представляютъ въ драмахъ своихъ человѣка, каковъ онъ есть, отвергая всѣ излишнія украшенія, или *Французскія румяны*, которыя человѣку съ естественнымъ вкусомъ не могутъ быть пріятны. Читая Шекспира, читая лучшія Нѣмецкія драмы, я живо воображаю себѣ, какъ надобно играть актеру, и какъ что произнести; но при чтеніи Французскихъ трагедій-рѣдко могу представить себѣ, какъ можно въ нихъ играть актеру хорошо, или такъ, чтобы меня тронуть. Вышедши изъ театра, оберъ я на крыльцѣ послѣднюю сладкую слезу. Повѣрите ли, друзья мои, что *нынѣшній вечеръ причисляю я къ счастливейшимъ вечерамъ моей жизни? И пусть доказываютъ мнѣ, что изящныя искусства не имѣютъ вліянія на счастье наше!* Нѣтъ, я буду всегда благословлять ихъ дѣйствіе, пока сердце будетъ биться въ груди моей—пока будетъ оно чувствительно!» (72).

Нельзя не обратить здѣсь вниманія на вѣрное понятіе о существѣ драммы, объ отношеніяхъ авторовъ къ актерамъ: какъ опередилъ Карамзинъ свое время! Теперь только что начинаютъ распространяться эти понятія, да и то, съ какимъ трудомъ, послѣ какихъ усилій и опытовъ!

(Сравните письма изъ Ліона и Парижа.)

«Въ Потсдамѣсть Русская церковь подъ надзираніемъ стараго Русскаго солдата, который живетъ тамъ современъ царствованія Императрицы Анны. Мы насилу могли сыскать его. Дряхлый старикъ сидѣлъ на большихъ креслахъ, и слыша, что мы Русскіе, протянулъ къ намъ руки, и дрожащимъ голосомъ сказалъ: Слава Богу! Слава Богу! Онъ хотѣлъ сперва говорить съ нами по Русски; но мы съ трудомъ могли разумѣть другъ друга. Намъ надлежало повторять почти каждое слово; а что мы съ товарищемъ между собою говорили, того онъ никакъ не понималъ, и даже не хотѣлъ вѣрить, чтобы мы говорили по Русски. Видно, что у насъ на Руси языкъ очень перемѣнился, сказалъ онъ; или я, можетъ быть, забываю его. И то и другое правда, отвѣчали мы. Пойдемте въ церковь Божію, сказалъ онъ, и помолимся вмѣстѣ, хотя нынѣ и нѣтъ праздника». Старикъ насилу могъ передвигать ноги. Сердце мое наполнилось благоговѣніемъ, когда отворилась дверь въ церковь, гдѣ столько времени царствуетъ глубокое молчаніе, едва перерываемое слабыми вздохами и тихимъ голосомъ молящагося старца, который по Воскресеньямъ приходитъ туда читать *святѣйшую изъ книгъ, приотворяющую ея къ блаженной вѣчности.*»

«*Июля 5...* былъ я у старика *Рамлера*, Нѣмецкаго Горація. Самый почтенный Нѣмецъ! *Ваши сочиненія*, сказалъ я ему, *почитаются у насъ классическими.* Ему пріятно было слышать, что и въ Россіи читаютъ его стихи и знаютъ ихъ цѣну. Рамлеръ напитался духомъ древнихъ, а особливо Латинскихъ поэтовъ. Въ одахъ его есть истинные восторги, высокое пареніе мыслей и языкъ вдохновенія. Только иногда присвоиваетъ онъ себѣ и чужіе восторги, и заимствуетъ огонь у Горація или другихъ древнихъ поэтовъ—правда, всегда искуснымъ образомъ. Теперь онъ уже прожилъ вѣкъ поэзи. Въ новыхъ его пѣсахъ надобно

удивляться круглости, чистотѣ и гармоніи, то есть искусству его въ механизмѣ стихотворства; но въ нихъ нѣтъ уже питического жара, который всегда съ лѣтами проходитъ. Главное его упражненіе съ нѣкотораго времени состоитъ въ переводахъ Римскихъ поэтовъ, въ которыхъ почти всегда соблюдаетъ мѣру оригинала. Сія піеса могутъ служить *примѣромъ въ искусствѣ переводить.*»

Узнавъ отъ Рамлера, что онъ читаетъ стихи одной пріятельницѣ, Карамзинъ замѣчаетъ: «мнѣ пришла на мысль Аспазія, которой Аѳинскіе пѣвцы отдавали на судъ свои творенія; ушамъ ея вѣрили они болѣе, нежели своимъ, и я думаю, что женщины вообще могутъ чувствовать нѣкоторыя красоты поэзіи живые мужчины*.»

«Славный Элюфъ утверждалъ, что актеру не надобно чувствовать для того, чтобы хорошо играть; если не ошибаюсь, тои Этельвъ своей мимикѣ тоже говоритъ: но Рамлеръ думаетъ противное, и кажется, справедливѣе ихъ.» (82)

Въ Берлинѣ Карамзинъ видѣлъ еще представленіе Донъ Карлоса, только что написаннаго Шиллеромъ.

«Сія трагедія есть одна изъ лучшихъ нѣмецкихъ драматическихкихъ піесъ, и вообще прекрасна. Авторъ пишетъ въ Шекспировомъ духѣ. Есть только слишкомъ фигурныя выраженія, (*такъ какъ и усамаю Шекспира*), которыя хотя и показываютъ остроуміе автора, однакожь въ драмѣ *не у мѣста.*»

«Веди меня къ Морицу, сказалъ я нынѣ по утру наемному своему лакею. — А кто этотъ Морицъ? — Кто? Филиппъ Морицъ, авторъ, философъ, педагогъ, психологъ.»

«Я имѣлъ великое почтеніе къ Морицу, прочитавъ его Anton Reiser, весьма любопытную психологическую книгу, въ которой описываетъ онъ собственные свои приключенія,

* Пусть читатели припомнятъ это мѣсто, когда будутъ читать неже посвященіе Карамзина Аглаи.

мысли, чувства, и развитіе душевныхъ своихъ способностей. Confessions de Rousseau, Stillings Iugendgeschichte u Anton Reiser *предпочитаю я всѣмъ систематическимъ психологіямъ въ свѣтъ*».

«Я представлялъ себѣ Морица—не знаю, почему—старикомъ; но какже удивился, нашедши въ немъ еще молодого человека, лѣтъ въ тридцать, съ румянымъ свѣжимъ лицомъ!—Выше такъ молоды, сказалъ я, а успѣли уже написать столько прекраснаго! Онъ улыбнулся. Я пробылъ у него часъ, въ который мы перебрали довольно разныхъ матерій».

«Онъ спрашивалъ меня о нашемъ языкѣ, о нашей литературѣ. Я долженъ былъ прочесть ему нѣсколько стиховъ разной мѣры, которыхъ гармонія казалась ему довольно приятною. Можетъ быть придетъ такое время, сказалъ онъ, въ которое мы будемъ учиться и Русскому языку; но для этого надобно вамъ написать что нибудь превосходное. *Тутъ невольный вздохъ вылетѣлъ у меня изъ сердца*» (85).

Замѣтимъ, почтимъ этотъ вздохъ! Карамзинъ желалъ въ эту минуту успѣха Русской Словесности, но вѣрно не думалъ, не надѣялся, что исполнить самъ это желаніе съ такою славою и пользою для своихъ соотечественниковъ!

10 Июля, изъ Дрездена. «И такъ вашъ другъ уже въ Саксоніи! — Осьмага числа отправилъ я къ вамъ свой пакетъ изъ Берлина, и думалъ еще пробыть тамъ по крайней мѣрѣ недѣлю; но l'homme propose, Dieu dispose. Въ тотъ же вечеръ *стало мнѣ такъ грустно, что я не зналъ, куда дѣваться*. Бродилъ по городу, нахлобучивъ себѣ на глаза шляпу, и тростью своею считалъ на мостовой камни; но грусть въ сердцѣ моемъ не утихала. Прошелъ въ звѣринецъ, переходилъ изъ алеи въ алею, но мнѣ все было грустно. Что же дѣлать? спросилъ я самъ у себя, останавливаясь въ концѣ длинной липовой алеи, приподнявъ шляпу,

и взглянувъ на солнце, которое въ тихомъ великолѣпнѣмъ сіяло на западѣ. Минуты двѣ искалъ я отвѣта на лазеромъ небѣ и въ душѣ своей; въ третью *нашелъ его* — сказалъ: поѣдемъ далѣе! и тростью своею провелъ на песокѣ длинную змѣйку, подобную той, которую въ Тристрамѣ Шанди начертилъ Капралъ Тримъ, говоря о пріятностяхъ свободы. Чувства наши были конечно сходны. Такъ, добродушный Тримъ! *Nothing can be so sweet as liberty,** думалъ я, возвращаясь скорыми шагами въ городъ; и кто еще не запертъ въ клѣтку — кто можетъ, подобно птичкамъ небеснымъ, быть здѣсь и тамъ, тамъ и здѣсь — тотъ можетъ наслаждаться бытіемъ своимъ, и можетъ быть счастливъ, и долженъ быть счастливъ.» (90)

Сужденіе Карамзина объ нѣкоторыхъ картинахъ въ Дрезденской галлерей доказываютъ его природный *вкусъ*.

Юля 12. «Нынѣ по утру вошелъ я въ придворную католическую церковь во время обѣдни. Великолѣпіе храма, — громкое и пріятное пѣніе, сопровождаемое согласными звуками органа, — благоговѣніе молящихся, — къ небу воздѣтыя руки священниковъ — все сіе вмѣстѣ произвело во мнѣ нѣкоторый восхитительный трепеть. Мнѣ казалось, что я вступилъ въ міръ ангельскій, и слышу гласы блаженныхъ духовъ, славословящихъ Неизреченнаго. Ноги мои подогнулись; *я сталъ на кольни и молился отъ всею сердца.*» (106).

«Пошелъ одинъ гулять за городъ, въ такъ называемый *большой садъ*. Длинная алея вывела меня на обширный зеленый лугъ. Тутъ на лѣвой сторонѣ представилась мнѣ Эльба и цѣпь высокихъ холмовъ, покрытыхъ лѣскомъ, изъ-за котораго выставляются кровли разсѣянныхъ домовъ и шпицы башенъ. На правой сторонѣ поля, обогащенные плодами; вездѣ вокругъ меня разстились зе-

* Т. е. ничего не можетъ быть пріятнѣе свободы.

зеленые ковры, усыянные цвѣтами. Вечернее солнце кроткими лучами своими освѣщало сію прекрасную картину. Я смотрѣлъ и наслаждался; смотрѣлъ, радовался и даже *плакалъ*: что обыкновенно бываетъ, когда сердцу моему *очень, очень весело!*... Едва ли когда нибудь чувствовалъ такъ живо, что мы созданы наслаждаться и быть счастливыми; и едва ли когда нибудь въ сердце своемъ былъ я такъ добръ и такъ благодаренъ противъ моего Творца, какъ въ сіи минуты. *Мнѣ казалось, что слезы мои льются отъ живой любви къ самой Любви, и что онѣ должны смыть нѣкоторые черныя пятна въ книгѣ жизни моей.*»

«А вы, цвѣтущіе берега Эльбы, зеленые лѣса и холмы! вы будете благословляемы мною и тогда, когда, возвратясь въ сѣверное, отдаленное отечество мое, въ часы уединенія, буду вспоминать прошедшее!» (107).*

Спутникъ его, по дорогѣ изъ Мейсена въ Лейпцигъ, заговорилъ съ нимъ о Мендельзоновомъ «Федонѣ, о душѣ и тѣлѣ. Федонъ, сказалъ онъ, есть можетъ быть самое остроумнѣйшее философическое сочиненіе; однакожъ всѣ доказательства безсмертія нашего основываетъ авторъ на одной гипотезѣ. Много вѣроятности, но нѣтъ увѣренія; и едва ли не тщетно будемъ искать его въ твореніяхъ древнихъ и новыхъ философовъ? — *Надобно искать его въ сердце, сказалъ я.* (Прибавимъ: глубокая истина, дѣлающая честь смыслу молодого Карамзина) — «О! государь мой! возразилъ студентъ: *сердечное* увѣреніе не есть еще *философическое* увѣреніе; оно не надежно; теперь чувствуете его, а черезъ минуту оно из-

*В. Л. Пушкинъ въ письмѣ Русскаго путешественника къ Карамзину изъ Берлина, отъ 28 Іюня 1803, помѣщенномъ въ Вѣстникѣ Европы, № 13, с. 112, пишетъ: «я гулялъ (въ паркѣ) и провелъ цѣлый вечеръ съ нашимъ священникомъ, Иваномъ Борисовичемъ Чудовскимъ. Онъ съ удовольствіемъ вспоминаетъ объ васъ, и сказывалъ мнѣ, что вы у него пили чай въ Дрезденѣ.»

чезнетъ, и вы не найдете его мѣста. Надобно, чтобы увѣреніе основывалось на доказательствахъ, доказательства на тѣхъ врожденныхъ понятіяхъ чистаго разума, въ которыхъ заключаются всѣ вѣчныя, необходимыя истины... Сего-то увѣренія ищетъ метафизикъ въ уединенныхъ сѣняхъ, во мракъ ночи, при слабомъ свѣтѣ лампы, забывая сонъ и отдохновеніе.—Ежели бы могли мы узнатьъ точно, что такое есть душа сама въ себѣ, то намъ все бы открылось; но— Тутъ вынулъ я изъ записной книжки своей одно письмо добраго Лафатера и прочиталъ студенту слѣдующее: Глазъ, по своему образованію, не можетъ смотрѣть на себя безъ зеркала. Мы созерцаемся только въ другихъ предметахъ. Чувство бытія, личность, душа — все сіе существуетъ единственно потому, что внѣ насъ существуетъ, — по феноменамъ или явленіямъ, которыя до насъ касаются.» (110).

Бесѣда прервалась.

Въ Лейпцигѣ Барамзинъ посвятилъ нѣсколько трогательныхъ строкъ воспоминанію о *Геллертѣ*, доставлявшемъ ему много удовольствія въ дѣтствѣ.

...«Я пошелъ изъ саду въ церковь Св. Іоанна, гдѣ поставленъ Геллерту учениками и друзьями его... памятникъ, представляющій религію, которая изъ металла вылитый и лаврами увѣнчанный образъ его подаетъ добродѣтели (прекрасная мысль!). Обѣ статуи сдѣланы изъ бѣлаго мрамора. Внизу имя его и слѣдующая надпись, сочиненная другомъ его Гейне: «сему учителю и примѣру добродѣтели и религіи посвятило сей памятникъ общество друзей его и современниковъ, бывшихъ свидѣтелями его достоинствъ». — *Пріятно, воспитательно, для всякаго чувствительнаго сердца* видѣть такія надписи, и знать, что не лесть, а истина начертала ихъ. Всѣ знавшіе покойнаго Геллерта, единогласно называли его мужемъ добродѣтельнымъ. Жизнь его была сильнѣйшимъ *опроверже-*

нѣмъ мнѣнія тѣхъ людей, которые, находя порокъ во всякомъ уголкѣ сердца человѣческаго, считаютъ добродѣтель за одно пустое имя, — и тѣхъ, которые утверждаютъ, что религія не дѣлаетъ людей лучшими. Всѣмъ, что есть во мнѣ добраго—говаривалъ покойникъ тысячу разъ друзьямъ своимъ—всѣмъ обязанъ я христіанству.— Описаніе его жизни заключается сими словами: «не вѣрно то удивленіе и безсмертіе, котораго ожидать могутъ произведенія творческаго духа, ибо вкусъ народовъ перемѣняется со временемъ; но честь его нравственнаго характера нетлѣнна и не преходяща, подобно религіи и добродѣтели, которыхъ вѣкъ есть—вѣчность!»

Трактирщикъ позвалъ ужинать Карамзина, погруженнаго въ эти размышленія.

«Нѣтъ, Г. Мемель», восклицаетъ онъ, «я не пойду ужинать. Сяду подъ окномъ, буду читать Вейсееву элегію на смерть Геллерта, Крамерову и Денисову оду; буду читать, чувствовать и — можетъ быть плакать. Нынѣшній вечеръ посвящу памяти добродѣтельнаго. Онъ здѣсь жилъ и училъ добродѣтели!» (120).

Нѣсколько разъ Карамзинъ видѣлся съ *Платнеромъ*, слушалъ его лекціи и бесѣдовалъ съ нимъ. Хотѣлъ просить у него объясненія на нѣкоторыя мѣста изъ его *Афоризмовъ* (слѣдовательно имъ прочтенныхъ).

«Какой или какимъ наукамъ вы особенно себя посвятили? спросилъ онъ. Изящнымъ, отвѣчалъ я, и покраснѣлся, — знаю, отъ чего—можетъ быть и вы, друзья мои, знаете.» (119).

Въ Лейпцигѣ Карамзинъ посѣтилъ еще *Вейсе*. «Любимецъ драматической и лирической музыки — другъ добродѣтели и всѣхъ добрыхъ — другъ дѣтей, который ученіемъ и примѣромъ своимъ распространилъ въ Германіи правила хорошаго воспитанія.»

Карамзинъ сказалъ ему, что разныя піесы его *Друа дльтеи* переведены на Русскій, и нѣкоторыя самимъ Карамзинымъ. *Вейсе* тагъ простился съ нимъ:

«Путешествуйте счастливо и наслаждайтесь всѣмъ, что можетъ принести удовольствіе чистому сердцу!—А вы наслаждайтесь яснымъ вечеромъ своей жизни! сказалъ я, вспомнивъ Ла-Фонтеновъ стихъ: *sa fin* (т. е. конецъ мудраго) *est le soir d'un beau jour*, и пошелъ отъ него, будучи совершенно доволенъ въ своемъ сердцѣ. *Одинъ взглядъ на добраго есть счастье для того, въ комъ не закрубыло чувство добра.*»

Пріѣхавъ въ Веймаръ, Карамзинъ спросилъ съ нетерпѣніемъ на заставѣ у сержанта: «Здѣсь ли Виландъ? Здѣсь ли Гердеръ? Здѣсь ли Гете?» Здѣсь, здѣсь, здѣсь, отвѣчалъ тотъ.

«Наемный слуга немедленно былъ отправленъ мною къ Виланду, спросить, дома ли онъ? *Нѣтъ, онъ во дворцѣ.*—Дома ли Гердеръ? *Нѣтъ, онъ во дворцѣ.*—Дома ли Гете? *Нѣтъ, онъ во дворцѣ.*» (139).

«Узнавъ, что *Гердеръ* наконецъ дома, пошелъ я къ нему. У него одна мысль, сказалъ объ немъ какой-то Нѣмецкій авторъ, и сія мысль есть цѣлый міръ. Я читалъ его *Urkunde des menschlichen Geschlechts*, читалъ, многого не понималъ; но что понималъ, то находилъ прекраснымъ. Въ какихъ картинахъ изображаетъ онъ твореніе! Какое восточное великолѣпіе! Я читалъ его *Бога*, одно изъ новѣйшихъ сочиненій, въ которомъ онъ доказываетъ, что Спиноза былъ глубокомысленный философъ и ревностный читатель Божества, отъ пантеизма и атеизма равно удаленный, и по сему поводу сообщаетъ собственныя свои мысли о Божествѣ и твореніи, прекрасныя, утѣшительныя для человѣка мысли. *Чтеніе сей маленькой книжки усладило нѣсколько часовъ въ моей жизни.* Я выписалъ изъ нее многія мѣста, которыя мнѣ отиѣнно полюбились. Постойте—не найду ли чего нибудь въ записной книжкѣ

своей?... Нашелъ одно мѣсто, которое, можетъ быть, и вамъ понравится — и для того вволю его въ свое письмо. Авторъ говоритъ о смерти: «Взглянемъ на лилію въ полѣ; она вливаетъ въ себя воздухъ, свѣтъ, всѣ стихіи — и соединяетъ ихъ съ существомъ своимъ, для того, чтобы расти, накопить жизненнаго соку и разцвѣсть; цвѣтеть и потомъ исчезаетъ. Всю силу, любовь и жизнь свою истощила она на то, чтобы сдѣлаться матерью, оставить по себѣ образы свои и размножить свое бытіе. Теперь исчезло явленіе лиліи; она истлѣла въ неутонимомъ служеніи натуры; готовилась къ разрушенію съ начала жизни. Но что разрушилось въ ней, кромѣ явленія, которое не могло быть далѣе, которое, — достигнувъ до высочайшей степени, заключавшей въ себѣ видъ и мѣру красоты ея, — назадъ обратилось? и не съ тѣмъ, чтобы, лишась жизни, уступить мѣсто юнѣйшимъ живымъ явленіямъ — себѣ было бы для насъ весьма печальнымъ символомъ — нѣтъ! напротивъ того, она, какъ живая, со всею радостію бытія произвела бытіе ихъ, и въ зародышѣ любезнаго вида предала его вѣчноцвѣтущему саду времени, въ которомъ и сама цвѣтеть. Ибо лилія не погибла съ симъ явленіемъ; сила корня ея существуетъ; она вновь пробудится отъ зимняго сна своего, и возстанетъ въ новой весенней красотѣ, подлѣ милыхъ дочерей бытія своего, которыя стали ея подругами и сестрами. И такъ, нѣтъ смерти въ твореніи; или смерть есть не что иное, какъ удаленіе того, что не можетъ быть долѣе, т. е. дѣйствіе вѣчноюной, неутонимой силы, которая по своему свойству не можетъ ни минуты быть праздною или покоиться. По изящному закону премудрости и благости, все въ быстрѣйшемъ теченіи стремится къ новой силѣ юности и красоты — стремится, и всякую минуту превращается.» Въ семъ сочиненіи все ясно и понятно и согласно. Тутъ не бурнопламенное воображеніе юноши кружится на высотахъ и свер-

еаетъ во мракѣ, подобно ночному метеору, блестящему и въ минуту исчезающему: но мысль мудраго мужа, разумомъ освѣщаемая, тихо несется на легкихъ крыльяхъ вѣющаго зефира — несется ко храму вѣчной истины, и свѣтлою струею свой путь означаетъ. Я читалъ его еще *Парамвию**, нѣжныя произведенія цвѣтущей фантазій, которыя дышатъ Греческимъ духомъ и прекрасны какъ утренняя роза.»

Гердеръ, Гете и подобные имъ, присвоившіе себѣ духъ древнихъ Грековъ, умѣли и языкъ свой сблизить съ Греческимъ и сдѣлать его самымъ богатымъ и для поэзіи удобнѣйшимъ языкомъ; и потому ни Французы, ни Англичане, не имѣютъ такихъ хорошихъ переводовъ съ Греческаго, какими обогатили нынѣ Нѣмцы свою литературу. Гомеръ у нихъ Гомеръ: та же неискusstvenная, благородная простота въ языкѣ, которая была душою древнихъ временъ, когда царевны ходили по воду и цари знали счетъ своимъ баранамъ» (142).

«Пріятно, милые друзья мои, видѣть наконецъ того человѣка, который былъ намъ прежде столько извѣстенъ и дорогъ по своимъ сочиненіямъ, котораго мы такъ часто себѣ воображали или вообразить старались. Теперь, мнѣ кажется, я еще съ бѣльшимъ удовольствіемъ буду читать произведенія Гердерова ума, вспоминая видъ и голосъ автора.» (148).

Гердеръ, услыша отъ Карамзина, что онъ любитъ Нѣмецкихъ поэтовъ, спросилъ, кого изъ нихъ предпочитаетъ всѣмъ другимъ? «Сей вопросъ привелъ меня въ затрудненіе. Блопштока, отвѣчалъ я запинаясь, почитаю самымъ *выспреннимъ* изъ пѣвцовъ Германскихъ» (142).

Виландъ встрѣтилъ Карамзина не такъ привѣтливо. Передадимъ разговоръ ихъ, доказывающій *находчивость*,

* Т. е. Отдохновенія. Сямъ именемъ называютъ еще и нынѣшніе Греки свои забавныя краткія повѣсти.

жестокость и любезность Карамзина. Замѣтивъ, что Виландъ не хочетъ удерживать его долго въ своемъ кабинетѣ, (они стояли), Карамзинъ сказалъ: «конечно, я пришелъ не во время?—Нѣтъ отвѣчалъ онъ: впрочемъ по утру мы обыкновенно чѣмъ нибудь занимаемся.—И такъ позвольте мнѣ придти въ другое время; назначьте только часъ. Еще повторяю вамъ, что я пріѣхалъ въ Веймаръ единственно для того, чтобы васъ видѣть». *Виландъ*. Чего вы отъ меня хотите?—*Я*. Ваши сочиненія заставили меня любить васъ, и возбудили во мнѣ желаніе узнать автора лично. Я ничего не хочу отъ васъ, кромѣ того, чтобы вы позволили мнѣ видѣть себя.—*В*. Вы приводите меня въ замѣшательство. Сказать ли вамъ искренно?—*Я*. Скажите.—*В*. Я не люблю новыхъ знакомствъ, а особливо съ такими людьми, которые мнѣ ни по чему неизвѣстны. Я васъ не знаю.—*Я*. Правда; но чего вамъ опасаться?—*В*. Нынѣ въ Германіи вошло въ моду путешествовать и описывать путешествія. Многіе переѣзжаютъ изъ города въ городъ, и стараются говорить съ извѣстными людьми только для того, чтобы послѣ все слышанное отъ нихъ напечатать. Что сказано было между четырехъ глазъ, то выдается въ публику. Я на себя не надеженъ; иногда могу быть слишкомъ откровененъ.—*Я*. Вспомните, что я не Нѣмецъ, и не могу писать для Нѣмецкой публики. Къ тому же вы могли бы обязать меня словомъ честнаго человѣка.—*В*. Но какая польза намъ знакомиться? Положимъ, что мы сойдемся образомъ мыслей и чувствъ: да наконецъ, не надобно ли будетъ намъ разстаться? Вѣдь вы здѣсь не будете жить?—*Я*. Для того, чтобы имѣть удовольствіе васъ видѣть, могу остаться въ Веймарѣ дней десять, и разставшись съ вами, радовался бы тому, что узналъ Виланда—узналъ какъ отца среди семейства, и какъ друга среди друзей.—*В*. Вы очень искренны. Теперь мнѣ должно васъ остерегаться, чтобы вы съ этой стороны не примѣ-

тили во мнѣ чего нибудь дурнаго.—*Я.* Вы шутите.—*В.* Ни мало. Сверхъ того мнѣ бы совѣстно было, есть-ли бы вы точно для меня остались здѣсь жить. Можетъ быть въ другомъ Нѣмецкомъ городѣ, напримѣръ въ Готѣ, было бы вамъ веселѣе.—*Я.* Вы поэтъ, а я люблю поэзію: какъ бы пріятно для меня было, если бы вы дозволили мнѣ хотя часъ провести съ вами въ разговорѣ о плѣнительныхъ красотахъ ея?—*В.* Я не знаю, какъ мнѣ говорить съ вами. Можетъ быть, вы учитель мой въ поэзіи.—*Я.* О! много чести. И такъ мнѣ остается проститься съ вами въ первый и въ послѣдній разъ.—*В.* (посмотрѣвъ на меня, и съ улыбкою). Я не физиогномистъ; однакожь видъ вашъ заставляетъ меня имѣть къ вамъ нѣкоторую довѣренность. Мнѣ нравится ваша искренность; и я вижу еще перваго Русскаго такого, какъ вы. Я видѣлъ вашего Ш.*, остраго человѣка, напитаннаго духомъ этого старика (указывая на бюстъ Вольтеровъ). Обыкновенно ваши единосемцы стараются подражать Французамъ; а вы—*Я.* Благодарю.—*В.* И такъ, еслили вамъ угодно провести со мною часа два-три, то приходите ко мнѣ нынѣ послѣ обѣда въ половинѣ третьяго.—*Я.* Вы хотите быть только снисходительны!—*В.* Хочу имѣть удовольствіе быть съ вами, говорю я, и прошу васъ не думать, чтобы вы одни на свѣтѣ были искренны.—*Я.* Простите!—*В.* Въ третьемъ часу васъ ожидаю.—*Я.* Буду.—Простите!»

«Вотъ вамъ подробное описаніе нашего разговора, который сперва зацѣпилъ заживо *мое самолюбіе*. Окончаніе успокоило меня нѣсколько; однакожь я все еще въ волненіи пришелъ отъ Виланда къ Гердеру, и рѣшился на другой день ѣхать изъ Веймара» (144).

«Гердеръ принялъ меня съ такою же кроткою ласкою, какъ и вчера—съ такою же привѣтливою улыбкою, и съ такимъ же видомъ искренности».

* Шувалова, П. И.?

«Мы говорили объ Италиі, откуда онъ недавно возвратился, и гдѣ остатки древняго искусства были достойнымъ предметомъ его любопытства. *Вдругъ* пришло мнѣ на мысль: что если бы я изъ Швейцаріи пробрался въ Италію, и взглянулъ на Медицейскую Венеру, Бельведерскаго Аполлона, Фарнезскаго Геркулеса, Олимпійскаго Юпитера, взглянулъ бы на величественныя развалины древняго Рима, и вздохнулъ бы о тлѣнности всего подлуннаго? А сія мысль сдѣлала то, что я на минуту совсѣмъ забылся».

«Я признался Гердеру, обративъ разговоръ на его сочиненія, что die Urkunde des menschlichen Geschlechts казалась мнѣ по большей части *непонятною*. Эту книгу сочинялъ я въ молодости, отвѣчалъ онъ, когда воображеніе мое было во всей своей бурной стремительности, и когда оно еще не давало разуму отчета въ путяхъ своихъ.»—

«Духъ вашъ, сказалъ я, прощаясь съ нимъ, извѣстенъ мнѣ по вашимъ твореніямъ; но мнѣ хотѣлось имѣть вашъ образъ въ душѣ моей, и для того и пришелъ къ вамъ—теперь видѣлъ васъ, и доволенъ.»

Пришедши къ Виланду въ другой разъ по назначенію, Барамзинъ сказалъ:

«Простите, если давешнее мое носѣщеніе было для васъ не совсѣмъ пріятно. Надѣюсь, что вы не сочтете наглостію того, что было дѣйствіемъ энтузіазма, произведеннаго во мнѣ вашими прекрасными сочиненіями.—Вы не имѣете нужды извиняться, отвѣчалъ онъ: я радъ, что этотъ жаръ къ поэзіи такъ далеко распространяется, тогда какъ онъ въ Германіи пропадаетъ.—Тутъ сѣли мы на канapé. Начался разговоръ, который минута отъ минуты становился живѣе и для меня занимательнѣе. Говоря о любви своей къ поэзіи, сказалъ онъ: «Если бы судьба опредѣлила мнѣ жить на пустомъ островѣ, то я написалъ бы все то же, и съ такимъ же стараніемъ выработывалъ бы свои произведенія, думая, что музы слушаютъ мои пѣсни.»

Онъ желалъ знать, пишу ли я? и не переведено ли что нибудь изъ моихъ бездѣлокъ на Нѣмецкій? Я сыскалъ въ записной своей книжкѣ переводъ *печальной весны*. Прочитавъ его, сказалъ онъ: жалѣю, если вы часто бываете въ такомъ расположеніи, какое здѣсь описано. Скажите,—потому что теперь вы вселили въ меня желаніе узнать васъ короче—скажите, что у васъ въ виду? *Тихая жизнь*, отвѣчалъ я. Окончивъ свое путешествіе, которое предпринялъ единственно для того, чтобы собрать пѣкаторыя пріятныя впечатлѣнія, и обогатить свое воображеніе новыми идеями, буду жить въ мирѣ съ природою и съ добрыми, любить изящное и наслаждаться имъ.—Кто любить музъ и любимъ ими, сказалъ Виландъ, тотъ въ самомъ уединеніи не будетъ пруденъ, и всегда найдетъ для себя пріятное дѣло. Онъ носить въ себѣ источникъ удовольствія, творческую силу свою, которая дѣлаетъ его счастливымъ.»

Карамзинъ, разумѣется, спросилъ и Виланда о вопросахъ, его тревожившихъ.

«Съ любезною искренностію открывалъ мнѣ Виландъ мысли свои о нѣкоторыхъ важнѣйшихъ для человечества предметахъ. Онъ ничего не отвергаетъ, но только полагаетъ различіе между чаяніемъ и увѣреніемъ. Его можно назвать енептикомъ, но только въ хорошемъ значеніи сего слова». (150)

Съ Гете Карамзину не случилось познакомиться, потому что тотъ въ это время отлучился изъ Веймара.

Изъ Веймара чрезъ Эрфуртъ, Готу, Франкфуртъ на Майнѣ, Маинцъ, Мангеймъ, Стразбургъ, пріѣхалъ Карамзинъ въ Базель, въ Швейцарію. Вотъ какъ описываетъ онъ ее:

«И такъ я уже въ Швейцаріи, въ странѣ живописной природы въ землѣ свободы и благополучія! Кажется, что здѣшній воздухъ имѣетъ въ себѣ нѣчто оживляющее:

дыханіе мое стало легче и свободнѣе, станъ мой распря-
нулся, голова моя сама собою подымается вверхъ, и я
съ гордостію помышляю о *своемъ человечествѣ*. (192)

«*Какія мѣста! Какія мѣста! Отъѣхавъ отъ Базеля версты двѣ, я выскочилъ изъ кареты, упалъ на цвѣтушій берегъ зеленого Рейна, и готовъ былъ въ восторгѣ цѣловать землю. Счастливые Швейцары! всякій ли день, всякій ли часъ благодарите вы небо за свое счастье, живучи въ объятіяхъ прелестной природы, подъ благодѣтельными законами братскаго союза, въ простотѣ нравовъ, и служа одному Богу? Вся жизнь ваша есть конечно пріятное сновидѣніе, и самая роковая стрѣла должна кротко влетать въ грудь вашу, не возмущаемую тиранскими страстями! — Такъ, друзья мои! я думаю, что *ужасъ смерти бываетъ слѣдствіемъ нашею уклоненія отъ путей природы*. Думаю, и на сей разъ увѣренъ, что онъ не есть врожденное чувство нашего сердца. Ахъ! если бы теперь, въ самую сію минуту, надлежало мнѣ умереть, то я со слезою любви упалъ бы во всеобъемлющее лоно природы, съ полнымъ увѣреніемъ, что она зоветъ меня къ новому счастью; что измѣненіе существа моего есть возвышеніе красоты, переиначеніе изящнаго на лучшее. И всегда, милые друзья мои, всегда, когда я духомъ своимъ возвращаюсь въ первоначальную простоту природы человѣческой — когда сердце мое отверзается впечатлѣніямъ красотъ природы — чувствую я тоже, и не нахожу въ смерти ничего страшнаго. Высочайшая благость не была бы высочайшею благостію, если бы она съ которой нибудь стороны не усладила для насъ всѣхъ необходимостей — и съ сей-то услажденной стороны должны мы прикасаться къ нимъ устами нашими! — *Прости мнѣ, мудрое Провидѣніе, если я когда нибудь, какъ буйный младенецъ, проливая слезы досады, ропталъ на жребій человѣка! Теперь, погружаясь въ чувство твоей благости, лобызая невидимую руку твою, меня ведущую!*» (203)*

«Съ отрицательнымъ удовольствіемъ подъѣзжалъ я къ Цириху; съ отрицательнымъ удовольствіемъ смотрѣлъ на его пріятное мѣстоположеніе, на ясное небо, на веселыя окрестности, на свѣтлое, зеркальное озеро, и на красные его берега, гдѣ нѣжный *Геснеръ* рвалъ цвѣты для украшенія пастуховъ и пастушекъ своихъ, гдѣ душа безсмертнаго *Клопштока* наполнялась великими идеями о священной любви къ отечеству, которыя послѣ съ дикимъ величіемъ излились въ его *Германъ*; гдѣ *Бодмеръ* собиралъ черты для картинъ своей Ноахиды, и питался духомъ временъ патріаршихъ; гдѣ *Виландъ* и *Гете* въ сладостномъ упоеніи обнимались съ музами, и мечтали для потомства; гдѣ *Фридрихъ Штолбергъ*, сквозь туманъ двадцати девяти вѣковъ, видѣлъ въ духѣ своемъ древнѣйшаго изъ творцевъ Греческихъ, пѣвца боговъ и героевъ, сѣдаго старца Гомера, лаврами увѣнчаннаго, и пѣснями своими восхищающаго Греческое юношество, видѣлъ, внималъ, и въ вѣрномъ отзывѣ повторялъ пѣсни его на языкѣ Тевтоновъ; гдѣ нашъ Ленцъ бродилъ съ любовною своею грустію, и всякой цвѣточикъ со вздохомъ посвящалъ Веймарской своей богинѣ.» (210).

«Послѣ обѣда пойду — нужно ли сказывать, къ кому?»

«Въ 9 часовъ вечера. Вошедши въ сѣни, я позвонилъ въ колокольчикъ, и черезъ минуту показался сухой, высокій, блѣдный человекъ, въ которомъ мнѣ не трудно было узнать — *Лафатера*. Онъ ввелъ меня въ свой кабинетъ, и услышавъ, что я тотъ Москвитянинъ, который выманилъ у него нѣсколько писемъ, поцѣловался со мною — поздравилъ меня съ пріѣздомъ въ Цирихъ — сдѣлалъ мнѣ два или три вопроса о моемъ путешествіи — и сказалъ: приходите ко мнѣ въ шесть часовъ; теперь я еще не кончилъ своего дѣла. Или останьтесь въ моемъ кабинетѣ, гдѣ можете читать и разсматривать, что вамъ угодно. Будьте здѣсь какъ дома. — Тутъ онъ показалъ мнѣ въ

своемъ шкапѣ нѣсколько фоліантовъ, съ надписью: *Физиогномическій Кабинетъ*, и ушелъ. Я постоялъ, подумалъ, сѣлъ и началъ разбирать физиогномическіе рисунки. Между тѣмъ признаюсь вамъ, друзья мои, что сдѣланный мнѣ приемъ оставилъ во мнѣ не совсѣмъ пріятныя впечатлѣнія. *Ужели я надѣялся, что со мной обойдутся дружески, и, услышавъ мое имя, окажутъ болѣе ласковаго удивленія? Но на чемъ же основалась такая надежда? Друзья мои! не требуйте отъ меня отвѣта, или вы приведете меня въ краску. Улыбнитесь про себя на счетъ вѣтреннаго, безразсуднаго самолюбія человѣческаго, и предайте забвенію слабость вашего друга.»*

Прекрасныя черты, доказывающія своею искренностію все добродушіе, простосердечіе Барамзина. —

«Лафатеръ раза три приходилъ опять въ кабинетъ, запрещалъ мнѣ вставать со стула, бралъ книгу, или бумагу, и опять уходилъ назадъ. Наконецъ вошелъ онъ съ веселымъ видомъ, взялъ меня за руку и повелъ — въ собраніе цюрихскихъ ученыхъ, къ профессору Брейтингеру, гдѣ рекомендовалъ меня хозяину и гостямъ, какъ своего пріятели. Небольшой человекъ съ пронзительнымъ взоромъ, — у котораго Лафатеръ пожалъ руку сильнѣе, нежели у другихъ, — обратилъ на себя мое вниманіе. Это былъ Пфеннингеръ, издатель Христіанскаго магазина и Лафатеровъ другъ. — При первомъ взглядѣ показалось мнѣ, что онъ очень похожъ на Семена Ивановича Гамалея, и хотя, рассматривая лицо его по частямъ, увидѣлъ я, что глаза у него другіе, лобъ другой, и все, все другое; однакожъ первое впечатлѣніе осталось, и мнѣ никакъ не можно было разувѣрить себя въ семъ сходствѣ. Наконецъ я положилъ, что хотя и нѣтъ между ими сходства въ наружной формѣ частей лица, однакожъ оно должно быть во внутренней структурѣ мускуловъ!! Вы знаете, друзья мои, что я еще и въ Москвѣ любилъ заниматься

разсматриваніемъ лицъ человѣческихъ, искать сходства тамъ, гдѣ другіе его не находили, и проч. и проч., а теперь, будучи обвѣянъ воздухомъ того города, который можно назвать колыбелію новой Физіогноміи, Метопоскопіи, Хиромантіи, Подоскопіи — теперь и вы бойтесь мнѣ на глаза показаться!» (212).

«Пришедши въ свою комнату, почувствовалъ я великую грусть; и чтобы не дать ей усилиться въ моемъ сердцѣ, сѣлъ писать къ вамъ, любезные, милые друзья мои! Для того, чтобы *узнать всю привязанность нашу къ отечеству, надобно изъ него выпхать; чтобы узнать всю любовь нашу къ друзьямъ, надобно съ ними разстаться.* Какая пріятная, тихая мелодія нѣжно потрясаетъ нервы моего слуха! Я слышу пѣніе; оно несется изъ оконъ соседняго дома. Это голосъ юноши — и вотъ слова пѣсни.»

Приведемъ ее здѣсь сполна: кажется, это есть сочиненіе самого Карамзина?

«Отечество мое! любовью къ тебѣ горитъ вся кровь моя; для пользы твоя готовъ ее пролить; умру твоимъ нѣжнѣйшимъ сыномъ.

Отечество мое! ты все — въ себѣ вмѣщаешь, чѣмъ смертный можетъ наслаждаться въ невинности своей. Въ тебѣ прекрасенъ видъ природы; въ тебѣ цѣлителенъ и ясенъ воздухъ; въ тебѣ земныя блага рѣдкою полною льются.

Отечество мое! любовью къ тебѣ горитъ вся кровь моя; для пользы твоя готовъ ее пролить; умру твоимъ нѣжнѣйшимъ сыномъ.

Мы всѣ живемъ въ союзѣ братскомъ; другъ друга любимъ, не боимся, и чтимъ того, кто добръ и мудръ. Не знаемъ роскоши, которая свободныхъ въ рабовъ, въ тирановъ превращаетъ. На что намъ блескъ искусства, когда природа здѣсь сіяетъ во всей своей красѣ — когда мы изъ груди ея піемъ блаженство и восторгъ?

Отечество мое! любовію къ тебѣ горитъ вся кровь моя; для пользы твоея готовъ ее пролить; умру твоимъ нѣжнѣйшимъ сыномъ.» (216).

Лафатеръ водилъ однажды Карамзина обѣдать за городъ.

«Со всѣхъ сторонъ представлялись намъ дикіе виды горъ, полагавшихъ тѣсныя предѣлы нашему зрѣнію. — Если ннѣ когда нибудь наскучитъ свѣтъ; если сердце мое когда нибудь умретъ всѣмъ радостямъ общежитія; если уже не будетъ для него ни одного сочувствующаго сердца: то я удалюсь въ эту пустыню, которую сама натура оградила высокими стѣнами, неприступными для пороковъ, и гдѣ все, все забыть можно, *все, кромѣ Бога и природы*» (221).

Сообщая замѣчаніе Пфеннингера, что Лафатеръ давно уже поставилъ себѣ за правило не читать тѣхъ сочиненій, въ которыхъ объ немъ пишутъ, и такимъ образомъ ни хвала, ни хула, до него не доходитъ, Карамзинъ заключаетъ: «Человѣкъ, который, поступая согласно съ своею совѣстію, *не смотритъ на то, что думаютъ объ немъ другіе люди*, есть для меня великій человѣкъ». (232). (Мы увидимъ, что Карамзинъ самъ представилъ намъ такой образецъ.)

Передавая разсказъ Тоблера, переводчика Томсоновыхъ Временъ года, о пребываніи Блопштока въ Швейцаріи, при извѣстіи о томъ, какъ двѣ молодыя дѣвушки пришли въ Цирихъ нарочно, чтобъ видѣть Блопштока, и одна изъ нихъ сказала, взявъ его за руку: «ахъ, читая Блариссу и Мессіаду, я внѣ себя бываю,» Карамзинъ восклицаетъ:

«Друзья мои! вообразите, что *въ эту райскую минуту чувствовало сердце пьснопльца!*» (238).

Замѣтимъ это восклицаніе: оно показываетъ расположеніе, настроеніе Карамзина, оно обнаруживаетъ его внутреннюю тайну: ему желалось быть авторомъ. Онъ будетъ авторомъ — и какимъ!

Разумѣется, онъ предложилъ ему тотчасъ любимый свой вопросъ: «Какая есть всеобщая цѣль бытія нашего, равно достижимая для мудрыхъ и слабоумныхъ?» — Отвѣтъ: Бытіе есть цѣль бытія. — *Чувство* и радость бытія (Daseyns-frohheit) есть цѣль всего, чего мы искать можемъ. Мудрой и слабоумной ищутъ только средствъ наслаждаться бытіемъ своимъ, или чувствовать его, ищутъ того, черезъ что они самихъ себя сильнѣе опутить могутъ. — Всякое *чувство* и всякій *предметъ*, постигаемый которымъ нибудь изъ нашихъ чувствъ, суть прибавленія (Beiträge) нашего самочувствованія (Selbstgeföhles); чѣмъ болѣе самочувствованія, тѣмъ болѣе блаженства. Какъ различны наши организаціи или образованія, такъ же различны и наши потребности — въ *средствахъ и предметахъ*, которые новымъ образомъ даютъ намъ чувствовать наше бытіе, наши силы, нашу жизнь. Мудрый отличается отъ слабоумнаго только средствами самочувствованія. Чѣмъ простѣе, вездѣсущнѣе, всенасладительнѣе, постояннѣе и благодѣтельнѣе есть средство или предметъ, въ которомъ или чрезъ который мы сильнѣе существуемъ, тѣмъ существеннѣе (existenter) мы сами, тѣмъ вѣрнѣе и радостнѣе бытіе наше — тѣмъ мы мудрѣе, свободнѣе, любящѣе (liebender), любимѣе, живущѣе, оживляющѣе, блаженнѣе, человѣчнѣе, божественнѣе, съ цѣлью бытія нашего сообразнѣе. — Изслѣдуйте точно, черезъ что и въ чемъ вы пріятнѣе или тверже существуете? Что вамъ доставляетъ болѣе наслажденія — разумѣется такого, которое никогда не можетъ причинить раскаянія — которое всегда съ спокойствіемъ и внутреннею свободою духа можетъ и должно быть снова желаемо? Чѣмъ достойнѣе и существеннѣе избираемое вами средство, тѣмъ достойнѣе и существеннѣе вы сами; чѣмъ существеннѣе вы дѣлаетесь, то есть, чѣмъ сильнѣе, вѣрнѣе и радостнѣе существованіе ваше — тѣмъ болѣе приближаетесь вы ко всеобщей и особливой цѣли бытія вашего. Отношеніе (Anwendung) и

изслѣдованіе сего положенія (отношеніе и изслѣдованіе есть одно) покажетъ вамъ истину, или (что опять все одно) всеотносимость онаго. Цирихъ, въ четвертокъ въ вечеру, 20 Августа 1789. Іоаннъ Каспаръ Лафатеръ.»

«Каковъ вамъ кажется сей отвѣтъ, друзья мои? Вы конечно не подумаете, чтобы я въ самомъ дѣлѣ надѣялся свѣдать отъ Лафатера цѣль бытія нашего, *мнѣ хотѣлось только узнать, что онъ можетъ о томъ сказать*. Такимъ образомъ всякое утро прихожу къ нему съ какимъ нибудь вопросомъ. Онъ прячетъ мою бумажку въ карманъ, и въ вечеру отдаетъ мнѣ отвѣтъ, на ней же написанный, оставляя у себя копію.»

Карамзинъ купилъ у Лафатера два манускрипта: *сто тайныхъ физиономическихъ правилъ и памятникъ для любезныхъ странниковъ*. (236).

Сообщая извѣстіе объ одномъ сочиненіи Лафатера, которое должно быть открыто чрезъ 50 лѣтъ, Карамзинъ восклицаетъ:

«Девятый—надесять вѣкъ! сколько въ тебѣ откроется такого, что теперь почитается тайною!» (246).

Карамзинъ, при всемъ своемъ почтеніи и привязанности къ Лафатеру, остался недоволенъ слышанною его проповѣдью:

«Если онъ говоритъ все такія проповѣди, какую я нынѣ слышалъ, то ихъ сочинять не трудно. *Спаситель снялъ съ насъ бремя грѣховъ: и такъ будемъ благодарить Его*—сіи мысли, выраженные различнымъ образомъ, составляли содержаніе всего поученія. Одни восклицанія, одна декламація, и болѣе ничего! Признаюсь, что я ожидалъ чего нибудь лучшаго. Вы скажете, что съ народомъ такъ говорить надобно; но Лаврентій Стернь говорилъ съ народомъ, говорилъ просто, и трогалъ сердце—мое и ваше. Видь, съ какимъ проповѣдуетъ Лафатеръ, мнѣ полюбился». (249).

26-го Августа Карамзинъ простился съ Лафатеромъ. (Въ Цирихѣ пробылъ онъ больше двухъ недѣль). Въ этотъ день онъ посвятилъ еще нѣсколько строкъ любезному своему Геснеру.

«Въ послѣдній разъ ходилъ по берегу Лимматы—и шумное теченіе сей рѣки никогда не приводило меня въ такую меланхолію, какъ нынѣ. Я сѣлъ на лавкѣ подь высокою липою, противъ самаго того мѣста, гдѣ скоро поставленъ будетъ монументъ Геснеру. Томъ его сочиненій былъ у меня въ карманѣ (*какъ пріятно читать здѣсь всѣ его несравненныя идилліи и поэмы, читать въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ сочинялъ ихъ!*)—я вынулъ его, развернулъ, и слѣдующія строки попались мнѣ въ глаза: «потомство справедливо чтить урну съ пепломъ пѣснопѣвца, котораго музы себѣ посвятили, да учить онъ смертныхъ добродѣтели и невинности. Слава его, вѣчно юная, живетъ и тогда, когда трофеи завоевателя гніють во прахѣ, и великолѣпный памятникъ недостойнаго владѣтеля среди пустыни зарастаетъ дикимъ терновымъ кустарникомъ и сѣдымъ мхомъ, на которомъ иногда отдыхаетъ заблудшійся странникъ. Хотя, по закону природы, не многіе могутъ достигнуть до сего величія, однакожъ похвально стремиться въ оному. Уединенная прогулка моя и каждый уединенный часъ мой да будутъ посвящены сему стремленію!»

«Вообразите, друзья мои, съ какимъ чувствомъ я долженъ былъ читать сіе, въ двухъ шагахъ отъ того мѣста, гдѣ натура и поэзія въ вѣчномъ безмолвіи будутъ лить слезы на урну незабвеннаго Геснера!»

«Не его ли посвятили музы въ учителя невинности и добродѣтели? Не его ли слава, вѣчно юная, жить будетъ и тогда, когда трофеи завоевателей истлѣють во прахѣ? Предчувствіемъ безсмертія наполнялось сердце его, когда онъ магическимъ перомъ своимъ писалъ сіи строки.»

«Рука времени, все разрушающая, разрушитъ нѣкогда и городъ, въ которомъ жилъ пѣснопѣвецъ, и въ теченіе столѣтій загладитъ развалины Цириха; но цвѣты Геснеровыхъ твореній не увянутъ до вѣчности, и благовопіе ихъ будетъ изъ вѣка въ вѣкъ переливаться, услаждая всякое сердце.»

«Друзья мои! Писателямъ открыты многіе пути ко славѣ, и безчисленны вѣнцы безсмертія; многихъ хвалить потомство—но всѣхъ ли съ одинакимъ жаромъ?»

«О вы, одаренные отъ природы творческимъ духомъ! пишите, и ваше имя будетъ незабвенно; но если хотите заслужить любовь потомства, то пишите такъ, какъ писалъ Геснеръ—да будетъ перо ваше посвящено добродѣтели и невинности!» (251).

(Напомнимъ читателямъ замѣчаніе, предложенное выше, на с. 101 и проч.)

Изъ Цириха Барамзинъ отправился собственно путешествовать по Швейцаріи, и посѣтилъ всѣ примѣчательныя мѣстности Оберланда. Мы приводимъ нѣкоторыя его замѣчанія, въ которыхъ изображается состояніе его духа.

«Въ четыре часа разбудилъ меня проводникъ мой. Я вооружился Геркулесовскою палицею—пошелъ—съ благоговѣніемъ ступилъ первый шагъ на Альпійскую гору, и съ бодростію началъ взбираться на крутизны. Утро было холодно; но скоро почувствовалъ я жаръ, и скинулъ съ себя теплый сюртукъ. Черезъ четверть часа усталость подкосила ноги мои—и потомъ каждую минуту надлежало мнѣ отдыхать. Кровь моя волновалась такъ сильно, что мнѣ можно было слышать біеніе своего пульса. Я прошелъ мимо громады большихъ камней, которые за десять лѣтъ передъ симъ свалились съ вершины горы, и могли бы превратить въ пыль цѣлый городъ. Почти безпрестанно слышалъ я глухой шумъ, происходящій отъ катящагося съ горъ снѣга. Горе тому несчастному страннику, который встрѣтится симъ падающимъ снѣжнымъ кучамъ! Смерть его неизбежна.—Болѣе четырехъ часовъ шелъ я все въ гору, по узкой каменной дорожкѣ, которая иногда совсѣмъ пропадала; наконецъ достигъ до цѣли своихъ пламенныхъ желаній, и ступилъ на вершину горы, гдѣ вдругъ произошла во мнѣ удивительная перемѣна.

Чувство усталости исчезло; силы мои возобновились; дыхание мое стало легко и свободно; необыкновенное спокойствие и радость разлились въ моемъ сердцѣ. Я преклонилъ колѣна, устремилъ взоръ свой на небо, и принесъ жертву сердечнаго моленія—Тому, кто въ сихъ гранитахъ и снѣгахъ напечатлѣлъ столь явственно свое всемогущество, свое величіе, свою вѣчность!... Друзья мои! я стоялъ на высочайшей ступени, на которую смертные восходить могутъ для поклоненія Всевышнему!... *Языкъ мой не могъ произнести ни одного слова; но я никогда такъ усердно не молился, какъ въ сію минуту.* (269).

«Здѣсь смертный чувствуетъ свое высокое опредѣленіе, забываетъ земное отечество и дѣлается гражданиномъ вселенной; здѣсь смотря на хребты каменныхъ твердынь, ледяными цѣпями скованныхъ и осыпанныхъ снѣгомъ, на которомъ столѣтія оставляютъ едва примѣтные слѣды, забываетъ онъ время, и мыслію своею въ вѣчность углубляется; здѣсь, въ благоговѣйномъ ужасѣ трепещетъ сердце его, когда онъ помышляетъ о той Всемогущей рукѣ, которая вознесла къ небесамъ сіи громады, и повергнетъ ихъ нѣкогда въ бездну морскую». (271).

«Ахъ, друзья мои! не должно ли мнѣ благодарить судьбу за все великое и прекрасное, видѣнное глазами моими въ Швейцаріи? Я благодарю ее—отъ всего сердца! (280).

«Если бы спросили меня: чѣмъ нельзя никогда насытиться? то я отвѣчалъ бы: *хорошими видами.* Сколько я видѣлъ прекрасныхъ мѣстъ! и при всемъ томъ смотрю на новыя съ самымъ живѣйшимъ удовольствіемъ.» (299).

Припомнимъ замѣчанія и совѣты Петрова: чувство наслажденія природою развилось въ Карамзинѣ, видно, очень быстро и очень сильно.

Наконецъ пріѣхалъ Карамзинъ въ Лозанну.

«Въ пять часовъ поутру вышелъ я изъ Лозанны, съ весельемъ въ сердцѣ—и съ Руссовою Элизой въ рукахъ.

Вы конечно угадаете цѣль сего путешествія. Такъ, друзья мои! Я хотѣлъ видѣть собственными глазами тѣ прекрасныя мѣста, въ которыхъ безсмертный Руссо поселилъ своихъ романическихъ любовниковъ. Дорога отъ Лозанны идетъ между виноградныхъ садовъ, обведенныхъ высокою каменною стѣною, которая на обѣихъ сторонахъ была границею моего зрѣнія. Но гдѣ только стѣна перерывается, тамъ видны съ лѣвой стороны разнообразныя уступы и возвышенія горы Юры, на которыхъ представляются глазамъ или прекраснѣйшіе виноградные сады, или маленькіе домики, или башни съ развалинами древнихъ замковъ; а на правой зеленые луга, обсаженные плодовитыми деревьями, и гладкое Женевское озеро, съ грозными скалами Савойскаго берега.—Въ девять часовъ былъ я уже въ Веве, (до котораго отъ Лозанны четыре франц. мили), и остановясь подъ тѣнію каштановыхъ деревъ гульбища, смотрѣлъ на каменные утесы Мельери, съ которыхъ отчаянный Сень-Пре хотѣлъ низвергнуться въ озеро, и откуда писалъ онъ къ Юліи..» (302).

«Вы можете имѣть понятіе о чувствахъ, произведенныхъ во мнѣ сими предметами, зная, какъ я люблю Руссо, и съ какимъ удовольствіемъ читалъ съ вами его Элоизу! Хотя въ семъ романѣ много неестественнаго, много увеличеннаго—однимъ словомъ, много романическаго—однакожь на Французскомъ языкѣ никто не описывалъ любви такими яркими, живыми красками, какими она въ Элоизѣ описана—въ Элоизѣ, безъ которой не существовалъ бы и Нѣмецкій Вертеръ.—Надобно, чтобы красота здѣшнихъ мѣстъ сдѣлала глубокое впечатлѣніе въ Руссовой душѣ: всѣ описанія его такъ живы, и при томъ такъ вѣрны! Мнѣ казалось, что я нашелъ глазами и ту равнину (esplanade), которая была столь привлекательна для несчастнаго Сень-Пре. Ахъ друзья мои! для чего въ самомъ дѣлѣ не было Юліи! для чего Руссо не велитъ искать здѣсь слѣдовъ ея!»

«Отдохнувъ въ трактирѣ и напившись чаю, пошелъ я далѣе по берегу озера, чтобы видѣть главную сцену романа—селеніе Кларанъ». (306).

Приведемъ здѣсь кстати всѣ прочія воспоминанія Карамзина о Руссо, разсѣянные въ письмахъ Русскаго путешественника:

«Не давно былъ я на островѣ Св. Петра, гдѣ величайшій изъ писателей осьмага надесять вѣка укрывался отъ злобы и предразсужденій человѣческихъ, которыя какъ фурія гнали его изъ мѣста въ мѣсто. День былъ очень хорошъ. Въ нѣсколько часовъ исходилъ я весь островъ и вездѣ искалъ слѣдовъ Женевскаго гражданина и философа: Здѣсь, думалъ я, здѣсь, забывъ жестокихъ и неблагодарныхъ людей.... неблагодарныхъ и жестокихъ! Боже мой! какъ горестно это чувствовать и писать.... здѣсь забывъ всѣ бури мірскія, наслаждался онъ уединеніемъ и тихимъ вечеромъ жизни; здѣсь отдыхала душа его послѣ великихъ трудовъ своихъ; здѣсь въ тихой, сладостной дремотѣ покоились его чувства! Гдѣ онъ? Все осталось, какъ при немъ было; но его нѣтъ,—нѣтъ! Тутъ послышалось мнѣ, что и лѣсъ и луга вздохнули, или повторили глубокой вздохъ моего сердца. Я смотрѣлъ вокругъ себя—и весь островъ показался мнѣ въ траурѣ. Печальный флеръ зимы лежалъ на природѣ.—Ноги мои устали. Я сѣлъ на краю острова. Бильское озеро свѣтлѣло и покоилось во всемъ пространствѣ своемъ; на берегахъ его дымились деревни; вдали видны были городки Биль и Нидау. Воображеніе мое представило плывущую по зеркальнымъ водамъ лодку; зефиръ вѣялъ вокругъ ея и правилъ ея вмѣсто кормчаго. Въ лодкѣ лежалъ старецъ почтеннаго вида, въ азіятской одеждѣ; взоры его, на небеса устремленные, показывали великую душу, глубокомысліе, пріятную задумчивость. Это онъ, онъ, тотъ, кого выгнали изъ Франціи, Женевы, Нѣшателя—какъ будто бы за то, что Небо одарило его

отмѣннымъ разумомъ; что онъ былъ добръ, дѣженъ и чловѣколюбивъ!»

«Какими живыми красками описываетъ Руссо пріятную жизнь свою на островѣ Св. Петра—жизнь совершенно бездѣйственную. Кто никогда не истощалъ душевныхъ силъ своихъ въ ночныхъ размышленіяхъ, тотъ конечно не можетъ понять — блаженства сего роду, блаженства сей *субботы*, которою наслаждаются одни великіе Духи при концѣ земнаго странствованія, и которая приготовляетъ ихъ къ новой дѣятельности, начинающейся за прагомъ смерти.»

«Но кратко было успокоеніе твое! Новый ударъ грома перервалъ оное, и сердце великаго мужа облилось кровію. Дайте мнѣ умереть—говорилъ онъ въ горести души своей—дайте мнѣ умереть покойно! Пусть желѣзные замки и тяжелые запоры гремятъ на дверяхъ моей хижины! Заключите меня на семь островѣ, если вы думаете, что дыханіе мое для васъ ядовито! Но перестаньте гнать несчастнаго! Лишите меня дневнаго свѣта, и только въ ночное время позвольте мнѣ бѣдному вздохнуть на свѣжемъ воздухѣ! Нѣтъ! славный старецъ долженъ проститься съ любезнымъ своимъ островомъ—и послѣ того говорить, что Руссо былъ мизантропъ! Скажите, кто бы не сдѣлался таковымъ на его мѣстѣ? Развѣ тотъ, кто никогда не любилъ чловѣчества!» (366).

«Съ неописаннымъ удовольствіемъ читалъ я въ Женевѣ сіи *Confessions*, въ которыхъ такъ живо изображается душа и сердце Руссо. Нѣсколько времени послѣ того воображеніе мое только имъ занималось, и даже во снѣ. *Духъ его парилъ надо мною*».

Эрменонвиль. «Версть 30 отъ Парижа до Эрменонвиля: тамъ Руссо, жертва страстей, чувствительности, пылкаго воображенія, злобы людей и своей подозрительности, заключилъ бурный день жизни тихимъ яснымъ вечеромъ; тамъ послѣднее дѣло его было — благодѣяніе, послѣднее

слово — хвала природѣ; тамъ въ мирной сѣни высокихъ деревъ, дружною насажденныхъ, покоится прахъ его... Туда спѣшать добрые странники видѣть мѣста, освященные невидимымъ присутствіемъ генія, — ходить по тропинкамъ, на которыхъ слѣдъ Руссовой ноги изображался — дышать тѣмъ воздухомъ, которымъ нѣкогда онъ дышалъ — и нѣжною слезою меланхоліи оросить его гробницу.» (411).

«Человѣкъ рѣдкій, авторъ единственный; пылкій въ страстяхъ и въ словѣ, убѣдительный въ самыхъ заблужденіяхъ, любезный въ самыхъ слабостяхъ; младенецъ сердцемъ до старости; мизантропъ любви исполненный; несчастный по своему характеру между людьми, и завидно счастливый по своей душевной нѣжности въ объятіяхъ природы, въ присутствіи невидимаго Божества, въ чувствѣ Его благодати и красотѣ творенія!».... (426.)

Возвращаемся къ Карамзину на пути его изъ Веве въ Лозанну.

«Отъ сильнаго волненія въ крови провелъ я ночь безпокойно, и видѣлъ сны, изъ которыхъ одинъ показался мнѣ достойнымъ замѣчанія. Мнѣ привидѣлось, что я въ большой залѣ стою на каедрѣ, и при множествѣ слушателей говорю рѣчь о темпераментахъ. Проснувшись, схватилъ я перо и написалъ, что осталось у меня въ памяти, изъ чего, къ моему удивленію, вышло нѣчто порядочное. Судите сами; вотъ сей отрывокъ:

«*Темпераментъ* есть основаніе нравственнаго существа нашего, а *характеръ* случайная форма его. Мы родимся съ темпераментомъ, но безъ характера, который образуется мало по малу отъ виѣшнихъ впечатлѣній. Характеръ зависитъ конечно отъ темперамента, но только отчасти, завися впрочемъ отъ рода дѣйствующихъ на насъ предметовъ. Особливая способность принимать впечатлѣнія есть темпераментъ; форма, которую даютъ сіи впечатлѣнія нравственному существу, есть характеръ. Одинъ предметъ производитъ раз-

ныя дѣйствія въ людяхъ — отъ чего? отъ разности темпераментовъ, или отъ разнаго свойства *нравственной массы*, которая есть младенецъ.» (310).

«Вы мнѣ повѣрите, что я не прибавилъ и не убавилъ, а написалъ слова точно такъ, какъ сновидѣніе впечатлѣло ихъ въ моей памяти. Кто изъяснитъ связь идей, во снѣ намъ представляющихся, и какимъ образомъ онѣ возбуждаются! Я совсѣмъ не думалъ наяву о темпераментахъ и характерахъ; отъ чего же мечталъ объ нихъ?»

Недавно одному Русскому путешественнику случилось узнать о добромъ дѣлѣ, Карамзина въ Лозаннѣ, о которомъ по скромности не упоминаетъ онъ вовсе въ письмахъ. Вотъ какъ это было. Путешественника настигла гроза въ окрестностяхъ Лозанны; молодой крестьянинъ, попавшійся ему на встрѣчу, предложилъ ему укрыться на ближайшей фермѣ, куда и довезъ благополучно. Семейство собиралось ужинать. Послѣ ужина, старуха бабушка велѣла внуку прочесть ей по обыкновенію изъ библіи о пророкѣ Данилѣ. Внуку, тотъ самый молодой человекъ, который привезъ путешественника, сидѣлъ уже передъ столикомъ и перелистывалъ библію.

«Вдругъ онъ обратился ко мнѣ, говорить путешественникъ, (мы передадимъ здѣсь рассказъ, какъ напечатанъ онъ въ Отечественныхъ запискахъ 1850 года, № 4.), и подавая осьмушку стараго, пожелтѣлаго пергамена, вырваннаго, повидимому, изъ Записной книжки и служившаго закладкою въ библію, сказалъ: — Посмотрите: это писалъ Русскій. Я взялъ лоскутокъ пергамена и изумился. На немъ была слѣдующая надпись:

Nicolas Karamsine. Septembre, 1789.

Не смотря на то, что пергаменъ былъ довольно ветхій и буквы пожелтѣли отъ времени, я безъ труда прочелъ эти слова, и узналъ почеркъ нашего знаменитаго исторіо-

графа, хорошо знакомый мнѣ по литографическимъ снимкамъ. Этотъ листокъ до такой степени затронулъ мое любопытство, что я совершенно забылъ о снѣ.

— Скажите, пожалуйста, гдѣ вы взяли эту бумагу? спросилъ я Андрѣ.

— Она принадлежитъ бабушкѣ, отвѣчалъ онъ.

Я-обратился съ тѣмъ же вопросомъ къ старухѣ.

— А вы слышали о Карамзинѣ? спросила она.

— Его знаетъ вся Россія, сказалъ я. Онъ прославилъ отечество своими сочиненіями; его имя не забудется никогда.

— Неужели?

— Братъ писалъ вамъ объ этомъ изъ Россіи, сказалъ мой хозяинъ. Вы вѣрно забыли?

— Да, помню, помню! Карамзинъ открылъ, говорятъ, и описалъ все, что дѣлалось въ вашей сторонѣ отъ сотворенія міра. За это его всѣ любятъ, и государь жалуетъ... И стѣбитъ!—Добрый былъ человѣкъ! Жаль, что такъ рано умеръ!...

— Какъ вы знали Карамзина? спросилъ я.

Какъ же! Онъ былъ въ нашей сторонѣ... давно... Вотъ на бумагѣ написано... Это было въ тотъ самый годъ, когда я вышла замужъ.

— Какъ вы достали эту бумагу?

— Онъ самъ далъ мнѣ на память.

— По какому же случаю вы его видѣли?

— Да онъ помогъ мнѣ въ свадьбѣ съ моимъ покойнымъ Жозефомъ. А вы знакомы были съ нимъ?

— Нѣтъ, я не имѣлъ чести знать его лично, но такъ люблю и уважаю за талантъ, что всякое слово о немъ для меня очень дорого. Если бы я не боялся затруднить васъ, то попросилъ бы рассказать все, что вы о немъ знаете.

— Охотно! Да вѣдь вы хотите уснуть? вы устали?

— Нисколько!

Въ самомъ дѣлѣ усталость моя совершенно прошла. Я попросилъ хозяина не беспокоиться обо мнѣ и позволить поговорить со старушкой о моемъ соотечественникѣ. Онъ распрощался со мною, показавъ, какъ найти мою комнату. Андре также ушелъ. Мы остались вдвоемъ съ старушкой. Она сидѣла на своемъ большомъ готическомъ стулѣ, слабо освѣщенная трепетнымъ свѣтомъ желѣзной лампы, и ея живописная физиономія обрисовалась рѣзкими чертами, какъ одна изъ тѣхъ фигуръ Рембрандта, которыя отличаются слияніемъ яркаго свѣта и черной тѣни. Я сѣлъ напротивъ, съ сильно настроеннымъ любопытствомъ. Старушка начала разсказъ; но его не возможно передать буквально, потому что онъ переплетался множествомъ отступлений и постороннихъ эпизодовъ, скучныхъ и утомительныхъ для всякаго читателя. Мнѣ должно было безпрестанно наводить разсказчицу на предметъ, употребляя невѣроятныя усилія терпѣнія и ловкости.

«Я родилась и выросла въ маленькой деревенькѣ, недалеко отъ Лозанны. Родители мои были небогатыя крестьяне. Мы жили въ маленькомъ домикѣ съ небольшимъ виноградникомъ. Дѣтство провела я безопасно, бѣгая по горамъ какъ серна. Отецъ, отправляясь по дѣламъ въ Бернъ или Фрибургъ, часто бралъ меня съ собою. Я полюбила нашу прекрасную родину, сроднилась съ ея горами и ущельями. Мнѣ кажется, что если бы тогда перевезли меня въ другой край, я завяла бы какъ южный цвѣтокъ, пересаженный на вершину Сен-Бернарда. Я росла быстро, съ здоровымъ тѣломъ и душою. Когда мнѣ минуло шестнадцать лѣтъ, я была самой хорошенькой дѣвушкой во всемъ окологдѣ. Бывало, когда въ праздникъ надѣну соломенную шляпу съ лентою, да новое платье съ алымъ корсетомъ, и пойду съ матушкой въ церковь, всѣ подружки посматриваютъ на меня съ завистью, хоть я была и бѣднѣе ихъ.. А когда бывало придемъ мы

на какой нибудь сельскій праздникъ и начнутся танцы, мнѣ отбою не было отъ деревенской молодежи, какъ ни дулись наши богатыя красавицы. Сказазать ли вамъ? Мнѣ это очень нравилось, и я была, какъ говорится у васъ, немножко кокетка, то есть, не то чтобы я старалась выказывать превосходство мое передъ другими дѣвушками, или кружить головы мужчинамъ, а такъ, мнѣ просто пріятно было, что я хороша. Что дѣлать? Ужъ женщину такъ Богъ устроилъ. Да и можно ли мнѣ было немножко не закружиться, когда я знала, что на три мили въ окружности всѣ меня знаютъ и называютъ деревенской розой, а наши сельскіе мотыльки такъ и вьются около меня, не смотря на мою бѣдность.

— Но скажите, спросилъ я, поддѣлываясь подъ тонъ разсказчицы, неужели роза была одинаково нечувствительна ко всѣмъ мотылькамъ, которые около нея порхали?

Старушка улыбнулась и покачала головою.

— О, нѣтъ, нѣтъ! продолжала она: былъ одинъ, въ которому деревенская роза была очень, очень равнодушна.

— И, разумѣется, изъ толпы обожателей вы избрали достойнѣйшаго, хотя и небогатаго?

— Именно такъ! отвѣчала разсказчица. Съ того времени прошло слишкомъ пятьдесятъ лѣтъ, и теперь я могу сказать безпристрастно, что мой Жозефъ былъ прекрасный молодецъ. Впрочемъ, мнѣ не зачѣмъ хвалить его... Вы видѣли моего внука Андрѣ. Какъ вы его находите?

Я отозвался о молодомъ человѣкѣ, какъ онъ того заслуживалъ. Старушка слушала меня съ восхищеніемъ, и потомъ разсказала, какъ она объяснилась съ любезнымъ своимъ Жозефомъ, и какъ молодые люди рѣшились дѣйствовать.

...«Мы вошли вмѣстѣ въ комнату. Жозефъ подошелъ къ моимъ родителямъ, объяснилъ имъ, что мы любимъ другъ друга, и просилъ моей руки. Я стояла у окна,

перебирая передникъ, а сердце—то у меня такъ и билось. Батюшка выслушалъ молодаго человѣка безъ гнѣва, но спокойно и строго отвѣчалъ, что я бѣдна, и не имѣю никакого приданаго, что если мнѣ не ищутъ богатаго жениха, то не думаютъ также пустить и въ нищету. Онъ прибавилъ, что мы еще молоды, и если въ самомъ дѣлѣ любимъ другъ друга, то можемъ подождать; что если Жозефъ устроится и заведется своимъ домомъ, то его съ радостію назовутъ сыномъ.

«Въ этомъ отвѣтѣ, какъ вы видите, не было рѣшительнаго отказа, да за то не было и ничего положительнаго.

«...Мнѣ было горько: я любила Жозефа и теряла надежду на наше счастье.

«Однажды вечеромъ—это было осенью—я возвращалась домой изъ города, и встрѣтилась съ моимъ бѣднымъ женихомъ недалеко отъ нашей деревни. Подлѣ самой дороги, гдѣ вы видите теперь сплошной виноградникъ, росло тогда десятка два густыхъ деревьевъ, и подъ нѣкоторыми были дерновыя скамеечки. Мы сѣли у одного дерева. Жозефъ былъ очень печаленъ. Онъ сказалъ мнѣ, что недалеко отъ Вева отдается на откупъ выгодная ферма, что онъ хлопоталъ взять ее за себя, но нашелся соперникъ, богатый мызникъ изъ Вильнева, который перебилъ наемъ, предложивъ владѣльцу внести впередъ всю откупную сумму. Господинъ Ренье, хозяинъ фермы, предпочелъ мызника, и дѣло не состоялось. Я съ своей стороны сказала, что родители ноговариваютъ о моемъ замужествѣ. Мы были въ отчаяніи: то утѣшали другъ друга, то прощались навсегда. Такъ прошло съ полчаса. Вдругъ изъ-за дерева вышелъ молодой человѣкъ, не старѣ моего Жозефа, одѣтый очень просто, съ дорожной тростью въ рукѣ, и сказалъ: Извините, что мнѣ пришлось подслушать вашъ разговоръ. Я усталъ отъ прогулки, отдыхалъ здѣсь подъ деревомъ—и невольно узналъ ваши тайны».

«...Мы совсѣмъ не думали сердиться на то, что онъ подслушалъ нашъ невинный и печальный разговоръ. Жозефъ поклонился, и мы хотѣли идти въ деревню. Незнакомецъ остановилъ насъ.

— Позвольте мнѣ съ вами поговорить, сказалъ онъ, протягивая руку моему бѣдному другу. Не примите словъ моихъ за простое любопытство. Невольно узналъ я изъ вашего разговора, что вы очень любите неvěсту, она также любитъ васъ, и одна только неуступчивость владѣльца фермы мѣшаетъ вашему счастью. Вы упомянули о г. Ренье: скажите, не тотъ ли это, который адвокатомъ въ Лозаннѣ?

— Тотъ самый, отвѣчалъ Жозефъ.

— И ваша судьба зависитъ отъ найма фермы, которую отбиваетъ другой? продолжалъ незнакомецъ. Извѣстно ли г-ну Ренье, какъ важно для васъ это обстоятельство?

— Не знаю; я съ нимъ объ этомъ не говорилъ—сказалъ мой женихъ.

— Такъ позвольте мнѣ заняться вашимъ дѣломъ. Вы не сочтете это нескромностью: одно участіе внушаетъ мнѣ желаніе служить вамъ. Я знаю мосье Ренье и надѣюсь, что дѣло кончится въ вашу пользу.

— Но позвольте намъ узнать, съ кѣмъ мы имѣемъ честь говорить? спросилъ Жозефъ.

— Я Русскій путешественникъ. Мы познакоимся короче, прибавилъ молодой человекъ, если я успѣю что нибудь сдѣлать. Позвольте мнѣ записать вашъ адресъ.

«Жозефъ сказалъ ему свое имя. Онъ записалъ въ бумажникъ, и ушелъ по дорогѣ въ Лозанну. Хотя добродушное лицо и кроткая улыбка молодаго путешественника никакъ не позволяли принять его за обманщика или насмѣшника, однако мы не обратили большаго вниманья на слова его, и не думали, чтобъ изъ нихъ могло что-нибудь выйдти. Между тѣмъ солнце закатилось. Жозефъ прово-

длѣ меня до деревни, и мы разстались со слезами, не зная, должны ли еще когда нибудь увидѣться. Я воротилась домой печальная и встревоженная.

«Прошло два дня; мнѣ было очень грустно.

«...Въ воскресенье едва успѣла я воротиться изъ церкви домой и поздороваться съ батюшкой, къ нашему дому подѣхала коляска. Это небывалое явленіе всѣхъ насъ встревожило. Мы не знали что думать. Но какъ забилося у меня сердце, когда я увидѣла, что изъ коляски вышелъ какой-то господинъ, а за нимъ Жозефъ, съ тѣмъ молодымъ путешественникомъ, который недавно предлагалъ намъ свое покровительство. Я не знала, что дѣлать, поклонилась, и, стоя у окна, перебирала въ рукахъ свой цвѣтной передникъ. Мнѣ казалось, что я вся покраснѣла и смѣшалась. Жозефъ улыбнулся мнѣ такъ весело, что я чуть не заплакала отъ радостнаго предчувствія. Батюшка просилъ гостей садиться. Пожилой господинъ сказалъ, что его зовутъ Ренье, и началъ рекомендовать молодого человѣка, говоря, что это Русскій путешественникъ, недавно пріѣхавшій въ Швейцарію. Мы по важному дѣлу, сказалъ гость, вамъ хорошо знакомъ этотъ молодой человѣкъ. Мы пріѣхали сватать за него вашу дочь. (Старикъ началъ отговариваться бѣдностію).

— Но позвольте замѣтить, сказалъ гость, что молодой человѣкъ находится теперь въ такомъ положеніи, которое вполне можетъ обезпечить будущность вашей дочери. Посмотрите эти бумаги.

«Батюшка взялъ какія-то бумаги изъ рукъ мосье Ренье, прочелъ ихъ очень внимательно, и всталъ со стула, посмотривъ съ удивленіемъ то на адвоката, то на моего жениха.

— Какъ, сказалъ онъ: — Жозефъ взялъ на откупъ главную ферму и виноградникъ! Какимъ же образомъ это случилось?

— Вы видите, что все кончено законнымъ порядкомъ, отвѣчалъ гость. Надѣмся, что теперь вы согласитесь на счастье молодыхъ людей?

«Лицо батюшки прояснилось. Онъ взялъ меня за руку и подвелъ къ Жозефу, обнялъ насъ, разцѣловалъ и передалъ въ объятія матушки. Слезы, накопившіяся у меня отъ душевнаго волненія, полились невольно; я бросилась на грудь моей доброй матери, которая также плакала и цѣловала насъ. Много времени прошло съ тѣхъ поръ, но лучше этого дня не было во всей моей жизни!»

Старушка замолчала, и, откинувъ назадъ голову, закрыла глаза и задумалась. Въ эту минуту въ дряхлой женщинѣ было столько человѣческаго, улыбка ея поблекшихъ губъ выражала такъ много трогательнаго, что я сидѣлъ передъ ней съ благоговѣніемъ, боясь прервать очарованный полусонъ, въ которомъ слились, повидимому, самыя сладкія минуты ея прошедшей молодости. Но вдругъ она открыла глаза, прилебнула вина и продолжала:

«Когда я облегчила сердце слезами и совершенно успокоилась, то подошла къ господину Ренье и начала благодарить его за участіе въ нашей судьбѣ. Но онъ подвелъ меня къ молодому Русскому путешественнику и сказалъ: Вы всѣмъ обязаны господину Карамзину. Онъ нашелъ средство обезпечить состояніе вашего жениха, посредствомъ богатаго Русскаго вельможи, графа N.

«Мы съ Жозефомъ хотѣли благодарить нашего молодого благодѣтеля, но не могли ничего сказать, и только слезы служили свидѣтельствомъ нашей признательности. Онъ былъ тронутъ, пожалъ намъ руки и отеръ слезу.

— Мы вѣчно будемъ помнить васъ! сказалъ мой женихъ.

— Мы будемъ молиться за васъ! прибавила я.

— Друзья мои! отвѣчалъ Карамзинъ, если вы будете счастливы, то я щедро награжденъ.

«Между тѣмъ матушка приготовила простой деревенскій завтракъ. Мы всѣ сѣли за столъ. Я прислуживала Ренье и нашему молодому покровителю. Гости были очень веселы, батюшка съ матушкой также. Налили вина, и всѣ выпили за здоровье жениха съ невѣстой. На прощаньѣ Г. Карамзинъ сказалъ намъ, что скоро уѣзжаетъ въ Женеву, желалъ намъ счастливой жизни, и, выходя изъ дома, вырвалъ изъ записной книжки листокъ, который такъ обратилъ ваше вниманіе, и отдалъ Жозефу, а мнѣ подарилъ букетъ цвѣтовъ, приколотый до тѣхъ поръ у него на груди. Гости наши уѣхали, и мы стояли всѣ на терассѣ, пока коляска не скрылась совсѣмъ изъ вида.

«Жозефъ вскорѣ переѣхалъ на ферму и занялся устройствомъ своего хозяйства. Въ ту же зиму была наша свадьба.

— ...Послѣ того вы не видали Карамзина? спросилъ я.

— Видѣла въ ту же зиму! отвѣчала старушка. Мы знали, что нашъ благодѣтель жилъ въ Женевѣ и собирався ѣхать во Францію. У Жозефа былъ недалеко отъ города дядя—и мы черезъ мѣсяцъ послѣ свадьбы поѣхали повидаться къ родственникамъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ проститься съ нашимъ молодымъ другомъ. Г. Карамзинъ очень обрадовался намъ, разспрашивалъ съ участіемъ о нашей жизни, и до того очаровалъ радушіемъ и добротою, что мы, прощаясь съ нимъ, плакали какъ по братѣ. Черезъ нѣсколько дней онъ уѣхалъ изъ Женевы, и съ тѣхъ поръ я больше его не видала... Мнѣ писали изъ Россіи, что нашъ добрый другъ сдѣлался потомъ великимъ сочинителемъ! Ахъ, какъ я радовалась за него, и какъ жалѣла, что не знаю вашего языка!»

По настоянію старушки, я долженъ былъ рассказать ей все, что зналъ о Карамзинѣ; но она больше разспрашивала о такихъ подробностяхъ, на которыя я не въ состояніи былъ отвѣчать. Бесѣда наша продолжалась за под-

ночь, потому что рассказъ, который передаю теперь вкратцѣ, безпрестанно прерывался, какъ я уже сказалъ, безчисленными эпизодами и отступленіями».

Читатели должны благодарить неизвѣстнаго путешественника за сохраненіе этого трогательнаго случая изъ молодости Барамзина.

Въ Женевѣ Барамзинъ получилъ нѣсколько писемъ отъ друзей, и вотъ какъ выражаетъ свою радость:

«Вдругъ три письма отъ васъ, милые! Еслибъ вы видѣли, какъ я обрадовался! По крайней мѣрѣ вы живы и здоровы. Благодарю судьбу. Если счастье ваше несовершенно, если.... Друзья мои, болѣе ничего не скажу; но я хотѣлъ бы отдать вамъ всѣ свои пріятныя минуты, чтобъ сдѣлать жизнь вашу цѣпію минутъ, часовъ и дней пріятныхъ. Когда нибудь—мы будемъ счастливы! Вѣрно, вѣрно будемъ!» (313).

Между полученными письмами вѣрно было слѣдующее отъ Петрова:

«20 Сентября 1789 г.

«Ты началъ что-то писать, но не хочешь сказать мнѣ, что такое. И я началъ, по приказанію, нѣчто писать. А что, теперь не скажу.

«... Воспоминаніе объ тебѣ есть одно изъ лучшихъ моихъ удовольствій. Часто я путешествуя за тобою по ландкартѣ; разчисляю, когда, куда могъ ты пріѣхать, сколько гдѣ пробыть; вскарабкиваюсь съ тобою на высоты горъ, воображаю тебя бродящаго по прекраснымъ мѣстамъ или дѣлающаго визитъ какому нибудь важновидному ученому. Я думаю, что теперь ты давно уже въ Швейцаріи. Усердно желаю, чтобы во всѣхъ мѣстахъ находилъ ты такихъ людей, которыхъ знакомство и воспоминаніе возвышало бы удовольствіе, какое ты находилъ въ наслажденіи прекрасною природою и въ новости предметовъ, и утѣшало бы тебя въ твоемъ опытѣ, что вездѣ есть злые люди. Могу

себѣ представить, что сей опытъ часто тебя огорчаетъ при *твоей чувствительности*, и приводитъ въ такое *трусское расположеніе*, въ какомъ я видѣлъ тебя, живши съ тобою. Но не правда ли, что онъ и даетъ тебѣ живѣе чувствовать цѣну людей, достойныхъ почтенія, многихъ ли или немногихъ?...

«Я весьма любопытенъ знать, видѣлся ли ты съ Алексѣемъ Михайловичемъ *, видѣлся ли уже съ Лафатеромъ, и какъ онъ тебя принялъ; какъ располагаешь ты свой вояжъ? Я опасаясь твоего проѣзда черезъ Францію, гдѣ нынѣ такія неурядица.

«Что касается до меня, я живу по прежнему; перевожу (что, мимоходомъ сказать, довольно уже мнѣ наскутило). *Оскромтѣвшее безъ тебя Дѣтское Чтеніе* намѣренъ я наполнить по большей части изъ Кампева Теофраона».

Въ Женевѣ Карамзинъ остался на долго. Дмитріевъ сообщаетъ намъ въ своихъ запискахъ, что онъ имѣлъ цѣлю заняться пристальнѣе Французскимъ языкомъ, который до того времени зналъ хуже Нѣмецкаго, и не могъ объясняться свободно.

«Вы конечно удивитесь, пишетъ Карамзинъ, когда скажу вамъ, что я въ Женевѣ намѣренъ прожить почти всю зиму. Окрестности Женевскія прекрасны, городъ хорошъ. По рекомендательнымъ письмамъ отворенъ мнѣ входъ въ первые дома. Образъ жизни Женевцовъ свободенъ и приятенъ—чего же лучше? Вѣдь мнѣ надобно пожить на одномъ мѣстѣ! Душа моя утомилась отъ множества любопытныхъ и безпрестанно новыхъ предметовъ, которые привлекали къ себѣ ея вниманіе; ей нужно отдохновеніе—нуженъ тонкій, сладостный, питательный сонъ на персяхъ любезной Природы.

«Трактирная жизнь моя кончилась. За десять рублей въ мѣсяць я нанялъ себѣ большую, свѣтлую, изрядно при-

* Бутузовыиъ.

бранную комнату въ домѣ; завелъ свой чай и кофе; а обѣдаю въ пансіонѣ, платя за то рубля четыре въ недѣлю. Вы не можете вообразить себѣ, какъ приятенъ мнѣ теперь новый образъ жизни и маленькое заведенное мною хозяйство! Вставъ рано поутру и надѣвъ свой походный сюртукъ, выхожу изъ города, гуляю по берегу гладкаго озера или шумящей Роны, между садовъ и прекрасныхъ сельскихъ домиковъ, въ которыхъ богатые Женевскіе граждане проводятъ лѣто; отдыхаю и пью чай въ какомъ нибудь трактирѣ, или во Франціи, или въ Швейцаріи, или въ Савойѣ, (вы знаете, что Женева лежитъ на границѣ сихъ земель) — еще гуляю, возвращаюсь домой, пью съ густыми сливками кофе, который варитъ мнѣ хозяйка моя, Мадамъ Лажье — читаю книгу или пишу, — въ двѣнадцатъ часовъ одѣваюсь, въ часъ обѣдаю; послѣ обѣда бываю въ кофейныхъ домахъ, гдѣ всегда множество людей и гдѣ рассказываются вѣсти; гдѣ разсуждаютъ о Французскихъ дѣлахъ, о декретахъ Національнаго собранія, о Неккерѣ, о Графѣ Мирабо, и проч. Въ шесть часовъ иду или въ театръ, или въ собраніе — и такимъ образомъ кончится вечеръ».

«Здѣшняя жизнь моя довольно единообразна. Прогуливаюсь и читаю Французскихъ авторовъ, и старыхъ и новыхъ, чтобы имѣть полное понятіе о Французской Литтературѣ; бываю на Женевскихъ вечеринкахъ и въ Оперѣ». (324).

Изъ Женевы Барамзинъ посѣтилъ, разумѣется, Ферней, и вотъ его сужденіе о Вольтерѣ, очень снисходительное и умѣренное, если мы вспомнимъ, изъ какого общества Барамзинъ только-что вышелъ:

«Такъ, друзья мои, должно признаться, что никто изъ авторовъ осьмаго-надесять вѣка не дѣйствовалъ такъ сильно на своихъ современниковъ, какъ Вольтеръ. Въ чести его можно сказать, что онъ распространилъ сію взаимную терпимость въ вѣрахъ, которая сдѣлалась ха-

ракторомъ нашихъ временъ, и наиболѣе посрамилъ гнусное лжевѣріе, которому еще въ началѣ осьмага десятилѣтія приносились кровавыя жертвы въ нашей Европѣ *.— Вольтеръ писалъ для читателей всякаго рода, для ученыхъ и неученыхъ; всѣ понимали его, и всѣ плѣнялись имъ. Никто не умѣлъ столь искусно показывать смѣшного во всѣхъ вещахъ, и никакая философія не могла устоять противъ Вольтеровою ироніи. Публика всегда была на его сторонѣ, потому что онъ доставлялъ ей удовольствіе смѣяться! — Вообще въ сочиненіяхъ Вольтеровыхъ не найдемъ мы тѣхъ великихъ идей, которыя *гений природы*, такъ сказать, *непосредственно вдыхаетъ* въ избранныхъ смертныхъ; но сіи идеи и понятны бываютъ только не многимъ людямъ, и по тому самому кругъ дѣйствія ихъ весьма ограниченъ. Всякій любитъ пареніемъ весенняго заворонка; но чей взоръ дерзнетъ за орломъ къ солнцу? Кто не чувствуетъ врасотъ *Закры?* но многіе ли удивляются *Отеллу?*» ** (320).

... «Осень дѣлаетъ меня меланхоликомъ. Вершина Юры покрылась снѣгомъ; деревья желтѣютъ, и трава сохнетъ. Брожу, sur la Treille, съ уныніемъ смотрю на развалины лѣта; слушаю, какъ шумитъ вѣтеръ—и горестъ мѣшается въ сердцѣ моемъ съ какимъ-то сладкимъ удовольствіемъ. Ахъ! никогда еще не чувствовалъ я столь живо, что *теченіе природы есть образъ нашею жизненнаю теченія!*... *Гдѣ ты, весна жизни моею?* Скоро, скоро проходитъ лѣто—и въ сію минуту сердце мое чувствуетъ холодъ осенній». (331).

... «Насыщайся, мое зрѣніе! я долженъ оставить сію землю... Для чего же, когда она столь прекрасна? Построю

* Но я не могу одобрить Вольтера, когда онъ отъ суетвѣрія не отличалъ истинной Христіанской Религіи, которая, по словамъ одного изъ его соотечественниковъ, находится къ первому въ такомъ же отношеніи, въ какомъ находится правосудіе къ ябедѣ. *Позднѣйшее примѣчаніе К.*

** Тогда я такъ думалъ. *Также.*

хижину на голубой Юрѣ, и жизнь моя протечетъ какъ восхитительный сонъ!... Но ахъ? Здѣсь нѣтъ друзей моихъ!»

«Величественный рельефъ Натуры! впечатлѣйся въ моей памяти! Увижу ли тебя еще разъ въ жизни моей, не знаю; но если огнедышущіе вулканы не превратятъ въ пепель красоту твоихъ—если земля не разступится подъ тобою, не осушитъ сего свѣтлаго озера, и не поглотитъ береговъ его—ты будешь всегда удивленіемъ смертныхъ! Можетъ быть, дѣти друзей моихъ придутъ на сіе мѣсто: да чувствуютъ они, что я теперь чувствую, и Юра будетъ для нихъ незабвенна!» (333).

Въ Обонѣ, при воспоминаніи о Тавернѣ, Карамзину приходятъ въ голову слѣдующія мысли:

«Въ человѣческой натурѣ есть двѣ противныя склонности: одна влечетъ сердце наше всегда къ *новымъ* предметамъ, а другая привязываетъ насъ къ *старымъ*; одну называютъ *непостоянствомъ*, *любовію къ новостямъ*, а другую—*привычкою*. Мы скучаемъ единообразіемъ и жеемъ перемѣнъ; однакожъ, разставаясь съ тѣмъ, къ чему душа наша привыкла, чувствуемъ горестъ и сожалѣніе. Счастливы тотъ, въ комъ сіи двѣ склонности равносильны! но въ комъ одна другую перевѣситъ, тотъ будетъ или вѣчнымъ бродягою, вѣтреннымъ, безпокойнымъ, мелкимъ въ духѣ; или холоднымъ, лѣнивымъ, нечувствительнымъ. Одинъ, перебѣгая безпрестанно отъ предмета къ предмету, не можетъ ни во что углубиться, дѣлается разсѣяннымъ, и слабѣетъ сердцемъ; другой, видя и слыша всегда *то же, да то же*, грубѣетъ въ чувствахъ, и наконецъ засыпаетъ душою. Такимъ образомъ сіи двѣ крайности сближаются, потому что и та и другая ослабляетъ въ насъ душевныя дѣйствія. — Читайте Тавернѣ, Павла Люкаса, Шардени, и прочихъ славныхъ путешественниковъ, которые почти всю жизнь свою провели въ странствіяхъ: найдете ли въ нихъ нѣжное, чув-

ствительное сердце? Тронуть ли они душу вашу?—Ахъ, друзья мои! человекъ, который десять, двадцать лѣтъ можетъ пробывать въ *чужихъ* земляхъ, между *чужими* людьми, не тоскуя о тѣхъ, съ которыми онъ родился подъ однимъ небомъ, питался однимъ воздухомъ, учился произносить первые звуки, игралъ въ младенчествѣ на одномъ полѣ, вмѣстѣ плакалъ и улыбался—*сей человекъ никогда не будетъ мнѣ другомъ!*» (335).

Карамзинъ занемогъ въ Женевѣ жестокою головою болѣю.

«Опершись на столъ, просиживалъ я дни и ночи, почти безъ всякаго движенія, и закрывъ глаза», пишетъ онъ отъ 26 Ноября «лекарства не помогали. Наконецъ благодѣтельная натура сжалилась надъ бѣднымъ страдальцемъ, и сняла съ головы моей свинцовую тяжесть. Вчера я въ первый разъ вздохнулъ свободно, и въ первый разъ, вышедши на чистый воздухъ, поднялъ на небо глаза свои. Мнѣ казалось, что вся природа радовалась со мною!—*Я плакалъ какъ младенецъ*, и узналъ, что болѣзнь не ожесточила моего сердца — оно не разучилось наслаждаться, — чувствуетъ такъ же, какъ и прежде, и любезный образъ друзей моихъ снова сіяетъ въ немъ во всей своей ясности. Ахъ, милые! въ сію минуту исчезло раздѣляющее насъ пространство—я обнималъ васъ вмѣстѣ съ природою, вмѣстѣ съ цѣлою вселенною!»

«Исчезни воспоминаніе о прошедшей болѣзни! я не хочу быть злопамятенъ противъ матери моей, Природы, и забуду все, кромѣ того, чѣмъ она улаживаетъ чашу дней моихъ!» (336).

«*Женева. Декабря 1, 1789 г.* Нынѣ минуло мнѣ двадцать четыре года! * Въ шесть часовъ утра вышелъ я на берегъ Женевского озера, и устремивъ глаза на голубую

* Такъ напечатано было въ первыхъ изданіяхъ Писемъ Русскаго путешественника. Послѣ въ новомъ исправленномъ изданіи, подъ надзоромъ автора, напечатано было 23 года. См. въ приложеніяхъ.

воду его, думалъ о жизни человѣческой. Друзья мои! дайте мнѣ руку, и пусть вихрь времени мчитъ насъ, куда хочетъ!—*Довѣренность къ Провидѣнію*—довѣренность къ той невидимой Руцѣ, которая движетъ и міры и атомы, которая бережетъ и червя и человѣка—*должна быть основою нашего спокойствія!*» (337).

Наконецъ Карамзинъ отправился къ *Боннету*, котораго до тѣхъ поръ боялся обезпокоить своимъ посѣщеніемъ по причинѣ его болѣзненного состоянія.

«Я думалъ найти слабаго старца, угнетеннаго бременемъ лѣтъ—обвѣтшаюю скинію, которой временной обитатель, небесный гражданинъ, утомленный безпокойствомъ тѣлесной жизни, ежедневно собирается летѣть обратно въ свою отчизну—однимъ словомъ, развалины великаго Боннета. Что же нашель? хотя старца, но весьма бодрого, — старца, въ глазахъ котораго блистаетъ огонь жизни, — старца, котораго голосъ еще твердъ и пріятенъ, — однимъ словомъ, Боннета, отъ котораго можно ожидать второй Палингенези. * Онъ встрѣтилъ меня почти у самыхъ дверей, и съ ласковымъ взоромъ подалъ мнѣ руку. Вы видите передъ собою такого человѣка, сказалъ я, который съ великимъ удовольствіемъ и съ пользою читалъ ваши сочиненія, и который любить и почитаетъ васъ сердечно. Я всегда радуюсь, отвѣчалъ онъ, когда слышу, что сочиненія мои приносятъ пользу или удовольствіе благороднымъ душамъ.

«Мы сѣли передъ каминомъ, Боннетъ на большихъ своихъ креслахъ, а я на стулѣ подлѣ него. Подвиньтесь ближе, сказалъ онъ, приставляя къ уху длинную мѣдную трубку, чтобы лучше слышать: чувства мои тупѣютъ.—Я не могу отъ слова до слова описать вамъ разговора нашего, который продолжался около трехъ

* Титулъ одного изъ его сочиненій.

часовъ. Довольствуйтесь нѣкоторыми отрывками. Боннетъ очаровалъ меня своимъ добродушіемъ и ласковымъ обхожденіемъ. Нѣтъ въ немъ ничего гордаго, ничего надменнаго. Онъ говорилъ со мною какъ съ равнымъ себѣ, и всякій комплиментъ мой принималъ съ чувствительностію. Душа его столь хороша, столь чиста и неподозрительна, что всѣ учтивыя слова кажутся ему языкомъ сердца: онъ не сомнѣвается въ ихъ искренности. Ахъ! какая разница между Нѣмецкимъ ученымъ и Боннетомъ! Первый съ гордой улыбкой принимаетъ всякую похвалу, какъ должную дань, и мало думаетъ о томъ человѣкѣ, который хвалитъ его; но Боннетъ за всякую учтивость старается платить учтивостію. Правда, что бой между нами не могъ быть равенъ: я говорилъ съ философомъ, всему свѣту извѣстнымъ, и всѣми превозносимымъ, а онъ говорилъ съ молодымъ, обыкновеннымъ, неизвѣстнымъ ему человѣкомъ.

«Боннетъ позволялъ мнѣ переводить его сочиненія на Русскій языкъ.

«Съ чего же вы думаете начать? спросилъ онъ. Съ Созерцанія Природы (*Contemplations de la nature*), отвѣчалъ я, которое по справедливости можетъ быть названо магазиномъ любопытнѣйшихъ знаній для человѣка. — Никогда не приходило мнѣ на мысль, сказалъ онъ, чтобы это сочиненіе было такъ благосклонно принято публикою, и переведено на столько языковъ. Вы знаете (изъ предисловія), что я хотѣлъ бросить его въ каминъ. Но перевода Палингенезію, вы переведете лучшее и полезнѣйшее мое сочиненіе. Ахъ, государь мой, въ нашемъ вѣгѣ много невѣрующихъ!»

«Ему не пріятно, что на Англійскій и Нѣмецкій языки переведено Созерцаніе Натуры безъ его вѣдома. Когда авторъ еще живъ, сказалъ онъ, то надлежало бы у него спроситься. — Боннетъ хвалитъ одинъ Спаланцаніевъ пе-

реводъ, а Нѣмецкимъ переводчикомъ, профессоромъ Тиціусомъ, весьма недоволенъ, потому, что сей ученый Германецъ думалъ поправлять его, и собственыя свои мнѣнія сообщалъ за мнѣнія сочинителей.» (938).

Карамзинъ сказалъ Боннету, что Тиціусъ, не смотря на свою ученость, во многихъ мѣстахъ не понималъ его, и привелъ доказательства *. «Боннетъ пожалъ плечами, услышавъ отъ меня о сей ошибкѣ.»

«Говоря о честолюбіи авторскомъ, Боннетъ сказалъ: Пусть сочинители ищутъ славы! Трудясь для собственной своей выгоды, они приносятъ пользу человѣчеству; ибо премудрый Творецъ неразрывнымъ союзомъ соединилъ частное благо съ общимъ.»

Послѣ этого посѣщенія, Карамзинъ написалъ къ Боннету письмо:

«Я осмѣливаюсь писать къ вамъ, думая, что письмо мое обезпокоитъ васъ менѣе, нежели посѣщеніе, которое могло бы на нѣсколько минутъ прервать ваши упражненія.

«Съ величайшимъ вниманіемъ читалъ я снова ваше Созерцаніе Природы, и могу сказать безъ тщеславія, что надѣюсь перевести его съ довольною точностію; надѣюсь, что не совсѣмъ ослаблю слогъ вашъ. Но для того, чтобы сохранить всю свѣжесть красоть, находящихся въ подлинникѣ, мнѣ надлежало бы *имѣть Боннетовъ духъ*. Сверхъ того языкъ нашъ хотя и богатъ, однакоже не такъ обработанъ, какъ другіе, и по сіе время еще весьма не многія философическія и физическія книги переведены на Русскій. Надобно будетъ составлять или выдумывать новыя слова, подобно какъ составляли и выдумывали ихъ Нѣмцы, начавъ писать на собственномъ языкѣ своемъ; но отдавая всю справедливость сему послѣднему, котораго богатство и сила мнѣ извѣстны, скажу, что

* См. выше, с. 50.

нашъ языкъ самъ по себѣ гораздо пріятнѣе. Переводъ мой можетъ быть полезенъ — и сія мысль послужить мнѣ ободреніемъ къ преодоленію всѣхъ трудностей.

«Вы пишете такъ ясно, что на сей разъ я долженъ только благодарить васъ за данное мнѣ позволеніе требовать у васъ изъясненій въ такомъ случаѣ, если бы что нибудь показалось для меня непонятнымъ въ *Созерцаніи*. Можетъ быть, трудно будетъ мнѣ выражать ясно на Русскомъ языкѣ то, что на Французскомъ весьма понятно для всякаго, кто хотя не много знаетъ сей языкъ.»

«Я намѣренъ переводить и вашу *Палименезію*. Одинъ пріятель мой, живущій въ Москвѣ, такъ же какъ и я, любитъ читать ваши сочиненія, и будетъ моимъ сотрудникомъ; можетъ быть въ самую сію минуту, когда имѣю честь писать къ вамъ, онъ переводитъ главу изъ *Созерцанія* или *Палименезіи*.

«Предлагая публикѣ переводъ мой, скажу: я *видѣлъ* *ею самаю*, и читатель позавидуетъ мнѣ въ сердцѣ своемъ.»

Боннетъ отвѣчалъ Карамзину очень любезно и пригласилъ къ себѣ обѣдать.

«Если, по словамъ Виландовымъ, сочиненія Боннетовы заставляютъ читателей любить автора, то милое обхожденіе его еще увеличиваетъ эту любовь. — Ни съ кѣмъ не говорю я такъ смѣло, такъ охотно, какъ съ нимъ. И слова и взоры его ободряютъ меня. Онъ все выслушиваетъ до конца, во все входитъ, на все отвѣчаетъ. Какой человекъ!»

«Вы рѣшились переводить *Созерцаніе Природы*, сказалъ онъ: начните же переводить его въ глазахъ автора и на томъ столѣ, на которомъ оно было сочиняемо. Вотъ книга, бумага, чернилица, перо. — Съ радостію исполнилъ я волю его; съ нѣкоторымъ благоговѣніемъ приближился къ письменному столу великаго философа, сѣлъ на его кресла, взялъ перо его — и рука моя не дрожала,

хотя онъ стоялъ за мною. Я перевелъ титулъ—первый параграфъ—и прочиталъ вслухъ. *Слышу и не покиаю*, сказалъ любезный Боннетъ съ усмѣшкою: *но соотечественники ваши будутъ конечно умнѣе меня.—Эта бумага останется здѣсь въ память нашего знакомства.*

«Онъ хотѣлъ знать, во сколько времени могу перевести Contemplation, въ какой форматъ буду печатать эту книгу, и самъ ли стану читать корректуру? Мнѣ очень пріятно было, что великой Боннетъ входилъ въ такія подробности; но еще пріятнѣе то, что онъ обѣщалъ мнѣ дать новыя и самой Французской публикѣ неизвѣстныя примѣчанія къ *Созерцанію*, которыя написаны у него на карточкахъ, и въ которыхъ сообщаетъ онъ извѣстіе о новыхъ открытіяхъ въ наукахъ, дополняетъ, объясняетъ, поправляетъ нѣкоторыя невѣрности, и проч. и проч. Я человекъ (сказалъ онъ), и потому ошибался; не могъ самъ дѣлать всѣхъ опытовъ, вѣрилъ другимъ наблюдателямъ, и послѣ узнавалъ ихъ заблужденіе. Стараюсь о возможномъ совершенствѣ моихъ сочиненій, поправляю всякую ошибку, которую нахожу въ нихъ.—

«Онъ хочетъ, чтобы я прислалъ къ нему два экземпляра перевода моего: одинъ для его собственной, а другой для Женевской публичной библіотеки» (349).

Боннетъ далъ Карамзину вмѣстѣ съ его товарищемъ, Датчаниномъ Багзеномъ, прочесть письмо Галлера, послѣднее, писанное за нѣсколько дней передъ его смертію. «Оно всѣхъ насъ заставило плакать. Нѣкоторыя страницы остались въ моей памяти: вотъ онѣ: Скоро, любезный и почтенный другъ мой! Скоро не будетъ меня въ семъ мірѣ. Обращаю глаза на прошедшую жизнь мою, и полагаюсь на благость Провидѣнія, спокойно ожидаю смерти. Въ сію минуту болѣе, нежели когда нибудь, благодарю Бога за то, что я воспитанъ былъ въ Христіанской Религіи, и что спасительныя истины ея всегда жили въ моемъ сердцѣ.

Благодарю Его и за вашу драгоценную дружбу, которая служила мнѣ утѣшеніемъ въ жизни, и питала въ душѣ моей любовь къ мудрости и добродѣтели... Простите, дражайшій другъ мой! Живите еще многія лѣта, и просвѣщайте человѣчество; живите и распространяйте царство добродѣтели!... Простите, въ сію минуту душа моя къ вамъ стремится:—я хотѣлъ бы обнять васъ въ послѣдній разъ; хотѣлъ бы въ послѣдній разъ слышать изъ устъ вашихъ сладостное наименованіе друга; хотѣлъ бы словесно изъявить вамъ всю признательность, всю чувствительность моего сердца... Я оставляю дѣтей: будьте имъ вторымъ отцомъ, наставникомъ, покровителемъ, другомъ!... Простите! Гдѣ и какъ мы увидимся, не знаю; но знаю то, что Богъ премудръ, благъ и всемогущъ: мы бессмертны! Дружба наша бессмертна!... Скоро зашумитъ и подымется передо мною непроницаемая завѣса — слава Всевышнему!... Простите въ послѣдній разъ—рука моя слабѣетъ — въ послѣдній разъ называюсь здѣсь вашимъ вѣрнымъ, нѣжнымъ, признательнымъ, благодарнымъ, умирающимъ, но вѣчнымъ другомъ!» (372).

Послѣ обѣда ходили они прогуливаться. «Въ этой бесѣдѣ, — рассказывалъ Боннетъ, — сочинялъ я предисловіе къ Палингенезіи; здѣсь, на берегу озера, первыя главы ея; тутъ, подъ высокимъ каштановомъ деревомъ, заключеніе *Созерцанія Природы*. На чистомъ воздухѣ мысли мои бываютъ свѣжѣе.—Часы или минуты сочиненія—тѣ минуты, въ которыя душа его, *божественнымъ огнемъ соприятая*, предается быстрому стремленію мыслей и чувствъ своихъ — называетъ онъ счастливейшими, сладкими, *небесными минутами*.» (374).

«Наконецъ въ послѣдній разъ я былъ у Боннета, и говоря съ нимъ искренно, открылъ ему свое горе. Онъ сожалѣлъ обо мнѣ, утѣшалъ меня—голосъ и глаза его показали, что это сожалѣніе, это утѣшеніе, было не при-

творное.—Общанныя примѣчанія къ Contemplation я получилъ.» (381).

«Какая душа! и какъ мнѣ забыть его привѣтливость, его ласки!—Слезы не удержались въ глазахъ моихъ, когда мнѣ надлежало съ нимъ прощаться. Живите (сказалъ я), живите для блага человѣчества! Онъ обнялъ меня—желалъ мнѣ счастья; желалъ, чтобы вы, друзья мои, были здоровы, и чтобы я скоро получилъ отъ васъ письмо. Милый, милый Боннетъ! Философъ съ чувствомъ! — Я затворилъ за собою двери его кабинета; но онъ вышелъ и кричалъ мнѣ въ слѣдъ: adieu, cher Caramsin, adieu!» (382).

Марта 1-ю Карамзинъ выѣхалъ изъ Женевы послѣ четырехъ-мѣсячнаго тамъ пребыванія, вмѣстѣ съ Беккеромъ, съ которымъ онъ познакомился на дорогѣ въ Швейцарію. «Вчера ввечеру спустились мы въ пространныя равнины. Я почувствовалъ нѣкоторую радость. Долго представлялись глазамъ моимъ необозримыя цѣпи высокихъ горъ, и видъ плоской земли былъ для меня новъ. Я вспомнилъ Россію, любезное отечество; мнѣ казалось, что она уже не далеко. Такъ лежатъ поля наши — думалъ я, предавшись сему мечтательному чувству — такъ лежатъ поля наши, когда весеннее солнце растопляетъ снѣжную одежду ихъ, и оживляетъ озими, надежду текущаго года!» (392).

Точно такъ же на границѣ, услышавъ пѣсни, онъ вспомнилъ Россію. «Я вслушивался въ мелодіи, и находилъ въ нихъ нѣчто сходное съ нашими народными пѣснями, *столь для меня трогательными.*» (389).

Такъ мысль объ отечествѣ никогда его не оставляла.

Въ Ліонѣ Карамзинъ познакомился съ извѣстнымъ Пѣмецкимъ поэтомъ того времени Маттисономъ.

Посѣщеніе Картезіанскаго монастыря внушаетъ ему слѣдующія мысли:

«Учредители сего ордена худо знали нравственность человѣка, образованную, такъ сказать, для дѣятельности,

безъ которой не найдемъ мы ни спокойствія, ни наслажденія, ни счастья. Уединеніе пріятно тогда, когда оно есть отдыхъ; но безпрестанное уединеніе есть путь къ ничтожеству. Сначала душа наша бунтуетъ противъ сего заключенія, противнаго ея натурѣ; чувство *недостатка*— (ибо человекъ самъ по себѣ есть фрагментъ или отрывокъ: только съ подобными ему существами и съ природою составляетъ онъ цѣлое) — чувство недостатка мучить ее; наконецъ всѣ благородныя побужденія въ сердцахъ нашихъ усыпаютъ, и человекъ съ первой степени земнаго творенія ниспадаетъ въ сферу бездушныхъ тварей.» (412).

Въ Лионѣ Карамзинъ видѣлъ представленіе новой трагедіи Шенье, Карлъ IX, и, бывъ недоволенъ ею, выражаетъ такъ свое мнѣніе вообще о Французскихъ трагедіяхъ: «Дѣйствіе ужасно; но не всякій ужасъ можетъ быть душою драмы. Великая тайна трагедіи, которую Шекспиръ похитилъ во святилищѣ человеческого сердца, пребываетъ тайною для Французскихъ поэтовъ—и Карлъ IX холоденъ, какъ ледъ. Авторъ имѣлъ въ виду новыя происшествія, и всякое слово, относящееся къ нынѣшнему состоянію Франціи, было сопровождаемо плескомъ зрителей. Но отними сіи *отношенія*, и пѣса показалась бы скучна всякому, даже и Французу. На сценѣ только *разговариваютъ, а не дѣйствуютъ*, по обыкновенію Французскихъ трагиковъ; рѣчи предлинныя и наполнены обетшальными сентенціями; одинъ актеръ говоритъ безъ умолку, а другіе зѣваютъ отъ праздности и скуки. Одна сцена тронула меня—та, гдѣ сонмъ фанатиковъ упадаетъ на колѣни и благословляется злымъ прелатомъ; гдѣ при звукѣ мечей влѣнутся они истребить еретиковъ. Главное дѣйствіе трагедіи повѣствуется, и для того мало трогаетъ зрителя. Добродѣтельный Колинъ умираетъ за сценою. На театрѣ остается одинъ несчастный Барль, который въ сильной горячкѣ то бросается на землю, то—встаетъ. Онъ видитъ (не въ самомъ дѣлѣ, а только

въ воображеніи) умерщвленнаго Колинны, такъ какъ Синавъ видитъ умерщвленнаго Трувора; лишается силъ; но между тѣмъ читаетъ пышную рѣчь стиховъ въ двѣсти» (417).

Присоединимъ здѣсь кстати болѣе пространное развитіе этихъ мыслей въ письмѣ изъ Парижа.

«Французскіе поэты имѣютъ тонкій, нѣжный вкусъ, и въ *искусствѣ писать* могутъ служить образцами. Только въ разсужденіи изобрѣтенія, жара и глубокаго *чувства природы* — простите мнѣ, священныя тѣни Корнелей, Расиновъ и Вольтеровъ! — должны они уступить преимущество Англичанамъ и Нѣмцамъ. Трагедіи ихъ наполнены изящными картинами, въ которыхъ весьма искусно подобраны краски къ краскамъ, тѣни къ тѣнямъ; но я удивляюсь имъ по большей части съ холоднымъ сердцемъ. Вездѣ смѣсь естественнаго съ романическимъ; вездѣ *mes feux, ma foi*; вездѣ Греки и Римляне *à la Française*, которые таютъ въ любовныхъ восторгахъ, иногда философствуютъ, выражаютъ одну мысль разными отборными словами, и теряясь въ лабиринтѣ краснорѣчія, забываютъ дѣйствовать. Здѣшняя публика требуетъ отъ автора прекрасныхъ стиховъ, *des vers à retenir*; они прославляютъ піесу, и для того стихотворцы стараются всячески умножать ихъ число, занимаясь тѣмъ болѣе, нежели важностію приключеній, нежели новыми, чрезвычайными, но естественными *положеніями* (situations), и забывая, что характеръ всего болѣе обнаруживается въ сихъ необыкновенныхъ случаяхъ, отъ которыхъ и слова заимствуютъ силу свою.*

* Я прошу знатоковъ Французскаго театра найти мнѣ въ Корнелѣ или въ Расинѣ что нибудь подобное—напримѣръ, симъ Шекспировымъ стихамъ, въ устахъ старца Леара, изгнаннаго собственными дѣтьми его, которымъ отдалъ онъ свое царство, свою корону, свое величіе—свитающагося въ бурную ночь по лѣсамъ и пустынямъ.

Blow winds.... rage! blow!

You sulphurous and thought-executing fires,
Vaunt couriers to oak-cleaving thunder-bolts,

«Боротко сказать, творенія Французской Мельпомены славны и будутъ всегда славны—красотою слога и блестящими стихами; но если трагедія должна глубоко трогать наше сердце или ужасать душу: то соотечественники Вольтеровы не имѣютъ можетъ быть ни двухъ истинныхъ трагедій—и д'Аламбертъ сказалъ весьма справедливо, что всѣ ихъ піесы сочинены болѣе для чтенія, нежели для театра» (472).

«Легко смѣяться надъ Шекспиромъ не только съ Вольтеровымъ, но и самымъ обыкновеннымъ умомъ; кто же не чувствуетъ великихъ красотъ его, съ тѣмъ я не хочу и спорить! Забавные Шекспировы критики похожи на дерзкихъ мальчиковъ, которые окружаютъ на улицѣ странно одѣтаго человѣка и кричатъ: какой смѣшной! какой чудакъ!»

Singe my white head! And thou allshaking thunder,
Strike flat the thick rotundity o'the world!
Crack nature's moulds, all germens spill at once,
That make ingrateful man!..
I tax not you, you elements, with unkindness!
I never gave you kingdom, call'd you children;
... Then let fall
Your horrible pleasure!... Here I stand, your slave,
A poor, infirm, weak and despis'd old man!

«Шумите вѣтры, свирѣпствуй буря! Сѣрные, быстрые огни, предтечи разрушительныхъ ударовъ! Дѣйте пламя на бѣлую главу мою!... Громы, громы! сокрушите зданіе міра: сокрушите образъ природы и человѣка, неблагоприятнаго человѣка!... Не жалуюсь на вашу свирѣпость, разъяренныя стихіи! Я не отдавалъ вамъ царства, не именовалъ васъ милыми дѣтьми своими! И такъ свирѣпствуйте по волѣ! Разите—сея, рабъ вашъ, бѣдный, слабый, изнуренный старецъ, отверженный отъ челоуѣчества!»

«Они раздираютъ душу; они гремятъ подобно тому грому, который въ нихъ описывается, и потрясаютъ сердце читателя. Но что же даетъ имъ сію ужасную силу? Чрезвычайное положеніе царственнаго изгнанника, живая картина бѣдственной судьбы его. И кто послѣ того спросить еще: какой характеръ, какую душу имѣлъ Деаръ?»

«Всякой авторъ ознаменованъ печатію своего вѣка. Шекспиръ хотѣлъ нравиться современникамъ, зналъ ихъ вкусъ и угождалъ ему; что казалось тогда остроуміемъ, то нынѣ скучно и противно: слѣдствіе успѣховъ разума и вкуса, на которые и самый великій геній *не можетъ взять мърз своихъ*; но всякой истинный талантъ, платя дань вѣку, творить и для вѣчности; современные красоты исчезаютъ, а общія, основанныя на сердцѣ человѣческомъ и на природѣ вещей, сохраняютъ силу свою, какъ въ Гомерѣ, такъ и въ Шекспирѣ. Величіе, истина характеровъ, занимательность приключеній, *откровеніе* человѣческаго сердца, и великія мысли, разсѣяныя въ драмахъ Британскаго генія, будутъ всегда ихъ магіею для людей съ чувствомъ. Я не знаю другаго поэта, который имѣлъ бы такое всеобъемлющее, плодотворное, неистощимое воображеніе; и вы найдете всѣ роды поэзіи въ Шекспировыхъ сочиненіяхъ. Онъ есть любимый сынъ богини фантазій, которая отдала ему волшебный жезлъ свой; и онъ, гуляя въ дикихъ садахъ воображенія, на каждомъ шагу творитъ чудеса!» (747).

Изъ Ліона Карамзинъ хотѣлъ обозрѣть южную Францію, но товарищъ его Беккеръ, съ которымъ онъ выѣхалъ изъ Женевы, не могъ ему сопутствовать, не получивъ денегъ, и Карамзинъ рѣшился пожертвовать своими удовольствіями: «нѣсколько минутъ я сражался съ самимъ собою, сидя въ задумчивости передъ каминомъ. Любезный Датчанинъ разбиралъ между тѣмъ свой чемоданъ, въ которомъ лежали нѣкоторыя изъ моихъ вещей. Вотъ твои книги, говорилъ онъ—твои письма—твои платки—возьми ихъ! Можетъ быть мы уже не увидимся. Нѣтъ, сказалъ я, вставъ со стула и обнявъ съ чувствительностію Беккера—мы ѣдемъ вмѣстѣ!

«Гробница пѣжной Лауры, прославленной Петраркомъ! Воклюзская пустыня, жилище страстныхъ любовниковъ!»*

* Въ 12 верстахъ отъ Авиньона.

шумный, пѣнистый ключъ, утолявшій ихъ жажду! я васъ не увижу!... Луга Прованскіе, гдѣ тимонъ съ размариномъ благоухаютъ! не ступитъ нога моя на вашу цвѣтущую зелень!... Нимскій храмъ Діаны, огромный амфитеатръ, драгоцѣнные остатки древности! я васъ не увижу!*—Не увижу и тебя, отчизна Пилата Понтійскаго!** не взойду на ту высокую гору, на ту высокую башню, гдѣ сей несчастный сидѣлъ въ заключеніи, не загляну въ ту ужасную пропасть, въ которую онъ бросился изъ отчаянія!*** Простите, мѣста любопытныя для чувствительнаго путешественника!» (430).

«Не безъ слезъ разставались мы съ Маттисономъ. Онъ подарилъ мнѣ на память нѣкоторыя изъ новѣйшихъ своихъ сочиненій, и сказалъ: гдѣ буду впредь, не знаю; но никакой климатъ не переѣмнитъ моего сердца — я всегда съ удовольствіемъ стану вспоминать о нашемъ знакомствѣ— не забудьте Маттисона!

«Прочихъ Ліонскихъ знакомыхъ оставляю безъ сожалѣнія.»

Изъ Ліона путешественники отправились въ лодкѣ рѣкою Соною, и плаваніе вмѣстѣ съ наблюденіемъ береговъ вызываетъ въ Карамзинѣ слѣдующія размышленія: въ нихъ ясно видѣнъ тогдашній его взглядъ на исторію рода человѣческаго; усовершенствованіе — вотъ сущность его образа мыслей.

«Я воображаю себѣ первобытное состояніе сихъ цвѣтущихъ береговъ... здѣсь журчала Сона въ дичи и иракѣ; темныя лѣса шумѣли надъ ея водами; люди жили какъ звѣри, укрываясь въ глубокихъ пещерахъ, или подъ вѣтвями столѣтнихъ дубовъ — какое превращеніе!... Сколько вѣковъ потребно было на то, чтобы сгладить съ природы всѣ знаки первобытной дикости!

* Въ Нимѣ много Римскихъ древностей.

** Городъ Вьень.

*** Такъ говорятъ преданіе. Сію башню и сію пропасть показываютъ близъ Вьеня!

«Но можетъ быть, друзья мои, можетъ быть въ теченіи времени сіи мѣста опять запустѣютъ и одичаютъ, можетъ быть черезъ нѣсколько вѣковъ вмѣсто сихъ прекрасныхъ дѣвушекъ, которыя теперь передъ моими глазами сидятъ на берегу рѣки, и чешутъ гребнями бѣлыхъ козь своихъ, явятся здѣсь хищные звѣри, и заревутъ какъ въ пустынь Африканской!... Горестная мысль!

«Наблюдайте движенія природы; читайте исторію народовъ; поѣзжайте въ Сирію, въ Египеть, въ Грецію — и скажите, чего ожидать невозможно? Все возвышается или упадаетъ; народы земные подобны цвѣтамъ весеннимъ, они увядаютъ въ свое время — придетъ странникъ, который удивлялся нѣкогда красотѣ ихъ; придетъ на то мѣсто, гдѣ цвѣли они... и печальный мохъ представится глазамъ его! — Оссіанъ! ты живо чувствовалъ сію плачевную судьбу всего подлуннаго, и для того потрясашь мое сердце унылыми своими пѣснями!

«Кто поручится, чтобы вся Франція — сіе прекраснѣйшее въ свѣтѣ государство, прекраснѣйшее по своему климату, своимъ произведеніямъ, своимъ жителямъ, своимъ искусствамъ и художествамъ — рано или поздно не уподобилась нынѣшнему Египту?

«Одно утѣшаетъ меня — то, что съ паденіемъ народовъ не упадаетъ весь родъ человѣческій; одни уступаютъ свое мѣсто другимъ — и если запустѣетъ Европа, то въ срединѣ Африки или въ Канадѣ процвѣтутъ новыя политическія общества.

«Тамъ, гдѣ жили Гомеры и Платоны, живутъ нынѣ невѣжды и варвары; но за то въ сѣверной Европѣ существуетъ пѣвецъ Мессіады, которому самъ Гомеръ отдалъ бы лавровый вѣнецъ свой; за то у подошвы Юры видимъ Боннета, а въ Бенигсбергѣ Канта, передъ которымъ Платонъ въ разсужденіи философіи есть младенецъ.» (433).

Карамзинъ былъ уже недалеко отъ Парижа:» «Мы приближались къ Парижу, и я безпрестанно спрашивалъ, скоро ли увидимъ его? Наконецъ открылась обширная равнина, а на равнинѣ, во всю длину ея, Парижъ!... Жадные взоры наши устремились на сію необозримую громаду зданій—и терялись въ ея густыхъ тѣняхъ. Сердце мое билось. Вотъ онъ (думалъ я) — вотъ городъ, который въ теченіе многихъ вѣковъ былъ образцемъ всей Европы, источникомъ вкуса, модъ — котораго имя произносится съ благоговѣніемъ учеными и неучеными, философами и щеголями, художниками и невѣждами, въ Европѣ и въ Азіи, въ Америкѣ и въ Африкѣ — котораго имя стало мнѣ извѣстно почти вмѣстѣ съ моимъ именемъ; о которомъ такъ много читалъ я въ романахъ, такъ много слышалъ отъ путешественниковъ, такъ много мечталъ и думалъ!... Вотъ онъ!... я его вижу, и буду въ немъ! — Ахъ, друзья мои! *сія минута была одною изъ пріятнѣйшихъ минутъ моего путешествія!* Ни къ какому городу не приближался я съ такими живыми чувствами, съ такимъ любопытствомъ, съ такимъ нетерпѣніемъ!» (438).

Карамзинъ прожилъ въ Парижѣ четыре мѣсяца съ половиною. Прежде всего онъ былъ обрадованъ полученнымъ письмомъ изъ Россіи. Живость его чувства ясно изображается въ слѣдующихъ словахъ: «Вообразите радость вашего друга!... вы здоровы и благополучны!... Всѣ безпокойства въ одну минуту забылись: я сталъ веселъ какъ безпечный младенецъ, читалъ десять разъ письмо, забылъ г-жу Брегетъ, (которая вручила ему письмо), и не говорилъ съ нею ни слова; душа моя въ сію минуту занималась одними отдаленными друзьями. — Кажется, что вы очень обрадовались, сказала хозяйка: это пріятно видѣть. — Тутъ я опомнился, началъ передъ нею извиняться, но очень нескладно; хотѣлъ рассказать ей о Женевѣ, гдѣ она родилась, но не могъ, и наконецъ ушелъ. Беккеръ увидѣлъ меня бѣгущаго, увидѣлъ письмо въ рукѣ

моей, увидѣлъ мое лице — и обрадовался сердечно, потому что онъ любитъ меня. Мы обнялись на Новомъ мосту подлѣ монумента, и мнѣ казалось, что самъ мѣдный Генрихъ, смотря на насъ, улыбался. *Pour neuf!* я никогда тебя не забуду!» (441).

«Я въ Парижѣ! эта мысль производитъ въ душѣ моей такое — то особенное, быстрое, неизъяснимое, приятное движеніе.... я въ Парижѣ, говорю самъ себѣ, и бѣгу изъ улицы въ улицу, изъ Тюльери въ поля Елисейскія; вдругъ останавливаюсь, на все смотрю съ отрицательнымъ любопытствомъ: на дома, на кареты, на людей. Что было мнѣ извѣстно по описаніямъ, вижу теперь собственными глазами — веселюсь и радуюсь живою картиною величайшаго, славнѣйшаго города въ свѣтѣ, чуднаго, единственнаго по разнообразію своихъ явленій.

«Пять дней прошли для меня, какъ пять часовъ: въ шумѣ, во многолюдствѣ, въ спектакляхъ, въ волшебномъ замкѣ Пале-Рояль. Душа моя наполнена живыми впечатлѣніями; но я не могу самому себѣ дать въ нихъ отчета, и не въ состояніи сказать вамъ ничего связнаго о Парижѣ. Пусть любопытство мое насыщается; а послѣ будетъ время разсуждать, описывать, хвалить, критиковать. — Теперь замѣчу одно то, что кажется мнѣ главною чертою въ характерѣ Парижа: отрицательную живость народныхъ движеній, удивительную скорость въ словахъ и дѣлахъ. Система Декартовыхъ вихрей могла родиться только въ головѣ Француза, Парижскаго жителя. Здѣсь все спѣшить куда-то; всѣ, кажется, перегоняютъ другъ друга; ловятъ, хватаютъ мысли; угадываютъ чего вы хотите, чтобъ какъ можно скорѣе васъ отправить. Какая страшная противоположность — на примѣръ, съ важными Швейцарами, которые ходятъ всегда размѣренными шагами, слушаютъ васъ съ величайшимъ вниманіемъ, приводящимъ въ краску стыдливаго, скромнаго человѣка; слушаютъ и тогда,

когда вы уже говорить перестали; соображаютъ ваши слова, и отвѣчаютъ такъ медленно, такъ осторожно, боясь, что они васъ не понимаютъ! А Парижскій житель хочетъ всегда отгадывать; вы еще не кончили вопроса, онъ сказалъ отвѣтъ свой, поклонился и ушелъ» (443).

Между тѣмъ въ Парижѣ разгоралась тогда революція.

«Говорить ли о французской революціи? Вы читаете газеты: слѣдственно происшествія вамъ извѣстны. Можно ли было ожидать такихъ сценъ въ наше время отъ зефирныхъ Французовъ, которые славились своею любезностію, и пѣли съ восторгомъ отъ Кале до Марсели, отъ Перпиньяна до Стразбурга:

Pour un peuple aimable et sensible

Le premier bien est un bon roi....

Для любезнаго народа

Счастье добрый государь....

«Не думайте однакожъ, чтобы вся нація участвовала въ трагедіи, которая играется нынѣ во Франціи. Едва ли сотая часть дѣйствуетъ; всѣ другіе смотрятъ, судятъ, спорятъ, плачутъ или смѣются, бьютъ въ ладоши или освистываютъ, какъ въ театрѣ. Тѣ, которымъ потерять нечего, держатъ какъ хищные волки; тѣ, которые всего могутъ лишиться, робки какъ зайцы; одни хотятъ все отнять, другіе хотятъ спасти что нибудь. Оборонительная война съ наглымъ непріятелемъ рѣдко бываетъ счастлива. Исторія не кончилась; но по сіе время Французское дворянство и духовенство кажутся худыми защитниками трона.» (461).

«Всякое гражданское общество, вѣками утвержденное, есть *святыня для добрыхъ гражданъ*; и въ самомъ несовершеннѣйшемъ надобно удивляться чудесной гармоніи, благоустройству, порядку. Утопія * будетъ всегда мечтою добраго сердца, или можетъ исполниться непримѣтнымъ дѣйствіемъ времени посредствомъ медленныхъ, но

* Или *царство счастья*, сочиненіе Моруса.

вѣрныхъ, безопасныхъ успѣховъ разума, просвѣщенія, воспитанія, добрыхъ нравовъ. Когда люди увѣрятся, что *для собственнаго ихъ счастья добродѣтель необходима*, тогда настанетъ вѣкъ златой, и во всякомъ правленіи человекъ насладится мирнымъ благополучіемъ жизни. *Всякія же насильственные потрясенія гибельны*, и каждый бунтовщикъ готовитъ себѣ эшафотъ. Предадимъ, друзья мои, предадимъ себя во власть Провидѣнію: Оно конечно имѣетъ свой планъ; въ его рукѣ сердца государей—и довольно. Легкіе умы думаютъ, что все легко; мудрые знаютъ опасность всякой переменѣ, и живутъ тихо. Французская монархія производила великихъ государей, великихъ министровъ, великихъ людей въ разныхъ родахъ; подъ ея мирною сѣнью возрастали науки и художества; жизнь общественная украшалась цвѣтами пріятностей, бѣдный находилъ себѣ хлѣбъ, богатый наслаждался своимъ избыткомъ... Но дерзкіе подняли сѣкиры на священное дерево, говоря: мы лучше сдѣлаемъ!»

«Новые республиканцы съ порочными сердцами! разверните Плутарха, и вы услышите отъ древняго, величайшаго, добродѣтельнаго республиканца, Катона, что *безначаліе хуже всякой власти*» (463).

Вотъ мысли и правила, которымъ Карамзинъ пребылъ вѣрнымъ во все продолженіе своей жизни. Въ Русской Исторіи онъ нашелъ имъ для себя подтвержденіе, и выразилъ ихъ искренно и твердо, не думая нисколько о такъ называемой популярности, не думая о переимчившемся вокругъ его образѣ мыслей, и вмѣстѣ съ тѣмъ не лѣстя никогда власти въ ея уклоненіяхъ и злоупотребленіяхъ. Но мы будемъ имѣть случай говорить объ этомъ предметѣ подробнѣе въ свое время: теперь должно отмѣтить только первые зародыши его воззрѣній, политическихъ какъ и нравственныхъ, литературныхъ. Припомнимъ, что ему было тогда 23 года.

«Парижъ есть городъ единственный. Нигдѣ, можетъ быть, нельзя найти столько матерій для философскихъ наблюдений, какъ здѣсь; нигдѣ столько любопытныхъ предметовъ для человѣка, умѣющаго цѣнить искусства; нигдѣ столько разсѣяній и забавъ. Но гдѣ же и столько опасностей для философіи, особливо для сердца? Здѣсь тысячи сѣтей разставлены для всякой его слабости.... Шумный океанъ, гдѣ быстрое стремленіе волнъ мчитъ васъ отъ Харибды къ Сциллѣ, отъ Сциллы къ Харибдѣ! Сирень множество, и цвѣтніе ихъ такъ сладостно, усыпительно... Какъ легко забыться, заснуть! Но пробужденіе едва ли не всегда горестно — и первый предметъ, который явится глазамъ, будетъ пустой кошелекъ. Однакожь не надобно себѣ воображать, что Парижская пріятная жизнь очень дорога для всякаго: напротивъ того, здѣсь можно за небольшія деньги наслаждаться всѣми удовольствіями по своему вкусу. Я говорю о *позволенныхъ*, и въ строгомъ смыслѣ позволенныхъ удовольствіяхъ: имѣть хорошую комнату въ лучшей отели; по утру читать разные журналы, газеты, гдѣ всегда найдешь что нибудь занимательное, жалкое, смѣшное; и между тѣмъ пить кофе, какого не умѣютъ варить ни въ Германіи, ни въ Швейцаріи; потомъ кликнуть парикмахера, говоруна, вралья, который наскажетъ вамъ множество забавнаго вздору о Мирабо и Мори, о Бальи и Лафаетѣ, намажетъ вамъ голову прованскими духами, и напудритъ самую бѣлою, легкою нудрою; а тамъ, надѣвъ чистый, простой фракъ, бродить по городу, зайти въ Пале-Рояль, въ Тюльери, въ Елисейскія поля, къ извѣстному писателю, къ художнику, въ лавки, гдѣ продаются эстампы и картины, — къ Дидоту, любоваться его прекрасными изданіями классическихъ авторовъ, обѣдать у ресторатѣра, гдѣ подають вамъ за рубль пять или шесть хорошо приготовленныхъ блюдъ съ десертомъ; посмотрѣть на часы, и расположить время

свое до шести, чтобы, осмотрѣвъ какую нибудь церковь украшенную монументами, или галлереею картинною, или библиотеку, или кабинетъ рѣдкостей, явиться, съ первымъ движеніемъ смычка, въ оперѣ, въ комедіи, въ трагедіи, плѣняться гармонією, балетомъ, смѣяться, плакать — и съ томною, но пріятныхъ чувствъ исполненною душою отдыхать въ Пале-Рояль, въ Café de Valois, de Caveau, за чашкою баваруаза, взглядывать на великолѣпное освѣщеніе лавокъ, аркадъ, аллеѣ въ саду; вслушиваться иногда въ то, что говорятъ тамошніе глубокіе политики; наконецъ возвратиться въ тихую свою комнату, собраться съ идеями написать нѣсколько строкъ въ своемъ журналѣ, броситься на мягкую постель, и (чѣмъ обыкновенно кончится и день и жизнь) заснуть глубокимъ сномъ съ пріятною мыслию о будущемъ. — Такъ я провожу время, и доволенъ.» (494).

Апрѣля 29, 1790 г. «Нынѣ цѣлый день просидѣлъ я въ комнатѣ своей, одинъ, съ головою болью, но когда стало смеркаться, вышелъ на Pont neuf, и облокотился на подножіе Генриковой статуи, смотрѣлъ съ великимъ удовольствіемъ, какъ тѣни ночныя мѣшались съ умирающимъ свѣтомъ дня; какъ звѣзды на небѣ, и фонари на улицахъ засвѣчались. Съ пріѣзду моего въ Парижъ всё вечера безъ исключенія проводилъ я въ спектакляхъ, и потому около мѣсяца не видалъ сумерекъ. Какъ они хороши весною, даже и въ шумномъ, немилостивомъ Парижѣ!

«Цѣлый мѣсяць быть всякій день въ спектакляхъ! быть, и не насытиться ни смѣхомъ Талии, ни слезами Мельпомены!... и всякій разъ наслаждаться ихъ пріятностями съ новымъ чувствомъ!... Самъ дивлюсь; но это правда. Правда и то, что я не имѣлъ прежде достаточнаго понятія о Французскихъ театрахъ. Теперь скажу, что они доведены, каждый въ своемъ родѣ, до возмож-

наго совершенства, и что всѣ части спектакля составляютъ здѣсь прекрасную гармонію, которая самымъ пріятнѣйшимъ образомъ дѣйствуетъ на сердце зрителя» (467).

А вотъ описаніе чувствованій Барамзина при слушаніи Гайденовой *Stabat mater*, Йомеліевой *Miserere*. «Нѣсколько разъ грудь моя орошалась жаркими слезами — я не отиралъ ихъ — я ихъ не чувствовалъ. *Небесная музыка! наслаждаюсь тобою, возвышаюсь духомъ, и не завидую ангеламъ!* Кто докажетъ мнѣ, чтобы душа моя, удобная къ такимъ святымъ, чистымъ, эфирнымъ, радостямъ, не имѣла въ себѣ чего нибудь божественнаго, нетлѣннаго? *Сія нѣжные звуки, вьющіе какъ зефиръ на сердце мое, могутъ ли быть пищею смертнаго грубаго существа?»* (489)

Присоединимъ здѣсь впечатлѣнія живописи.

«Шесть дней сряду, въ 10 часовъ утра, хожу я въ улицу Св. Якова, въ Бармелитскій монастырь... За чѣмъ?.. видѣть милую, трогательную Магдалину, живописца Лебрюна, таять сердцемъ и даже плакать!... О чудо несравненнаго искусства! я вижу не холодныя краски, и не бездушное полотно, но живую, ангельскую красоту, въ горести, въ слезахъ, которыя изъ небесныхъ голубыхъ глазъ ея льются на грудь мою; чувствую теплоту, жаръ ихъ, вмѣстѣ съ нею плачу. Она узнала суету міра и злополучія страстей! Сердце ея, для свѣта охладѣвшее, пылаетъ предъ алтаремъ Всевышняго. Не муки адскія ужасаютъ Магдалину, но мысль, что она недостойна любви того, Кто любимъ ею столь ревностно и пламенно: любви Отца небеснаго—чувство нѣжное, однимъ прекраснымъ душамъ извѣстное! Прости меня, говоритъ ея сердце. Прости меня, говоритъ ея взоръ... Ахъ! не только Богъ, совершенная благость, но и самые люди, рѣдко не жестокіе, какихъ бы слабостей не простили такому искреннему, святому раскаянію?... Никогда я не думалъ, не воображалъ, чтобы картина могла быть столь краснорѣ-

чива и трогательна; чѣмъ болѣе смотрю на нее, тѣмъ глубже вникаю чувствомъ въ ея красоты. Все прелестно въ Магдалинѣ: лице, станъ, руки, растрепанные волосы, служащія покровомъ для лилейной груди; всего же прелестнѣе глаза, отъ слезъ покраснѣвшіе.... Я видѣлъ много славныхъ произведеній живописи: хвалилъ, удивлялся искусству; но эту картину желалъ бы имѣть; былъ бы счастливѣе съ нею; однимъ словомъ, люблю ее! Она стояла бы въ моемъ уединенномъ кабинетѣ, всегда передъ моими глазами....»* (561).

Любопытно описаніе свиданія Карамзина съ Бартеlemi.

«Нынѣшній день молодой Скиѣ К. въ Академіи надписей и словесности, имѣлъ счастье узнать Бартеlemi—Платона!. Меня обѣщали съ нимъ познакомить; но какъ скоро я увидѣлъ его, то, слѣдуя первому движенію, подошелъ и сказалъ ему: я Русской; читалъ Анахарсиса; умѣю восхищаться твореніемъ великихъ, безсмертныхъ талантовъ. И такъ, хотя въ нескладныхъ словахъ, примите жертву моего глубокаго почтенія! — Онъ всталъ съ кресель, взялъ мою руку, ласковымъ взоромъ предувѣдомилъ меня о своемъ благорасположеніи, и наконецъ отвѣчалъ: «я радъ вашему знакомству; люблю Сѣверъ, и герой, мною избранный, вамъ не чужой.»—Мнѣ хотѣлось бы имѣть съ нимъ какое нибудь сходство. Я въ Академіи: Платонъ передо мною; но имя мое не такъ извѣстно, какъ имя Анахарсиса. — «Вы молоды, путешествуете, и конечно для того, чтобы украсить вашъ разумъ познаніями: довольно сходства!»—Будетъ еще болѣе, если вы позволите мнѣ иногда видѣть и слушать васъ, съ любопытнымъ умомъ, съ ревностнымъ желаніемъ образовать вкусъ свой настав-

* Нельзя однакожъ не замѣтить странности: Карамзинъ привлекала эта картина всего болѣе потому, что живописецъ изобразилъ въ видѣ Магдалины герцогинюде-ла-Вальеръ: «но открытъ ли вамъ, говоритъ онъ, тайную прелесть ея для моего сердца и проч.?!...»

леніями великаго писателя. Я не поѣду въ Грецію: она въ вашемъ кабинетѣ.—«Жаль, что вы пріѣхали къ намъ въ такое время, когда Аполлона и музъ наряжаемъ мы въ національный мундиръ! Однакожь дайте мнѣ случай видѣться съ вами.» (519).

Въ этомъ засѣданіи Карамзинъ узналъ Левека и по поводу знакомства выразилъ свои мысли о Русской Исторіи, которыя доказываютъ его близкое знакомство съ нею, и приведутся нами въ своемъ мѣстѣ (См. ниже.)

Петра перваго Карамзинъ чтить, разумѣется, безгранично.

«Всего болѣе» говорить онъ (с. 512); не люблю Левека за то, что онъ унижаетъ Петра Великаго, говоря: *on lui a peut etre refusé avec raison le titre d'homme de génie, puisque, en voulant former sa nation, il n'a su qu'imiter les autres peuples.* Я слыхалъ такое мнѣніе даже отъ Русскихъ.»

Вотъ какъ разсуждалъ Карамзинъ о нѣкоторыхъ нововведеніяхъ Петра, составляющихъ и нынѣ предметъ споровъ:

(С. 514): «Борода закрываетъ отъ холоду только малую часть лица: сколько же неудобности лѣтомъ, въ сильный жаръ! Сколько неудобности и зимою: носить на лицѣ иней, снѣгъ и сосульки! Не лучше ли имѣть муфту, которая грѣетъ не одну бороду, но все лицо? Избирать во всемъ лучшее, есть дѣйствіе ума просвѣщеннаго; а Петръ Великій хотѣлъ просвѣтить умъ во всѣхъ отношеніяхъ. Монархъ объявилъ войну нашимъ стариннымъ обыкновеніямъ во-первыхъ для того, что они были грубы, не достойны своего вѣка; во-вторыхъ и для того, что они препятствовали введенію другихъ, еще важнѣйшихъ и полезнѣйшихъ иностранныхъ новостей. Надлежало, такъ сказать, свернуть голову закоренѣлому Русскому упрямству, чтобы сдѣлать насъ гибкими, способными учиться и перенимать. Если бы Петръ родился государемъ какаго нибудь острова, удаленнаго отъ всякаго сообщенія съ другими государствами, то онъ въ природномъ великомъ умѣ своемъ на-

шелъ бы источникъ полезныхъ изобрѣтеній и новостей для блага подданныхъ; но рожденный въ Европѣ, гдѣ цвѣли уже искусства и науки во всѣхъ земляхъ, кромѣ Русской, онъ долженъ былъ только разорвать завѣсу, которая скрывала отъ насъ успѣхи разума человѣческаго и сказать намъ: «смотрите, сравнитесь съ ними, и потомъ, если можете, превзойдите ихъ!» Нѣмцы, Французы, Англичане, были впереди Русскихъ, по крайней мѣрѣ шестью вѣками: Петръ двинулъ насъ своею мощною рукою, и мы въ нѣсколько лѣтъ почти догнали ихъ. Всѣ жалкія Іереміады объ измѣненіи Русскаго характера, о потерѣ Русской нравственной физиономіи, или ничто иное какъ шутка, или происходятъ отъ недостатка въ основательномъ размышленіи. Мы не таковы, какъ брадатые предки наши: тѣмъ лучше! Грубость наружная и внутренняя, невѣжество, праздность, скука были ихъ долею въ самомъ высшемъ состояніи; для насъ открыты всѣ пути къ утонченію разума и къ благороднымъ душевнымъ удовольствіямъ. Все народное ничто передъ человѣческимъ. — Главное дѣло быть людьми, а не Славянами. Что хорошо для людей, то не можетъ быть дурно для Русскихъ; а что Англичане или Нѣмцы изобрѣли для пользы, выгоды человѣческой, то мое, ибо я человѣкъ!

«Еще другое странное мнѣніе: *il est probable*, говоритъ Левекъ, *que si Pierre n'avait pas régné, les Russes seraient aujourd'hui ce qu'ils sont*, т. е. хотя бы Петръ Великій и не училъ насъ, мы бы выучились! — Какимъ же образомъ? Сами собою? но сколько трудовъ стоило Монарху побѣдить наше упорство въ невѣжествѣ! Слѣдовательно Русскіе не расположены, не готовы были просвѣщаться. При Царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ жили многіе иностранцы въ Москвѣ, но не имѣли никакого вліянія на Русскихъ, не имѣвъ съ ними почти никакого обхожденія. Молодые люди, тогдашніе

франты, катались иногда въ саняхъ по Нѣмецкой слободѣ, и за то считались вольнодумцами. Одна только ревностная, дѣятельная воля и безпредѣльная власть Царя Русскаго могла произвести такую внезапную, быструю перемѣну. Сообщение наше съ другими Европейскими землями было очень несвободно и затруднительно; ихъ просвѣщеніе могло дѣйствовать на Россію только слабо; и въ два вѣка по естественному, непринужденному ходу вещей, едва ли сдѣлалось бы то, что Государь нашъ сдѣлалъ въ 20 лѣтъ. Какъ Спарта безъ Ликурга, такъ Россія безъ Петра не могла бы прославиться.»

Въ другомъ мѣстѣ Карамзинъ такъ сравниваетъ Петра съ Лудовикомъ XIV (с. 162): «Подданные прославили Лудовика, Петръ прославилъ своихъ подданныхъ—первый отчасти способствовалъ успѣхамъ просвѣщенія; второй, какъ лучезарный Богъ свѣта, явился на горизонтѣ человѣчества, и освѣтилъ глубокую тьму вокругъ себя; въ правленіе перваго тысячи трудолюбивыхъ Французовъ принуждены были оставить отечество: второй привлекъ въ свое государство искусныхъ и полезныхъ чужеземцовъ; перваго уважаю какъ сильнаго царя: втораго почитаю какъ великаго мужа, какъ героя, какъ благодѣтеля человѣчества, какъ моего собственнаго благодѣтеля. При семъ случаѣ скажу, что мысль поставить статую Петра великаго на дикомъ камнѣ есть для меня прекрасная, несравненная мысль — ибо сей камень служить разительнымъ образомъ того состоянія Россіи, въ которомъ она была до времени своего преобразователя. Не менѣе нравится мнѣ и краткая, сильная, многозначущая подпись: Петру Первому Екатерина Вторая.»

Карамзинъ въ послѣдствіи видоизмѣнилъ это мнѣніе, какъ мы увидимъ на своемъ мѣстѣ, но основаніе осталось тоже.

Предъ памятникомъ Декарта, Карамзинъ разсуждаетъ:

«Философія прежде его состояла въ одномъ школьномъ пустословіи. Декартъ сказалъ, что она должна быть наукою природы и человѣка; взглянулъ на вселенную глазами мудреца, и предложилъ новую, остроумную систему, которая все изъясняетъ—и самое неизъяснимое; во многомъ ошибся, но своими ошибками направилъ на путь истины Англійскихъ и Нѣмецкихъ философовъ; заблуждался въ лабиринтѣ, но бросилъ нить Ариадны Невтону и Лейбницу; не во всемъ достоинъ удивленія; но всегда великъ, и своею метафизикою, своимъ нравоученіемъ, возвеличиваетъ санъ человѣка, убѣдительно доказывая бытіе Творца, чистую безтѣлесность души, святость добродѣтели.»

Въ заключеніе свѣдѣній о пребываніи Карамзина въ Парижѣ, приведемъ общее его мнѣніе о Французахъ, написанное для одной знакомой Француженки.

«Скажу: огонь, воздухъ—и характеръ Французовъ описанъ. Я не знаю народа умнѣе, пламеннѣе и вѣтреннѣе вашего. Кажется, будто онъ выдумалъ, или для него выдуманно общежитіе: столь мила его обходительность, и столь удивительны его тонкія соображенія въ искусствѣ жить съ людьми! Сіе искусство кажется въ немъ любезною природою. Никто, кромѣ его, не умѣетъ приласкать человѣка однимъ видомъ, одною вѣжливою улыбкою. Напрасно Англичанинъ или Нѣмецъ захотѣлъ бы учиться ей передъ зеркаломъ: на лицѣ ихъ она чужая, принужденная. Я хочу жить и умереть въ моемъ любезномъ отечествѣ; но послѣ Россіи нѣтъ для меня земли пріятнѣе Франціи, гдѣ иностранецъ часто забывается, что онъ не между своими. Говорятъ, здѣсь трудно найти искренняго, вѣрнаго друга... Ахъ! друзья вездѣ рѣдки; и чужеземцу ли искать ихъ, тому, кто, подобно кометѣ, являясь исчезаетъ. Дружба есть потребность жизни; всякій хочетъ для нея предмета надежнаго. Но все, чего по справедливости могу требовать отъ чужихъ людей, Французъ предлагаетъ мнѣ съ ласкою, съ букетомъ цвѣтовъ. Вѣтрен-

ность, непостоянство, которыя составляют порокъ его характера, соединяются въ немъ съ любезными свойствами души, происходящими нѣкоторымъ образомъ отъ сего самаго порока. Французъ непостоянень—и не злопамятенъ; удивленіе, похвала, можетъ скоро ему наскучить, ненависть также. По вѣтренности оставляетъ онъ доброе, избираетъ вредное: за то самъ первый смѣется надъ своею ошибкою — и даже плачетъ, если надобно. Веселая безразсудность есть милая подруга жизни его. Какъ Англичанинъ радуется открытію новаго острова, такъ Французъ радуется острому слову. Чувствителень до крайности, страстно влюбляется въ истину, въ славу, въ великія предприятия; но любовники непостоянны! Минуты его жара, изступленія, ненависти, могутъ имѣть страшныя слѣдствія, чему примѣромъ служитъ революція. Жаль, если эта ужасная политическая перемѣна должна перемѣнить и характеръ народа, столь веселаго, остроумнаго, любезнаго!»

«Это писано для дамы, и для Француженки, которая ахнула бы отъ ужаса, и закричала: сѣверный варваръ! если бы я сказалъ ей, что Французы не остроумнѣе, не любезнѣе другихъ».

«Я оставилъ тебя, любезный Парижъ, оставилъ съ сожалѣніемъ и благодарностію! Среди шумныхъ явленій твоихъ жилъ я спокойно и весело, какъ безпечный гражданинъ вселенной; смотрѣлъ на твое волненіе съ тихою душою, какъ мирный пастырь смотритъ съ горы на бурное море. Ни якобинцы, ни аристократы твои не сдѣлали мнѣ никакого зла; я слышалъ споры, и не спорилъ; ходилъ въ великолѣпные храмы твои наслаждаться глазами и слухомъ: тамъ, гдѣ свѣтозарный богъ искусствъ сіяетъ въ лучахъ ума и талантовъ; тамъ, гдѣ геній славы величественно покоится на лаврахъ! Я не умѣлъ описать всѣхъ пріятныхъ впечатлѣній своихъ, не умѣлъ всѣмъ пользоваться, но выѣхалъ изъ тебя не съ пустою душою: въ

ней остались идеи и воспоминанія. Можетъ быть, когда нибудь еще увижу тебя, и сравню прежнее съ настоящимъ; можетъ быть порадоюсь тогда большею зрѣlostiю своего духа, или вздохну о потерянной живости чувства. Съ какимъ удовольствiемъ взошелъ бы я еще на гору Валерiанскую, откуда взоръ мой леталъ по твоимъ живописнымъ окрестностямъ! Съ какимъ удовольствiемъ, сидя во вращѣ Булонскаго лѣса, снова развернулъ бы передъ собою свитокъ исторiи, * чтобы найти въ ней предсказанiе будущаго! Можетъ быть тогда все темное для меня изъяснится; можетъ быть тогда еще болѣе полюблю челоуѣчество; или, закрывъ лѣтописи, перестану заниматься его судьбою...»

«Прости любезный Парижъ, прости любезный Беккеръ! Мы родились съ тобою не въ одной землѣ, но съ однимъ сердцемъ; увидѣлись, и три мѣсяца не разставались. Сколько прiятныхъ вечеровъ провелъ я въ твоей Сен-Жерменской отели, читая привлекательныя мечты единомысленца и соученика твоего, Шиллера, или занимаясь собственными нашими мечтами, или философствуя о свѣтѣ, или судя новую комедию, нами вмѣстѣ видѣнную! Не забуду нашихъ прiятныхъ обѣдовъ за городомъ, нашихъ ночныхъ прогулокъ, нашихъ рыцарскихъ приключенiй, и всегда буду хранить нѣжное, дружеское письмо твое, которое тихонько написалъ ты въ моей комнатѣ за часъ до нашей разлуки. Я любилъ вѣсѣхъ моихъ земляковъ въ Парижѣ; но единственно съ тобою и съ Б* мнѣ грустно было разставаться. Къ утѣшенiю своему думаю, что мы, въ твоемъ или моемъ отечествѣ, можемъ еще увидѣться, въ другомъ состоянiи души, можетъ быть и съ другимъ образомъ мыслей, но равно знакомы и дружны!» (650).

* Въ Булонскомъ лѣсу читалъ я Маблiеву Исторiю Французскаго правленiя, замѣчаетъ Барамзинъ.

«Наконецъ скажу вамъ, что, выключая мои обыкновенныя меланхолическія минуты, я не зналъ въ Парижѣ ничего кромѣ удовольствій. Провести тамъ около четырехъмѣсяцевъ, есть, по словамъ одного Англійскаго доктора, выманить у скувой волшебницы судьбы, очень богатый подарокъ.» (651).

На дорогѣ въ Англію, съ Карамзиннымъ случился опять *кризисъ грусти*: «Теперь сѣжу я одинъ подъ каштановымъ деревомъ, шагахъ въ двадцати отъ почтоваго двора, — смотрю черезъ луга и поля на синѣющеея вдали море и на городъ Бале, окруженный болотами и песками. Странное чувство! мнѣ кажется, будто я пріѣхалъ на край свѣта — тамъ необозримое море — конецъ земли — природа хладѣетъ, умираетъ — и слезы мои льются ручьями. Все тихо, все печально; почтовый дворъ стоитъ уединенно; вокругъ его чистое поле. Товарищи мои сидятъ на травѣ, подлѣ нашей кареты, не говоря между собою ни слова; почтальоны впрягаютъ лошадей; вѣтеръ воетъ, и листья уныло шумятъ надъ головой моею. Кто видитъ мои слезы? Кто беретъ участіе въ моей горести? кому изъясню чувства мои? Я одинъ.... одинъ! — Друзья! гдѣ взоръ вашъ? гдѣ рука ваша? гдѣ ваше сердце? Кто утѣшитъ печальнаго? *О милья узы отечества, родства и дружбы!* Я васъ чувствую, не смотря на отдаленіе — чувствую, и люблю съ нѣжностію!..» (652)

«Берегъ! берегъ! Мы въ Дуврѣ, и я въ Англии — въ той землѣ, которую въ ребячествѣ своемъ любилъ я съ такимъ жаромъ, и которая по характеру жителей и степени народнаго просвѣщенія есть конечно одно изъ первыхъ государствъ Европы: — здѣсь все другое: другіе дома, другія улицы, другіе люди, другая пища — однимъ словомъ, мнѣ кажется, что я переѣхалъ въ другую часть свѣта.» (660).

«Парижъ и Лондонъ, два первые города въ Европѣ, были оаросами моего путешествія, когда я сочинялъ планъ его. Наконецъ вижу и Лондонъ.» (668).

Вотъ впечатлѣніе Лондона, гдѣ Барамзинъ оставался три мѣсяца.

«Я люблю большіе города и многолюдство, въ которомъ человѣкъ можетъ быть уединеннѣе, нежели въ самомъ маломъ обществѣ; люблю смотрѣть на тысячи незнакомыхъ лицъ, которыя, подобно китайскимъ тѣнямъ, мельбаютъ передо мною, оставляя въ нервахъ легкія, едва примѣтныя впечатлѣнія; люблю теряться душою въ разнообразіи дѣйствующихъ на меня предметовъ и вдругъ обращаться къ самому себѣ,—думать, что я средоточіе нравственнаго міра, предметъ всѣхъ его движеній, или пылинка, которая съ мириадами другихъ атомовъ обращается въ вихрь предопредѣленныхъ случаевъ. Философія моя укрѣпляется, такъ сказать, видомъ людской суетности; напротивъ того, будучи одинъ съ собою, часто ловлю свои мысли на мірскихъ ничтожностяхъ. Свѣтъ нравственный, подобно небеснымъ тѣламъ, имѣетъ двѣ силы: одною влечетъ сердце наше къ себѣ, а другою отталкиваетъ его: первую живѣе чувствую въ уединеніи, другую между людей—но не всякій обязанъ имѣть мои чувства. Я умствую: извините. Таково дѣйствіе Англійскаго климата. Здѣсь родился Невтонъ, Локкъ и Гоббесъ!» (672).

При видѣ множества магазиновъ, наполненныхъ товарами всякаго рода, сокровищами индѣйскими и американскими, Барамзинъ замѣчаетъ:

«Такая роскошь не возмущаетъ, а радуетъ сердце, представляя вамъ разительный образъ человѣческой смѣлости, нравственнаго сближенія народовъ и общественнаго просвѣщенія! Пусть гордый богачъ, окруженный произведеніями всѣхъ земель, думаетъ, что услажденіе его чувствъ есть главный предметъ торговли! Она, питая безчисленное множество людей, питаетъ дѣятельность въ мірѣ, переноситъ изъ одной части его въ другую полезныя изобрѣтенія ума 'человѣческаго, новыя идеи, новыя средства утѣшаться жизнью.» (680).

«Я не видалъ еще никого въ Лондонѣ; не успѣлъ взять денегъ у банкира, но успѣлъ слышать въ Вестминстерскомъ аббатствѣ Генделеву ораторію, Мессію, отдавъ за входъ послѣднюю гинѣю свою. Въ оркестръ было 900 музыкантовъ. Пѣли славная въ Европѣ Мара, Норрисъ, Бантелло, и проч. Вообразите дѣйствіе 600 инструментовъ и 300 голосовъ, наилучшимъ образомъ согласенныхъ,—въ огромной залѣ, при безчисленномъ множествѣ слушателей, наблюдающихъ глубокое молчаніе! Какая величественная гармонія! какія трогательныя аріи! гремящія хоры! быстрыя перемѣны чувствъ! Послѣ священнаго ужаса, вселяемаго арією: who shall stand when he appears,* вы въ восторгѣ отъ хора: arise, shine, for thy light is come.** Печаль, грусть обнимаетъ сердце, когда Мара поетъ о Христвѣ: he was a man of sorrows, and acquainted with grief.*** Такъ называемыя *семи-хоры*, вопросами и отвѣтами, производятъ удивительное дѣйствіе. Одинъ: who is the king of glory? Другой: The Lord strong and mighty.—Who is the king of glory; The Lord, of Hosts.† Послѣ чего *семи-хоръ* повторяетъ всѣмъ хоромъ.—Я плакалъ отъ восхищенія, когда Мара пѣла арію: I know that my Redeemer lives—и дуэтъ съ Паккьеротти: O Death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?†† Я слыхалъ музыку Перголезіеву, Йомелліеву, Гайденову, но не бывалъ ничѣмъ столько расстроганъ, какъ Генделевымъ Мессією. И печально и радостно, великолѣпно и чувствительно!» (676).

«Тутъ видѣлъ я всю лучшую Лондонскую публику. Но всѣхъ болѣе занималъ меня молодой человекъ въ сѣренькомъ фракѣ, видомъ весьма обыкновенный, но умомъ сво-

* Кто устоитъ предъ лицомъ его, и проч.

** Встань и сіяй, ибо явился свѣтъ Твой.

*** Онъ испыталъ горестъ, узналъ печаль.

† Кто царь славы? Господь небесныхъ воинствъ.

†† Живъ, живъ спаситель мой!...

О смерть! гдѣ твое жало?

Могла? гдѣ побѣда твоя?

имъ рѣдкій; человекъ, который въ лѣтахъ цвѣтущей молодости живетъ единственно честолюбіемъ, имѣя цѣлю пользу своего отечества; родителя славнаго сынъ достойный, уважаемый всѣми истинными патриотами — однимъ словомъ. Вильгельмъ Питтъ. У него самое Англійское, покойное, и даже флегматическое лице, на которомъ однакожь изображается благородная важность и глубокомысліе. Онъ съ великимъ вниманіемъ слушалъ музыку, говорилъ съ тѣми, которые сидѣли подлѣ него, но болѣе казался задумчивымъ. Въ наружности его нѣтъ ничего особеннаго, пріятнаго. — Слышавъ Генделя и видѣвъ Питта, не жалѣю своей гиней.»(678).

Пропускаемъ описаніе Лондонскихъ достопримѣчательностей, и отмѣтимъ движеніе душевныхъ мыслей Карамзина. «Сидя подъ тѣнію дубовъ Виндзорскаго парка, слушая пѣніе лѣсныхъ птичекъ, шумъ Темзы и вѣтвей, провелъ я нѣсколько часовъ въ какомъ-то сладостномъ забвеніи — не спалъ, но видѣлъ сны, восхитительные и печальные.

*«Темныя, лестныя, милыя надежды сердца! исполни-
тесь ли вы когда нибудь? Живость ваша есть ли залогъ
исполненія? или, со всѣми правами быть счастливымъ,
узнаю счастье только воображеніемъ, увижу его только
мелькомъ, вдали, подобно блистанію молній, и при концѣ
жизни скажу: «Я не жил!»»*

«Мнѣ грустно; но какъ сладостна эта грусть? *Ахъ!
молодость есть прелестная эпоха бытія нашего!* Сердце,
въ полнотѣ жизни, творить для себя будущее, какое ему
мило; все кажется возможнымъ, все близкимъ. *Любовь и
слава*, два идола чувствительныхъ душъ, стоятъ за фле-
ромъ передъ нами, и поднимаютъ руку, чтобы осыпать насъ
дарами своими. Сердце бьется въ восхитительномъ ожида-
ніи, теряется въ желаніяхъ, въ выборѣ счастья, и насла-
ждается возможнымъ еще болѣе, нежели дѣйствительнымъ.

«Но цвѣтъ юности на лицѣ увядаетъ, пышность су-
шить сердце, увѣряя его въ трудности счастливыхъ

успѣховъ, которые прежде казались ему столь легкими! Мы узнаемъ, что воображеніе украшало всѣ пріятности жизни, сокрывая отъ насъ недостатки ея. Молодость прошла; любовь какъ солнце скатилась съ горизонта — что жъ осталось въ сердцѣ? нѣсколько милыхъ и горестныхъ воспоминаній — нѣжная тоска — чувство, подобное тому, которое имѣемъ по разлукѣ съ безцѣннымъ другомъ, безъ надежды увидѣться съ нимъ въ здѣшнемъ свѣтѣ. А слава?... Говорятъ, что она есть послѣднее утѣшеніе любовью растерзаннаго сердца; но слава, подобно розѣ любви, имѣетъ свое терніе, свои обманы и жуки. Многіе ли бывали ею счастливы? Первый звукъ ея возбуждаетъ гидру зависти и злословія, которая будутъ шипѣть за вами до гробовой доски, и на самую могилу вашу изліютъ еще ядъ свой.

«Жизнь наша дѣлится на двѣ эпохи: первую проводимъ въ будущемъ, а вторую въ прошедшемъ. До нѣкоторыхъ лѣтъ, въ гордости надеждъ своихъ человѣкъ смотритъ все впередъ, съ мыслию: тамъ, тамъ ожидаетъ меня судьба, достойная моего сердца! Потери мало огорчаютъ его; будущее кажется ему несмѣтною казною, приготовленною для его удовольствій. Но когда горячка юности пройдетъ; когда сто разъ оскорбленное самолюбіе поневолѣ научится смиренію; когда, сто разъ обманутые надеждою, наконецъ перестаемъ ей вѣрить: тогда, съ досадою оставляя будущее, обращаемъ глаза на прошедшее и хотимъ нѣкоторыми пріятными воспоминаніями замѣнить потерянное счастье лестныхъ ожиданій, говоря себѣ въ утѣшеніе: и мы, и мы были въ Аркадіи! Тогда, тогда единственно научаемся дорожить и настоящимъ; тогда же бываемъ до крайности чувствительны и къ самомалѣйшей тратѣ; тогда прекрасный день, веселая прогулка, занимательная книга, искренній дружескій разговоръ, даже ласки вѣрной собачки, (которая не оставила насъ вмѣстѣ съ невѣрными любовни-

цами!) извлекаютъ изъ глазъ нашихъ слезы благодарности; но тогда же и смерть любимой птички дѣлаетъ намъ пре- великое горе.» (719).

Зрѣлище Англійскаго общества внушаетъ Карамзину много правоучительныхъ мыслей, которыя не потеряли до сихъ поръ своей цѣны. Передадимъ ихъ сполна: онѣ гораздо по- лезнѣе, вѣрнѣе всѣхъ нынѣшнихъ томовъ объ эмансипа- ціяхъ; какъ ясно видѣлъ молодой человѣкъ и понималъ всѣ наши общественные недуги и предрасудки! «У насъ пра- вило: вѣчно быть въ гостяхъ, или принимать гостей. Ан- гличанинъ говоритъ: я хочу быть счастливымъ дома, и только изрѣдка имѣть свидѣтелей моему счастью. Какія же слѣдствія? Свѣтскія дамы, будучи всегда на сценѣ, при- выкаютъ думать единственно о театральныхъ добродѣ- тяхъ. Со вкусомъ одѣться, хорошо войти, пріятно взгля- нуть, есть важное достоинство для женщины, которая жи- веть въ гостяхъ, а дома только спать или сидитъ за ту- алетомъ. Нынѣ большой ужинъ, завтра балъ: красавица танцуетъ до пяти часовъ утра; и *на другой день до того ли ей, чтобы заниматься своими нравственными долж- ностями?* напротивъ того Англичанка, воспитываемая для домашней жизни, приобрѣтаетъ качество доброй супруги и матери, украшая душу свою тѣми склонностями и навы- ками, которые предохраняютъ насъ отъ скуки въ уедине- ніи, и дѣлаютъ одного человѣка сокровищемъ для другаго. Войдите здѣсь по утру въ домъ: хозяйка всегда за руко- дѣльемъ, за книгою, за клавиномъ, или рисуетъ, или пи- шетъ, или учитъ дѣтей, въ пріятномъ ожиданіи той ми- нуты, когда мужъ, отправивъ свои дѣла, возвратится съ биржи, выдетъ изъ кабинета и скажетъ: теперь я твой! теперь я вашъ! Пусть назовутъ меня, чѣмъ кому угодно, но признаюсь, что я безъ какой-то внутренней досады не могу видѣть молодыхъ супруговъ въ свѣтѣ, и говорю мы- сленно: Несчастные! что вы здѣсь дѣлаете? Развѣ дома

среди вашего семейства, въ объятіяхъ любви и дружбы, вамъ не сто разъ пріятнѣе, нежели въ этомъ пусто-блестящемъ кругу, гдѣ не только добрыя свойства сердца, но и самый умъ едва ли не безъ дѣла; гдѣ знаніе какой-то личности составляетъ всю науку; гдѣ быть *не страннымъ* есть верхъ искусства для мужчины, и гдѣ двѣ, три женщины бываютъ для того, чтобы удивлялись красотѣ ихъ, а всѣ прочія.... Богъ знаетъ для чего; гдѣ съ большими издержками и хлопотами люди проводятъ нѣсколько часовъ въ утомительной игрѣ ложнаго веселья? Если у васъ нѣтъ дѣтей, мнѣ остается только жалѣть, что вы не умѣете наслаждаться другъ другомъ, и не знаете, какъ мило проводить цѣлые дни съ любезнымъ человѣкомъ, дѣля съ нимъ дѣло и бездѣлье, въ полной душевной свободѣ, въ мирномъ расположеніи сердца. А если вы родители, то пренебрегаете одну изъ святѣйшихъ обязанностей человѣчества. Въ самую ту минуту, когда ты, безпечная мать, прыгаешь въ контръ-дансѣ, маленькая дочь твоя падаетъ, можетъ быть, изъ рукъ неосторожной кормилицы, чтобы на всю жизнь сдѣлаться уродомъ, или семилѣтній сынъ, оставленный съ наемнымъ учителемъ и слугами, видитъ какой нибудь дурной примѣръ, который сѣетъ въ его сердце порокъ и несчастіе. Сидя за клавесиномъ, среди блестящаго общества, ты, красавица, хочешь нравиться, и поешь какъ малиновка; но малиновка не оставляетъ птенцовъ своихъ! Одна попечительная мать имѣетъ право жаловаться на судьбу, если не хороши дѣти ея; а та, которая свѣтскія удовольствія предпочитаетъ семейственнымъ, не можетъ назваться попечительною.

«И какимы опасностямъ подвержена въ свѣтѣ добродѣтель молодой женщины? Скажите, не виновна ли она передъ своимъ мужемъ, какъ скоро хочетъ нравиться другимъ! Что же иное можетъ питать склонность ея къ свѣтскимъ обществамъ? Слабости имѣютъ свою постепенность,

и переливы едва примѣтны. Сперва молодая супруга хочет только заслужить общее вниманіе или красотою, или любезностію, чтобы оправдать выборъ ея мужа, какъ думаетъ; а тамъ родится въ ней желаніе нравиться какому нибудь знатоку болѣе, нежели другому; а тамъ — не увидишь, какъ и сердце вмѣшается въ планы самолюбія; а тамъ — бѣдный мужъ! бѣдныя дѣти! Всего же несчастнѣе она сама; хорошо, если бы до конца можно было жить въ упоеніи страстей; но есть время, въ которое все оставляетъ женщину, кромѣ ея добродѣтели; въ которое одна благодарная любовь супруга и дѣтей можетъ разсвѣять грусть ея о потерянной красотѣ и многихъ пріятностяхъ жизни, увядающихъ вмѣстѣ съ цвѣтомъ наружныхъ прелестей. Что, если оскорбленный мужъ убѣгаетъ тогда ея взоромъ; если дурно воспитанныя дѣти, не обязанныя ей ничѣмъ, кромѣ несчастной жизни и пороковъ своихъ, всякій часъ растрavляютъ раны ея сердца знаками холодности, нелюбви, самаго презрѣнія?... Обратится ли къ свѣту? Но тамъ время переломило ея скипетръ, угодники исчезли—Зефиръ опахала ея не приманиваетъ уже Сильфовъ — и развѣ подобная ей несчастная кокетка сядетъ подлѣ нея, чтобы излить желчь свою на умы и на сердца людей.»

«Говорю о женщинахъ для того, что сердцу моему пріятнѣе заниматься ими; но главная вина безъ всякаго сомнѣнія на сторонѣ мужчинъ, которые не умѣютъ пользоваться своими правами для взаимнаго счастія, и лучше хотятъ быть строптивыми рабами, нежели умными, вѣжливыми и любезными властелинами нѣжнаго пола, созданнаго прельщать, слѣдственно не властвовать, потому что сила не имѣетъ нужды въ прельщеніи. Часто должно жалѣть о мужъ, но о *мужьяхъ* никогда. Мягкое женское сердце принимаетъ всегда образъ нашего; и если бы мы вообще любили добродѣтель, то милыя красавицы изъ кокетства сдѣлались бы добродѣтельными.» (144).

«Я всегда думалъ, что дальнѣйшіе успѣхи просвѣщенія должны болѣе привязать людей къ домашней жизни.

Не пустота ли душевная увлекаетъ насъ въ разсѣяніе? Первое дѣло истинной философіи есть—обратить человѣка къ неизмѣннымъ удовольствіямъ природы. Когда голова и сердце заняты дома пріятнымъ образомъ, когда въ рукѣ книга, подлѣ милая жена, вокругъ прекрасныя дѣти, захочется ли ѣхать на балъ или на большой ужинъ?»

«Мысль моя не та, чтобы супруги должны были всю жизнь провести съ глазу на глазъ: Гименей не есть ни тюремщикъ, ни отшельникъ, и—мы рождены для общества; но согласитесь, что въ свѣтскихъ собраніяхъ всего менѣе наслаждаются обществомъ. Тамъ нѣтъ мѣста ни разсужденіямъ, ни разсказамъ, ни изліяніямъ чувства; всякій долженъ сказать слово мимоходомъ и увернуться въ сторону, чтобъ пустить другаго на сцену; всѣ безпокойны, чтобы не проговориться, и не обличить своего невѣжества въ *хорошемъ тонѣ*. Однимъ словомъ, это вѣчная дурная комедія, называемая *принужденіемъ*, безъ связи, а всего болѣе безъ интереса. — Но пріятностію общества наслаждаемся мы въ короткомъ обхожденіи съ друзьями и сердечными пріятелями, которыхъ первый взоръ открываетъ душу; которые приходятъ къ намъ мѣняться мыслями и наблюденіями, шутить въ веселомъ расположеніи, грустить въ печальномъ. Выборъ такихъ людей зависитъ отъ ума супруговъ; и не всего ли ближе искать ихъ между тѣми, которыхъ сама натура предлагаетъ намъ въ друзья, то есть, между родственниками. О милые союзы родства! вы бываете твердѣйшею опорю добрыхъ нравовъ — и если я въ чемъ нибудь завидую нашимъ предкамъ, то конечно въ привязанности ихъ къ своимъ ближнимъ.» (745)

«Всѣ хорошо воспитанные Англичане знаютъ Французскій языкъ, но не хотятъ говорить имъ, и я теперь крайне

жалю, что такъ худо знаю Англійскій. Какая разница съ нами! У насъ всякій, кто умѣетъ только сказать: comment vous portez - vous? безъ всякой нужды коверкаетъ Французскій языкъ, чтобы съ Русскимъ не говорить по Русски; а въ нашемъ такъ называемомъ *хорошемъ обществѣ* безъ Французскаго языка будешь глухъ и нѣмъ. *Не стыдно ли?* Какъ не имѣть народнаго самолюбія: зачѣмъ быть попугаями и обезьянами вмѣстѣ? *Нашъ языкъ и для разговоровъ право не хуже друиыхъ*; надобно только, чтобы наши умные свѣтскіе люди, особливо же красавицы, поискали въ немъ выраженій для своихъ мыслей. Всего же смѣшнѣе для меня наши остроумцы, которые хотятъ быть Французскими авторами. Бѣдные! они счастливы тѣмъ, что Французъ скажетъ объ нихъ: *pour un étranger, monsieur n'écrit pas mal!*» (685)

А вотъ отрывки изъ сужденій Карамзина о характеръ Англичанъ:» ...Холодный характеръ Англичанъ мнѣ совсѣмъ не нравится. Это волбанъ, покрытый льдомъ, сказалъ мнѣ разсмѣявшись одинъ Французскій эмигрантъ. Но я стою, гляжу, пламени не вижу, а между тѣмъ забну. *Русское мое сердце любитъ изливаться въ искреннихъ живыхъ разговорахъ; любитъ игру глазъ, скорыя перемѣны лица, выразительное движеніе руки.* Англичанинъ молчаливъ, равнодушенъ, говоритъ какъ читаетъ, не обнаруживая никогда быстрыхъ душевныхъ стремленій, которыя потрясаютъ электрически всю нашу физическую систему.» (774)

«Я читалъ здѣсь Делольма съ великимъ вниманіемъ. Законы хороши; но ихъ надобно еще хорошо исполнять, чтобы люди были счастливы. Напримѣръ, Англійскій министръ, наблюдая только нѣкоторыя формы, или законныя обыкновения, можетъ дѣлать все, что ему угодно: сыплетъ деньгами, общается мѣста, и члены парламента готовы служить ему. Малочисленные его противники спорятъ, кричатъ, и болѣе ничего. Но важно то, что министръ всегда дол-

вѣтъ быть отиѣнно умнымъ человѣкомъ, для сильнаго, крѣпкаго и скорого отвѣта на всѣ возраженія противниковъ; еще важнѣе то, что ему опасно во зло употреблять власть свою. Англичане просвѣщены, знаютъ наизусть свои истинныя выгоды, и если бы какой нибудь Питтъ вздумалъ явно дѣйствовать противъ общей пользы, то онъ непремѣнно бы лишился большинства голосовъ въ парламентѣ, какъ волшебникъ своего талисмана. И такъ не конституція, а просвѣщеніе Англичанъ есть истинный ихъ палладіумъ. *Всякія гражданскія учрежденія должны быть соображены съ характеромъ народа*; что хорошо въ Англии, то будетъ дурно въ иной землѣ. Недаромъ сказалъ Солонъ: мое учрежденіе есть самое лучшее, но только для Аѳинъ. Впрочемъ всякое правленіе, котораго душа есть справедливость, благоотворно и совершенно.» (779)

... «Наконецъ—если бы однимъ словомъ надлежало означить народное свойство Англичанъ—я назвалъ бы ихъ угрюмыми, такъ какъ Французовъ * легкомысленными, Итальянцевъ коварными. Видѣть Англію очень пріятно; обычаи народа, успѣхи просвѣщенія и всѣхъ искусствъ достойны примѣчанія и занимаютъ умъ вашъ. Но жить здѣсь для удовольствій общезжитія, есть искать цвѣтовъ на песчаной долинѣ—въ чемъ согласны со мною всѣ иностранцы, съ которыми удалось мнѣ познакомиться въ Лондонѣ и говорить о томъ. Я и въ другой разъ пріѣхалъ бы съ удовольствіемъ въ Англію, но выѣду изъ нея безъ сожалѣнія.» (782)

«Я не сдержалъ слова, любезнѣйшіе друзья мои! оставляю Англію—и жалѣю! *Таково мое сердце: ему трудно разставаться со всѣмъ, что его хотя нѣсколько занимало.*» (783)

* Не помню, кто въ шутку сказалъ мнѣ: Англичане слишкомъ влажны, Итальянцы слишкомъ сухи, а Французы только сочны.

Карамзинъ возвращался на корабль. Плаваніе продолжалось около двухъ недѣль, не безъ бурь и разныхъ морскихъ приключеній. Карамзинъ страдалъ очень много, но наконецъ поправился...» Я въ восемь дней удивительнымъ образомъ привыкъ къ Нептунову царству, и радъ плыть, куда угодно. Буря не утихаетъ; корабль безпрестанно идетъ бокомъ, и на палубѣ нельзя ступить шагу безъ того, чтобъ не держаться за веревки. Въ каютѣ всѣ вещи прибиты гвоздями; но часто отъ сильныхъ порывовъ гвозди вылетаютъ, и дѣлается страшный стукъ. Я уже различаю флаги всѣхъ націй, и какъ скоро встрѣтится намъ корабль, кричу въ трубу: *from whence you come?* Это забавляетъ меня.»

На корабль Карамзинъ перевелъ Оссіанова Картона.

«Берегъ! отечество! благословляю васъ! Я въ Россіи, и чрезъ нѣсколько дней буду съ вами, друзья мои!...»

«Всѣхъ останавливаю, спрашиваю, единственно для того, чтобы говорить по Русски и слышать Русскихъ людей. Вы знаете, что трудно найти городъ хуже Кронштадта; но мнѣ онъ милъ! Здѣшній трактиръ можно назвать гостинницею нищихъ; но мнѣ въ немъ весело!»

«Съ какимъ удовольствіемъ перебираю свои сокровища: записки, счета, книги, камешки, сухія травки и вѣтки, напоминающія мнѣ или сокрытіе Роны, *la perte du Rhône*, или могилу отца Лоренза, или густую иву, подъ которою Англичанинъ Попъ сочинялъ лучшіе стихи свои! Согласитесь, что всѣ на свѣтѣ Крезы бѣдны передо мною.»

«Перечитываю теперь нѣкоторыя изъ своихъ писемъ: *voilà* зеркало души моей въ теченіе осьмнадцати мѣсяцевъ! Оно черезъ двадцать лѣтъ (если только проживу на свѣтѣ) будетъ для меня еще пріятно—пусть для меня одного! Загляну и увижу, каковъ я былъ, какъ думалъ и мечталъ; а что человѣку (между нами будь сказано) занимательнѣе

самаго себя?... Почему знать? можетъ и другіе найдуть нѣчто пріятное въ моихъ эскизахъ; можетъ быть и другіе.... но это ихъ, а не мое дѣло.»

Нашли, нашли, — и благодаримъ, благодаримъ!

«А вы, любезные, скорѣе, скорѣе приготовьте мнѣ опрятную хижину, въ которой я могъ бы на свободѣ веселиться китайскими тѣнями моего воображенія, грустить съ моимъ сердцемъ и утѣшаться съ друзьями!» (790)

Путешествіе составляетъ эпоху въ жизни Карамзина — остановимся здѣсь на нѣсколько времени.

Мы видѣли Карамзина лицомъ къ лицу въ продолженіи полутора года; мы слышали его сужденіе о всѣхъ предметахъ, ему встрѣчавшихся, мы были свидѣтелями дѣйствій, даже тайныхъ движеній, желаній, завѣтныхъ думъ. Мы знаемъ, что онъ во все это время думалъ, что чувствовалъ, о чемъ мечталъ. Однимъ словомъ, мы смотрѣли, по собственному его выраженію, «въ зеркало его души.»

Какимъ же онъ представляется намъ при возвращеніи въ отечество?

Соберемъ всѣ разсѣянные черты, и постараемся возстановить по нимъ нравственный его образъ.

Это былъ человѣкъ вѣрующій, съ искреннею преданностію Промыслу Божію. Отъ души любилъ онъ людей, и желалъ имъ всякаго добра. Любовь эта дышетъ во всякой строкѣ его писемъ. Нравственное усовершенствованіе считалъ онъ цѣлюю человѣка на землѣ, а просвѣщеніе — главнымъ для нея средствомъ. Во всемъ, что касается до счастья и несчастія людскаго, принималъ онъ самое живое, горячее участіе, и смѣло могъ повторять за Теренціемъ: *Homo sum, nihil humani a me alienum esse puto*. Великіе писатели, сочиненіями своими учившіе добродѣтели, а съ

нею содѣйствовавшіе умноженію счастія на землѣ, были предметомъ его особеннаго почтенія, его глубокой признательности. Даръ творчества цѣнился имъ всего выше; въ описаніяхъ его бесѣдъ съ знаменитыми, имъ любимыми писателями, слышится внутренний его голосъ: *anch'io son pittore*. Природа служила ему неизсякаемымъ источникомъ наслажденій. Способность восхищаться ея красотою развита въ немъ была до высокой степени, равно какъ и красотою искусства, плодами науки.

Исканіе истины, разрѣшеніе вопроса о цѣли бытія, не оставляло его ни на минуту. И съ Бантомъ обращаетъ онъ разговоръ, не безъ скачка, на этотъ предметъ, и къ Виланду приступаетъ съ своими сомнѣніями, и отъ Лафатера добивается отвѣта, хотя и не надѣется уже на его удовлетворительность.

Что касается до его познаній,—это былъ человекъ высокообразованный, стоявшій съ *вѣкомъ на равнѣ*, говоря по нынѣшнему: онъ бесѣдовалъ со многими его представителями, и ни передъ кѣмъ не уронилъ себя, умѣлъ вездѣ находиться, предлагалъ свои вопросы, и былъ въ состояніи разбирать отвѣты, сообщалъ замѣчанія, возраженія, и приобрѣлъ благорасположеніе Виландовъ, Лафатеровъ, Боннетовъ....

Въ понятіяхъ своихъ о многихъ литературныхъ предметахъ, онъ опередилъ современниковъ, на примѣръ, о достоинствахъ самобытности (оригинальности) и *цѣльности* въ произведеніяхъ искусства, о характерѣ *простоты* въ древнихъ писателяхъ, о *красотахъ* Шекспира.

О политикѣ онъ отзывался съ особенною осторожностію, потому что Французская революція, бывшая въ полномъ разгарѣ, распространила вездѣ ужасъ, и Императрица Екатерина принимала у себя строгія мѣры. Впрочемъ, хотя отъ природы онъ былъ охранитель, (консерваторъ), въ родѣ

напримѣръ *Вальтеръ-Скотта*, но сочувствовалъ правильному движенію впередъ, что доказывается многими мѣстами изъ его сочиненій, кои мы вскорѣ будемъ имѣть случай привести.

Вотъ какимъ представляется намъ Карамзинъ по возвращеніи, и нельзя не согласиться, что онъ передъ нашими глазами росъ не по днямъ, а по часамъ.

Что касается до его личныхъ свойствъ, намъ уже отчасти извѣстныхъ, мы удостоверяемся еще болѣе, чѣмъ прежде, въ его добромъ, чувствительномъ сердцѣ, которое увлекало его иногда даже къ крайностямъ, въ его пылкомъ воображеніи, въ его впечатлительности, склонности къ *меланхоліи*, откровенности, — не говоря уже объ его здоровомъ смыслѣ, объ его ясномъ умѣ, объ его теплой любви къ отечеству, которое всегда занимало первое мѣсто въ его размышленіяхъ о будущемъ.

А вотъ съ какой скромностью онъ говоритъ самъ о плодахъ своего путешествія (въ статьѣ Цвѣтокъ на гробъ моего Агатона): «Я возвратился тотъ же, каковъ поѣхалъ; только съ нѣкоторыми новыми опытами, съ нѣкоторыми новыми знаніями, съ живѣйшею способностію чувствовать красоты физическаго и нравственнаго міра.»

ГЛАВА III.

(1791—1796).

Возвращеніе въ Петербургъ.—Знакомство съ Державинимъ.—Планы.—Объявленіе о Моск. Журналѣ.—Взглядъ на изданіе. Первая книжка.—Новыя стихотворныя размѣры.—Отзывъ Державина.—Объявленіе на 1792 г.—Огорченія. Разлука съ Петровымъ.—Отрывки изъ писемъ къ Дмитріеву.—Обозрѣніе М. Ж. въ 1792 г. Гроза надъ Новиковымъ и его обществомъ.—Ода къ милости.—Бѣдная Лиза. Наталья, боярская дочь, и проч. Прекращеніе Журнала.—Догадки о причинахъ.—Кончина Петрова.—Письма къ Дмитріеву.—Изданіе Аглаи, кн. I. (Что нужно автору, Нѣчто о наукахъ, остр. Борнгольмъ); кн. 2 (Переписка Филалета и Мелодора, Аоніская жизнь. Илья Муромецъ).—Участіе въ Моск. вѣдомостяхъ 1795.—Карамзинъ оставляетъ литературу.—Успѣхи въ большемъ свѣтѣ.—Письма.—Кончина И. Екатерины.

«Возвратясь въ Петербургъ осенью 1790 года», говоритъ Бантышъ-Каменскій, «въ модномъ фракѣ, съ шиньономъ и гребнемъ на головѣ, съ лентами на башмакахъ, Карамзинъ введенъ былъ И. И. Дмитріевымъ въ домъ славнаго Державина, и умными, любопытными разсказами обратилъ на себя его вниманіе. Державинъ одобрилъ его намѣреніе издавать журналъ, и обѣщалъ сообщать ему свои сочиненія. Постороннія лица, посѣщавшія Державина, гордясь витіеватымъ, напыщеннымъ слогомъ своимъ, показывали молчаніемъ и язвительною улыбкою пренебреженіе къ молодому франту, не ожидая отъ него ничего добраго» *.

Однажды за обѣдомъ у Державина молодой путешественникъ заспорилъ горячо съ Новосильцовымъ (?), и выражалъ нѣкоторыя мнѣнія, не совсѣмъ согласныя съ общепринятымъ въ Россіи образомъ мыслей. Жена Державина, подлѣ которой онъ сидѣлъ, дала ему знакъ пожатіемъ ноги, чтобъ онъ выражался осторожнѣе **.

* Замѣтимъ, что Каменскій ссылается въ своей біографіи вообще на Дмитріева, которому предварительно читалъ ее, и напечатана была она при его жизни.

** Такъ слышалъ К. С. С. отъ самаго Н. М. въ Іюнь 1825 года.

Въ Москвѣ Карамзинъ поселился въ домѣ друзей своихъ Плещеевыхъ, къ которымъ писаны были и письма Русскаго путешественника,—на Тверской, въ приходѣ Василія Кесарійскаго*.

Послѣ Плещеевыхъ самый близкій къ нему человекъ въ Москвѣ былъ Петровъ. Вотъ какъ описываетъ Карамзинъ свою встрѣчу съ нимъ:

«Наконецъ я возвратился... — спѣшилъ обнять повѣреннаго души моей; воображалъ его пріятное удивленіе, его радость... но сердце мое замерло, когда я увидѣлъ Агатона. Долговременная болѣзнь напечатлѣла знаки изнеможенія на блѣдномъ лицѣ его; въ тусклыхъ взорахъ изображалось тѣлесное и душевное разслабленіе; огонь жизни простылъ въ его сердцѣ томномъ и мрачномъ. Едва могъ онъ обрадоваться моему пріѣзду, едва могъ пожать руку мою; едва слабая, невольная улыбка блеснула на лицѣ его, подобно лучу осенняго солнца»...

Какіе планы имѣлъ Карамзинъ? Какимъ образомъ хотѣлъ онъ устроить жизнь свою по возвращеніи въ отечество?

Вспомнимъ разговоръ его съ Виландомъ, см. выше, с. 96.

Такъ дѣйствительно и расположился жить Карамзинъ, водворясь въ Москвѣ. Онъ тотчасъ принялся за литературу, и рѣшился издавать журналъ, которымъ надѣялся вмѣстѣ и обезпечить свое существованіе: доходовъ съ имѣнія, затраченныхъ впередъ на путешествіе, которое стоило ему 1800 рублей, было недостаточно. О службѣ, бывшей тогда въ общемъ обычаѣ, онъ не помышлялъ, и отказался вскорѣ отъ должности секретаря, которое предложилъ ему при себѣ Державинъ.

Вотъ объявленіе, напечатанное Карамзинымъ въ Московскихъ Вѣдомостяхъ 1790 года, № 89, Ноября 6, въ среду.

* Этой церкви не существуетъ болѣе; она находилась на горѣ, противъ нынѣшняго Савинскаго подворья. Не тамъ ли онъ жилъ и передъ своимъ отъѣздомъ? Срав. письмо первое.

«Съ Января будущаго 91 года намѣренъ я издавать журналъ, если почтенная публика одобритъ мое намѣреніе. Содержаніе сего журнала будутъ составлять:

1) *Русскія сочиненія въ стихахъ и прозѣ*, такія, которыя, по моему увѣренію, могутъ доставить удовольствіе читателямъ. Первый нашъ поэтъ — нужно ли именовать его? — обѣщаль украшать листы мои плодами вдохновенной своей музы. Кто не узнаетъ пѣвца мудрой Фелицы? Я получилъ отъ него нѣкоторыя новыя пѣсни. И другіе поэты, извѣстные почтенной публикѣ, сообщили и будутъ сообщать мнѣ свои сочиненія. Одинъ пріятель мой, который изъ любопытства путешествовалъ по разнымъ землямъ Европы, — который вниманіе свое посвящалъ натурѣ и человѣку, преимущественно предъ всѣмъ прочимъ, и записывалъ то, что видѣлъ, слышалъ, чувствовалъ, думалъ и мечталъ, — намѣренъ записки свои предложить почтенной публикѣ въ моемъ журналѣ, надѣясь, что въ нихъ найдется что нибудь занимательное для читателей.

2) *Разныя небольшія иностранныя сочиненія*, въ чистыхъ переводахъ, по большей части изъ Нѣмецкихъ, Англійскихъ и Французскихъ журналовъ, съ извѣстіями о новыхъ важныхъ книгахъ, выходящихъ на сихъ языкахъ. Сіи извѣстія могутъ быть пріятны для тѣхъ, которые упражняются въ чтеніи иностранныхъ книгъ и въ переводахъ.

3) *Критическія разсмотрѣнія Русскихъ книгъ*, вышедшихъ, и тѣхъ, которыя впередъ выходить будутъ, а особливо оригинальныхъ; переводы, недостойные вниманія публики, изъ сего исключаются. Хорошее и худое замѣчаемо будетъ безпристрастно. Кто не признается, что до сего времени весьма не многія книги были у насъ надлежащимъ образомъ критикованы.

4) *Извѣстія о театральныхъ пьесахъ*, представляемыхъ на здѣшнемъ театрѣ, съ замѣчаніями на игру актеровъ.

5) *Описанія разныхъ происшествій*, по чему-нибудь достойныхъ примѣчанія, и разные анекдоты, а особливо изъ жизни славныхъ новыхъ писателей.

Вотъ мой планъ. Почтенной публикѣ остается его одобрить или не одобрить; мнѣ же въ первомъ случаѣ исполнить, а во второмъ молчать.

Материаловъ будетъ у меня довольно; но есть ли кто благоволитъ присылать мнѣ свои сочиненія или переводы, то я буду принимать съ благодарностію все хорошее и согласное съ моимъ планомъ, въ который *не входятъ только теологическія, мистическія, слишкомъ ученія, педантическія, сухія піесы*. Впрочемъ все, что въ благоустроенномъ государствѣ можетъ быть напечатано съ указаго дозволенія — все, что можетъ нравиться людямъ, имѣющимъ вкусъ; тѣмъ, для которыхъ назначенъ сей журналъ — все то будетъ издателю благопріятно.

Журналу надобно дать имя; онъ будетъ издаваемъ въ Москвѣ, и такъ имя готово: *Московский журналъ*.

Въ началѣ каждаго мѣсяца будетъ выходить книжка въ осьмушку, страницъ до 100 и болѣе, въ синенькомъ бумажномъ переплетѣ, напечатанная четкими литерами на бѣлой бумагѣ, со всею типографическою точностію и правильностію, которая нынѣ въ рѣдкихъ книгахъ наблюдается. Двѣнадцать такихъ книжекъ, или весь годъ, будетъ стоить въ Москвѣ 5 руб., а въ другихъ городахъ съ пересылкою 7 руб. Подписка принимается въ Университетской книжной лавкѣ на Тверской улицѣ г. Окорокова, у котораго журналъ печатается и раздаваться будетъ, и гдѣ по принятіи денегъ даются билеты; а въ другихъ городахъ въ почтамтахъ, черезъ которые и будетъ съ точностію доставляема всякій мѣсяць книжка. Кому же угодно будетъ изъ другихъ городовъ послать деньги прямо въ лавку, того прошу сообщить при томъ свой адресъ, надписавъ:

Въ Университетскую книжную лавку въ Москву, и въ такомъ случаѣ ручаюсь за вѣрное доставленіе журнала. Имена подписавшихся будутъ напечатаны.»

Николай Карамзинъ.

Поэты, на участіе которыхъ Карамзинъ надѣялся, были, кромѣ Державина, поименованнаго прямо въ объявленіи; Дмитріевъ, Херасковъ, Нелединскій-Мелецкій, — всѣ знаменитости того времени.

Къ Дмитріеву онъ писалъ, отъ 12 Ноября 1790 г. «Видѣніе Мурзы получилъ, и къ пѣвцу писалъ... Посылаю объявленіе. *Не същещь ли кого подписаться?*»

Карамзинъ издавалъ Московскій журналъ два года: 1791 и 1792.

Въ Январѣ вышла первая книга съ слѣдующимъ предисловіемъ: «Вотъ начало—издатель употребитъ всѣ силы свои, чтобъ продолженіе было лучше и лучше. Журналъ выдавать не шутка, я знаю, однакожь чего не дѣлаетъ охота и прилежность. Множество иностранныхъ журналовъ лежитъ у меня передъ глазами; ни одного изъ нихъ не возьму я за точный образецъ, но всѣми буду пользоваться. Читатель увидитъ въ сей первой книжкѣ творенія тѣхъ поэтовъ, о которыхъ говорилъ я въ объявленіи; и впредь будетъ ихъ видѣть. Путешественникъ, пріятель мой, сообщаетъ свои записки въ письмахъ къ семейству друзей своихъ.»

Разсматривая это изданіе, нельзя не удивляться искусству молодаго издателя, его вкусу, умѣнью пользоваться иностранными источниками, знанію потребностей общества. Онъ понялъ вѣрно, на какой степени образованія оно находится, что можетъ быть для него пріятно и вмѣстѣ полезно, чѣмъ можно на него подѣйствовать, и возбудить его любопытство, и доставилъ ему въ Московскомъ журналѣ такое занимательное чтеніе, которое, вполнѣ его удовлетворяя, вмѣстѣ трогало, шевелило, открывало видъ въ прекрасную, дотолѣ неизвѣстную область.

и опишемъ первую книжку, эту семидесятипятилѣт-
 старушку, которую можно назвать прародительницею
 нынѣшнихъ журналовъ, и вмѣстѣ эпохою въ исторіи
 этой литературы, не только журналистики: ею Карам-
 зинъ собственно началъ свою литературную дѣятельность.
 Книга открывается стихотвореніемъ патріарха словес-
 ннаго, Михаила Матвѣевича *Хераскова*, подъ заглавіемъ:
 «Сія».

Въ немъ слѣдуетъ знаменитое Видѣніе Мурзы *Державина*,
 которое въ наше время было еще всѣмъ извѣстно наизусть.

На темно-голубомъ зѣврѣ
 Златая плавала луна.
 Въ серебряной своей порфирѣ
 Блистаючи, съ высотъ она
 Сквозь окна домъ мой освѣщала,
 И палевымъ своимъ лучемъ
 Златыя стекла рисовала
 На лаковомъ полу моемъ....

Эта Державиннымъ является самъ Карамзинъ съ посла-
 ниемъ къ Филлидѣ въ день ея рожденія, бѣлыми стихами,
 которое онъ заключаетъ слѣдующимъ желаніемъ:

Да девять сестръ небесныхъ,
 И важныхъ и веселыхъ,
 Тебя въ сей годъ утѣшатъ
 Бесѣдою своею!
 Родившая Орфея
 Читай тебѣ Гомера;
 Всезнающая Кліо
 Плутарха или Юма;
 Съ винжаломъ Мельпомена
 Шекспира декламируй;
 Полимнія въ восторжѣ
 Пой Пиндаровы оды;
 Эрата съ нѣжной краской
 Читай тебѣ тихонько
 Теосаго поэта;

А Тація съ Мольтеромъ
 На счетъ пороковъ смѣйся;
 Уранія повѣдай,
 Что Гершель въ небѣ видитъ;
 Играй тебѣ Эвтерпа
 На флейтѣ сладогласной
 Божественныя пѣсни
 Изъ Генделевыхъ пѣсней;
 Прыгунья Терпсихора,
 Бакъ Вестрисъ предъ тобою
 Пляши, скачи, вертись.
 Въ чудесномъ же искусствѣ
 Любовію найденномъ,
 Будь въ годъ сей Прометеемъ,
 Жизнь въ мертвое вливая;
 Пиши блестящій образъ
 Земнаго совершенства—
 Представъ намъ Аполлона,
 И вдругъ, когда потушишь,
 Что юноша бездушень,
 Да оживится образъ,
 И павъ передъ тобою
 Филлида! я умолкну.

Стихотворное отдѣленіе заключаетъ Дмитріевъ миленькою сказкою: Истуканъ дружбы, и баснею: Червонецъ и полушка,—Дмитріевъ, который тогда только что выступалъ на литературное поприще, и начиналъ такое преобразование въ языкѣ поэзіи, какое Карамзинъ въ языкѣ прозы.

Въ отдѣленіи прозы появились письма Русскаго Путешественника, легкія, живыя, занимательныя и вмѣстѣ вызывавшія на размышленіе, съ анекдотами, встрѣчами, описаніями, которыя тотчасъ привлекли общее вниманіе и сдѣлались основаніемъ славы Карамзина.

Въ отдѣленіи критики помѣщенъ разборъ Кадма и Гармоніи Хераскова, только что вышедшаго, съ подробнымъ изложеніемъ содержанія и выпискою примѣчательныхъ мѣстъ о важныхъ политическихъ вопросахъ, на примѣръ обра-

захъ правленія, о законахъ и тому под., съ заключеніемъ, что «Кадмъ есть твореніе достойное всего вниманія читателя. Рецензентъ, читая Кадма, при многихъ мѣстахъ думалъ: это слышкомъ отзывается новизною; это противно духу тѣхъ временъ, изъ которыхъ взята басня,—и замѣчаетъ, что сихъ знаковъ новизны не должно почитать за несовершенство сочиненія, имѣющаго *цѣль моральную*».

Изъ иностранныхъ книгъ Карамзинъ предложилъ разборъ по Шанфору Вальянова Путешествія въ Африку съ любопытными извѣстіями о нравахъ дикихъ племенъ, изъ *Mercure de France*, лучшаго Французскаго журнала того времени.

Наконецъ въ первой книжкѣ Московскаго журнала помещенъ подробный разборъ Лессинговой трагедіи: «Эмилія Галотти», переведенной и напечатанной Карамзинымъ предъ отъѣздомъ его за границу. Мы передадимъ разборъ здѣсь сполна, чтобъ познакомить со взглядомъ Карамзина на эту трагедію, на развитіе характеровъ, съ его критическими приѣмами, и наконецъ на игру актеровъ. Эта трагедія была любимую въ Москвѣ. Померанцевъ былъ въ ней превосходенъ, и можно себя представить, какъ любопытно было для Московскихъ жителей выслушать лекцію Карамзина и о піесѣ, и объ ея представленіи.

«Сія трагедія есть одна изъ тѣхъ, которыхъ почтенная Московская публика удостоиваетъ особеннаго своего благоволенія. Уже нѣсколько лѣтъ играется она на здѣшнемъ театрѣ, и всегда при рукоплесканіяхъ зрителей.—Первый переводъ ея напечатанъ въ С.-Петербургѣ, а второй, по которому она представляется здѣсь въ Москвѣ.

...«Не много найдется драмъ, которыя составляли бы такое гармоническое цѣлое, какъ сія трагедія—въ которыхъ бы всѣ приключенія такъ искусно изображены были, какъ въ Эмиліи Галотти. Главное дѣйствіе возмутительно, но не менѣе того естественно. Римская исторія представляетъ намъ примѣръ такого ужаснаго дѣла. Одоардо

былъ въ такихъ уже обстоятельствахъ, какъ и несчастный Римлянинъ; имѣлъ такой же великій духъ, гордую чувствительность и высокое понятие о чести. Разсмотримъ только поближе его положеніе, чувства и мысли, которыя занимали душу его передъ совершеніемъ убійства.

Умертвили жениха его дочери, столько любезнаго ему и ей—умертвили для того, что принцу угодно было избрать невѣсту въ предметъ сладострастныхъ своихъ желаній; обманомъ привели дочь его къ принцу, и не отдали отцу подъ предлогомъ, будто бы надлежало ее допросить въ судѣ, не знаетъ ли она убійцы жениха своего. Сей вымыслъ, достойный ада, и камергера Маринелли, вымыслъ, который былъ еще злобнѣе вымысла Римскаго децемвира, долженъ былъ привести въ бѣшенство пламеннаго Одоардо. Въ первомъ движеніи праведнаго гнѣва своего хотѣлъ было заколотъ и сладострастнаго принца и злобнаго помощника его; но мысль: мнѣ ли убивать, какъ бандиты убиваютъ? остановила его руку. Надлежало на что нибудь рѣшиться, и на что нибудь великое, достойное такого мужа, каковымъ представленъ намъ Одоардо. Не ужели онъ такъ покорится обстоятельствамъ, такъ вдругъ унижится въ чувствахъ, чтобы отдать Эмилию въ наложницы принцу; тотъ, кто почиталъ себя выше всѣхъ обстоятельствъ, кто страхъ почиталъ за низость? Одоарду быть отцемъ обезчещенной женщины? Одоарду снести, чтобы на него указывали пальцами, и говорили съ злобною усмѣшкою: «Вотъ тотъ, кто никогда не хотѣлъ унижаться передъ нашимъ принцемъ, кто почиталъ себя выше всѣхъ обидъ со стороны его, но кто съ низкимъ поклономъ отдалъ ему дочь свою, и принесъ покорнѣйшую благодарность за то, что ему, или его помощнику, угодно было отправить на тотъ свѣтъ жениха нѣжной Эмили!» Какія же средства оставались ему спасти ее? Къ законамъ ли прибѣгнуть, тамъ, гдѣ законы говорили устами того, на кого бы ему про-

спя надлежало? Увести ли ее силою оттуда, гдѣ гвардія
ранила входъ и выходъ! — Обратимъ теперь глаза на
Одоарда.

Онъ утихаетъ и задумывается. Наконецъ, какъ отъ сна
пробудившись, говоритъ: «Хорошо! Дайте мнѣ только ви-
дѣться, одинъ разъ видѣться съ моею дочерью!» Тутъ,
будучи оставленъ самому себѣ, сражается онъ съ ужа-
снымъ для него мыслию: «Если она сама съ нимъ согла-
силась? Если она недостойна того, что я для нее сдѣ-
лать хочу?» И такъ онъ уже рѣшился; но на что, зри-
тель еще не знаетъ. «Что же хочу я для нее сдѣлать?
продолжаетъ Одоардо: осмѣлюсь ли сказать самому себѣ?
Ужасная мысль!» — Здѣсь зритель готовится уже къ чему
нибудь страшному. «Нѣтъ, нѣтъ! не буду ее дожидаться!
(смотря на небо). Кто безвинно ввергнулъ ее въ эту бездну,
пусть тотъ и спасаетъ ее! На что ему рука моя?» — Вотъ
черта, которая показываетъ, сколь хорошо зналъ авторъ
сердце человѣческое! Когда человѣкъ въ крайности рѣ-
шится на чтонибудь ужасное, рѣшеніе его, пока еще не
приступилъ онъ къ исполненію, бываетъ всегда, такъ ска-
зать, неполное. Все еще ищетъ онъ кратчайшихъ средствъ,
не находитъ, но все ищетъ, какъ будто бы не вѣря гла-
замъ или разсудку своему. Обратимся къ Одоарду. Въ са-
мую ту минуту, какъ онъ воображаетъ себѣ всю ужасность
своего намѣренія и содрогается, предстаетъ душѣ его мысль
о Провидѣніи, которому онъ вѣрилъ въ жизни своей. «Какъ!
неужели оно попуститъ торжествовать пороку? Неужели
оно не спасетъ невинности? Почему знать, какими сред-
ствами?» Съ сею мыслию хочетъ онъ идти; но тутъ яв-
ляется Эмилія. Поздно, восклицаетъ онъ — и мысль, что
Провидѣніе посылаетъ къ нему дочь его съ тѣмъ, чтобы
онъ рѣшилъ судьбу ея, какъ молнія проникаетъ его душу.
Такия скорыя перемѣны въ намѣреніяхъ мятущейся души
весьма естественны. Она бываетъ внимательна къ самому

вѣтерку, и слушаетъ, не шепчетъ ли ей какой гласъ с неба. Эмилиа представляется глазамъ его въ самое то время какъ онъ хочетъ отъ нее удалиться—это значило для него не удаляйся.

Теперь остается ему только увѣриться въ добродѣтели своей Эмилии—и увѣряется—и находитъ въ дочери своей героиню, которая языкомъ Катона говоритъ о свободѣ души. «Гдѣ тотъ человѣкъ, восклицаетъ она, который другаго человѣка къ чему нибудь приневолить можетъ? Я боюсь не принужденія, а соблазна, я женщина.» Тутъ въ душѣ Одоардовой должны были возбудиться всѣ прежніе ужасныя для него мысли о дочери обезчещенной. Тутъ Эмилиа требуетъ кинжала, почитая въ фанатизмъ своею такое самоубійство за дѣло святое. «Для избѣжанія соблазна, говоритъ она, тысячи бросались въ воду и становились святыми.» Одоардо, желая увѣриться въ ея рѣшимости, даетъ ей кинжалъ—она хочетъ заколоться, но онъ вырываетъ его, сказавъ: «это не для твоей руки.» При сихъ словахъ онъ долженъ былъ думать: «У тебя есть отецъ; такъ или иначе, но ему надлежитъ спасти тебя.» Эмилиа, срывая у себя съ головы розу, хочетъ его еще болѣе тронуть.—«Ты не должна украшать волосы такой женщины, какою отецъ мой хочетъ меня видѣть!» Одоардо отвѣчаетъ только повтореніемъ ея имени—произносилъ ли онъ его когда нибудь въ жизни своей такимъ голосомъ и съ такимъ чувствомъ! Душа его обнаружилась передъ пронизательною Эмилиею. «О! если угадываю ваши мысли! говоритъ она, пристально смотря ему въ глаза: но нѣтъ, вы и этого не хотите. Для чего же бы медлить? (печальнымъ голосомъ, разрывая розу) нѣбогда былъ такой отецъ, который, избавляя дочь свою отъ стыда, пронзилъ кинжаломъ грудь ея, и вторично даровалъ ей жизнь. А нынѣ нѣтъ уже такихъ дѣлъ! нѣтъ уже такихъ отцевъ!» Мнѣ кажется, что я сію минуту вижу всю душу

Одоардову. «И такъ дочь моя думаетъ сама, что я могу умертвить ее—что я не имѣю инаго способа избавить ее отъ безчестія, и потому долженъ умертвить ее? И такъ былъ примѣръ дочеубійства? Былъ дочеубійца, которому удивляется потомство? И могли ли обстоятельства его быть ужаснѣе многихъ? Кажется, что я уже слышу тирана, идущаго похитить у меня дочь мою. Нѣтъ, нѣтъ! онъ не похитить, не обезчестить еѣ! Есть еще другой Виргиній въ свѣтъ, дочь моя, есть!»—И хладное желѣзо пронзаетъ Эмилину грудь, и Эмилія издыхаетъ въ объятіяхъ убійцы, отца своего, и зритель чувствуетъ, что Одоардо могъ заколотъ Эмилию, такъ какъ Виргиній закололъ Виргинію, и Эмилія Галотти пребудетъ вѣнцомъ Лессинговыхъ драматическихъ твореній.

И сколь естественно было Одоарду заколотъ дочь свою, столь же естественно было ему и раскаяться въ первый мигъ по свершеніи дѣла, и, видя падающую Эмилию, воскликнуть: «Боже! что я сдѣлалъ!» Онъ почувствовалъ себя отцемъ, убившимъ дочь свою. Все, что несчастный говоритъ потомъ принцу, раздираетъ душу чувствительнаго зрителя. Не хочетъ онъ убить себя. Вотъ окровавленный знакъ моего преступленія! говоритъ онъ, бросая кинжалъ: я самъ пойду въ темницу. — Гордость замерла въ сердцѣ его; чувство своего дѣла заглушаетъ въ немъ всѣ иныя чувства.

Что принадлежитъ до характеровъ, то не знаю, въ какомъ наиболѣе удивляться искусству авторову. Гордый, благородный Одоардо; чувствительная, пылкая Эмилія; сладострастный, слабый, но при томъ добродушный принцъ, могущій согласиться на великое злодѣяніе, когда то способствуетъ удовлетворенію его страсти, но всегда достойный нашего сожалѣнія; Маринелли, злодѣй по воспитанію и привычкѣ; Орсина, отъ ревности съ ума сошедшая, но умная въ самомъ своемъ сумасшествіи; Бладвія, слабая

женщина, но нѣжная мать; графъ Аппіани, котораго зритель любитъ еще прежде, нежели онъ на сцену выходитъ, и который обнаруживаетъ въ себѣ столько чувствительности и любви въ разговорѣ съ Эмилиєю, и столько благородства въ ссорѣ съ Маринелли; совѣтникъ Камилло Рота, который, сказавъ только нѣсколько словъ, заставляетъ насъ почитать въ себѣ мужа рѣдкой добродѣтели; ученый живописецъ съ своею пластическою натурою и съ Рафаелемъ безъ рукъ; честный разбойникъ и убійца, и наконецъ всякій слуга, который выходитъ на сцену—все, все показываетъ, что авторъ наблюдалъ человѣчество не два дня, и наблюдалъ такъ, какъ не многіе наблюдать удобно; что натура дала ему живое чувство истины, которое и автора и человѣка дѣлаетъ великимъ.

Сколько прекрасныхъ сценъ! Тамъ, гдѣ живописецъ приносить принцу портреты; гдѣ Маринелли сказываетъ ему о помолвкѣ Эмилиной; гдѣ Аппіани является съ своею меланхолією; гдѣ Маринелли старается раздражить страсть принцову, представляя ему опасность лишиться Эмилиі; гдѣ Клавдія, какъ отчаянная мать, клянеть Маринелли, и наконецъ всѣ сцены четвертаго и пятаго акта одна другой интереснѣе.

Разговоръ же всегда такъ пристоеенъ къ мѣсту и къ лицамъ, что актеръ и зритель можетъ забыть—одинъ, что онъ на театрѣ, а другой, что онъ въ театрѣ.

Померанцевъ, нашъ Гаррикъ, нашъ Моле, нашъ Эггофъ, ни въ какой роля столько не удивляетъ насъ своими дарованіями, какъ въ роля Одоарда. Самъ Эггофъ, котораго игрою восхищался Лессингъ, едва ли могъ лучше представить его. Какая величавость, какая мужественность въ его тѣлодвиженіяхъ, когда онъ выходитъ на сцену! Въ спокойномъ разговорѣ видно искусство его такъ же, какъ и въ жаркомъ. Пусть покажутъ намъ актера, который превзошелъ бы Померанцева въ игрѣ глазъ, въ скорыхъ пере-

вѣлахъ лица и голоса! Напр. когда онъ входитъ въ шестой сценѣ четвертаго акта, лицо его показываетъ все, что сердцу его чувствовать надлежало—безпокойство, нетерпѣніе въ высшей степени. Какимъ трогательнымъ голосомъ говоритъ онъ: «Какая связь между мщеніемъ порока и оскорбленною добродѣтелью? Ее только мнѣ спасти должно. А за тебя, мой сынъ—я никогда не умѣлъ плакать, а теперь уже не начну учиться—за тебя другой вступится.» Какъ пылаютъ глаза его, какъ гремитъ его голосъ, когда онъ произноситъ свое заклинаніе: «Пусть каждое сновидѣніе являетъ ему окровавленнаго жениха, ведущаго къ ложу его невѣсту свою, и когда онъ еще простретъ къ ней сладострастныя свои объятія, то да услышитъ вдругъ посмѣяніе ада, и пробудится!» Тонъ, которымъ онъ отвѣчаетъ Маринелли въ третьемъ явленіи пятаго дѣйствія, есть самый выразительный и мастерской. Одинъ критикъ сказалъ: «Да у него во всѣхъ представленіяхъ одинъ тонъ!» Такому критику можно отвѣчать, что истинный или лучший тонъ есть одинъ; когда актеръ нашелъ его, то перемѣнять не должно. Коротко сказать, вся игра Померанцева въ сей трагедіи прекрасна. Только бы могъ онъ еще съ сильнѣйшимъ движеніемъ и страшнѣйшимъ голосомъ произносить: «Есть еще дочь моя, есть!» Лучше бы такъ же было, если бы онъ, окончивъ свою роль, не становился на колѣни подлѣ лежащей Эмили, съ которою онъ уже простился, обращаясь къ принцу. Ему бы надлежало, кажется, остаться въ глубокой задумчивости, съ потушеннымъ взоромъ, между тѣмъ какъ говоритъ принцъ.

Однажды, по окончаніи трагедіи, почтенная Московская публика встрѣтила г. Померанцева съ громкимъ рукоплесканіемъ, когда онъ показался въ партеръ. Сія минута была минутами торжества талантовъ. Всѣ къ нему тѣснились—со всѣхъ сторонъ окружали его и привѣт-

ствовами плескомъ. Одинъ изъ зрителей бросилъ ему пидесять случаевъ слѣдующіе стихи:

Кого съ плесканіемъ партеръ теперь встрѣчаетъ?
 Кого въ восторгѣ онъ пріятномъ окружаетъ?
 Того, кто чувства несчастнаго отца
 Искусствомъ могъ вліять всѣмъ зрителямъ въ сердца;
 Кто сильною игрой и важными словами,
 На сценѣ бывъ, владѣлъ всѣхъ зрителей душами;
 Кто всѣхъ сердца привлечь къ невинности возмогъ,
 И ненависть во всѣхъ къ пороку кто возмогъ;
 Кто Мельпоменою безсмертье получаетъ,
 Того съ плесканіемъ партеръ теперь встрѣчаетъ *.

Г-жа Померанцева очень хорошо представляетъ намъ Клавдію, а особливо въ жаркой сценѣ съ Маринелли.

Зная таланты Лапина, увѣренъ я, что онъ могъ бы еще лучше играть ролю принца, которая, конечно, достойна всякаго хорошаго актера, и въ которой всякій хорошій актеръ можетъ показать таланты свои. Игра его теряла много и отъ того, что онъ почти никогда не зналъ твердо своей роли—небреженіе, весьма непріятное для публики! Но въ заключеніи пьесы всегда отмѣнно трогательно произносилъ онъ: «Боже, Боже мой!» и проч.

Графиню Орсину представляетъ г-жа Марья Синявская съ великимъ искусствомъ, и я увѣренъ, что самъ авторъ былъ бы доволенъ ея игрою. Только бы желалъ я, чтобы восторгъ ея въ концѣ седьмой сцены четвертаго акта болѣе похожъ былъ на изступленіе — чтобы изображалось въ глазахъ ея болѣе дикой, свирѣпой радости. Пьеса потеряла бы весьма много, если бы ролю сію играла не такая искусная актриса.

Залышкинъ конечно имѣетъ способности, но не для роли камергера Маринелли, которая заключаетъ въ себѣ великія тонкости. Авторъ весьма много оставилъ въ ней для

* Вѣроятно эти стихи принадлежатъ самому Карамзину.

глазъ и тона; а это все, къ сожалѣнiю, пропадаетъ. Въ Шекспировой трагедiи, Отелло, роль злодѣя Яго едва ли труднѣе сей; а ее часто игралъ Гарригъ.

Роль живописца имѣеть свои трудности. Актеру надобно имѣть идею объ ученыхъ итальянскихъ живописцахъ и о тонѣ, какимъ говорятъ они съ принцами. Сахаровъ играетъ ее не такъ, какъ должно; но онъ имѣеть способности, по которымъ можно ожидать отъ него весьма хорошаго актера.

Урасовъ изрядно играетъ роль графа Алчiани, только бы надобно было поболѣе нѣжности въ голосѣ, когда онъ говоритъ съ Эмилиєю.

Г. Ожогинъ также изрядно представляетъ Бандита.

О роль совѣтника и слугъ говорить нечего.

Эмилиа Галотти конечно не сойдетъ съ Московскаго театра, пока не сойдутъ съ него г. Померанцевъ и г-жа Марья Синявская.»

Вотъ первая книжка Московскаго журнала. Нельзя не согласиться, что она составлена очень искусно; всякій читатель прочелъ ее, разумѣется, отъ доски до доски, и сравнивая съ прочими периодическими изданiями того времени, однообразными, тяжелыми, часто грубыми, склонился на сторону новаго, молодого писателя, противъ котораго не замедлили возстать въ то же время, какъ обыкновенно случается, и завистливыя посредственности.

Послѣдующiя книжки Московскаго журнала, согласно съ предувѣдомленiемъ, не только не уступали первой, но еще возвышались предъ нею въ своихъ достоинствахъ. Письма Русскаго путешественника, которыхъ занимательность возрастала болѣе и болѣе, составила ихъ основанiе. Вмѣстѣ съ ними появлялись безпрестанно новыя пьесы, занимательныя или по своему содержанiю, напримѣръ Фролъ Сидинъ, или по замысловатости предмета, напримѣръ прелестная Райская птичка, Посвященiе кущи, или по искусству раз-

сказа, напрымѣръ: Деревня, Ночь. Даже такія легкія драматическія сцены, какъ Софія*, дѣйствовали сильно на большинство образованной публики того времени, имѣвшей наклонность къ чувствительности.

Стихотворное отдѣленіе Московскаго журнала отличалось новостію и богатствомъ. Державинъ**, Дмитріевъ***, Нелединскій-Мелецкій, являлись почти въ каждой книгѣ съ своими произведеніями, возбуждавшими общее вниманіе.

Въ стихотвореніяхъ самаго Барамзина мы замѣтимъ въ особенности новость размѣровъ, имъ вводимыхъ въ употребленіе, и *послужившихъ* вѣроятно въ нѣкоторомъ отношеніи *примѣромъ* для Жуковскаго.

Къ *** (въ письмѣ Дмитріеву) *.

—————
 —————

Многіе барды, лиру настроивъ,
 Смѣло играютъ, поютъ, и проч.

Къ прекрасной.

—————
 —————
 —————
 —————

Гдѣ ты прекрасная, гдѣ обитаешь?
 Тамъ ли, гдѣ пѣсни поетъ Филомела,
 Бротная ночи пѣвица
 Сидя на мнртовой вѣткѣ и проч.

Могила.

—————
 —————
 —————

* Мысль о ней, вѣроятно, подаль Барамзину Боцебу драмою своей Ненависть къ людямъ и раскаяніе. См. выше с. 81.

** Пѣсьнь дому, любящему науки и художества. На смерть гр. Румянцовой, съ правоученіемъ для кн. Дашковой. Въ Евтерпѣ, пѣсни, пѣтыя на Потемкинскомъ праздникѣ, и проч.

*** Счетъ подѣлуевъ, письмо къ престелной, эпиграммы, надпись къ портрету Еерема, и проч.

Страшно въ могилѣ холодной и темной:
Вѣтры тамъ воютъ, гробы трясутся.

Бѣлыя кости стучать

Осень.

~~~~~  
~~~~~  
Воютъ осенніе вѣтры
Въ мрачной дубравѣ;
Съ шумомъ на землю валятся
Желтыя листья.

Мы представили подробное обзорѣніе книжекъ Московскаго журнала. Читатели могутъ судить сами, какое удовольствіе доставилъ онъ Русской публикѣ. Мы должны напомнить еще о пѣсняхъ Дмитріева и Нелединскаго-Мелецкаго, которыя тотчасъ выучивались всѣ наизусть, вѣдлись на музыку, и распѣвались женщинами и дѣвцами: Стонетъ сизый голубочикъ; Видъ прелестный, милыя взоры; Кто могъ любить такъ страстно (Карамзина); Вечеркомъ румяну зорю (Николева), — разнеслись вдругъ по всей Россіи.

Всякъ изъ насъ въ желаньяхъ волеень,
Лавры, васъ я не ищу,
Я и мирточкой доволеень
Боль отъ милой получу.
Или:

Розы ль дышутъ надъ могилой,
Иль помынь на ней растеть,
Все равно, о другъ мой милый,
Въ прахъ чувствія ужъ нѣтъ.

Нынѣшнія поколѣнія уже не могутъ судить о дѣйствіи этихъ стиховъ на сердца нашихъ бабушекъ и прабабушекъ.

Намъ остается указать на нѣкоторыя вѣрныя и любопытныя замѣчанія Карамзина о разныхъ литературныхъ предметахъ, изъ которыхъ видно, какъ онъ въ Россіи вынылся надъ своимъ временемъ. Объ оцѣнкѣ его Шекспира было уже говорено. А вотъ какъ отзывается онъ о Саконталѣ, имъ переведенной:

... «Творческій духъ обитаетъ не въ одной Европѣ; онъ есть гражданинъ вселенной. Человѣкъ вездѣ человѣкъ вездѣ имѣетъ онъ чувствительное сердце, а въ зеркалѣ воображенія своего вмѣщаетъ небеса и землю. Вездѣ натура есть его наставница и главный источникъ удовольствій.»

«Такъ я думалъ, читая Саонталу, драму, сочиненную на Индѣйскомъ языкѣ за 1900 лѣтъ предъ симъ Азіятскимъ поэтомъ Калидасомъ, и недавно переведенную на Англійскій Вилліамомъ Джонсомъ, Бенгальскимъ судьей (который и прежде того извѣстенъ былъ въ ученое свѣтъ по своимъ переводамъ съ восточныхъ языковъ), а на Нѣмецкій профессоромъ Георгомъ Форстеромъ, (который путешествовалъ съ Букомъ въ отдаленнѣйшихъ предѣлахъ нашего міра). Почти на каждой страницѣ сей драмы находилъ я высочайшія красоты поэзіи, краткую, отиѣнную неизъяснимую нѣжность, подобную тихому майскому вечеру — чистѣйшую неподражаемую натуру и самое искусство. Сверхъ того ее можно назвать прекрасною картиною древней Индіи, такъ какъ Гомеровы поэмы суть картины древней Греціи, — картины, въ которыхъ можно видѣть характеры, обычаи и нравы ея жителей. Калидасъ для меня столь же великъ, какъ и Гомеръ. Оба они получили кисть свою изъ рукъ природы, и оба изображали натуру.»

«Для собтвеннаго своего удовольствія перевелъ я нѣкоторыя сцены изъ Саонталы и рѣшилъ напечатать ихъ въ *М. Ж.*, надѣясь, что сіи благовонные цвѣты Азіятской литературы будутъ пріятны для многихъ читателей, имѣющихъ тонкій вкусъ и любящихъ истинно поэзію.»

О Лирической поэзіи: «Высокое пареніе мыслей вмѣстѣ съ жаромъ чувства, составляетъ душу лирической поэзіи; у насъ по большей части ищутъ въ одахъ пустаго грома словъ, ищутъ и находятъ.»

О Стернѣ: «Стернъ несравненный! въ какомъ ученое университетѣ научился ты столь нѣжно чувствовать? какая

риторика открыла тебѣ тайну двумя словами потрясать тончайшія фибры сердець нашихъ? Какой музыкантъ такъ искусно звуками повелѣваетъ, какъ ты повелѣваешь нашими чувствами? Сколько разъ читалъ я Ле-Февра! и сколько разъ лились слезы на листы сей исторіи! Можетъ быть многіе изъ читателей М. Ж. читали ее прежде на какомъ нибудь изъ иностранныхъ языковъ; но можно ли въ который нибудь разъ читать Ле-Февра безъ новаго сердечнаго удовольствія.»

А вотъ замѣчаніе объ употребленіи мѣстоименій *сеи* и *оний*, которое лѣтъ чрезъ сорокъ слишкомъ поднято было молча Сенковскимъ, и надѣлало у насъ столько шума:

«Жаль, что переводчикъ (драмы Графъ Ольсбахъ) употребляетъ слова *сіе* и *оное*, что на театрѣ бываетъ всегда противно слуху. Употребляемъ ли мы сіи слова въ разговорахъ? Если нѣтъ, то и въ комедіи, которая есть представленіе общезитія, употреблять ихъ не должно. Чѣмъ слогъ театральной піесы простѣе, тѣмъ лучше.»

Вотъ каковъ былъ Московскій журналъ 1791 года.

Державинъ, первый поэтъ своего времени, возсіявшая незадолго предъ тѣмъ Русская знаменитость, Державинъ— надо отдать ему справедливость, —прежде всѣхъ современниковъ оцѣнилъ достоинства Карамзина, и чуть ли не въ нарочно для него написанномъ стихотвореніи (Прогулка въ Царскомъ Селѣ) прославилъ его такъ:

Коль красенъ взоръ природы
И памятниковъ видъ,
Когда глядятся въ воды!
Вотъ соловей сидитъ
Близъ ихъ и воспѣваетъ,
Зря розу или зарю,
Какъ будто изъявляетъ
Онъ Богу и Царю

Свою тутъ благодарность:
 Что сей своихъ чтить слугъ,
 Что Тотъ влилъ свѣтозарность
 И жаръ всѣмъ тварямъ въ духъ.
 Доколь сидишь при розѣ,
 О ты, дней красныхъ сынъ!
 Пой, соловей!—и въ прозѣ
 Ты слышанъ—Карамзинъ!*

Послѣ эти стихи были измѣнены такъ:

Пой, Карамзинъ! И въ прозѣ
 Гласъ слышанъ соловьиный.

Карамзинъ не остался неблагодарнымъ, и въ той же книжкѣ за Августъ напечаталъ *Сельскія* пѣсни, изъ твореній Оссіановыхъ, съ надписью: Гаврилу Романовичу Державину посвящаетъ переводчикъ.

Въ концѣ года Карамзинъ написалъ вотъ какое посланіе отъ издателя къ читателямъ:

«Надѣясь, что Московскій журналъ не наскучилъ еще почтеннымъ моимъ читателямъ, рѣшился я продолжать его и на будущій 1792 годъ.

Я издалъ уже одинадцать книжекъ—пересматриваю ихъ, и нахожу много такого, что мнѣ хотѣлось бы уничтожить или перемѣнить. Такова участь наша!...

Однакожъ смѣло могу сказать, что издаваемый мною журналъ имѣлъ бы менѣе недостатковъ, *если бы 1791 годъ былъ для меня не столь мраченъ; если бы духъ мой...* Но читателямъ конечно нѣтъ нужды до моего душевнаго расположенія.

Надежда, кроткая подруга жизни нашей, обѣщаетъ мнѣ болѣе спокойствія въ будущемъ; если исполнится ея обѣщаніе, то и Московскій журналъ можетъ быть лучше. Между тѣмъ прошу читателей моихъ помнить, что его издаетъ *одинъ* человѣкъ.

* Имя выставлено было въ Московскомъ журналѣ только послѣдними буквами.

Если бы у насъ могло составиться общество изъ *молодыхъ*, дѣятельныхъ людей, одаренныхъ *истинными* способностями; если бы сіи люди—съ чувствомъ своего достоинства, *но безъ всякой надменности*, свойственной только низкимъ душамъ—совершенно посвятили себя литературѣ, соединили свои таланты, и, при алтарѣ благодѣтельныхъ музъ, обѣщались ревностно распространять все изящное, не для собственной славы, но изъ благородной и безкорыстной любви къ добру; если бы сія *любезнѣйшая мечта моя* когда нибудь превратилась въ существованность: то я съ радостію, сердечною радостію удалился бы во мракъ неизвѣстности, оставя сему почтенному обществу издавать журналъ, достойнѣйшій благоволенія Россійской публики. Въ ожиданіи сего будемъ дѣлать, что можемъ.

Если бы у меня было на сей годъ не 300 подписчиковъ, а 500: * то я постарался бы на тотъ годъ сдѣлать наружность журнала пріятнѣе для глазъ читателей; я могъ бы выписать хорошія литеры изъ Петербурга или изъ Лейпцига; могъ бы отъ времени до времени издавать эстампы, рисованные и гравированные Липсомъ, моимъ знакомцемъ, который нынѣ столь извѣстенъ въ Германіи по своей работѣ. Но какъ 300 подписчиковъ *едва платятъ мнѣ за напечатаніе двѣнадцати книжекъ*, то на сей разъ не могу думать ни о выпискѣ литеръ, ни объ эстампахъ.

При семъ случаѣ изъявляю благодарность мою всѣмъ тѣмъ извѣстнымъ и неизвѣстнымъ особамъ, которымъ угодно было присылать мнѣ свои сочиненія и переводы. И впредь буду принимать съ благодарностію все хорошее. Нѣкоторые изъ присланныхъ мнѣ піесъ остались ненапе-

* То-есть не 1500 р., а 2500. Вычитите издержки годичнаго изданія: сколько же оставалось Карамзину за журналъ съ его сочиненіями, съ Державинымъ, Дмитріевымъ, Нелединскимъ - Мелецкимъ, Подшиваловымъ, и проч?

чтанными, не для того, чтобы я почиталъ ихъ худыми, но для того, что онѣ *почему-нибудь* не входили въ планъ Московскаго журнала.»

«Р. С. Въ предисловіи къ Январю мѣсяцу обѣщаль я фронтиспись, но не выдалъ его за тѣмъ, что онъ былъ вырѣзанъ очень неудачно.»

Изъ этого объявленія мы видимъ, что Карамзинъ въ продолженіи 1791 года испыталъ много неприятностей. Въ чемъ онѣ состояли?

Въ статьѣ Цвѣтокъ на гробъ моего Агатона, вотъ какія извѣстія сохранились о состояніи его духа въ 1791 году—описавъ болѣзненное положеніе Петрова, какъ Карамзинъ нашелъ его по возвращеніи въ отечество, онъ говоритъ:

«Пришла весна и благодѣтельныя вліянія сего прекраснаго времени года возвратили мнѣ друга: бальзамическія испаренія зеленѣющихъ травъ освѣжили его томное сердце; вмѣстѣ съ цвѣтами разцвѣла душа его, и вмѣстѣ съ нѣжными птенцами слабый духъ его оперялся. Сія весна, сіе лѣто, останутся незабвенными въ моей жизни.

«Всегда, всегда будете вы предметомъ благодарной слезы моей, вы, пріятные вечера, проведенные мною въ обществѣ милаго друга, на зеленыхъ лугахъ, орошаемыхъ тихою рѣкою, хотя не столь славною, какъ Аѳинскій Иллісъ, гдѣ Сократы и Бритоны древле бесѣдовали о мудрости, но чистою и прекрасною въ своемъ теченіи! Тамъ, будучи друзьями цѣлому свѣту, разсуждали мы о происшествіяхъ міра, угадывали будущую судьбу человѣчества, радовались и горевали; тамъ вопрошали мы Натуру о великихъ тайнахъ ея—иногда глубокое молчаніе пасмурной ночи, иногда нѣжная пѣснь филломы, иногда страшные удары грома были намъ отвѣтомъ ея;—мы благоговѣли и признавали слабость своего разума. Если обитатели оныхъ сверкающихъ міровъ, которыми усѣяно голубое небо, иногда съ высоты своей взирають на смертныхъ чадъ земли, то

конечно и мы удостоились ихъ взоровъ—*два юности страстно любящие истину и добродѣтель!*

«Всякій день, всякій вечеръ были мы вмѣстѣ, какъ будто бы предчувствуя, что сіе лѣто будетъ послѣднимъ лѣтомъ дружбы нашей!— Я слѣшилъ къ нему съ каждою новою книгою, съ каждымъ новымъ твореніемъ ума человѣческаго; онъ слѣшилъ ко мнѣ—съ новыми мыслями, съ новыми догадками, съ новою любезностью.

«Осень была для насъ печальна; зимою мы разстались *— и разстались на вѣки.

«На вѣки!—Я обнималъ тебя въ послѣдній разъ, неогнѣнный другъ души моей! въ послѣдній разъ видѣлъ твою чувствительность! Ты любилъ меня—и никогда любовь твоя не была такъ краснорѣчива, какъ въ сію минуту. Можетъ быть мы скоро увидимся; можетъ быть опять будемъ жить вмѣстѣ—сказалъ онъ и закрылъ лицо свое. Милый другъ! сердце твое конечно предчувствовало, что намъ уже никогда не видаться въ здѣшней жизни.» (367)

Изъ повѣсти (неоконченной) *Людорг*** мы узнаемъ слѣдующія подробности объ осени 1791 года, въ дополненіе къ сообщеннымъ о лѣтѣ:

«Уже холодные вѣтры навѣяли блѣдность и мракъ на печальную природу, когда Агатонъ, Исидоръ (?) и я поѣхали въ деревню — наслаждаться меланхолическою осенью.» Это было слѣдовательно въ Сентябрѣ 1791 года.

«Никогда не забуду я сей осени, столь пріятно нами проведенной. Никогда не забуду уединенныхъ нашихъ прогулокъ, когда мы сидя на изсохшей травѣ высокаго холма, смотрѣли на поля опустѣвшія, на рѣдкія, унылыя рощи — внимали шуму порывистаго вѣтра, разносящаго желтые листья—чувствовали трепеть въ сердцахъ своихъ, и съ краснорѣчивымъ молчаніемъ другъ друга обнимали.

* Послѣ 18 ноября. См. ниже письмо къ Дмитріеву.

** Московскій журналъ, Ч. V. мартъ, с. 305.

Счастливы, кто имѣеть нѣжную душу, душу, которая при
мѣчаетъ все движенія природы, и вмѣстѣ съ нею измѣ
няется въ чувствахъ своихъ — цвѣтеть и увядаетъ вмѣстѣ
съ нею! Все, что представляется глазамъ его въ простран
ной области творенія, размножаетъ его бытiе, и бываетъ
для него предметомъ наслажденія; всякая слеза, имъ про
ливаемая, рождаетъ ему новую радость, иногда тайную, не
изяснимую, но тѣмъ глубже чувствуемую, и тѣмъ бла
женнѣйшую радость. Но еще стократно счастливѣе сей
смертной, когда найдетъ онъ подобнаго себѣ человѣка,
котораго душа есть такъ же чистое зеркало природы. Съ
тѣмъ можно сравнить быстроту того движенія, съ кото
рымъ они, при первомъ взорѣ, бросаются обнять другъ
друга, и въ глазахъ неба заключить на вѣки священный
союзъ дружества, союзъ твердѣйшій основанія земли? Кто
опишетъ то несравненное удовольствiе, съ которымъ они
сообщаютъ другъ другу свои симпатическiя чувства—
иногда безмолвно — однимъ взоромъ — однимъ пожатiемъ
руки! Милосердное Небо!... въ сiю минуту катятся слезы
мои на бумагу! — слезы скорби — ахъ, нѣтъ! — слезы
умиленія, благодарности! Хотя вы, мои любезные — нѣж
ный Агатовъ, Исидоръ чувствительный! — *сокрылись отъ
глазъ моихъ*, подобно какъ восхитительныя мечты лѣт
ней ночи на зарѣ исчезаютъ, но въ сердцѣ моемъ остался
цвѣтущiй вашъ образъ — и часто, въ вѣяніи вѣтерка,
несущагося отъ могилы вашей*, слышу я голосъ, утѣши
тельный и любезный: *одна тонкая завѣса разлучаетъ*

* Я не понимаю этого мѣста. Петровъ умеръ года черезъ полтора:
Онъ читалъ еще Лiодора, напечатаннаго въ Мартѣ 1792 года, и вызы
валъ Карамзина къ окончанiю повѣсти: слѣдовательно Карамзинъ го
ворить здѣсь не объ его могилѣ? слѣдовательно подъ Агатовомъ въ этой
повѣсти разумѣлся не Петровъ. Но какъ же Карамзинъ могъ назвать
однимъ именемъ два лица, и въ такомъ краткомъ разстояніи времени!
Или это — предчувствiе?

*насъ; скоро и она подымется!... Прости мнѣ, милая Аглая**, я возобновляю твою горестъ; но ты сама, велѣла мнѣ говорить о друзьяхъ нашихъ: могли ли слезы удержаться въ глазахъ моихъ? —

«Болѣе мѣсяца прожили мы въ деревнѣ, и никто изъ насъ не чувствовалъ скуки. Часто бурные вѣтры потрясали окончины въ вѣтхомъ домигѣ нашемъ, и печально были въ трубѣ камина, передъ которымъ мы сиживали; часто поля покрывались снѣгомъ, но мы все еще въ поляхъ гуляли, не страшась ни вьюгъ, ни мятелей. Наслаждаюсь натурою и дружествомъ, сердца наши не чувствовали въ себѣ никакой пустоты, и потому мы не искали знакомства съ сосѣдними дворянами, которое могло бы прервать теченіе пріятныхъ минутъ нашихъ и быть намъ въ тягость; но судьба хотѣла насъ познакомить съ однимъ изъ нихъ, и память его пребудетъ для меня всегда священной!»

«Однажды по утру шумъ вѣтра пробудилъ меня ранѣе обыкновеннаго. Друзья мои спали еще крѣпкимъ сномъ. Я взялъ трость свою—*ту самую, любезная Аглая, которую некогда ты мнѣ подарила, и которая была мнѣ вѣрнымъ сотоварищемъ во всѣхъ дальнихъ моихъ путешествіяхъ***—и пошелъ въ рощу, которая примыкала къ нашему саду.»

Далѣе описывается встрѣча съ Лидоромъ, въ которомъ Барамзинъ находилъ сходство съ покойнымъ Исидоромъ: «однимъ словомъ, любезная Аглая, представь себѣ втораго Исидора, когда ему было 27 лѣтъ отъ роду, и когда ты увидѣла его, послѣ тяжкой сердечной болѣзни, *стоящую въ алей Д... саду.****

* Аглая есть Настасья Ивановна Плещеева. См. ниже посвященіе Меллины.

** Черта, указывающая на дѣйствительность.

*** Присоединимъ здѣсь еще слова объ Исидорѣ, обращенныя къ Аглаѣ, въ поздравленіи на новый (1792) годъ.» наступающій годъ не

Зимою Карамзинъ проводилъ Петрова въ Петербургъ, и въ стихахъ своихъ на разлуку, послѣ описанія прошедшаго времени, которое приведено было нами выше (с. 32), говорить... мы помѣстимъ здѣсь слова, дополняющія для насъ понятіе объ ихъ характерахъ:

Уже я вижу предъ собой
 Весь путь, на коемъ знатность, слава,
 Тебя съ дарами ждуть. Души твоей и права
 Ничто не премѣнитъ; ты будешь вѣчно ты—
 Я въ томъ, мой другъ, увѣренъ.
 Не ослѣпятъ тебя блестящія мечты;
 Разсудку, совѣсти, всегда пребудешь вѣренъ,
 И видя вокругъ себя пороки, подлость, лесть,
 Которыхъ цѣль есть суетная честь,
 Со вздохомъ вспомнишь то пріятнѣйшее время,
 Когда со мной жила въ кровомъ тишины.
 Сія блаженны дни во вѣкъ не возвратятся.
 Прости! благій Отецъ и гений твой съ тобою.
 Кто въ мирѣ и любви умѣетъ жить съ собою,
 Тотъ радость и любовь во всѣхъ странахъ найдетъ.*
 Прости! твой другъ умретъ тебя достойнымъ,
 Послушнымъ истинѣ, въ душѣ своей покойнымъ.
 Не скажутъ ввѣкъ о немъ, чтобъ онъ чиновъ искалъ,
 Чтобъ знатнымъ подлецамъ когда нибудь ласкалъ.
 Предъ Богомъ только онъ колѣна преклоняетъ,
 Страшится одного себя;
 Достоинства однѣ сердечно уважаетъ,
 И любить всей душой тебя.

Кромѣ разлуки съ Петровымъ, и смерти неизвѣстнаго пока Исидора, мы можемъ подъ заявленіемъ Карамзина подразумѣвать еще опасности, угрожавшія Дружескому обществу, вслѣдствіе которыхъ оно должно было

возвратить тебѣ того, чего лишилась ты въ прошедшемъ.—... я не могу воскресить Исидора. Могу только плакать съ тобою.... мысль о безсмертіи (весною) возсіяетъ въ душѣ твоей, и ты увидишь Исидора, простирающаго къ тебѣ объятія изъ страны отцовъ нашихъ.)

* Эти два стиха часто приводились отдѣльно.

публично прекратить дѣйствія типографической компаніи, и вообще ее уничтожить въ Ноябрь, 1791 года. *

Сообщимъ теперь нѣсколько отрывковъ изъ писемъ Карамзина къ Дмитріеву для описанія тогдашнихъ журнальныхъ отношеній, и вмѣстѣ нѣкоторыхъ обстоятельствъ изъ жизни Карамзина въ этомъ году:

(Безъ числа). Теперь я не имѣю времени много писать къ тебѣ, а скажу тебѣ только то, что дней чрезъ шесть думаю выѣхать въ Симбирскъ. — Державинъ взятъ въ кабинетскіе секретари, и *зоветъ меня въ Петербургъ*.

...Пожалуста пріѣзжайте въ Симбирскъ; тамъ поговоримъ обо всемъ. Если вы напримѣръ завтра или послѣ завтра выѣдете, то мы пріѣдемъ туда въ одно время.

Отъ 23 Апрѣля 1791 года Карамзинъ писалъ: «Голова моя все еще въ худомъ состояніи, и часто жизнь бываетъ мнѣ очень непріятна.

Я очень радъ, что любезные наши Державины противъ насъ не перемѣнились. Увѣрь ихъ, любезный другъ, въ моемъ почтеніи и въ моей благодарности. При случаѣ можешь сказать Гаврилу Романовичу, что я все еще надѣюсь получить отъ него что-нибудь для моего журнала. Херасковъ все общаетъ; теперь передѣлываетъ онъ своего Владимира и прибавляетъ десять пѣсней новыхъ. — По праву дружбы требую отъ тебя, чтобы ты, любезный другъ, писалъ для Московскаго журнала. Твои піесы нравятся умнымъ читателямъ.

Благодарю тебя за субскрибента, котораго ты мнѣ нашелъ между офицерами вашего полку.» *

Отъ 1 Іюня: «Благодарю за все, что получилъ отъ тебя. Къ Гаврилу Романовичу писалъ; а тебя прошу поблагодарить отъ меня Н. А. Львова за его стансы, и попросить

* См. въ статьѣ Лонгинова: Новиковъ и Шварцъ, с. 40.

* Карамзинъ считаетъ нужнымъ благодарить своего друга за одного подписчика съ 5 р.! Вотъ какое было умѣренное время!

его, чтобы онъ и впередъ сообщалъ мнѣ свои сочиненія Скажи, какой это Львовъ? — Стансы будутъ напечатаны въ Юнѣ мѣсяцѣ. Пожалуй, любезный другъ, и впередъ пиши ко мнѣ, что услышишь о Московскомъ журналѣ отъ людей вкуса имѣющихъ; пиши, не смягчая никакой критики.

Ты вѣрно читалъ въ Академическомъ журналѣ * оды Николаева, будто бы сыномъ его сочиненныя, и оду Хвостова, подъ именемъ *Стихотвореніе*. То-то поэзія! То-то вкусъ! То-то языкъ! — Боже! умилосердися надъ нами!

Что сдѣлалось съ Туманскимъ? ** Я получаю отъ него оду за одой, посланіе за посланіемъ. Къ несчастію, я не могу ничего напечатать, и притомъ по такимъ причинамъ, которыхъ не лзя объявить автору. *** Желалъ бы я показать тебѣ сіи бессмертныя произведенія Малороссійскаго духа; желалъ бы послать тебѣ еще одну эпистола, на сихъ дняхъ полученную мною изъ Вологды отъ одного секретаря. — А ты пожалуй пришли мнѣ собраніе *мудрыхъ писемъ*.

Тверди Державинимъ, что я ихъ люблю и почитаю.

Отъ 23 Юня.....» Мужественно и храбро пробился я сквозь тысячу Николаевскихъ стиховъ; хотя тысячу разъ колебался, однакожь, преодолевъ самаго себя, *добрался до конца*. Конечно, есть нѣсколько изрядныхъ стишковъ, но сіи малочисленные изрядные стишки не могутъ сдѣлать сказкою эпистола въ 1000 стиховъ. Признаться тебѣ, любезный другъ, если бы всѣ стали писать такъ, то я возненавидѣлъ бы стихотворство. Стихи Матвѣя Комарова, подобныя прозѣ Семена Пирогова, заставляютъ меня по крайней мѣрѣ смѣяться; а это жесткое посланіе, (и притомъ лирическое), такъ натерло мой мозгъ, что онъ нѣсколько часовъ былъ подобенъ болячкѣ.

* Новыя ежемѣсячныя сочиненія.

** Федоръ Осиповичъ.

*** Не отсюда ли неприязнь Туманскаго къ Карамзину, *inde irae?* см. ниже.

Пропуску въ Царскомъ селѣ (Державина) получилъ, и тотчасъ узналъ сочинителя. Я напечатаю его въ Августъ, (*разумѣется, что имени моего тутъ не будетъ*). Какого *qui pro quo* ты боялся по своей дружбѣ ко мнѣ? Однакожь не свазывай Гаврилу Романовичу, что я знаю автора.—Стихи изъ описанія Бяязева (Потемкина) праздника такъ же получилъ отъ него.

Пожалуй скажи, знаетъ ли нашъ любезный Державинъ, что *и* въ Московскомъ журналѣ означаетъ Ивана Ивановича Дмитріева? Получилъ ли онъ письмо мое, въ которомъ я писалъ къ нему, что (Иванъ Ивановичъ) Шуваловъ отпирается отъ пляски, бывшей нѣкогда у него на мызѣ, и подавшей поводъ къ сочиненію «Эвтерпы.» И что Державинъ говоритъ объ этомъ?

Успокойся въ разсужденіи своихъ піесъ. Сколько мнѣ извѣстно, то никто изъ читателей журнала не возстаетъ противъ стихотвореній подъ буквою *и*. Ихъ читаютъ и хвалятъ. Стихи «на деньги» въ своемъ родѣ никакъ не худы, и ты напрасно ихъ не любишь.—Я вызываю тебя по дружбѣ сочинить въ стихахъ сказочку или романъ. У насъ еще въ этомъ родѣ ничего нѣтъ. Или не можешь ли по крайней мѣрѣ перевести Вольтеру сказку «*Les trois manières*», которая такъ начинается: *Que les Athéniens étaient un peuple aimable!* Пожалуй упражняйся въ поэзіи, и въ первомъ своемъ письмѣ ко мнѣ скажи, принимаешь ли мое предложеніе.

Надобно, чтобы вы уже давно получили Юнь мѣсяцъ журнала. Августъ дней черезъ семь можетъ отправиться въ Петербургъ. Тутъ увидишь сочиненіе одной дѣвицы, въ которомъ есть гладкіе стихи, но нѣтъ поэзіи.

Прости, мой другъ, и отпиши ко мнѣ поскорѣе; да не можешь ли прислать мнѣ новыхъ своихъ сочиненій? Если не хочешь ихъ печатать, то по крайней мѣрѣ дай прочитать; а то я могу поссориться съ тобою.»

Сентября 1. «Если бы я зналъ, что невинный мой вопросъ (знаетъ ли Д., что литера *и* и проч. и проч. можетъ привести тебя въ безпокойство, то ни за что бы не сдѣлалъ его. Но давно ли ты сталъ такъ подозрительнъ? Божусь тебѣ, что одно любопытство заставило меня спросить объ этомъ.

Благодарю тебя за лесть. Желалъ бы я превратить ея въ истину.—Пожалуй, любезный другъ, сказывай мнѣ, какія піесы или мѣста въ Московскомъ журналѣ тебѣ не полюбятся. Это можетъ быть для меня полезнѣе.

Исполни же свое обѣщаніе и переведи Вольтеру сказочку,—переведи и пришли мнѣ, чѣмъ много одолжишь меня.

Шмидтъ, Попуай и Ефрема, конечно не лучшія изъ твоихъ піесъ, однакожь имѣютъ свою цѣну, и я увѣренъ, что многимъ изъ читателей оиѣ полюбились. Въ журналѣ хороши и бездѣлки, и самые великіе поэты сочиняли иногда *Ефремова* и не стыдились ихъ. Впрочемъ я изъ *экономіи* не напечаталъ въ Августѣ ни одной изъ твоихъ піесъ, кромѣ Ефрема; тутъ было довольно Державинскихъ.

Люди, много уважаемые, иногда просятъ, чтобы я помѣщалъ въ журналѣ *валыяримолетенія*, или дѣтей ихъ, или племянницъ, или племянниковъ. Иногда бываю принужденъ исполнять ихъ желанія.

Трудно, мой другъ, переводить поэтовъ; но если и на тотъ годъ буду выдавать журналъ, (что однакожь очень не вѣрно), то постараюсь перевести нѣкоторые кусочки изъ древнихъ и новыхъ поэтовъ.»

Отъ 18 Ноября. «Благодарю тебя, любезный другъ И. И., за твое письмо, а особенно за сказку, которую читалъ я два раза съ удовольствіемъ вмѣстѣ съ А. А. Петровымъ. * Дѣло рѣшено, и Московскій журналъ пойдетъ на 1792 годъ. Съ позволенія твоего *Модная жена* выдетъ

* Слѣд. Петровъ былъ тогда еще въ Москвѣ. См. выше с. 191.

въ свѣтъ въ Генварѣ или Февралѣ мѣсяцѣ. Между тѣмъ прошу тебя прислать мнѣ и другую сказку, которой начало читалъ ты мнѣ въ Москвѣ, а если не находишь времени кончить ее, то пожалуй пришли еще, ... чѣмъ много одолжишь покорнѣйшаго твоего слугу. — Надпись къ портрету: *и это человекъ* и проч. очень полюбилась, и многіе твердятъ ее наизусть. Николевъ бѣсится за тѣ пять или шесть строкъ, которыя въ Ноябрьѣ мѣсяцѣ написалъ я о его комедіи, и что-то пишетъ противъ меня. —

На что тебѣ *Сильфида*? Если не ошибаюсь, то мы такимъ образомъ пѣвали ее въ Петербургѣ:

Плавай, Сильфида, въ весеннемъ вѣврѣ!

Съ розы на розу въ весельѣ летай!

Съ нѣжнаго мирта въ кристальный источникъ

На испещренный свой образъ зриай!

Май твоей жизни да будетъ весь яsenz!

Пчелка тебя никогда не пугай,

Тамъ, гдѣ пьешь ты свой сладостный нектаръ,

Птица Цитерина мимо лети!

Въ Оркусъ низыдя, Сильфида, покойся

Кротко въ Платоновомъ вѣчномъ вѣнцѣ!

Онъ возвѣщаль утѣшеніе смертнымъ,

Псиши свободу, подобно тебѣ.*

Отъ 2 Декабря. «Сердечно благодарю тебя за всѣ стихи твои. Слава Богу, что Сызранскій воздухъ имѣетъ для тебя силу вдохновенія! Пиши, мой другъ, пиши, и непремѣнно пришли мнѣ ту сказку, которой начало читалъ ты мнѣ въ Москвѣ. Видишь, какъ я ненасытимъ! — Многія мѣста въ печальной твоей пѣсни на смерть Потемкина мнѣ очень полюбились. Все будетъ напечатано, и конечно къ удовольствію читателей Московскаго журнала.

О Державинѣ ничего не знаю; но думаю на сихъ дняхъ писать къ нему, и когда получу отвѣтъ, тебя увѣдомлю.»

* Изъ Маттисона.

Въ первой книжкѣ на 1792 годъ Карамзинъ поздравилъ свою Аглаю съ новымъ годомъ слѣдующими словами:

«Любезная Аглая! къ тебѣ спѣшу я въ сію минуту—спѣшу со всѣмъ пламенемъ чистѣйшаго дружества прижать тебя къ моему сердцу, напечатлѣть огненный поцѣлуй на устахъ твоихъ, и сказать тебѣ: Милая Аглая, поздравляю тебя съ новымъ годомъ!»

«Ты молчишь, прекрасная...! пожимаешь руку мою, и слезы блистаютъ въ черныхъ глазахъ твоихъ... Ахъ! онѣ каплютъ, каплютъ на мое сердце, подобно перламъ небеснаго дождя, падающимъ сквозъ солнце; бѣлой флѣръ подымается на груди твоей.»

«Сердца наши разумѣютъ другъ друга. Наступающій годъ не возвратитъ тебѣ того, чего лишилась ты въ прошедшемъ и проч. *

Изданіе Московскаго журнала въ 1792 году продолжалось еще блистательнѣе; въ Февралѣ явилась славная сказка въ стихахъ Дмитріева: Модная жена, которая произвела вездѣ столько шума и принесла столько удовольствія. Въ-стѣ съ нею была помѣщена Дмитріевымъ Пѣснь на кончину Потемкина. («Уныль внезапно лавръ зеленый.») Его же Посланіе къ честному человѣку, (вѣроятно Державину по случаю назначенія его Статсъ-секретаремъ при принятіи прошеній). Отвѣтъ славѣ, Державина: («Вторая именемъ, есть первая дѣлами.»)

Тогда же помѣщена была исторія Лефевра изъ Стерна, съ послѣсловіемъ Карамзина.

Въ Мартѣ напечатанъ отставной Вахмистръ, баллада Дмитріева:

Сними съ себя платочикъ,
Сѣдая старина.

* Срав. выше (с. 191, 192, 193) объ Исидорѣ, который умеръ слѣдовательно въ 1791 году, по возвращеніи изъ деревни, гдѣ былъ осенью съ Карамзиннымъ и Агатономъ.

Да возвѣщу я внукамъ,
 Что ты откроешь мнѣ,
 Я вижу чисто поле;
 Вдали же предо мной
 Чернѣетъ колокольня,
 И вьется дымъ изъ трубъ.

Его же на миръ съ Турцією; Державина Пѣсня роскошнаго и трезваго философа («Сосѣдъ, на свѣтѣ все пустое: богатство, слава и чины,» и проч.), Лiодоръ, повѣсть неконченная Карамзина, изъ которой выше приведены нами отрывки.

Въ Апрѣлѣ изъ описанія Потемкинскаго празднества, Державина; На разлуку съ Петровымъ, Карамзина (см. выше).

Въ Апрѣлѣ 1792 года гроза разразилась надъ Новиковымъ «онъ былъ арестованъ», пишетъ биографъ его, М. Н. Лонгиновъ, «воинскою силою въ подмосковной своей деревнѣ Авдотьиной съ большими приготовленіями и предосторожностями, отвезенъ въ Петербургъ, и черезъ три недѣли посаженъ въ Петропавловскую крѣпость на 15 лѣтъ. Прочіе его друзья были такъ же разосланы, кто въ отдаленный городъ, кто въ деревню.»

Карамзинъ вѣрно страдалъ несчастіями своихъ друзей, но страданій своихъ ничѣмъ не обнаруживалъ. Онъ написалъ только тогда оду къ Милости, которая заключаетъ ясныя намеки на обстоятельства этого времени.

«Что можетъ быть тебя святѣе,
 О милость, дщерь благихъ небесъ!

.
 Какая ночь не озарится
 Отъ солнечныхъ твоихъ лучей?
 Какой мятежъ не укротится
 Одной улыбкою твоей?

.
 Блаженъ, блаженъ народъ, живущій
 Въ пространной области твоей!

Блаженъ пѣвецъ, тебя поющій,
 Въ жару, въ огнѣ души своей!
 Доколѣ Милостью пребудешь,
 Доколѣ пользоваться будешь,
 Ты правомъ матери одной;
 Доколѣ гражданинъ покойно
 Безъ страха можетъ засыпать,
 И всѣмъ твоимъ подвластнымъ вольно
 По мыслямъ жизнь располагать,
 Вездѣ природой наслаждаться,
 Вездѣ наукой украшаться
 И славить прелести твои,—

Доколѣ злоба, дочь Тифона,
 Пребудетъ въ мракъ удалена
 Отъ свѣтлозолотаго трона,—
 Доколѣ правда не страшна,
 И чистый сердцемъ не боится
 Въ своихъ желаніяхъ открыться
 Тебѣ,— Владычицѣ души,—

Доколѣ всѣмъ даешь свободу,
 И свѣта не темнишь въ умахъ,
 Доколѣ довѣренность къ народу
 Видна во всѣхъ твоихъ дѣлахъ:
 Дотоѣ будешь свято чтима,
 Отъ подданныхъ боготворима,
 И славима изъ рода въ родъ.

Спокойствія твоей державы
 Ничто не можетъ возмутить;
 Для чадъ твоихъ нѣтъ бѣльшей славы,
 Какъ вѣрность къ матери хранить.
 Тамъ тронъ во вѣкъ не потрясется,
 Гдѣ онъ любовью бережется,
 И гдѣ на тронѣ—ты сидишь! »

Читая ее, и сравнивая съ обстоятельствами, можно догадаться, что Карамзинъ имѣлъ цѣлю подвигнуть къ миро-

сердію Государыню, столь строго поступившую съ Дружескимъ масонскимъ обществомъ. Нельзя не отдать справедливости—во первыхъ сердечному движенію, которое повелѣвало ему вступиться, сколько могъ, за своихъ друзей и благопріятелей, во вторыхъ—умѣнью выразить самымъ тонкимъ образомъ свои мысли и чувства, въ третьихъ—смѣлости, съ какою Карамзинъ пустилъ ее въ свѣтъ въ тогдашнее критическое время.

Изданіе Московскаго журнала продолжалось съ прежнимъ усердіемъ.

Въ Маѣ помѣстилъ Карамзинъ большой переводъ изъ Индѣйской драмы Саонталя съ примѣчательнымъ своимъ предисловіемъ, посланіе изъ Дората, Нелединскаго-Мелецкаго.

Въ Юнѣ появился Сизый голубочигъ Дмитріева, *котораю пѣли* во всей Россіи, Графъ Гвариносъ, древняя Испанская историческая пѣсня, и наконецъ Бѣдная Лиза.

Бѣдная Лиза, повѣсть Карамзина, сдѣлалась вѣнцемъ его славы, начатой письмами Русскаго путешественника; въ запискѣ своей о Москвѣ (1817) для императрицы Маріи Ѳеодоровны, Карамзинъ самъ засвидѣтельствовалъ: близъ Симонова монастыря есть прудъ, осѣненный деревьями. За 25 лѣтъ предъ симъ сочинилъ я тамъ Бѣдную Лизу, сказку весьма незамысловатую, но столь счастливую для молодого автора, что тысячи любопытныхъ ѣздили и ходили туда искать слѣдовъ Лизиныхъ. *

Дѣйствительно, съ блестящимъ успѣхомъ Карамзина нельзя и сравнивать никакого. Мы застали еще отголоски этой громкой славы. Нѣсколько поколѣній плакало надъ судьбою бѣдной Лизы, и она стала для нихъ родною. **

* Это мѣсто исключено авторомъ изъ записки, напечатанной въ полномъ собраніи сочиненій, — вѣроятно вслѣдствіе выходки Каченовскаго, см. ниже.

** Старикъ Профессоръ Цвѣтаевъ говорилъ, что и онъ хаживалъ на Лизинъ прудъ, съ бѣлымъ платкомъ въ рукахъ, отирать слезы.

Выпишемъ вступленіе, изображающее намъ живо Барамзина.

«Можетъ быть никто изъ живущихъ въ Москвѣ не знаетъ такъ хорошо окрестностей сей столицы, какъ я, потому что никто чаще меня не бываетъ за городомъ: никто болѣе меня не бродитъ пѣшкомъ, безъ плана, безъ цѣли—куда глаза глядятъ—по лугамъ и полямъ, по рощамъ и кусточкамъ. Всякое лѣто нахожу я повья пріятныя мѣста или въ старыхъ повья красоты.

Но всего пріятнѣе для меня то мѣсто, на которомъ возвышаются мрачныя готическія башни Симонова монастыря. Стоя на сей горѣ, видишь на правой сторонѣ почти всю Москву, сію ужасную громаду домовъ и цервей, которая представляется глазамъ въ образѣ величественнаго амфитеатра: великолѣпная картина, а особенно тогда, когда свѣтитъ на нее солнце, когда вечерніе лучи его пылаютъ на безчисленныхъ золотыхъ куполахъ, на безчисленныхъ крестахъ, къ небу возносящихся. Внизу растилаются тучные, густозеленые, бѣлыми, синими, красными цвѣточками распещренные луга, за которыми по желтымъ пескамъ течетъ прозрачная рѣка, волнуемая легкими веслами рыбацкихъ лодокъ, или шумящая подъ рулемъ грузныхъ струговъ, которые плывутъ отъ плодоноснѣйшихъ странъ Россійской имперіи, и надѣляютъ алчную Москву хлѣбомъ. На другой сторонѣ рѣки видна дубовая роща, подлѣ которой пасутся многочисленныя стада; тамъ молодые пастухи, сидя подъ тѣнію деревъ, поютъ простыя унылыя пѣсни, и сокращаютъ тѣмъ лѣтніе дни, столь для нихъ единообразныя. Подалѣе, въ густой зелени древнихъ вязовъ блистаетъ златоглавый Даниловъ монастырь; еще далѣе, почти на краю горизонта, синѣютъ Воробьевы горы. На лѣвой же сторонѣ видны обширныя, хлѣбомъ покрытыя поля, лѣсочки, три или четыре деревеньки, и въ дали село Коломенское съ высокимъ дворцомъ своимъ.

Часто прихожу я на сіе мѣсто и почти всегда встрѣ-

чаю тамъ весну; туда же прихожу и въ мрачные дни осени горевать вмѣстѣ съ природою.

Но всего чаще привлекаетъ меня къ стѣнамъ Симонова монастыря воспоминаніе о плачевной судьбѣ Лизы, бѣдной Лизы. Ахъ! я люблю тѣ предметы, которые трогаютъ мое сердце и заставляютъ меня проливать слезы нѣжной скорби....»

Бѣдная Лиза владѣла сердцами Русскихъ читателей пятнадцать лѣтъ безъ соперницы, и только въ 1808 году она раздѣлила свою славу съ Марьиной рощей и потомъ Людмилой, первой балладой Жуковского, еще лѣтъ на 20!

Помѣстимъ здѣсь письмо Петрова къ Карамзину изъ Петербурга по поводу послѣднихъ, описанныхъ нами, книжекъ Московскаго журнала.

...И такъ Іоганъ Іакобъ Ленцъ отошелъ уже въ землю отцевъ нашихъ. Миръ праху его на кладбищѣ, а душѣ его въ странахъ высихихъ! Мутенъ здѣсь былъ потокъ его жизни, но добрался наконецъ до общей цѣли всего текущаго.

А мы оставшіеся здѣсь съ наслѣдіемъ покойнаго, съ исторіею торговли, примемся каждый за свой томъ, будемъ читать, твердить, дѣлать выписки, пока и мы не отправимся туда, гдѣ Русскіе купцы не торгуютъ, и гдѣ указы, касающіеся до коммерціи, не нужны.

Ты намѣренъ ѣхать въ деревню, и, какъ я надѣюсь, теперь живешь уже въ деревнѣ. Удѣли и мнѣ частицу своего богатства; увѣдомь, во всемъ ли тебѣ тамъ живется, какъ ты думалъ.

Бѣдная Лиза твоя для меня прекрасна, а какъ нравится другимъ, ни отъ кого не удалось еще слышать. Сказываютъ, N. N. превесьма доволенъ твоими примѣчаніями на его стихи. Бстати! не можешь ли ты увѣдомить меня, въ какихъ нынѣ обстоятельствахъ сочинитель «Гимна ходящему на крыльяхъ,» напечатаннаго у тебя въ Іюнь? Мнѣ очень хочется знать о его участи. Письма, твое къ Бон-

нету, и Боннетово къ тебѣ, я почитаю за предьявленіе: объ изданіи Русскаго перевода «Созерцанія природы.» Скорѣи намѣренъ ты сдѣлать это доброе и общепольное дѣло.

Людоръ твой не похожъ на другихъ романическихъ героевъ; по крайней мѣрѣ безсонницею не страдаетъ, винувшись на постелю. Онъ спитъ сномъ болѣе, нежели богатырскимъ. *Не пора ли разбудить его?* Такъ же не сыщется ли у тебя какого нибудь добродушнаго помощника для перевода послѣдней Мармонтелевой сказочки, когда самъ ты по сію пору перевести ее не можешь?

Коцебу скоро будетъ въ Петербургѣ: онъ переводитъ сочиненія Гавріила Романовича; по что будетъ жить у *Г. Ром.* въ домѣ, этого я не слышалъ; напротивъ того, я слышалъ, что П. А. З.* беретъ его (Коцебу) къ себѣ въ секретари. Онъ сочинилъ книгу: «О преимуществахъ дворянства,» о которой не могу еще сказать болѣе ничего, какъ только то, что она напечатана прекрасно, съ фронтисписомъ и виньетами.

Надпись: «Покойся милый прахъ, до радостнаго утра!» нравится мнѣ, какъ въ сравненіи съ прочими, такъ и сама по себѣ. Я подѣловалъ бы за нее сочинителя, хотя не весьма охотникъ цѣловаться. Она проста, нѣжна, кротка и учтива къ прохожему, потому что не допускаетъ его до труда — думать, чтобы сказать, узнавши, кто погребенъ подъ монументомъ. И. И. Дмитріеву нравится она также больше прочихъ. Однакожъ, мнѣ кажется, критическаго мнѣнія даромъ сказывать не должно: и потому ты необходимо долженъ сообщить намъ подробное и обстоятельное описаніе монумента, къ которому она сдѣлана.

Я сплю безъ просыпа, и во снѣ снится мнѣ, будто играю ролю человѣка что-то дѣлающаго, а зрители, смотря на меня, зѣваютъ. Можетъ быть, это кажется тебѣ вздоромъ; но справедливѣе ничего сказать не могу.»

* Платонъ Александровичъ Зубовъ.

Въ Юнѣ опять является *Державинъ* съ примѣчательными словами объ императрицѣ Екатеринѣ, въ стихотвореніи на рожденіе В. К. Ольги Павловны; извѣстныя Эпитафіи Карамзина; Отъѣздъ Дмитріева. («Простите горы и пенаты; скачу, скачу маршировать.») Изъ писемъ Русскаго путешественника знакомство съ Боннетомъ, отрывокъ Деревня.

Въ Августѣ: ода Державина, къ Львову, Могила, Карамзина, Бландузскій ключъ, Гимнъ восторгу, Дмитріева, Прекрасная царевна и счастливый Карло, повѣсть Карамзина.

Въ Сентябрьѣ большое стихотвореніе Карамзина Поэзія, написанное еще въ 1787 году, гдѣ заключается много вѣрныхъ мыслей и сильныхъ чувствъ, хотя и выраженныхъ, какъ всѣ его стихотворенія, слишкомъ ясно, просто, прозаически. Мы говорили прежде (с. 46) объ этой піесѣ. Впрочемъ вся книжка состоитъ изъ переводовъ, хотя и прекрасныхъ.

Октябрь и Ноябрь вышли въ одной книгѣ съ слѣдующимъ объявленіемъ: «Разныя обстоятельства были причиною того, что послѣдніе мѣсяцы Московскаго журнала выходили поздно. Въ сей книжкѣ выданы два мѣсяца. Декабрь будетъ состоять изъ 8 или 9 листовъ.»

Сообщимъ здѣсь примѣчательныя мѣста изъ писемъ къ Дмитріеву, въ продолженіе этого времени:

14 Юня. «Я очень радъ, что ты въ Державиныхъ по видимому не нашелъ переменъ, и что они по прежнему любятъ своихъ пріятелей. Что принадлежитъ до Петрова, то мнѣ кажется, что они еще не знаютъ его;— кажется, что и ты вмѣстѣ съ ними его не знаешь. Такого человека нельзя судить такъ, какъ судятъ обыкновенныхъ людей. Онъ дикъ и чувствителенъ—при незнакомыхъ молчаливъ и холоденъ, а съ другомъ сокровище. Наивнаго отвѣта его: *я привыкъ дома обѣдать*, не должно принимать за грубость—онъ напоминаетъ отвѣты Руссова.

«Дай мнѣ идею о водопадѣ Державина, и скажи ему что я дожидаюсь его съ нетерпѣніемъ—разумѣется, есть ли это будетъ кстати сказать. Да сдѣлай одолженіе, скажи мнѣ иногда мысли свои о пѣсахъ Московскаго журнала, которыя заслужать твое вниманіе.—Для тебя въ Іюнь мѣсяцъ будетъ нѣчто изъ Морицовой митологіи.

«Увѣдомь, въ Петербургѣ-ли Коцебу? Гаврило Романовичъ можетъ поздравить себя съ такимъ хорошимъ переводчикомъ. Онъ имѣеть *жени*, духъ и силу. Я хотѣлъ бы знать его лично.

«Что принадлежитъ до меня, то я довольно покоенъ. Мнѣ очень хочется недѣли на три ѣхать въ деревню недалеко отъ Москвы.»

«Если муза твоя въ Петербургѣ спитъ, то я желаю ей скорѣго и радостнаго пробужденія. Прости.

«Что Львовъ, сочинитель Памелы? Стенаетъ ли онъ отъ *нечестивыхъ*? Чувствуетъ ли удары *Зрителя*?»

18 Іюля. «Благодарю тебя, искренно благодарю за два письма твои.

«Я ни мало не сердился на тебя за то, что ты писалъ ко мнѣ объ Александрѣ Андреевичѣ. Напротивъ того еще благодарю тебя, потому что мнѣ очень хотѣлось знать, какъ думаютъ объ немъ Г. Р. и К. Я. * *По челолюбію*, которое мнѣ приписываешь, желалъ бы я простить тебя, но не могу, потому что ты ни въ чемъ не согрѣшилъ передо мною. Сколь ни люблю Александра Андреевича, однакожь соглашусь, что онъ можетъ показаться страннымъ тому, кто не хорошо знаетъ его, а особливо женщинѣ, даже и самой любезной, и самой почтенной, наприимѣръ К. Я. И впередъ, мой милый другъ, прошу тебя писать ко мнѣ о ихъ расположеніи къ моему любезному нелюдиму.

«Мысль привести къ водопаду звѣрей, кажется мнѣ пинтическою.

* Гаврило Романовичъ и Катерина Яковлевна Державины.

«Благодарю тебя, мой милый, за пріятныя вѣсти о журналѣ; но пожалуй сообщай и непріятныя, какія услышишь. Собственное твое мнѣніе для меня важно.

«Что принадлежитъ до Зрителей, мой другъ, то я столько уважаю себя, что не войду съ ними ни въ какой бой. Пусть они уничтожаютъ примѣчанія на Бадма и Гармонію и все, и все, что имъ угодно! Qu'est ce qu'il y a de commun entre nous! скажу я съ однимъ Французомъ.— Твой *вахмистръ* въ Москвѣ гораздо счастливѣе, нежели въ Петербургѣ. У-насъ его хвалятъ, и очень хвалятъ. Чудно для меня, что онъ не полюбился Гаврилу Романовичу! Вѣрно онъ читалъ его въ худой часъ. Вахмистръ есть и будетъ всегда превосходною идеею въ своемъ родѣ. Впрочемъ я думаю, что Боклюшинъ* не есть Петербургская публика, и что Львенокъ** не имѣетъ причины торжествовать. Онъ имѣетъ причину горевать, не для того, что Боклюшинъ разумѣетъ его подъ Миниатюркинымъ, но для того, что онъ имѣлъ нещастіе написать Памелу, Храмъ безсмертія, и прочее. Только я недоволенъ тобою, что ты показалъ ему мое письмо—недоволенъ, и очень недоволенъ. Естьли тебѣ хотѣлось щелкнуть его по носу, то для чего ты не прочиталъ ему своей эпиграммы на трехъ Львовыхъ! Впрочемъ всего лучше предать его судьбѣ и Боклюшинымъ.** Кто захочетъ жить съ нимъ на одномъ полѣ? Позволь мнѣ еще удивиться тому, что ты хотѣлъ заставитьъ часто упоминаемаго Боклюшина писать противъ Московскаго журнала; по крайней мѣрѣ Аполлонъ Николаевичъ Бекетовъ такъ мнѣ сказывалъ. Что за странная мысль? Ужели ты могъ думать, что я приму отъ него перчатку, и выѣду на рыжакѣ съ ланцомъ? Признаюсь, что не смотря на мое *человѣколюбіе*, едвали бы я простилъ тебѣ эту мысль.

* Глушинъ.

** Павелъ Юрьевичъ Львовъ.

Скорѣе вступлю въ бой съ Пироговыми, Сызранскими секретарями, Вележевymi, и проч. и проч.

«Пожалуй, любезный, изъяви благодарность мою Гавріилу Романовичу за присланную имъ піесу, которая напечатана будетъ въ Іюльѣ.

«Да увѣдомь, какъ любезный Ѳедоръ (Петровичъ) Львовъ принялъ примѣчанія мои на его стихи къ лирѣ? Не осердился ли онъ? Мнѣ это будетъ прискорбно. Онъ имѣеть истинныя дарованія.

«О какихъ *стихахъ* къ истинь говорилъ ты?—

«Пиши, милый другъ мой и братъ по любви къ музамъ! Пиши! ты поэтъ, но неужели тебѣ самому это неизвѣстно!—чуть было не забылъ сказать, Херасковъ *сизаю юлубка* твоего называетъ прекраснѣйшею піесою. Это увѣряетъ меня, что онъ имѣеть хорошей вкусъ.

«Прости, любезный! Пиши скорѣе. Я теперь въ деревнѣ, но отвѣтъ твой найдетъ меня уже въ Москвѣ.

Какова Саконтала?»

Сентября 6. «Благодарю тебя за два письма твои, полученные мною вдругъ по-пріѣздѣ моемъ изъ деревни, гдѣ прожилъ я долѣе, нежели думалъ, и гдѣ прожилъ бы еще долѣе, есть ли бы субскрибенты не принудили меня оттуда-выѣхать и предстать въ персональной наличности предъ лицо Окорокова* и наборщиковъ его. — За всѣ присланные стихи благодарю тебя, и прошу (N. B. если надобно) поблагодарить и другихъ. И такъ ты записался нынѣ въ дамскіе стихотворцы и пишешь только по заказу! И я бы заказалъ тебѣ перевести *Les trois manières*, одну изъ лучшихъ Вольтеровыхъ сказокъ, (о которой, кажется, давно уже говорено было); но не будучи дамой, могу ли надѣяться?—Вообрази, что Львенокъ все еще присылаетъ переводы для помѣщенія въ Московскій журналъ! Но полно; болѣе ни строчки не напечатаю.—

* Типографъ.

Всякой день собираюсь ѣхать къ Нелединскому за пѣснями. Но какая странная мысль издать пѣсенникъ! Кому хочешь ты услужить? Хорошо, естли своему карману: но и въ этомъ не ошибешься ли? Впрочемъ я не люблю *отстращать* людей отъ ихъ предпріятій; и такъ издавай! я подписываюсь на экземпляръ; только съ тѣмъ уговоромъ, чтобы тутъ напечатанъ былъ и *Сизой юлубочикъ*.

«Пожалуй, увѣдомь меня объ Александрѣ Андреевичѣ; онъ мнѣ давно не пишетъ. Нѣтъ ли у васъ чего-нибудь новаго въ литературѣ? Въ какомъ состояніи Бобровъ? Стихи его, и Львова, и Державина, напечатаю въ Августѣ, которой скоро выйдетъ. Прости, мой любезный поэтъ и стихотворецъ! Пиши къ твоему издателю.»

Октября 21. Послѣ осмидневной болѣзни беру съ въ первый разъ за перо, чтобы писать къ тебѣ, мой милый другъ И. И.

«Благодарю тебя за два письма твои. Послѣднее огорчило меня извѣстіемъ о худомъ здоровьѣ твоемъ. Въ разсужденіи худаго хозяйства—надежда, надежда!—Впрочемъ когда есть свободное кофе, изрѣдка макароны и бланъ-манже, то можно еще терпѣть по философски. Займодавцы? Да развѣ ты уже лишился дарованія своего смѣшить ихъ, и отправлять назадъ безъ платы, однакожъ довольными?»

«Я съ своей стороны для подкрѣпленія кошелекка твоего посылаю тебѣ при семь Нелединскаго пѣсни. Печатай пѣсенникъ и собирай деньги съ публики! Или ты уже оставилъ свое намѣреніе?»

...«Юль пришлю съ Сентяремъ, который уже отпечатанъ. Въ Октябрѣ и Ноябрьѣ *хочу помѣстить продолженіе и окончаніе Людора*.—Благодарю за стишки. Это не Голубокъ, однакожъ хорошо, а особливо обращеніе къ ласточкѣ и сіи стихи:

Розы ль дышутъ надъ могилой,

Иль полынь надъ ней растеть, и проч.

«Знаешь ли, братецъ, что Николевъ оскорбился *Гимном восторгу*? Я увѣрялъ его, что авторъ не думалъ объ немъ.—Что нашъ Гаврило Романовичъ?—Прости, мой милый! Еще рука дрожить отъ слабости.»

Въ предпоследней книгѣ М. Ж. была помѣщена новая новѣсть Карамзина, Наталья, Боярская дочь, утвердившая его славу въ обществѣ. *

Въ слѣдующей книгѣ, то есть Декабрьской, Карамзинъ, совершенно неожиданно, объявилъ о прекращеніи своего прекраснаго журнала: «Сею книжкою (которая выходитъ довольно поздно, но за то состоитъ изъ одиннадцати листовъ)—Московскій журналъ заключается. Издатель, слѣдуя похвальному обычаю старинныхъ журналистовъ, долженъ выйти на сцену съ эпилогомъ.

«Вотъ мой эпилогъ: благодарю всѣхъ тѣхъ, которые брали на себя трудъ читать Московскій журналъ.

«Въ прошедшемъ году я два раза отлучался изъ Москвы, и сіи отлучки были причиною того, что нѣкоторые мѣсяцы журнала выходили не въ свое время. Строгіе люди обвиняли меня, снисходительные прощали. Теперь обязательство мое кончилось—я свободенъ.»

Скажемъ нѣсколько словъ о прекращеніи Московскаго журнала.

Карамзинъ поднялся на такую высоту, на какой не бывалъ еще ни одинъ изъ Русскихъ писателей, не исключая Ломоносова и Державина,—относительно большинства читателей. Публика была отъ него въ восторгѣ.—Но несмотря на свой необыкновенный громадный успѣхъ, не смотря на свое извѣстное намъ желаніе дѣйствовать на общество посредствомъ журнала, онъ вдругъ прекращаетъ изданіе. Что это значитъ? Нигдѣ—ни въ статьяхъ, ни въ письмахъ, нѣтъ ни малѣйшаго повода заключить о такомъ намѣреніи.

* Вступленіе см. ниже.

Правда ли, что прекратилъ онъ журналъ отягощаясь срочностью работы, какъ объясняетъ его замѣтка, или присоединились другія причины и соображенія, рѣшить трудно.

Мы знаемъ только, что въ то время, какъ Карамзинъ воспѣвалъ весну и печаталъ Сизаго голубочка, строгій Московскій главнокомандующій, князь Прозоровской, допрашивалъ одного изъ членовъ общества, князя Николая Никитича Трубецкаго: «неоднократныя посылки въ чужіе края Шварца, Барона Шредера, Бутузова, Карамзина, такъ и отправленіе студентовъ изъ вашего сборища, безъ позволенія правительства, навлекли уже правительству подозрѣніе: то и открыты вамъ о причинахъ отправленія тѣхъ людей, и какія отъ вашего сборища даны наставленія, кои вамъ и объявить при семь, а равно и какія вы получали увѣдомленія отъ вашихъ посланниковъ.»

Б. Трубецкой отвѣчалъ:... «что касается до Карамзина, то онъ отъ насъ посланъ не былъ, а ѣздилъ вояжиромъ на свои деньги.»

И. Екатеринъ Б. Прозоровскій доносилъ: «въ исполненіе Высочайшаго. В. И. В. отъ 1 Августа указа, которой удостоился я получить въ воскресенье, то-есть 8 Августа, 10-го же числа призвавъ къ себѣ князя Николая Трубецкаго, по вложеннымъ отъ В. В. пунктамъ, учинилъ допросъ, прибавя только въ оной одного Карамзина, какъ *онъи былъ въ чужихъ краяхъ и ихъ прежде общества*. Но увидя изъ перваго вопроса князя Трубецкаго, что онъ посланъ былъ не отъ нихъ, то въ послѣдующихъ исключилъ.**»

Д. Н. Бантышъ-Каменскій, въ своей біографіи, говоритъ, что подлинныя рѣчи Карамзина были въ рукахъ И. Екатерины и свидѣтельствовали благонамѣренность сочинителя. Мы незнаемъ, откуда почерпнуто это извѣстіе.

* Лѣтописи исторіи и литературы Тихонравова кн. V ст. 55.

** П. с. 79.

Изъ писемъ Карамзина къ Дмитріеву видно, что до него самого доходили Московскіе слухи въ деревню, въ слѣдующее лѣто, объ его опалѣ (см. ниже).

Нельзя не выразить здѣсь удивленія, какимъ образомъ И. Екатерина, слѣдившая зорко за всѣми явленіями литературы, принимавшая даже сама дѣятельное участіе въ ея успѣхахъ, не обратила своего вниманія на Карамзина, на переворотъ, совершаемый имъ предъ ея глазами, прославляющій ея царствованіе. По крайней мѣрѣ нѣтъ нигдѣ ни въ письмахъ, ни въ статьяхъ, никакого намека о какомъ бы то ни было знагѣ ея вниманія. Это совершенно противорѣчитъ всѣмъ понятіямъ, кои мы имѣемъ объ И. Екатеринѣ и объ ея образѣ дѣйствій. Положимъ, что въ послѣднее время, т. е. время Французской революціи, престарѣлая Государыня нѣсколько измѣнилась, смутилась и почувствовала опасенія. Положимъ, что она сначала могла питать подозрѣнія къ Карамзину, какъ воспитаннику въ нѣкоторомъ смыслѣ Дружескаго общества, другу Плещеева, связаннаго тѣсными узами съ Новиковымъ; но первыя слѣдствія показали, что онъ принадлежалъ къ обществу не слишкомъ крѣпко. Двухгодичное изданіе и помѣщеніе статей, совершенно не касавшихся съ одной стороны политики, а съ другой мистицизма, должны были показать ясно характеръ Карамзина, какъ писателя и какъ гражданина. Могло быть наведено строгое наблюденіе, которое должно было очистить и облечь его совершенно. Невниманіе должно было огорчать, и смущать Карамзина. Это страничка съ тѣнью въ исторіи И. Екатерины! Никакими вѣроятными подозрѣніями оправдать ее нельзя.

Какъ бы то ни было, мы можемъ замѣтить, что сродности онъ не боялся, и чрезъ десять лѣтъ опять принялся за изданіе журнала.

Такъ кажется съ одной стороны, а съ другой стороны слѣдующая его дѣятельность и изданіе двухъ книгъ

Аглая, состоящихъ изъ его статей, доказываютъ какъ будто именно только то, что онъ хотѣлъ избавиться отъ срочности.

«Но сія свобода не будетъ и не должна быть праздностію», продолжаетъ онъ въ своемъ заключеніи: «въ тишинѣ уединенія я стану разбирать архивы древнихъ литературъ, которыя (въ чемъ признаюсь охотно) не такъ мнѣ извѣстны, какъ новыя; буду учиться—буду пользоваться сокровищами древности, *чтобы послѣ приняться за такой трудъ, который могъ бы остаться памятникомъ души и сердца моего, если не для потомства (о чемъ и думать не смѣю), то по крайней мѣрѣ для малочисленныхъ друзей моихъ и пріятелей*».

Обратимъ вниманіе на мѣсто, напечатанное курсивомъ, которое показываетъ ясно, что Карамзинъ задумывалъ уже тогда писать Русскую исторію.

Это замѣчаніе для насъ важно, ибо оно хоть сколько-нибудь облегчаетъ уразумѣніе чудо-сотворенія осьми томовъ Русской исторіи въ двѣнадцать лѣтъ. Въ эти десять лѣтъ, среди другихъ занятій и общества, Карамзинъ вѣрно занимался приготовленіемъ къ будущему труду, то есть читалъ лѣтописи и прочія сочиненія, сюда относящіяся.

Кончимъ его эпилогъ:

«Между тѣмъ у меня будутъ свободные часы, часы отдохновенія; можетъ быть вздумается мнѣ написать какую-нибудь бездѣлку; можетъ быть пріятели мои также что-нибудь напишутъ:—сіи отрывки или цѣлыя піесы намѣренъ я издавать въ маленькихъ тетрадкахъ, подъ именемъ... напимѣръ *Аглая*, одной изъ любезныхъ Грацій. Ни времени, ни числа листовъ, не назначаю; не вхожу въ обязательство и не хочу подписки; выйдетъ книжка, публикуется въ газетахъ—и кому угодно, тотъ купитъ ее.

«Такимъ образомъ *Аглая* заступитъ мѣсто Московскаго журнала. Впрочемъ она должна отличаться отъ сего по-

слѣдняго строжайшимъ выборомъ шість и вообще чистѣйшимъ, т. е. болѣе выработаннымъ слогомъ; ибо я не принужденъ буду издавать ее въ срокъ.

«Можетъ быть съ букетомъ первыхъ весеннихъ цвѣтовъ положу я первую книжку Аглаи на олттарь Грацій; но примуть ли сіи прекрасныя богини жертву мою или нѣтъ — не знаю.

«Письма Русскаго путешественника, исправленныя въ слогъ, могутъ быть напечатаны особливо, въ двухъ частяхъ: первая заключится отъѣздомъ изъ Женевы, а вторая возвращеніемъ въ Россію.

«Драма кончилась и занавѣсъ опускается.»

Всѣ статьи Карамзина помѣщенныя въ Московскомъ журналѣ, изданы особо (1794) подъ заглавіемъ: Мои бездѣлки, съ эпиграфомъ изъ Попе: «въ древнія времена награждалось не только превосходное искусство, но и похвальное стараніе. Триумфы были для полководцевъ, лавровые вѣнки для простыхъ воиновъ,» и съ слѣдующимъ предувѣдомленіемъ:

Отъ сочинителя. Нѣкоторые изъ моихъ пріятелей и господа содержатели Университетской типографіи желали, чтобы я выдалъ особливо свои бездѣлки, напечатанныя въ Московскомъ журналѣ: исполняю ихъ желаніе.

Николай Карамзинъ.

Ө. Н. Глинка въ свѣдѣніяхъ, мнѣ сообщенныхъ о Карамзинѣ, пишетъ: «въ раннемъ дѣтствѣ моемъ, какъ запомню себя, въ смиренномъ околоткѣ нашемъ, Смоленской губерніи, близъ г. Духовницы, мало читали, и кромѣ книгъ духовнаго содержанія, почти не имѣли другихъ. —... Вдругъ появились у насъ въ домѣ: Мои бездѣлки. Намъ прислали эту книгу изъ Москвы, и какъ описать впечатлѣніе, произведенное ею? Всѣ бросились къ книгѣ и погрузились въ нее: читали, читали, перечитывали, и наконецъ почти

вытвердили наизусть. Отъ насъ пошла книга по всему околотку, и возвратилась къ намъ уже въ лепестнахъ. Такъ стало, думаю, и вездѣ съ первыми опытами Карамзина.

Мои бездѣлки имѣли два изданія (второе 1797 г.) Карамзинъ напечаталъ впрочемъ здѣсь еще нѣсколько новыхъ мѣстъ, не помѣщенныхъ въ Московскомъ Журналѣ.

Московскій журналъ такъ понравился Русской публикѣ, что даже чрезъ нѣсколько лѣтъ понадобилось новое изданіе.

1793 годъ.

93-й годъ былъ еще тяжеле для Карамзина, чѣмъ 92. Въ 92-мъ онъ имѣлъ несчастье быть свидѣтелемъ несчастія своихъ друзей и благопріятелей, Новикова, Тургенева и проч.; въ 93 г. онъ лишился своего перваго друга, Петрова. Съ самаго начала года возникли его опасенія. Собообщимъ здѣсь письма его къ Дмитріеву, которыя, вмѣстѣ съ письмами къ брату, составляютъ главный источникъ для біографіи за это время.

Янв. 28. «Лучше не благодарить, да прощать; лучше не благодарить, да не думать, чтобы я когда нибудь забылъ тебя.

«Радуйся, мой другъ, *распространенію дѣла моего*; но не радуйся тому, что мнѣ съ нѣкотораго времени очень грустно. И такъ не одинъ ты горюешь!

«Болезнь Александра Андреевича меня очень беспокоитъ. Я пишу къ нему на сей же почтѣ и съ нетерпѣніемъ ожидаю его отвѣта.

Прибавимъ здѣсь, по другимъ извѣстіямъ, что Петровъ въ послѣднее время очень сблизился съ Державинымъ, и Батерина Яковлевна много занималась имъ и недюжидна сдѣлала человѣкомъ обходительнымъ, сняла съ него силуэтъ, и прислала его къ Карамзину.

«Итакъ Эминъ, Брыловъ, Блушинъ и Туманскій, не благоволятъ ко мнѣ! Какое несчастье! Я видѣлъ, какъ

бѣдный Туманскій хотѣлъ зацѣпить меня въ своемъ журналѣ.* Эминъ не сочинилъ ли какой нибудь эпиграммы?»

Февраля. 17. «Не можешь вообразить, въ какомъ я безпокойствѣ объ Александрѣ Андреевичѣ. Ужели пришелъ конецъ его? Эта мысль для меня слишкомъ мучительна. Пожалуй, мой другъ, увѣдомь—и есть ли можно, увѣдомляя меня всякую почту, какое онъ — пиши хотя по одной строчкѣ. Болѣзнь Александра Ивановича (Дмитріева) мнѣ также очень прискорбна. Отвсюду непріятныя вѣсти! Вездѣ горизонтъ такъ черенъ и грозенъ! *Какое время*, мой другъ!

«Но можетъ быть пройдутъ тучи; хаосъ разѣлится и солнце проглянетъ—друзья Александры наши будутъ здоровы, а мы покойны и веселы!

«Прости, мой другъ! поручаю тебя твоему генію.»

Марта 21. «И такъ его уже нѣтъ!

«Одному мнѣ извѣстно, чего я въ немъ лишился, и сердце мое долго, долго не привыкнетъ къ своей потерѣ.

«Мнѣ очень хочется имѣть всѣ бумаги покойнаго моего друга. Если хочешь обязать меня, то попроси ихъ у брата его Ивана Андреевича. Надѣюсь, что онъ сдѣлаетъ для меня это великое одолженіе; а если не сдѣлаетъ, то я прошу его возвратить мнѣ хотя однѣ письма мом, которыя ни для кого не могутъ быть интересны. Ты можешь отобрать ихъ, и переслать ко мнѣ чрезъ почту. Любезный другъ! я увѣренъ, что просьба моя не покажется тебѣ не важною.

«Увѣдомь меня, гдѣ его погребли, и можно ли почему нибудь узнать его могилу.

«Сердечно благодарю почтеннаго и любезнаго Гаврила Романовича за его вторичное благосклонное предложеніе; но я по разнымъ причинамъ немогу имъ воспользоваться.— Теперъ право не въ состояніи *писать* болѣе.»

* Россійскій магазинъ.

Чувствованія свои Карамзинъ выразилъ въ статьѣ *Целътокъ на гробъ моего Алатона*, марта 28, 1793, съ которою мы знакомы по отрывкамъ, прежде приведеннымъ. * Предложимъ здѣсь ея заключеніе:

«Переиѣна климата, а можетъ быть и чрезмѣрная дѣятельность, разстроили его слабое здоровье; онъ занемогъ опасною болѣзнію, страдалъ, томился—ни молодость, ни искусство врачей, ни пламенная молитва дружбы не помогли ему.... Онъ скончался!...

«Ахъ! для чего не могъ я быть при концѣ твоёмъ,— не могъ слышать послѣднихъ словъ, видѣть послѣднихъ взоровъ моего друга?—Ты хладѣлъ въ объятіяхъ смерти, и можетъ быть никто изъ окружавшихъ тебя не зналъ, какая душа оставляла міръ сей, какой человекъ умиралъ въ глазахъ ихъ!—Можетъ быть безчувственные люди опустили гробъ твой въ землю! Я хотѣлъ бы оросить слезами то мертвое тѣло, въ которомъ обиталъ бессмертный духъ твой; хотѣлъ бы проститься съ тобою, и со всею горячію дружбы поцѣловать тѣ хладныя уста, изъ которыхъ нѣкогда лились въ грудь мою отрада и утѣшеніе; хотѣлъ бы успокоить тебя и въ самомъ гробѣ, и первымъ весеннимъ цвѣткомъ украсить могилу твою!... Ахъ! на что мы разлучились? Сѣи немногіе дни, которые оставалось прожить тебѣ въ доли смертнаго, протекли бы въ тишинѣ и мирѣ; попеченія любви, старанія дружбы, облегчили бы переходъ твой въ вѣчность, и Ангелъ смерти принялъ бы тебя изъ объятій чувствительнаго человека!

«Онъ умиралъ спойно. *Я говорилъ съ нимъ за два дня кончины ея*, (пишетъ ко мнѣ любезный Дмитріевъ), и никогда не перестану удивляться силамъ души ея — а я, за сіе удивленіе, никогда не перестану любить тебя, милый Дмитріевъ. **

* См. выше с. 23 и сл. 169, 191.

** Александръ Ивановичъ.

«Величественная натура.... или Ты, котораго назвать не умѣю.... Ты, котораго истинное имя и существо таятся въ непроницаемомъ мракѣ, или въ неприступномъ свѣтѣ! Дерзнетъ ли смертный съ слабымъ, но чистымъ сердцемъ, безъ страха и трепета спросить Тебя: почто образовалъ Ты прекрасную душу моего друга, и скрылъ ее на зарѣ утренней, прежде нежели возсіяла она во всей красотѣ своей? Ужели мудрая рука Твоя ошиблась, и произвела оную не въ свое время, не въ своемъ мѣстѣ?—Невидимая сила заграждаетъ уста мои, безмолвствую.

«Горестъ моя будетъ продолжительна—безконечна! Я имѣю друзей сердца, которые меня любятъ, и мнѣ всего на свѣтѣ милѣе; но духъ мой лишился любезнѣйшаго своего брата и совоспитанника, котораго никто, никто замѣнить не можетъ!»

«Дражайшій Агатовъ! рука времени не загладитъ образа твоего въ моихъ мысляхъ; всегда, всегда буду вспоминать о незабвенномъ другѣ: ибо память твоя впечатлѣлась въ существо души моей, и слилась съ ея любезнѣйшими идеями и чувствами. Скоро разцвѣтетъ пространный садъ природы; скоро птички запоютъ на зеленыхъ вѣткахъ—я пойду въ поле; пойду гулять туда, гдѣ гулялъ съ тобою; сяду на томъ мѣстѣ, гдѣ сидѣлъ съ тобою, и подъ шумомъ весеннихъ водопадовъ пролью сладкія слезы. Тамъ, видя радостное обновленіе природы, буду воображать тебя обновленнаго въ таинственныхъ жилищахъ вѣчности, которыя стали мнѣ извѣстнѣе съ того времени, какъ ты въ оныя переселился—въ жилищахъ, гдѣ непремѣнная весна царствуетъ, и алѣютъ цвѣты не увядаемые; гдѣ нѣту ни слезъ, ни вздоховъ; гдѣ мудрые древности, какъ, нѣжные братья, бесѣдуютъ съ тобою, и гдѣ нѣбогда встрѣтишь ты и меня съ ангельскою улыбкою небесной дружбы.»

Бумагъ Петрова и писемъ своихъ Карамзинъ не получилъ. * Вотъ что писалъ онъ *отъ 4 мая* къ Дмитріеву:

«Благодарю за исполненіе моей просьбы.—Я доволенъ, что письма мои сожжены; но для чего Г. Петровъ не хотѣлъ отдать ихъ, не понимаю. Жаль мнѣ, что я заставилъ тебя ѣхать къ человѣку не весьма учтивому; но ты очень обязалъ меня.»—

«Я надѣялся видѣть тебя весною, мой любезный другъ. Смерть Александра Андреевича помрачила душу мою на долгое время, но не прохладила въ сердцѣ моемъ любви къ оставшимся друзьямъ. Я очень люблю тебя.

«Недѣли черезъ три думаю ѣхать въ деревню, версть за триста отъ Москвы. Видъ сельской природы усвоитъ меня. Тамъ можетъ быть напишу нѣчто и для *Азлаи*, которую теперь мало занимаюсь.

«Скажи пожалуйста, что у васъ говорятъ о періодическомъ сочиненіи Клушина, о его важныхъ замѣчаніяхъ, анекдотахъ, рецензіяхъ, несчастномъ М-вѣ.

«Часто ли бываешь у Гаврила Романовича? Не сердитъ ли онъ на меня за то, что я не принялъ его предложенія? Засвидѣтельствуй ему мое почтеніе, также и Катеринѣ Яковлевнѣ. Пиши ко мнѣ, милой! Письма твои мнѣ очень пріятны.»

Окончимъ выписки изъ писемъ Карамзина къ Дмитріеву въ продолженіи 1793 года.

Юня 2. «Сію минуту получилъ письмо твое, стихи и Державина оду, о которой не скажу тебѣ ни слова. Переводъ самой не піитической. *Briser les cachots* и нѣкоторыя другія выраженія показываютъ, что переводчикъ не Французъ. Но нынѣ мнѣ право и критикомъ быть не хочется, въ то время, когда Клушины издають журналы, пишутъ рецензіи, называютъ Жилблaza *періодическимъ*** сочиненіемъ, я винитель-

* Не сохранились ли онѣ гдѣ нибудь! объ Иванѣ Андреевичѣ Петровѣ не удалось мнѣ достать никакихъ свѣдѣній. Прошу ихъ у тѣхъ, кто можетъ мнѣ помочь въ этомъ случаѣ.

** Смотри рецензію Фобласа. *Прим. Кар.*

нымъ падежемъ (см. приключеніе несчастнаго М. въ Февралѣ мѣсяцѣ) *облакачиваются* головою, и восхищаютъ le gros du public комедіями *Смѣхъ и юре*.

«Но твоего Чижика посажу въ чистую клетку, къ двумъ или тремъ разноцвѣтнымъ маленькимъ птичкамъ, которыя, видя мрачность неба, не хотятъ летѣть на волю, и сидятъ при-корнувши въ маленькомъ своемъ домикѣ, ожидая краснаго дня, когда грація Аглая собственною рукою отворитъ имъ дверцы.

«Твою сказку, посвященную щекотуньямъ, прочитаю двумъ или тремъ щекотуньямъ, съ которыми нерѣдко вижусь.

«Скажи, братецъ, что за человекъ Иванъ Розановъ, или Иванъ Розовъ, которой пишетъ такіе превосходные стихи?

«Да скажи еще, къ которому сорту читателей Клушина принадлежатъ Державинъ, Федоръ Петровицъ, *Осипъ Петровичъ* Львовы, *Козодавлевъ*, Капнисть? Можетъ быть я оскорблю ихъ симъ вопросомъ; но ты не донесешь на меня. Впрочемъ въ свѣтѣ бываетъ много странностей—повѣришьли ты, напримѣръ, что Николевъ до небесъ превозноситъ «Меркурія,» * удивляется знаніямъ и чувствамъ Клушина (съ которымъ онъ недавно познакомился), и говоритъ, что приключеніе несчастнаго М-ва гораздо лучше Вертера?—Повѣришь ли, что Горчаковъ ** съ нимъ соглашается? Но старикъ Херасковъ и Нелединскій крайне сожалѣютъ, что у насъ на Руси можно imprimeur писать такія нелѣпости.

«Сей же добрый и почтенной старикъ Херасковъ сочинилъ оду, которую тебѣ присемъ посылаю. Строфа, въ которой говорится о *Наказѣ*, прекрасна. Первые три строфы хороши; шестая и седьмая также; осьмая превосходна—но въ цѣломъ нѣтъ порядка. Согласно ли твое мнѣніе съ моимъ?

* Журналъ Клушина и Брылова.

** Князь Дмитрій Петровичъ.

«Я послалъ къ тебѣ чрезъ почту журналъ и *открытки*. Нельзя ли послѣдніе возвратить мнѣ? А я на смѣну пришлю тебѣ другіе.

«Да не можно ли узнать, почему Шноръ продаетъ хорошія свои литеры? Я бы купилъ ихъ листа на два.

«Апрѣля мѣсяца славнаго «Меркурія» я еще не получилъ отъ тебя.

«Силуэтеръ Германъ сдѣлалъ мнѣ прекрасный силуэтъ Александра Андреевича, которой я всегда ношу въ карманѣ. *

«Еще не знаю, когда поѣду въ деревню.»

Июня 22. «При отъѣздѣ въ деревню хочу написать къ тебѣ нѣсколько строкъ.

«Благодарю за всѣ Петербургскія *стихотворенія и прозаиды*. Повтореніе скажешь ты. Извини, любезной! но я боюсь, чтобы ты совсѣмъ говорить не пересталъ, по ненависти твоей къ повтореніямъ.

«Ода съ *вовомъ* какъ возъ дровъ; а дрова, какъ извѣстно, употребляются не на худое. Изъ *политическихъ* стиховъ можно и должно сдѣлать другое употребленіе (прости мнѣ сей галлицизмъ).. Я подозреваю, что авторъ хочетъ отрыть лавровый вѣнокъ Василія Тредіаковскаго, лежащій въ пыли и прахѣ,—отрыть и возложить его на свою пустую главизну.

«Жаворонокъ очень хорошъ. Я хотѣлъ бы, чтобы стихъ и о любви *непомышляла* былъ глаже, и чтобы вмѣсто *встрепенялся* поставилъ ты другое слово; надобно сказать *встрепенувшись*. *Пичужечка* не переменный—ради Бога, не *переменяй!* Твои совѣтники могутъ быть хорошими въ другомъ случаѣ; а въ этомъ они неправы. Имя пичужечки для меня отмѣнно пріятно, вѣрно потому, что я слыхалъ его въ чистомъ полѣ отъ добрыхъ поселянъ. Она возбуждаетъ въ душѣ нашей двѣ любезныя идеи: о *свободѣ* и

* Нѣтъ ли возможности отыскать этотъ силуэтъ?

сельской простоты. Въ тону басни твоей нельзя прибрать лучшаго слова. *Птичка* почти всегда напоминаетъ клѣтку, слѣдственно неволю. *Черная* есть нѣчто весьма неопредѣленное. Слыша это слово, ты еще не знаешь, о чемъ говорится: о строусѣ или колибри.—То, что не сообщаетъ намъ дурной идеи, не есть низко. Одинъ мужикъ говоритъ *ничужеска* и *парень*: первое пріятно, второе отвратительно. При первомъ словѣ воображаю красивый лѣтній день, зеленое дерево на цвѣтущемъ лугу, птичье гнѣздо, порхающую малиновку или пѣночку, и покойнаго селянина, который съ тихимъ удовольствіемъ смотритъ на природу и говоритъ: *вотъ мѣздо!* *вотъ ничужеска!* При второмъ словѣ является моимъ мыслямъ дебелый мужикъ, который чешется не благопристойнымъ образомъ, или утираетъ рукавомъ мокрые усы свои, говоря: *ай парень! что за квась!* Надобно признаться, что тутъ нѣтъ ничего интереснаго для души нашей! И такъ, любезный мой *И.*, нельзя ли вмѣсто парня употребить другое слово?—Мораль въ заключеніи кажется мнѣ неясною. Изъ басни слѣдуетъ, что недолжно надѣяться на чужую помощь; къ чему же сказано: *не всегда въ нампреньяхъ будь скоръ!* Развѣ къ тому, что жаворонокъ не тотчасъ рѣшился оставить гнѣздо свое? Но это очень далеко и темно. Вотъ мои замѣчанія, очень, очень неважныя!

«Эпиграмма твоя наодическое вздорословіе стоила бы того, чтобы напечатать ее подъ симъ великимъ произведеніемъ Блужинскаго ума—и если бы спросили тогда: для чего Блужинъ написалъ *человѣка?* то я отвѣчалъ бы: чтобъ любезный мой Дмитріевъ сочинилъ на него прекрасную эпиграмму. Скажи, братецъ, кто писалъ примѣчанія въ Апрѣлѣ «Меркурія»?

«Литеры Шнора хороши и не слишкомъ дороги. Можетъ быть я куплю ихъ; только не теперь. Судьба университетской типографіи еще не рѣшена. Можетъ быть

она достанется какомунибудь Водопьянову или Пономареву—вообрази же, въ какихъ рукахъ будетъ Московская литтература?

«Въ началѣ зимы думаю ѣхать въ Симбирскъ. Нельзя ли вмѣстѣ? Приѣзжай и поѣдемъ.»

Юня 26. Орловское намѣстничество.

«Не писать ко мнѣ такъ долго! Не отвѣчать на мое письмо!—Незнаю, что думать; но знаю и чувствую то, что я о тебѣ въ превеликомъ безпокойствѣ, любезной другъ, И. И. Сдѣлай милость, отпиши поскорѣе.

«Я живу въ деревнѣ около мѣсяца; покойно и не скучно. Что у васъ въ свѣтѣ дѣлается, въ ученое и неученое? Увѣдомляй насъ пустынниковъ....»

Августа 17. Орловское намѣстничество. Село Знаменское.

«Благодарю тебя, любезный другъ, за два письма твои, которыя были мнѣ очень пріятны.

«Прежде всего скажу тебѣ, что я очень буду жалѣть, если ты не найдешь меня въ Москвѣ, гдѣ думаю быть не прежде Ноября. Какъ бы хорошо было, если бы ты выѣхалъ изъ Петербурга по первому пути! Мы бы обнялись на берегу бѣдной Яузы, и поскакали бы вмѣстѣ на берегъ великолѣпной Волги. Я вѣрно отправлюсь въ Симбирской край въ началѣ зимы; далъ слово и намѣренъ сдержать его. Какъ тебѣ ѣхать въ Октябрѣ? Вообрази себѣ ужасную грязь, скверную дорогу, трясую кибитку, мокроту и сырость. Не лучше ли въ тысячу разъ катиться по бѣлымъ одѣяламъ зимы!—Впрочемъ, если Петербургъ тебѣ очень наскучилъ, то Богъ съ тобою! Я долженъ жертвовать своимъ удовольствіемъ твоей пользѣ. По крайней мѣрѣ въ Симбирскѣ увидимся. Я живу, любезный другъ, въ деревнѣ съ людьми милыми, съ книгами и съ природою; но часто бываю *очень, очень безпокоенъ въ моемъ сердцѣ. Повѣришь ли, что ужасныя произшествія Европы волнуютъ всю душу мою?* Бѣгу

въ густую мрачность лѣсовъ, но мысль о разрушаемыхъ городахъ и гибели людей вездѣ тѣснить мое сердце. Назови меня Донъ Кишотомъ; но сей славный рыцарь не могъ любить Дулцинею свою такъ страстно, *какъ я люблю чело́вѣчество.*

«Кто предсѣдательствуетъ въ вашемъ высокоумномъ комитетѣ?—Что молодой Львовъ? Пишетъ ли? и какъ?—Желаю видѣть полныя творенія нашего Гаврила Романовича. Вѣроятно, что изданіе будетъ великолѣпное.

«И такъ Голубокъ твой ожилъ въ Петербургѣ! Ты знаешь, какъ я люблю его. Только голосъ мнѣ не очень понравился; уныло, но выраженіе слабо. Музыка другой твоей пѣсни гораздо лучше. Нельзя ли, любезной поэтъ, переменить въ ней послѣдней строфы? Она мнѣ не такъ нравится, какъ другія. *Персты и сокрушу* производятъ какое то дурное дѣйствіе.

«Господинъ Ц-ы благодарить тебя за стансы, достойныя твоей лиры. Только четвертую строфу портятъ *или и ниже*. Послѣдняя также подвержена критикѣ. *Знать* (въ томъ смыслѣ, въ какомъ ты употребилъ его), и *узнать* рифмовать можно; но мнѣ не нравятся первые два стиха по тому, что связь ихъ слаба или неразительна. Ты сблизилъ, такъ сказать, *мечтаніе съ пороками*; но одно отъ другаго очень далеко по существу своему. Мечта есть не что иное, какъ заблужденіе, и всегда достойна сожалѣнія; порокъ есть развращеніе сердца, и долженъ быть предметомъ омерзенія. Человѣкъ, окруженный пороками, гнушается ими, или самъ дѣлается порочнымъ, но не мечтателемъ. Когда же между мечтами и пороками нѣтъ явной связи, то на что говорить:

Другъ! довольно мы мечтали

Тамъ, гдѣ всѣхъ пороковъ знать?

Ты переменяешь сію строфу, и говоришь;

Другъ! еще мы не устали

Сердце въ насъ поработать?

«Но здѣсь не сказано, чему поработать; а это, кажется, нужно—вотъ вся моя критика!

«Германъ не могъ сдѣлать похожаго на меня силуэта; а что тебѣ въ такой тѣни, которая не есть тѣнь друга твоего?—Не думай, чтобы я забывалъ твои желанія!

«Бѣдный Розовъ! но я не могу понять, какимъ образомъ можно находить богохуленіе въ стихахъ Розова?»

Декабрь 1. «Нынѣшній годъ и для меня былъ не весьма счастливъ; сердце мое съ разныхъ сторонъ было тронуто. Какъ мало истинныхъ пріятностей въ жизни, и какъ много непріятностей! Можетъ быть слѣдующій годъ будетъ еще хуже. По крайней мѣрѣ собственныя мои горести никогда не помѣшаютъ мнѣ брать участія въ горестяхъ друзей моихъ.

«Дай Богъ, чтобы ты скорѣе выѣхалъ изъ такого мѣста, которое, какъ видно, не веселитъ тебя! Весьма, весьма желаю обнять тебя, моего друга.—Пріѣзжай—за бутылкою пятидесятилѣтняго ренвейна, поговоримъ о всякой всячинѣ; посмѣемся и поплачемъ.»

Аглая, съ эпиграфомъ изъ Боннета: «Les esprits bien faits qui ne peuvent lire mon sœur, liront au moins mon livre», вышла гораздо позднѣе, нежели предполагалъ Карамзинъ — зимою 1793 года. Вотъ предисловіе «отъ сочинителя.»

«Я не могъ издать *Аглаи* ни весною, ни лѣтомъ, ни осенью. На что говорить о причинахъ? Довольно, что я не могъ. Важное для меня, не важно для Публики.

«Наконецъ—вотъ первая книжка!...

«Я желалъ бы писать не такъ, какъ у насъ по большей части пишутъ, но силы и способности не всегда соотвѣтствуютъ желанію.

«Любезные читатели, любезныя читательницы! ваше удовольствіе, ваше одобреніе есть драгоцѣнный мой вѣнокъ—

онъ снова расцвѣтетъ нѣкогда на могилѣ моей, орошенной слезою милаго сердца!»

Замѣтимъ выраженіе: «я желалъ бы писать не такъ какъ у насъ по большей части пишутъ. Но силы и способности не всегда соотвѣтствуютъ желанію.»

Нѣтъ—онъ писалъ уже не такъ, какъ писали другіе, — и силы, способности его, если не соотвѣтствовали его собственному идеалу, то по крайней мѣрѣ далеко уже опережали всѣхъ современниковъ. Переворотъ, имъ производимый, нечувствительно для него самаго, разпространялся, ученики—умножались, и во всей литературѣ оказывалось вліяніе его языка и слога.

Въ первой части Аглаи, Карамзинъ помѣстилъ: Цвѣтокъ на гробъ моего Агатона, Что нужно автору, Нѣчто о наукахъ, искусствахъ и просвѣщеніи, островъ Борнгольмъ, письма изъ Лондона, и нѣсколько стихотвореній: Волга, Весеннее чувство, Надгробная надпись Боннету.

Выпишемъ изъ всѣхъ этихъ статей мѣста, изображающія намъ вѣрно и живо самаго Карамзина.

Изъ статьи *Что нужно автору*:

с. 371. «Ты хочешь быть авторомъ: читай исторію несчастій рода человѣческаго — и если сердце твое не обольется кровію, оставь перо, — или оно изобразить намъ хладную мрачность души твоей.

«Но если всему горестному, всему угнетенному, всему слезящему отарыть путь въ чувствительную грудь твою; если душа твоя можетъ возвыситься до *страсти къ добру*, можетъ питать въ себѣ святое, никакими сферами неограниченное *желаніе всеобщаго блага*: тогда смѣло призывай богинь Парнасскихъ—онѣ пройдутъ мимо великолѣпныхъ чертоговъ, и посѣтятъ твою смиренную хижину—ты не будешь бесполезнымъ писателемъ, и никто изъ добрыхъ не взглянетъ сухими глазами на твою могилу.»

Изъ статьи *Ньчто о наукахъ*:

с. 373. «Быль человекъ — и человекъ великой, не забвенный въ лѣтописяхъ философіи, въ исторіи людей—быль человекъ, который со всѣмъ блескомъ краснорѣчія доказывалъ, что просвѣщеніе для насъ вредно, и что науки несомнѣсны съ добродѣтелию!

«Я чту великія твои дарованія, краснорѣчивый Руссо! Уважаю истины, открытыя тобою современникамъ и потомству—истины, отнынѣ незагладимыя на дскахъ нашего познанія—люблю тебя за доброе твое сердце, за любовь твою къ человѣчеству; но признаю мечты твои мечтами, парадоксы парадоксами.

«Я осмѣливаюсь предложить нѣкоторыя примѣчанія, нѣкоторыя мысли свои о семъ важномъ предметѣ. Онѣ не суть плодъ глубокаго размышленія, но первыя, такъ сказать, идеи, возбужденныя чтеніемъ Руссова творенія.»

Карамзинъ самымъ яснымъ, простымъ общедоступнымъ образомъ опровергаетъ Руссо, начиная (с. 375):

«Не смотря на разныя имена (наукъ,) онѣ суть не что иное, какъ *познаніе природы и человека, или система свѣдѣній и умствованій, относящихся къ симъ двумъ предметамъ.*

«Познаніе сихъ двухъ предметовъ ведетъ насъ къ чувствованію всевѣчнаго творческаго Разума.»

И заключаетъ (с. 399)» Такъ! просвѣщеніе есть палладіумъ благонравія—и когда вы, вы, которымъ вышняя власть поручила судьбу человекѡвъ, желаете распространить на землѣ область добродѣтели, то любите науки, и не думайте, чтобы онѣ могли быть вредны; чтобы какое нибудь состояніе въ гражданскомъ обществѣ должноствовало пресмыкаться въ грубомъ невѣжествѣ—нѣтъ! сіе златое солнце сіяетъ для всѣхъ на голубомъ сводѣ, и все живущее согрѣвается его лучами; сей текуцій кристалъ утоляетъ жажду и властелина и невольника; сей столѣтній дубъ обширною

своею тѣнью прохлаждаетъ и пастуха и героя. Всѣ люди имѣютъ душу, имѣютъ сердце: слѣдственно всѣ могутъ наслаждаться плодами искусства и науки—и кто наслаждается ими, тотъ дѣлается лучшимъ человѣкомъ и спокойнѣйшимъ гражданиномъ—спокойнѣйшимъ, говорю: ибо находя вездѣ и во всемъ тысячу удовольствій и пріятностей, не имѣетъ онъ причины роптать на судьбу и жаловаться на свою участь.—Цвѣты Грацій украшаютъ всякое состояніе—просвѣщенный земледѣлецъ, сидя послѣ трудовъ и работы на мягкой зелени, съ нѣжною своею подругою, не позавидуетъ счастію роскошнѣйшаго сатрапа.

с. 402. «Законодатель и другъ человѣчества! ты хочешь общественнаго блага: да будетъ же первымъ закономъ твоимъ—*просвѣщеніе!* Гласомъ онаго благодѣтельнаго грома, который не умерщвляетъ живущаго, а наполяетъ землю и воздухъ питательными и плодотворными силами, вѣщай человѣгамъ: *Созерцайте природу, и наслаждайтесь ея красотами; познавайте свое сердце, свою душу; дѣйствуйте всѣми силами, Творческою рукою вамъ данными, и вы будете любезнѣйшими чадами Неба!*

«Когда свѣтъ ученія, свѣтъ истины, озаритъ всю землю, проникнетъ въ самыя темнѣйшія пещеры невѣжества: тогда, можетъ быть, исчезнутъ всѣ нравственныя гарпіи, доселѣ осквернявшія человѣчество,—исчезнутъ подобно какъ привидѣнія ночи на разсвѣтѣ дня исчезаютъ; тогда можетъ быть, настанетъ золотой вѣкъ поэтовъ, вѣкъ благодравія—и тамъ, гдѣ возвышаются теперь кровавые эшафоты, тамъ сядетъ добродѣтель на свѣтломъ тронѣ.

«Между тѣмъ вы составляете мое утѣшеніе, вы нѣжныя чада ума, чувства и воображенія! Съ вами я богатъ безъ богатства, съ вами я не одинъ въ уединеніи, съ вами не знаю ни скуки, ни тяжелой праздности. Хотя живу на краю сѣвера, въ отечествѣ грозныхъ авилоновъ, но съ вами, любезныя музы, съ вами вездѣ долина Темпейскя—

воснетесь рукою, и печальная сосна въ лавръ Аполлоновъ превращается; дохнете божественными устами, и на желтыхъ хладныхъ пескахъ цвѣты Олимпійскіе разцвѣтають. Осыпанный вашими благами, дерзаю презирать блескъ тщеславія и суетности. Вы и природа, природа и любовь добрыхъ душъ—вотъ мое счастье, моя отрада въ горестяхъ!.. Ахъ я иногда проливаю слезы, и не стыжусь ихъ!

«Меня не будетъ—но память моя не совѣмъ охладѣтъ въ мірѣ; любезный, нѣжно-образованный юноша, читая нѣкоторыя мысли, нѣкоторыя чувства мои, скажетъ: *онъ имѣлъ душу, имѣлъ сердце!*»

И лучшіе представители многихъ поколѣній послѣ Карамзина, съ глубокою признательностію, произносили эти слова. Нельзя не пожелать, чтобъ онѣ никогда не прерывались на святой Руси.

Въ *островъ Борнгольмъ* Карамзинъ, представивъ картину въ туманѣ, подъ дымкою, имѣлъ искусство возбудить участіе къ лицамъ безыменнымъ, навѣять задумчивость на всякаго образованнаго Русскаго путешественника, плывшаго мимо острова Борнгольма...

1794 г. мы начнемъ выписками изъ писемъ къ Дмитріеву:

18 *Апрѣлл.* «Я живу въ деревнѣ не скучно и не весело, имѣю удовольствія и неудовольствія, смѣюсь и плачу, ѣзжу верхомъ и хожу пѣшкомъ, пишу и за перо не принимаюсь, читаю и не беру книги въ руки, сплю и бодрствую, пью медъ и ключевую воду—но никакой писатель не опишетъ всего, что я дѣлаю и чего не дѣлаю.—Пять строкъ твоихъ заставили меня вздохнуть. Ты конечно повѣришь искренности сего вздоха, мой любезный другъ! Я написалъ къ тебѣ эпистола въ 186 стиховъ, но ты не увидишь ее до нашего свиданія. *Пишу отъ скуки и отъ трусти: вотъ лучшая польза нашего ремесла, которое ремесломъ не называется!* Пиши и присылай ко мнѣ,

какъ въ старину бывало. Богъ съ тобою! Желаю тебѣ здоровья, спокойствія, радости, благополучія. Когда возвращусь въ Москву—незнаю.»

Юня 7, 1794 г. «Одному Богу извѣстно, когда и гдѣ буду. Знаю только, что *мнѣ грустно*. Ты отчасти знаешь причину. Все худо! Видно намъ не бывать счастливымъ!—Иногда забываюсь и отдыхаю; берусь за книгу, за перо, или иду гулять—вотъ лучшія мои минуты! Жаль, что ихъ немного! Побольшей части думаю о настоящихъ и будущихъ непріятностяхъ. Состояніе друзей моихъ очень горестно. Алексѣй Александровичъ (Плещеевъ) страдаетъ въ Москвѣ, а мы здѣсь страдаемъ. Благополученъ тотъ, кто живетъ, хотя въ хижинѣ, но живетъ спокойно, и никому не долженъ!

Я беру участіе въ твоемъ горѣ, а ты въ моемъ; лучше, если бы мы дѣлили другъ съ другомъ радости и удовольствія.

Непремѣнно пришли мнѣ свои пьесы... Я издамъ и напишу маленькое предисловіе, если ты не захочешь никому дедиковать своей книжки (стихами или прозою). Въ послѣднемъ случаѣ ты уже самъ будешь издателемъ, а я—твоимъ повѣреннымъ или комисіонеромъ. Будь увѣренъ, что мы напечатаемъ не худо.

Безъ числа. Сію минуту, милый мой И. И., получилъ письмо твое. Все будетъ исполнено по волѣ твоей въ разсужденіи И моихъ бездѣлокъ. Завтра я скачу изъ Москвы въ деревню къ Настасѣ Ивановѣ, которая очень больна и не встаетъ съ постели, *что* вмѣстѣ съ другими обстоятельствами раздражаетъ мое сердце. Ты конечно возьмешь участіе въ моей горести.—Отсутствіе мое не остановитъ печатанія твоихъ сочиненій. Василій Сергѣевичъ (Подшиваловъ) взялъ на себя корректуру и проч. Онъ будетъ отсылать къ тебѣ и отпечатанные листы.—Дай Богъ, чтобы я къ Августу мѣсяцу могъ возвратиться въ Москву съ спокойнымъ сердцемъ.

2 *Августа, 1794* г. Благодарю за дружеское письмо твое и за стихи, которые по возвращеніи моемъ въ Москву немедленно будутъ напечатаны. Постарайся къ тому времени еще что нибудь написать. Книжка будетъ по болѣе: удовольствіе читателей также.

Между тѣмъ знай, что другъ твой на сихъ дняхъ едва было не отправился въ Оркусово царство. Въ двухъ верстахъ отъ деревни Алексѣя Александровича, гдѣ я живу, ванаги на меня разбойники, и убили бы до смерти, еслибы мужики, ѣхавшіе съ поля, не заставили ихъ разбѣжаться. Я отдѣлался двумя легкими ранами. Когда увидимся, расскажу тебѣ подробности этаго происшествія. За нѣсколько дней предъ симъ разнесся въ Москвѣ слухъ, что меня нѣтъ уже на свѣтѣ. Этотъ слухъ могъ быть пророчествомъ. Радуюсь, что Гаврило Романовичъ помнитъ меня. Если буду живъ, покоенъ, и выдамъ вторую книжку, то напишу къ нему письмо.

6 *Сентября, 1794* г. Сердечно благодарю тебя за стихи къ *Волгѣ* и за *Ермака*; и ту и другую піесу читалъ я съ великимъ удовольствіемъ, не одинъ разъ, а нѣсколько. Bravo! Вотъ поэзія! Пиши такъ всегда, мой другъ. Только нельзя ли переимѣнить въ *Ермакѣ* *барабаны*, *потъ*, *сломиль* и *вскричалъ*? Въ хорошемъ стихотвореніи я замѣчаю все, и не пропускаю ничего безъ критики. Еще кажется мнѣ, что нельзя сказать *потупленная*, голова, вмѣсто *преклоненная*, и *въ одеждѣ равны*.—

Въ началѣ третьей строфы къ *Волгѣ* не лучше ли сказать:

То нѣжнымъ вѣтеркомъ лобзаешь.
То ревомъ бури и валовъ.
Подъ черной тучей, оглушаешь,
И отзывомъ твоихъ береговъ и проч.

Зефиромъ вмѣсто *зефиромъ*, я терпѣть не могу, и отзывъ для меня лучше, нежели *отгласъ*.—

«Ода» и «Гласъ патриота» хороши поэзією, а не предметомъ. Оставь, мой другъ, писать такія піесы нашимъ стихокропателямъ. Не унижай Музъ и Аполлона. «Подражаніе Горацию,» «Состраданіе» и «Бъ свирѣлкѣ» достойнѣ твоей лиры по своему содержанію.

Желаешь ли знать новость? Копьевъ (Михаилъ Даниловичъ) въ превеликой модѣ при дворѣ, и сама государыня даетъ ему сюжетъ для комедій.

Нетерпѣливо желаю узнать горесть твою, чтобы взять въ ней сердечное участіе. Теперь не спрашиваю.—Странное дѣло! Сперва говорилъ о стихахъ, а послѣ о душевной горести! Но ты—поэтъ....

8 Ноября, 1794 г. Знаешь ли, любезный, что твой «Гласъ патриота» напечатанъ въ Петербургѣ, и ходитъ тамъ и здѣсь подъ именемъ Державина. Я за должность почель открыть истину нашимъ стихолюбителямъ и прибавить новый вѣнокъ къ вѣнкамъ твоимъ. Я еще не печатаю твоихъ сочиненій, потому что совѣмъ не имѣю времени читать корректуры; а поручить корректуру не хочу, зная, какъ эти господа все портятъ. Къ Январю или въ Февралѣ выдамъ и напечатаю для тебя нѣсколько экземпляровъ на голландской бумагѣ. Доволенъ ли будешь такимъ титуломъ: «Стихи Аполлодоровы, изданные пріятелемъ его.»—Долго ли пробудешь въ Сызранѣ? Могу ли увидаться съ тобою въ Симбирскѣ?—Я веду теперь самую разбѣянную жизнь, имѣю множество новыхъ знакомыхъ, et je ne suis presque jamais á moi; а когда дома, то пишу письма или работаю для Ридигера (типографшица) *

Иногда забываюсь; иногда лучъ удовольствія блеситъ въ моемъ сердцѣ; иногда же тоскую. А тебя люблю, безпрестанно люблю, мой милый другъ, и всегда надѣюсь быть

* Должно ли разумѣть подъ этою работою Смѣсь, которую начали печатать въ слѣдующемъ 1795 году, въ Московскихъ вѣдомостяхъ, или въ 1794 Карамзинъ работалъ еще что нибудь?

достойнымъ дружбы твоей. Смерть Катерины Яковлевны меня очень тронула, я началъ писать стихи къ Гаврилу Романовичу, но не кончилъ.

Вторая книга Аглаи, Октября 8, 1794 года, вышла съ слѣдующимъ посвященіемъ, въ коемъ очень ясно видно грустное расположеніе Карамзина:

«Другу моего сердца, единственному, безцѣнному. *

«Тебѣ, любезная, посвящаю мою Аглаю, тебѣ, единственному другу моего сердца!

«Твоя нѣжная, великодушная, святая дружба составляетъ всю цѣну и счастье моей жизни. Ты мой благодѣтельный Геній, Геній-хранитель!

«Мы живемъ въ печальномъ мірѣ; но кто имѣетъ друга, тотъ пади на колѣна, и благодари Вездѣсущаго!

«Мы живемъ въ печальномъ мірѣ, *идь часто страдаетъ невинность, идь часто гибнетъ добродѣтель*; но человекъ имѣетъ утѣшеніе—любить!

«Сладкое утѣшеніе!... любить друга, любить добродѣтель!... любить и чувствовать, что мы любимъ!

«Исчезли призраки моей юности; угасли пламенные желанія въ моемъ сердцѣ; спокойно мое воображеніе.

«Ничто не прельщаетъ въ свѣтѣ. Чего искать? въ чему стремиться.... *къ новымъ юрестямъ?* Онѣ сами найдутъ меня—и я безъ ропота буду лить новыя слезы.

«Тамъ лежитъ страннической посохъ мой, и глѣбеть во прахѣ!

«Любезная! си двѣ слезы, которыя выкатились теперь изъ глазъ моихъ, тебѣ же посвящаю!»

Карамзинъ написалъ для 2-й части слѣдующія статьи: Сьерра-Морена, Афинская жизнь, Переписка Филалета и Мелодора, Дремучій лѣсъ, Илья Муромецъ, — и продолженіе писемъ Русскаго путешественника.

* Настасьѣ Ивановнѣ Плещеевой, см. ниже въ посвященіи Мелины.

Обратимъ вниманіе на *Афинскую жизнь*, гдѣ Карамзинъ яркими красками живописалъ свѣтлую ея сторону:

«Греки, Греки! Кто васъ не любитъ? Кто съ холоднымъ сердцемъ можетъ вообразить себѣ прекрасную картину древнихъ Аѳинъ? Кто не скажетъ иногда со вздохомъ: для чего я не современникъ Платоновъ?»

«Нашъ вѣкъ имѣетъ свои преимущества знаю—и великіе преимущества. Однакожъ — сказать-ли вамъ, государи мои, что мнѣ кажется?—Мы *ученые* Трековъ, а Греки были умнѣ насъ, такъ какъ дѣти, бѣгающіе по весеннему лугу за пестрою бабочкою, умнѣ взрослыхъ людей, плывущихъ въ Америку или въ Индію за пріятными кореньями.

«Тамъ, въ отечествѣ Сократовъ, болѣе нежели гдѣ-нибудь, болѣе нежели когда-нибудь занимались люди важнымъ искусствомъ счастья. Наслажденіе было цѣлю ихъ философіи, экономіи, народныхъ собраній, празднествъ, зрѣлищъ, трудовъ и работъ. Вездѣ и во всемъ искали они наслажденія; искали съ жаромъ страсти, съ живѣйшимъ чувствомъ потребности, какъ любовникъ ищетъ свою любовницу—и жизнь ихъ была, такъ сказать, самою цвѣтущею Поэзіею. (III, с. 411).

«...О друзья! все проходитъ, все исчезаетъ! Гдѣ Аѳины? Гдѣ жилище Гиппиево? Гдѣ храмъ наслажденія? Гдѣ моя Греческая мантия?—Мечта! мечта! Я сижу одинъ въ сельскомъ кабинетѣ своемъ, въ худомъ шлафоркѣ, и не вижу передъ собою ничего, кромѣ догорающей свѣчки, измараннаго листа бумаги и Гамбургскихъ газетъ, которыя завтра по утру, (а не прежде: ибо я хочу спать нынѣшнюю ночь покойнымъ сномъ), извѣстятъ меня о безумствѣ нашихъ просвѣщенныхъ современниковъ.» (434).

Переписка Мелодора и Филалета носитъ слѣды современныхъ впечатлѣній.

«...Помнишь, другъ мой, какъ мы нѣкогда разсуждали о нравственномъ мірѣ, ловили въ исторіи всѣ благородныя

черты души человѣческой, питали въ груди своей эфирное пламя любви, котораго вѣяніе возносило насъ къ небесамъ, и проливая сладкія слезы восклицали: *человѣкъ великъ духомъ своимъ!* Божество обитаетъ въ его сердцѣ!. Помнишь, какъ мы, сличая разныя времена, древнія съ новыми, искали и находили доказательство любезной намъ мысли, что *родъ человѣческій возвышается, и хотя медленно, холя неровными шагами, но всегда приближается къ духовному совершенству.* Ахъ! съ какой вѣжностью обнимали мы въ душѣ всѣхъ земнородныхъ, какъ милыхъ дѣтей небеснаго Отца!—Радость сіяла на лицахъ нашихъ—и свѣтлый ручеекъ, и зеленая травка, и алыи цвѣточекъ, и поющая птичка, все, все насъ веселило! Природа казалась намъ обширнымъ садомъ, въ которомъ зрѣтъ божественность человѣчества.

Кто болѣе нашего славилъ преимущества осьмаго-надеять вѣка: свѣтъ философіи, смягченіе нравовъ, тонкость разума и чувства, размноженіе жизненныхъ удовольствій, всемѣстное распространеніе духа общности, тѣснѣйшую и дружелюбнѣйшую связь народовъ, кротость правлений и проч. и проч.—Хотя и являлись еще *нѣкоторыя черныя облака на горизонтѣ человѣчества, но свѣтлый лучъ надежды златилъ уже края оныхъ передъ нашимъ взоромъ*—надежды: все исчезнетъ, и царство общей мудрости пастанетъ, рано или поздно, пастанетъ—и *блаженъ тотъ изъ смертныхъ, кто въ краткое время жизни своей успѣлъ разсѣять хотя одно мрачное заблужденіе ума человѣческаго, успѣлъ хотя однимъ шагомъ приблизить людей къ источнику всѣхъ истинъ, успѣлъ хотя единое плодотворное зерно добродѣтели вложить рукою любви въ сердце чувствительныхъ, и такимъ образомъ ускорилъ ходъ всемірнаго совершенія!»*

«Конецъ нашего вѣка почитали мы концемъ главнѣйшихъ бѣдствій человѣчества, и думали, что въ немъ по-

слѣдуетъ важное, общее соединеніе теоріи съ практикою, умозрѣнія съ дѣятельностью; что люди, увѣрившись нравственнымъ образомъ въ изящности законовъ чистаго разума, начнутъ исполнять ихъ во всей точности, и подѣ сѣнію мира, въ кровѣ тишины и спокойствія, насладятся истинными благами души.»

«О Филалетъ! гдѣ теперь сія утѣшительная система?... Она разрушилась въ своемъ основаніи! Осмой «надесять вѣкъ кончается: что же видишь ты на сценѣ міра?...

«Кто могъ думать, ожидать, предчувствовать!... мы надѣялись скоро видѣть человѣчество на горней степени величія, въ вѣнцѣ славы, въ лучезарномъ сіяніи, подобно Ангелу Божію; когда онъ, по священнымъ сказаніямъ, является очамъ добрыхъ, — съ небесною улыбкою, съ мирнымъ благовѣстіемъ! — Но вмѣсто сего восхитительнаго явленія видимъ....Фурій съ грозными пламенниками!

«Гдѣ люди, которыхъ мы любили? Гдѣ плодъ наукъ и мудрости? Гдѣ возвышеніе кроткихъ, нравственныхъ существъ, сотворенныхъ для счастья?—Вѣкъ просвѣщенія! я не узнаю тебя—въ крови и пламени не узнаю тебя— среди убійствъ и разрушенія не узнаю тебя!... Небесная красота прельщала взоръ мой, воспаляла мое сердце нѣжнейшею любовію; въ сладкомъ упоеніи стремился къ ней духъ мой! Но небесная красота исчезла—змѣи шипятъ на ея мѣстѣ!—Какое превращеніе!» (с. 439).

Мелодоръ опасается гибели наукъ и возвращенія варварскихъ вѣковъ; видя безпрестанное повтореніе однихъ и тѣхъ же явленій, сомнѣвается въ совершенствованіи.

Филалетъ утѣшаетъ печальнаго:

...«Новыя ужасныя происшествія Европы разрушили всю прежнюю утѣшительную систему твою, разрушили и повергнули тебя въ море неизвѣстности и недоумѣній: мучительное состояніе для умовъ дѣятельныхъ!»...

Онъ обращается къ Провидѣнію.

...«Неужели, видя Бога въ естественномъ мірѣ, видя руку Его въ теченіи планетъ, въ порядкахъ солнечныхъ, въ перемѣнѣ годовыхъ временъ, и во всѣхъ физическихъ явленіяхъ нашей земной обители, будемъ мы отрицать Его содѣйствіе въ одномъ нравственномъ мірѣ, который по существу своему долженъ быть, если смѣю сказать, ближе перваго къ сердцу великаго Божества? Соглашаюсь, что порядокъ нравственный не столь ясенъ для насъ, какъ порядокъ физическій; но сіе затрудненіе не происходитъ ли отъ слабости нашего разума?... Можетъ быть то, что кажется смертному великимъ неустройствомъ, есть чудесное согласіе для Ангеловъ; можетъ быть то, что кажется намъ разрушеніемъ, есть для ихъ небесныхъ очей новое, совершеннѣйшее бытіе. Сіи мысли ведутъ меня ко святилицу Божественной Премудрости, густымъ мракомъ окруженному; духъ мой, бренною плотію одѣянный, не можетъ проникнуть въ оное; упадаю во прахъ своего ничтожества, и въ младенческомъ сердцѣ обожаю Всетворящаго.» (449).

...«Не будемъ требовать отъ Вѣчной Премудрости отчета въ темныхъ путяхъ ея; не будемъ требовать того для собственнаго нашего спокойствія!»

...«Сія драгоцѣнная вѣра можетъ чудеснымъ образомъ успокоить доброе сердце, возмущенное страшными феноменами на театрѣ міра. Вкуси сладость ея, мой любезный другъ, и лучъ утѣшенія кротко озаритъ мракъ души твоей! — *Горе той философіи, которая все рѣшить хочетъ!* Теряясь въ лабиринтъ неизъяснимыхъ затрудненій, она можетъ довести насъ до отчаянія, и тѣмъ скорѣе, чѣмъ естественно-добрѣе сердце наше.» (451)

«Соглашаюсь съ тобою, что мы нѣкогда излишно величали осьмой-надесять вѣкъ, и слишкомъ много ожидали отъ него. Произшествія доказали, какимъ ужаснымъ заблужденіямъ подверженъ еще разумъ нашихъ современниковъ!

Но я надѣюсь, что впереди ожидаютъ насъ лучшія времена; что природа человѣческая болѣе усовершенствуется»... (452)

Что касается до судьбы наукъ, Филалетъ увѣренъ въ ихъ безопасности: «Развѣ не истина, развѣ ложь есть существо наукъ?—Нѣтъ, мой другъ, нѣтъ! я имѣю довѣренность къ мудрости властителей, и спокоенъ; имѣю довѣренность ко благоути Всевышняго и спокоенъ. Нѣтъ! свѣтильникъ наукъ не угаснетъ на земномъ шарѣ. Ахъ! развѣ не онѣ служатъ намъ отрадою въ горестяхъ, развѣ не въ ихъ мирномъ святилищѣ укрываемся отъ всѣхъ бурь житейскихъ? Нѣтъ, Всемогущій не лишитъ насъ сего драгоценнаго утѣшенія добрыхъ, чувствительныхъ, печальныхъ. Просвѣщеніе всегда благотворно; *просвѣщеніе ведетъ къ добродѣтели*, доказывая намъ тѣсный союзъ частнаго блага съ общимъ, и открывая неизсякаемый источникъ блаженства въ собственной груди нашей; просвѣщеніе есть лекарство для испорченнаго сердца и разума; одно просвѣщеніе живодѣтельною теплою своею можетъ изсушить сію тину нравственности, которая ядовитыми парами своими мертвитъ все изящное, все доброе въ мірѣ; въ одномъ просвѣщеніи найдемъ мы спасительный антидотъ для всѣхъ бѣдствій человѣчества! —...

«Мой другъ! мы должны смотрѣть на міръ, какъ на великое позорище, гдѣ добро со зломъ, гдѣ истина съ заблужденіемъ ведетъ кровавую брань. Терпѣніе и надежда! Все не праведное, все ложное гибнетъ, рано или поздно гибнетъ; одна истина не страшится времени; одна истина пребываетъ во вѣки.»...

«Мелодоръ! намъ не вѣкъ жить въ семъ мірѣ. Ударитъ часъ, и все перемѣнится! Съ сею любовію къ добродѣтели, которая была, есть и будетъ, вѣчнымъ характеромъ души твоей, падемъ въ могилу и закроемся тихою землею!...

Тамъ, тамъ за синимъ океаномъ,
Вдали-въ мерцаніи багряномъ,

тамъ вѣнецъ безмертія и радости ожидаетъ земныхъ тружениковъ! «(457).

Эти мысли, выражаемыя часто, прежде и послѣ, составляли программу Карамзина, по которой онъ жилъ, поступалъ, съ которою и умеръ.

Новиковъ, по возвращеніи изъ заключенія въ крѣпости, писалъ къ Карамзину слѣдующее объ этихъ статьяxъ, прочтенныхъ имъ же въ полномъ собраніи сочиненій.

.....О пріятномъ, хорошемъ и прекрасномъ, говорить теперь ничего не буду, но что касается до философіи, отомъ хочу нѣсколько словъ сказать. Извините меня, мой любезный, что я съ нею не совѣмъ согласенъ; я нахожу въ ней болѣе пылкости воображенія и увлеченія въ царство возможностей, нежели основательности. Но я думаю, что нынѣ и вы сами не будете на все согласны....

...Молодой Филалетъ со стоическою холодностію философствуетъ, а философія холодная мнѣ не нравится; истинная философія, кажется мнѣ, должна быть огненной, ибо она небеснаго происхожденія. Однако, любезнѣйшій мой, не забывайте, что съ вами говоритъ идиотъ (невѣжда), не знающій никакихъ языковъ, не читавшій никакихъ школьныхъ философовъ, и они никогда не лезли въ мою голову: это странность, однако истинно было такъ, но о семъ въ другое время... *

По полученіи отвѣта на это письмо, Новиковъ пишетъ къ Карамзину:.....» Вы меня обрадовали, что не стоите за философію и проч. Я думаю, что тотъ только можетъ назваться прямо ищущимъ, который, хотя и ошибаясь, однако искалъ истину, и наконецъ воистину найдетъ истину, ибо Христосъ Спаситель нашъ сказалъ: ищите и обряцете, толкайтесь и отворится вамъ, просите и дастся вамъ. **

* Письма С. И. Г. Москва, 1836, с. 268

** ib. съ 277.

Наконецъ въ второй книгѣ Аглаи Карамзинъ выдалъ Илью Муромца, богатырскую сказку, рассказанную языкомъ въ высшей степени изящнымъ, благозвучнымъ; это нитчанизанная жемчугомъ. Размѣръ ея, если не новый, то необыкновенный, очаровалъ читающую публику, которая во всякомъ сочиненіи Карамзина находила что-то новое, занимательное, увлекательное, и предалась ему безусловно. Карамзинъ сдѣлался ея любимцемъ. Илья Муромецъ имѣлъ большой успѣхъ, и молодые люди читали его вскорѣ повсюду наизусть:

Не хочу съ поэтомъ Греціи
Звучнымъ гласомъ Балліопинымъ
Пѣть вражды Агамемноновой
Съ храбрымъ правнукомъ Юпитера;
Или, слѣдуя Виргилію,
Плыть отъ Трои разоренныя
Съ хитрымъ сыномъ Афродитинымъ
Къ злачнымъ берегамъ Италіи.
Не желаю въ мифологіи
Черпать дивныхъ, странныхъ вымысловъ.
Мы не Греки и не Римляне,
Мы не вѣримъ ихъ преданіямъ:

.....

Намъ другія сказки надобны:
Мы другія сказки слышали
Отъ своихъ покойныхъ мамушекъ.
Я намѣренъ слогомъ древности
Разсказать теперь одну изъ нихъ
Вамъ, любезные читатели,
Если вы въ часы свободныя
Удовольствіе находите
Въ Русскихъ басняхъ, въ Русскихъ повѣстяхъ.
Въ смѣси былей съ небылицами,
Въ сихъ игрушкахъ мирной праздности.
Въ сихъ мечтахъ воображенія.
Ахъ! не все намъ горькой истиной
Мучить томныя сердца свои!

Ахъ! не все намъ рѣки слезныя
 Лить о бѣдствіяхъ существенныхъ!
 На минуту позабудемся
 Въ чародѣйствѣ красныхъ вымысловъ!

Въ примѣчаніи къ Ильѣ Муромцу сказано:» Вотъ начало
 съдѣлки, которая занимала нынѣшнимъ лѣтомъ (1794)
 единенные часы мои. Продолженіе остается до другаго
 времени; конца еще нѣтъ, можетъ быть и не будетъ. Въ раз-
 сужденіи мѣры скажу, что она совершенно Русская—почти
 всѣ наши старинныя пѣсни сочинены такими стихами.»

Съ какимъ нетерпѣніемъ Русскіе читатели ожидали обѣ-
 щаннаго продолженія, но, увы, оно небыло выдано!

О дальнѣйшемъ распространеніи славы Карамзина вслѣд-
 ствіе сихъ изданій, помѣстимъ свидѣтельство современ-
 ника, Ѳ. Н. Глинки (см. выше с. 216):

«Я поступилъ за тѣмъ въ первый кадетскій корпусъ, и
 тамъ я, на первомъ шагу, встрѣтился съ славою и уже
 съ вторичными опытами Николая Михайловича. Кадеты, и
 въ рекреационные часы, и въ классахъ, заслоняясь лав-
 кою, читали и вытверживали наизусть музыкальную прозу
 и стихи, такъ легко укладывавшіяся въ памяти. Смѣло
 могу сказать, что изъ 1200 кадетъ рѣдкій не повторялъ
 наизусть какойнибудь страницы изъ «Острова Борнгольма.
 И это уваженіе, эта любовь къ Карамзину доходила
 до того, что во многихъ кадетскихъ кружкахъ, лю-
 бимымъ разговоромъ и лучшимъ желаніемъ было: какъ
 бы пойти пѣшкомъ въ Москву поклониться Карамзину!»

«Изъ Петербурга, съ другими товарищами уѣхалъ я въ
 полкъ въ теплую, цвѣтущую Волюнь. И тамъ встрѣтилъ
 я въ кругу романтическихъ Полекъ: «Бѣдную Лизу» кѣмъ
 то переведенную на Польскій языкъ; и тамъ молодые
 офицеры, съ гитарою въ рукахъ, и часто съ томнымъ
 вздохомъ, напѣвали:» Кто могъ любить такъ страстно,
 какъ я любилъ тебя!»

Въ 1795 году Карамзинъ принималъ участіе въ изданіи Московскихъ Вѣдомостей составленіемъ Смѣси. Содержатель университетской типографіи, Христіанъ Ридигеръ, университетскій книгопродавецъ и комиссіонеръ, и прапорщикъ Христофоръ Клаудій, въ послѣднихъ мѣсяцахъ 1794 года объявляя о Вѣдомостяхъ на слѣдующій годъ, общаются читателямъ отдѣленіе Смѣси такими словами:

«Почтенный и любезный издатель Московскаго журнала Аглаи и проч. принялъ на себя трудъ обработыванія сей по содержанію своему, новой въ Вѣдомостяхъ, статьи.» «Подобимъ именемъ,» говорятъ издатели, разумѣется словами Карамзина,» и будемъ мы въ теченіи 1795 года сообщать нашимъ читателямъ разные анекдоты, примѣчанія достойныя мысли древнихъ и новыхъ философовъ, цвѣты разума и чувства, статьи изъ натуральной исторіи, и краткія описанія малоизвѣстныхъ мѣстъ и народовъ, иногда стихи, иногда извѣстія о новыхъ Англійскихъ и Нѣмецкихъ книгахъ для любителей иностранныхъ литтературъ, характерныя черты изъ Лондонскихъ вѣдомостей, и вообще разныя мелкія піесы и отрывки, которые по чему нибудь достойны вниманія. Надѣемся, что разнообразіе сей статьи заслужитъ одобреніе почтенной публики, которое всегда будетъ для насъ самою лестною наградою.»

Объщаніе было исполнено, и Русскіе читатели находили въ Московскихъ Вѣдомостяхъ такую Смѣсь, (такъ называемый нынѣ фельетонъ), которую и теперь, чрезъ 70 лѣтъ, перечитывать и пріятно и полезно.

Оставивъ журналъ, заключивъ Аглаю второю книгою, и принявъ на себя только легкую работу въ Вѣдомостяхъ, Карамзинъ отъ нечего дѣлать пустился въ свѣтъ. *Въроятно политическія происшествія*, а еще болѣе подозрѣнія правительства, которымъ онъ подвергся, охладили его авторскій жаръ; онъ увидѣлъ, кажется, опасность въ слишкомъ ревностныхъ занятіяхъ этого рода, если даже и не

получилъ никакого предостереженія или благаго совѣта. Какая другая причина могла на него подѣйствовать, принудить его къ молчанію?

Въ Москвѣ и Петербургѣ ходили даже слухи объ его ссылкѣ, во время лѣтней его отлучки въ деревню, и нѣтъ сомнѣнія, что они имѣли основаніемъ какія нибудь дѣйствительныя причины.

Въ письмѣ отъ 4 *Іюня*, 1795 года, Карамзинъ говоритъ Дмитріеву: «больше и больше теряю охоту быть въ свѣтѣ и *лодить подъ черными облаками*, которыхъ тѣнь помрачаетъ въ глазахъ моихъ всѣ цвѣты жизни. *

Что значать эти слова? Онѣ не могутъ имѣть другаго значенія, кромѣ того, которое соотвѣтствуетъ выше приведеннымъ слухамъ. Одно равнодушіе, одна холодность И. Екатерины, столько внимательной вообще ко всѣмъ примѣчательнымъ явленіямъ въ Русской словесности и вообще въ Русской жизни, какъ замѣчено выше, могли смущать Карамзина...

Какъ бы то ни было, не находя возможности дѣйствовать на избранномъ имъ поприщѣ, по желанію, съ полною свободою, Карамзинъ оставилъ его, но умѣя находиться во всякихъ данныхъ обстоятельствахъ, умѣя довольствоваться и пользоваться тѣмъ, что предлагала ему минута, безъ напрасныхъ жалобъ, *онъ спокойно* перешелъ на другое поприще, болѣе безопасное, въ ожиданіи лучшаго времени, — однимъ словомъ пустился въ свѣтъ, какъ мы сказали выше, завелъ себѣ четверню лошадей, и началъ разѣзжать по городу. Его любезность, образованность, его слава, обезпечивали ему успѣхъ въ большомъ свѣтѣ. Онъ былъ принятъ вездѣ *съ распростертыми объятіями*. Женщины, которыхъ онъ во всѣхъ своихъ сочиненіяхъ являлся поклонникомъ,

* Прочія мѣста, сюда относящіяся, см. ниже (с. 215, 252, 254, 255) въ отрывкахъ, приведенныхъ изъ писемъ.

почитателемъ и защитникомъ, *не оставались у него въ долгу* и утѣшали, развлекали его. Красавецъ собою, любезникъ стихотворецъ, онъ считалъ побѣды за побѣдамъ, и расплачивался посланіями къ Филлидѣ, къ прекрасной, къ Аглаѣ къ вѣрной, къ невѣрной, къ Хлоѣ, Деліи, воспѣвалъ своихъ прелестницъ сперва бѣлыми стихами, а потомъ овладѣлъ и римами, замѣтивъ, что бѣлые стихи проходились не по вкусу нашимъ красавицамъ 18 вѣка. (Не знаю, какъ они нравятся нынѣшнимъ). Такъ рассказывалъ мнѣ Иванъ Ивановичъ Дмитріевъ.

Въ 1795 году Карамзинъ издалъ собраніе своихъ статей изъ Московскаго журнала подъ заглавіемъ: *Мои бездѣлки* въ 2 частяхъ, и вслѣдъ за ними собралъ стихотвореніе своего друга, подъ заглавіемъ: *И мои бездѣлки*.

Кромѣ свѣтскихъ удовольствій, баловъ, вечеровъ и спектаклей, Карамзинъ отдавалъ нѣсколько времени и картамъ въ которыхъ, вопреки пословицъ, онъ былъ также счастливъ, какъ и въ женщинахъ, и часто выигрышами дополнял свой кошелекъ, въ чемъ съ огорченіемъ самъ разсказывалъ. Послѣ онъ закаялся играть, что исполнило до конца своей жизни.

Разумѣется, пустая свѣтская жизнь его не удовлетворяла. Онъ писалъ къ Дмитріеву *отъ 5 апрѣля*.

«Многимъ кажется мое состояніе пріятнымъ и завиднымъ но я знаю, каково мнѣ...

«Ты говоришь о свѣтѣ, о моей къ нему привязанности; я смѣюсь внутренно. Еслибъ ты заглянулъ ко мнѣ въ душу Правда, бывали минуты, бывали часы, въ которые другъ твой смѣшивался съ толпою, но съ моимъ ли сердцемъ можно любить свѣтъ. (*Мартъ 11, 1797 г.*)

Нѣтъ человека, которому бы такъ называемый свѣтъ былъ скучнѣе, нежели мнѣ. (*Іюнь 27, 1798*).

Тебѣ сказали съ удивленіемъ, что я танцую! И ты повѣрилъ! Вздоръ, мой другъ! Я умѣю по крайней мѣрѣ со-

блудать декорумъ автора: мнѣ ли прыгать серною съ кирасирскими офицерами. Я на балѣ тоже, что шуба лѣтомъ, или парасоль зимою: вещь самая бесполезная, и не трогавсь съ мѣста, какъ гора Альпійская.

Карамзинъ скучаль, и по старой привычкѣ прибѣгалъ, какъ будто украдкою, къ музамъ, и вотъ, въ концѣ 1795 года, пришла ему въ голову мысль издать стихотворный альманахъ. Онъ писалъ къ Дмитріеву изъ деревни отъ 17 Октября: «Живой живое и думаетъ, говоритъ по-словаца. Дней пять занимаюсь я новымъ планомъ: выдать къ новому году Русской «Almanach des Muses,» въ маленькой форматъ, на Голландской бумагѣ и проч. Надѣюсь на твою музу: она можетъ произвести къ тому времени довольно хорошаго. Михайло Матвѣевичъ, (Херасковъ), Нелединской и проч. что нибудь напишутъ; а ты могъ бы въ Петербургѣ сказать о томъ Гавріилу Романовичу, Львову, Бозодавлеву и прочимъ. Они бы также дали намъ нѣсколько піесъ. Начнемъ—а другіе со временемъ возьмутъ на себя продолженіе. Откроемъ сцену для Рускихъ стихотворцевъ, гдѣ бы могли они безъ стыда показываться публикѣ. Отгонимъ прочь всѣхъ уродовъ, но призовемъ тѣхъ, которые имѣютъ какой нибудь талантъ! Если мало наберемъ хорошаго, помѣстимъ изрядное, но подлаго, нечистаго, каррикатурнаго, намъ не надобно. Такимъ образомъ всякій годъ могли бы мы выдавать маленькую книжку—и дамамъ нашимъ не стыдно бы было носить ее въ карманѣ. Что ты объ этомъ скажешь?»

Изъ Москвы Карамзинъ писалъ И. И. Дмитріеву:

Декабря 20: «Всѣ здѣшніе стихотворцы отъ Михайла Матвѣевича до.....радуются мыслию объ Рускомъ Almanach des Muses, всѣ общають плакать и смѣяться въ стихахъ, чтобы занять мѣстечко въ нашей книжкѣ. Содержатели типографіи также рады. Я на тебя надѣюсь, мой

Поэтъ, не смотря на твои оговорки. Пиши и присылай ко мнѣ, чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше.»

Такъ прошелъ 1795 годъ.

Въ 1796 году, въ *Февраль*, онъ писалъ къ Дмитріеву: «Черезъ нѣсколько дней пришлю тебѣ сказочку.»

Это была, вѣроятно, Юлія, вскорѣ опубликованная. Въ предувѣдомленіи сказано: «Третья книжка *Аглаи*, для которой слѣдующая повѣсть была приготовлена, выдетъ еще не скоро: я рѣшился напечатать Юлію особливо, и прошу у любезныхъ читателей быть къ ней благосклонными.»

Разумѣется, повѣсть рассказана живо, пріятно, увлекательно. Какая Русская дама могла не тронуться подобнымъ вступленіемъ:

«Женщины жалуются на мужчинъ, мужчины на женщинъ: кто правъ? кто виноватъ?—Кому рѣшить тяжбу?—Если мнѣ, то я, ничего не слушая и неразбирая, оправдаю.... любезнѣйшихъ — слѣдственно женщинъ? Безъ сомнѣнія. Но мужчины будутъ недовольны моимъ рѣшеніемъ; докажутъ мое пристрастіе; объявятъ, что я подкупленъ.... милымъ взоромъ какой нибудь Лидіи, пріятною улыбкою какой нибудь Арефы; перенесутъ дѣло въ вышній судъ, и приговоръ мой останется—увы!—безъ всякого дѣйствія. Вотъ маленькое предисловіе къ слѣдующей повѣсти.»

Тогда же вышла и Мелина повѣсть, переводъ съ Французскаго, съ посвященіемъ: Настасѣ Ивановѣ Плещевой, въ знакъ дружбы и почтенія отъ переводчика.

Въ примѣчаніи сказано: ей же приписана и книжка *Аглаи*.

«Вотъ живая, пламенная картина страсти,» говоритъ Карамзинъ въ краткомъ предисловіи. Одна чувствительная женщина можетъ писать такими красками. Госпожа Сталь есть авторъ Мелины; я осмѣлился быть ея переводчикомъ. Н. Б.

Читая эти строки нельзя невѣрить вліянію господствующаго вкуса не только на толпу, но и на отличные умы. Руссо во Франціи, Стернъ въ Англіи, Геснеръ въ Германіи, ввели

въ модѣ своими свойствами и талантами чувствительность, точно какъ въ наше Лордъ Байронъ негодование, протестъ, — и вотъ Карамзинъ, понимая Шекспира, находя красоты въ Индѣйской Сагонталѣ, осуждая румяна Французской трагедіи, удивляется краскамъ Г-жи Сталь въ Мелинѣ, а Гете пишетъ своего Вертера. Точно такъ въ наше время Пушкинъ подчиняется обоянію таланта Байронова, и сочиняетъ первыя свои поэмы по его образцамъ.

За стихами для Аонидъ Карамзинъ приставалъ безпрестанно къ Дмитріеву: видно, что изданіе его очень занимало (см. ниже въ письмахъ).

Въ Августѣ 1796 вышли Аониды съ предъувѣдомленіемъ отъ издателя:

«Почти на всѣхъ Европейскихъ языкахъ ежегодно издается собраніе новыхъ, мелкихъ стихотвореній, подъ именемъ *Календаря Музъ* (*Almanach des Muses*); мнѣ хотѣлось выдать и на Рускомъ нѣчто подобное, для любителей Поэзіи: вотъ первый опытъ подъ названіемъ *Аониды*. * Надѣюсь, что публикѣ пріятно будетъ найти здѣсь вмѣстѣ почти всѣхъ нашихъ извѣстныхъ стихотворцевъ; подъ ихъ щитомъ явятся на сценѣ и нѣкоторые молодые авторы, которыхъ зрѣющій талантъ достоинъ ея вниманія. Читатель похвалитъ хорошее, извинитъ посредственное — и мы будемъ довольны. Я не позволю себѣ перемѣнить ни одного слова въ сообщенныхъ мнѣ піесахъ.

Если *Аониды* будутъ приняты благосклонно; если (важное условіе!) Университетская Типографія, въ которой онѣ напечатаны, не потерпитъ отъ нихъ убытку: то въ 97 году выдетъ другая книжка, въ 98 третья, и такъ далѣе. Я съ удовольствіемъ беру на себя должность издателя, желая съ своей стороны всячески способствовать успѣхамъ нашей литературы, которую люблю и всегда любить буду.»

* Другое имя Музъ.

Эпиграфомъ Карамзинъ выбралъ стихи, (мы упоминаемъ всегда объ его эпиграфахъ, потому что они выражаютъ удачно мысль, цѣль, или сущность изданія:)

Chérissons le rival qui peut nous surpasser:
Montrez-moi mon vainqueur, et je cours l'embrasser.

(То есть будемъ любить соперника, который можетъ превзойти насъ. Покажите мнѣ моего побѣдителя, и я бѣгу обнять его).

Въ первой книгѣ Аонидъ, которую отрывалъ также какъ Московскій журналъ, и слѣдующія книжки, старшина Русской словесности, Михаилъ Матвѣевичъ Херасковъ, стихотвореніемъ: Добродѣтель, помѣщено нѣсколько піесъ Державина, (на кончину Графа Орлова, на покореніе Дербента и проч.) Капниста, Нелединскаго-Мелецкаго, князя Горчакова, князя Хованскаго, В. Пушкина, Измаилова, Львова, Книгини Урусовой, Петра Кайсарова, Магницкаго, Кострова.

Несмотря на всѣ убѣжденія, Дмитріевъ почему то ничего не доставилъ для первыхъ Аонидъ Карамзину, который въ примѣчаніи такъ выразилъ свое неудовольствіе:

«Жалѣю и читатели Аонидъ будутъ жалѣть вмѣстѣ со мною, что любезный мой Дмитріевъ, который издалъ пріятныя свои стихотворенія подъ именемъ: И мои бездѣлки, не прислалъ мнѣ ничего для сей первой книжки.

Изъ своихъ стихотвореній Карамзинъ напечаталъ посланіе къ молодому Плещееву (Мой другъ, вступая въ шумный свѣтъ и проч). Отвѣтъ пріятелю:

(Мнѣ ли славить тихой лирой,
Ту, которая порфирой
Скоро весь обниметъ свѣтъ).

Гекторъ и Андромаха (Безмолвствуя герой на милую взираетъ) Посланіе къ женщинамъ, гдѣ онъ прославляетъ ихъ достоинства, и заключаетъ обращеніемъ, безъ сомнѣнія—къ Плещеевой: (начало предложено выше, см. с. 67)

Теперь, когда я заслужил
 Улыбку грацій, музъ прелестныхъ,
 И гордый свѣтъ меня улыбкою почтилъ.—
 Не мало слышу я привѣтствій, сердцу лестныхъ,
 Отъ добрыхъ, нѣжныхъ душъ. Славнѣйшіе творцы,
 Платоновы друзья, безсмертные пѣвцы,
 Меня въ любви своей, въ признаніи увѣряють, *
 И слабый мой талантъ къ успѣхамъ ободряють.
 Но знай, о милый другъ! что дружбою твоею
 Я болѣе всего горжуся въ жизни сей.

И хижину съ тобою,
 Безвѣстность, нищету,
 Чертогамъ золотымъ и славѣ предпочту.
 Что истина своей рукою.

Напишеть надъ моею могилой? Онъ любилъ,
 Онъ нѣжной женщины нѣжнѣйшимъ другомъ былъ! **

Присоединимъ остальные извѣстія о жизни Карамзина за эти два года:

Въ началѣ 1795 г. онъ ѣздилъ въ Симбирскъ, гдѣ продалъ свое имѣніе братьямъ, за 16 тысячъ руб.

Деньгами этими онъ хотѣлъ помочь друзьямъ своимъ Плещеевымъ, которыхъ любилъ горячо, и тревожился вслѣдствіе ихъ трудныхъ обстоятельствъ. Онъ напоминалъ часто братьямъ о срокахъ, и по мѣрѣ полученія денегъ передавалъ ихъ тотчасъ Плещеевымъ.

Неизвѣстно, сколько онъ далъ имъ денегъ взаемъ, и получилъ ли обратно, но то извѣстно, что никогда даже не напоминалъ имъ объ этомъ, какъ рассказывалъ мнѣ Иванъ Ивановичъ.

* Клопштокъ, съ которымъ Карамзинъ не вступался, написалъ къ нему письмо, и выразилъ желаніе имѣть всѣ вышедшія до тѣхъ поръ его сочиненія. Карамзинъ упоминаетъ объ этомъ и въ письмѣ къ Дмитріеву отъ 4 Іюня, 1796.

** Державинъ, въ письмѣ къ Дмитріеву, осуждалъ помѣщеніе этихъ стиховъ.

Лѣто 1795 отъ Мая до Декабря, а въ 1796 осень послѣ Августа, онъ провель въ деревнѣ, хотъ однообразно, какъ писалъ къ Дмитріеву, но не скучно, что мы сей часъ увидимъ.

Дополнимъ сообщенныя свѣдѣнія о жизни Карамзина въ 1795 и 1796 годахъ отрывками изъ писемъ къ Дмитріеву и брату.

12 февраля 1795 г. къ Дмитріеву. Я все еще въ Москвѣ и все еще собираюсь ѣхать въ Симбирскъ. Кажется, что дня черезъ четыре вѣрно выѣду, хотя мнѣ и не хотѣлось бы свитаться по бѣлому Рускому свѣту. Я нанялъ тѣ комнаты, которыя мы вмѣстѣ съ тобою осматривали, и живу теперь въ нихъ. Мнѣ хочется возвратиться изъ Симбирска около десятаго Марта. Какъ же скоро возвращусь. то и начну печатать твои стихи. Аглаю ты уже получилъ; Бездѣлки получишь чрезъ нѣсколько дней. *Надолю прощаюсь съ литературою.*»

5 апрѣля къ И. И. Дмитріеву. «Я возвратился изъ Симбирска. —...Естьли не можешь *ни къмъ* заниматься, то занимайся хотъ чѣмъ нибудь; читай, пиши, броди, мечтай. Я самъ живу.... Богъ знаетъ какъ. Многимъ кажется мое состояніе пріятнымъ и завиднымъ; но я знаю *каково мнѣ*. — Въ Симбирскѣ я былъ не даромъ: продалъ свое имѣніе, не чужимъ, а братьямъ, *за 16000 рублей*. Хорошо или худо сдѣлалъ, не знаю. — Сочиненія твои печатаются. Московская Публика желаетъ скорѣе видѣть *И мои Бездѣлки.*»

Мая 13. «Можешь ли ты думать, что бы я перемѣнился въ разсужденіи тебя, моего милаго? Пишу рѣдко—причиною этому безпокойная жизнь моя, не другое что. Или ѣду, или собираюсь ѣхать, *иногда же не хочется за перо взяться*.... Теперь я живу въ деревнѣ, мой другъ, единообразно, но не скучно. Только непріятныя обстоятельства друзей моихъ тревожатъ мое сердце.—Я пробуду въ деревнѣ до Августа.»

Юля 11. «Скажи мой другъ, гдѣ думаешь провести зиму. Хорошо, если бы въ Москвѣ; но не надѣюсь. А ты вѣрно нашель бы удовольствіе въ Московской жизни; я все еще въ деревнѣ у моего друга, и пробуду здѣсь до Сентября. Ты хотѣлъ нѣкогда пріѣхать къ намъ! Какъ бы удивилъ и обрадовалъ насъ! Настасья Ивановна очень любить тебя. Твои пріятныя и скромныя *И мои бездѣлки* отпечатаны; думаю, что уже и опубликованы.»

Къ брату, 23 Юля. «Вы конечно занимаетесь теперь всякаго рода хозяйствомъ, и не завидуете городскимъ жителямъ, которые глотаютъ пылъ на худо вымощенныхъ улицахъ.—Безпокойныя обстоятельства Алексѣя Александровича удерживаютъ его здѣсь; а если бы они поѣхали отсюда, то и я оставилъ бы на нѣкоторое время Москву.»

Къ брату, Августа 8. «Я все еще въ деревнѣ у Алексѣя Александровича. Слабое здоровье милой Настасьи Ивановны, и вообще грустныя ихъ обстоятельства, удерживаютъ меня здѣсь. Сердечная моя привязанность къ ихъ дому не позволяетъ мнѣ жалѣть объ удовольствіяхъ Московской разсѣянной жизни.»

Августа 9. «Я все еще въ деревнѣ, и едвали въ половинѣ Сентября буду въ Москвѣ. Не думай, что бы я отѣнно любилъ деревню; нѣтъ, я люблю только друзей своихъ и въ Москвѣ и въ Знаменскомъ.»

Худо кашлять, худо имѣть слабый желудокъ, худо имѣть и тощій кошелекъ; послѣднее все не такъ худо, какъ первое. Петербургскій климатъ не благопріятствуетъ твоему здоровью. Желая скорѣе видѣть тебя Бригадиромъ, и въ Москвѣ. Какъ бы хорошо было, если бы мы могли жить вмѣстѣ. Стали бы по старому сочинять *бу риме* и писать сатиры на плешивыхъ, то есть на самихъ себя. Я хотѣлъ бы никогда не разставаться съ тѣми, кого люблю, хотѣлъ бы провести съ ними все то время, которое остается мнѣ жить на землѣ — *вотъ одно изъ первыхъ моихъ желаній!*—

Мы могли бы составить не скучное общество, если бы — если бы.... mais avec un si on mettrait Paris dans une bouteille, со всѣми роялистами и республиканцами.»

Сентября. 2, къ Дмитріеву. «Ты зовешь меня въ Петербургъ, можетъ быть я и приѣду къ вамъ въ началѣ зимы, но только.... можетъ быть! Теперь живу безъ плана, и лѣнюсь думать о томъ, что ожидаетъ меня впереди. — *И такъ обо мнѣ говорятъ, что я удаленъ. За что же? И кому хочется выдумывать на мой счетъ такія печальныя басни?»*

Сент. 19. «*Я все еще въ деревнѣ, но по собственной волѣ своей, вопреки тому, что угодно было добрымъ людямъ сказать обо мнѣ въ Москвѣ и Петербургѣ. Дружба имѣетъ свои обязанности. Думаю, что въ Ноябрь буду въ Москвѣ; но кажется, не прежде.»*

Къ брату. Октября. 10... «Для меня всего лучше, что бы вы сами были моимъ должникомъ во всей суммѣ; но если вамъ того не угодно, то я, получивъ отъ васъ деньги, по долгу сердечной дружбы, обязанъ отдать ихъ Алексѣю Александровичу, которой имѣетъ въ нихъ нужду. Странно бы было для всѣхъ, знающихъ связь мою съ съ его домою, если бы я поступилъ иначе. Я люблю сестру и зятя; но они конечно не могутъ имѣть такой нужды въ деньгахъ, какъ Алексѣй Александровичъ. Вотъ мой отвѣтъ. Вы сдѣлаете, что вамъ угодно: то есть, перепишите вексель, въ какой суммѣ заблагоразсудите.»

Октября. 17, къ Дмитріеву. «Думаю, что буду въ Москвѣ около половины Ноября. Дай богъ что бы ты нынѣшнею зимою могъ прожить со мною нѣсколько времени. (Здѣсь слѣдуетъ предположеніе объ альманахѣ см. выше с. 247).

«Тибуллова элегія» прекрасна на Русскомъ языкѣ, кромѣ трехъ или четырехъ стиховъ; такой переводъ стоитъ десяти сочиненій, я прочиталъ его нѣсколько разъ сряду съ великимъ удовольствіемъ. — Не правда ли, что я зажилъ въ деревнѣ? Между тѣмъ Московскіе мои пріятели закли-

наютъ меня скорѣе возвратиться въ Москву, *чтобы уничтожить разные слухи, разсѣянные обо мнѣ злобою и мупостію*; одни говорятъ, что меня уже нѣтъ на свѣтѣ; другіе увѣряютъ, что я въ ссылке и проч. Люди не хотятъ вѣрить, чтобы человѣкъ, который велъ въ Москвѣ довольно пріятную жизнь, могъ изъ доброй воли заключиться въ деревнѣ, и при томъ въ чужой, и при томъ осенью! Всѣ такіе слухи не заставятъ меня ни днемъ скорѣе выѣхать изъ Знаменскаго. Больно видѣть, что *нѣкоторые люди безъ всякой причины желаютъ мнѣ зла*; но пріятно, очень пріятно мнѣ увѣряться болѣе и болѣе въ безкорыстной дружбѣ и пріязни добрыхъ, благородныхъ душъ.»

Отрывокъ изъ письма къ князю Андрею Ивановичу Вяземскому 20 окт. 1796 года.

...Всему есть время, и сцены перемѣняются. Когда цвѣты на лугахъ Пафосскихъ теряютъ для насъ свѣжесть и красоту свою, мы перестаемъ летать зефиромъ, и заключаемся въ кабинетъ для философскихъ мечтаній и умиствованій, скучныхъ румяному и вѣтреному юношѣ, но пріятныхъ такому человѣку, у котораго на лбу, холодной рукою времени, рисуются уже морщины. Лучше читать Юма, Гельвеція, Мабли, нежели въ томныхъ элегіяхъ жаловаться на холодность и непостоянство красавицъ. Такимъ образомъ скоро бѣдная Муза моя или пойдетъ совсѣмъ въ отставку, или .. будетъ переключивать въ стихи *Кантову* метафизику съ Платоновою республикою».

Къ брату. Октября 31. Я теперь жду только снѣгу, чтобы сѣсть въ сани и ѣхать въ Москву, гдѣ надѣюсь чаще получать отъ васъ письма.

«Вы меня одолжите, есть ли вмѣсто двухъ лошадей пришлете четырехъ; я съ благодарностію заплачу за нихъ деньги, что вы положите. На парѣ ѣздить трудно въ

такомъ большомъ городѣ, какъ Москва. Хотя и дорого, но что дѣлать? я рѣшился имѣть четырехъ. Нуженъ будетъ мнѣ еще мальчикъ форрейтеръ, лѣтъ четырнадцати: нельзя ли, любезнѣйшій братецъ, выбрать хотя изъ крестьянъ какого нибудь способнаго къ этому? Я бы также съ радостію заплатилъ за него деньги. А крѣпости писать не нужно: пусть онъ считается вашимъ. Мнѣ право совѣстно трудить васъ такими просьбами; но естли куплю лошадей въ Москвѣ, то могу ошибиться..»

12-ю Декабря. «Наконецъ я въ Москвѣ.—Я еще съ немогими здѣсь видѣлся, и мало слышалъ новостей; но могу увѣрить васъ, что о войнѣ нѣтъ слуховъ. Да и съ кѣмъ воевать? Съ Прусскимъ Королемъ мы развелись полюбовно въ разсужденіи Польши; а Турки заняты теперь усмирениемъ внутреннихъ мятежей своихъ, и конечно не захотятъ съ нами драться. Въ Персіи явился какой-то храбрый витязь, который завоевалъ нѣсколько провинцій, и котораго Турки также очень боятся.

«Я писалъ къ вамъ, братецъ, о двухъ тысячахъ рублей, и теперь повторяю, что мнѣ очень, очень хочется отдать ихъ Алексѣю Александровичу. Вы меня крайне обяжете, естли пришлете сію сумму въ началѣ Января съ вычетомъ процентовъ за тѣ мѣсяцы, которые не дошли еще до срока. Есть ли же вы издержали деньги на покупку крестьянъ у Суровцева, то не можетъ ли братъ Александръ Михайловичъ уплатить мнѣ двухъ тысячъ?»

Декабря 20 къ Дмитріеву: Наконецъ я въ Москвѣ, опять по старому хожу изъ дома въ домъ, играю въ бостонъ, и проч. и проч. Что ты дѣлаешь? Давно не имѣю отъ тебя ни строки. Пиши для меня прозою, а для публики стихами. (Далѣе слѣдуетъ извѣщеніе объ удовольствіи Московскихъ стихотворцевъ изданію Альманаха, см. выше 247.)

Къ брату, Декабря 26. »Въ разсужденіи денегъ я буду всемъ доволенъ: и тѣмъ, что сдѣлаете мнѣ уплату; и

тѣмъ, что отдадите всю сумму. Все, что получу, отдамъ Алексѣю Александровичу; и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. Если можете получить отъ Курофдова обѣщанные имъ 5,500 руб. прежде Марта, то я прошу васъ, братецъ, вычесть съ меня проценты за то время, которое недойдетъ еще до срока, и прислать деньги ко мнѣ, какъ скоро будутъ они въ вашихъ рукахъ.»

1796 годъ.

Января 9, къ брату. «О себѣ скажу вамъ, что я живу по прежнему; *пѣзжу изъ дома въ домъ, играю въ бостокъ*, и проч. Ни въ какую зиму не бывало въ Москвѣ такого множества баловъ, какъ нынѣ; всѣ жалуются на недостатокъ въ деньгахъ, но между тѣмъ вездѣ видна роскошь.»

Января 22, къ Дмитріеву: «Поздравляю тебя съ Капитанскимъ чиномъ; но пожалуй не будь лѣнливымъ Капитанъ-Поэтомъ, особливо когда сердечный пріятель и другъ твой хочетъ выдать «*Almanach des Muses.*» Вообрази, что онъ отъ тебя не печатается; а если ничего не пришлешь, то и не будетъ печататься.»

Февраля 2.: «Стихи Державина и Капнистовы получили; изъяви имъ мою благодарность. Но *Almanach des Muses* не будетъ напечатанъ, если ты мнѣ ничего не пришлешь. Всего будетъ одна книжка, которая должна выйти къ веснѣ; и такъ пожалуй не откладывай до Сызрани, а пришли что нибудь скорѣе. Долголи поэту написать и поэмѣ?... Ты говоришь о моихъ новыхъ бездѣлкахъ: онѣ бездѣлки, и болѣе ничего. Черезъ нѣсколько дней могу прислать тебѣ одну сказочку.»

«Жду тебя въ Москвѣ. Приѣзжай скорѣе... весна приближается, снѣгъ сходитъ, и... *Almanach des Muses* у цензора.»

Къ брату, Февраля 13. «Книжка моя еще не вышла; на слѣдующей почтѣ пришлю ее вмѣстѣ съ другими.»

Февраля 18, къ Дмитріеву.» Знаешь ли, что я въ самомъ дѣлѣ былъ на тебя сердитъ? За то единственно, что ты могъ почитать меня сердитымъ, легковѣрнымъ, непостояннымъ. Какъ тебѣ не стыдно? Меня надлежало бы посадить въ домъ сумашедшихъ, по крайней мѣрѣ дни на два, если бы я повѣрилъ, что ты могъ быть противъ меня виноватымъ; если бы я озлился на тебя, и для того перервалъ съ тобою переписку. Нѣтъ, мой любезный Поэтъ! я увѣренъ въ твоей дружбѣ однажды на всегда; писалъ рѣдко, но писалъ; говорилъ и говорю объ тебѣ почти всякой день, а помню и люблю тебя безпрестанно. Для чего же пишу рѣдко? спросишь ты. Обвиняй все, кромѣ моей дружбы къ тебѣ; обвиняй малодушіе и слабость мою, которыя дѣлаютъ меня иногда излишно-чувствительнымъ къ *житейскимъ неприятностямъ*, отвращаютъ отъ всякаго дѣла, и мѣшаютъ даже собраться съ мыслями, нужными для того, чтобы написать пять или шесть строкъ къ любезному человѣку. Жалѣю, милый другъ, что судьба не велитъ намъ жить вмѣстѣ; сердце мое не скрывалось бы отъ тебя ни въ чемъ. Пока оставимъ....

«И такъ малой поэтъ Малой Россіи вооружается противъ любезнаго поэта Великой Россіи? Не огорчайся, мой другъ. За тебя всѣ, всѣ; имя твое, какъ свѣтлый алмазь: черныя краски злословія не могутъ на немъ держаться. Твой талантъ не подверженъ никакому сомнѣнію, и Муза Русская при рожденіи твоемъ сказала: Поэтъ!

«Бѣдные люди! какъ зависть беспокоитъ ихъ!

«Между тѣмъ непремѣнно, непремѣнно пришли, или привези съ собою что нибудь для нашихъ Музъ, хотя одну піесу, хотя не большую; соберись съ духомъ и напиши. Сдѣлай это для меня. Мнѣ не хочется и печатать, пока отъ тебя не получу чего нибудь.—Прости, мой любезный другъ! Благодарю за присланные стихи Петербургскихъ Поэтовъ; всѣ помѣщу. Завтра пошлю къ тебѣ «Юлію.»

Къ брату, Марта 3. «Вы спрашиваете, не могу ли потерпѣть убытка отъ облигацій? Должники мои не чужіе. Главный изъ нихъ Алексѣй Александровичъ, который заплатитъ мнѣ тогда, какъ будетъ въ хорошихъ обстоятельствахъ, а не прежде. Братья также, думаю, не введутъ меня въ убытокъ, потому болѣе, что они взяли у меня не деньги въ процентъ, а крестьянъ. Между тѣмъ, братецъ, напомните имъ или о пережискѣ векселя, или о заплатѣ; 8-го Марта мнѣ будетъ нужда въ деньгахъ, а срокъ, кажется, въ половинѣ.»

Марта 16, къ Дмитріеву. «Бъ Пушкинымъ писали изъ Москвы не правду: я не думалъ и не думаю жениться.

«Будь спокоенъ въ разсужденіи Подшивалова; онъ любитъ тебя и почитаетъ, а молчалъ отъ хлопотъ и недосуговъ своихъ.»

Юня 4. «Больше и больше теряю охоту быть въ свѣтѣ *входитъ подъ черными облаками*, которыхъ тѣнь помрачаетъ въ глазахъ моихъ всѣ цвѣты жизни *. Между тѣмъ Аониды (вмѣсто Музъ) печатаются. Не ужели ты ничего не пришлешь мнѣ? Морской Офицеръ, твой питомецъ, читалъ мнѣ наизусть новую твою піесу, которая очень хороша. Я не хотѣлъ безъ позволенія твоего списать и напечатать ее, въ надеждѣ, что ты самъ доставишь ее искренно-любящему Музу твою и тебя. Пожалуй не будь упрямъ. Нынѣшній годъ выйдетъ только одна книжка Аонидъ. Приглашеніе къ обѣду останется между моими бумагами и не пойдетъ въ типографію. Нѣтъ ли еще чего нибудь у Гаврилы Романовича? Поблагодари отъ меня Николая Александровича Львова; его піесы уже напечатаны.

«Третьяго дня получилъ я изъ Швейцаріи письмо, которое обрадовало и огорчило меня. Пишутъ ко мнѣ, что

* Кажется эти слова должны имѣть отношеніе къ слухамъ объ удаленіи, о ссылкѣ и проч. см. выше с. 245.

старикъ Блопштокъ любить меня, и желаетъ имѣть въ своей библіотекѣ всѣ мои бездѣлки: это пріятно. Но Лафатеръ гаснетъ какъ догорающая свѣчка, и не встаетъ уже съ постели: это меня очень тронуло.»

Августа 6. «Salut à mon ami et confrère! Ты давно уже въ деревнѣ. Здоровъ ли? спокоенъ ли? Какъ проводишь время? Сколько часовъ въ день посвящаешь генію поэзіи? Какія пѣсни разносятся зефиромъ на поляхъ нашихъ? Чѣмъ плѣняется слухъ Дриадъ Симбирскаго намѣстничества, Сызранской округи?»

...«Вотъ тебѣ Аониды въ бумажкѣ; во французскомъ переплетѣ еще не готовы.»

Августа 28, къ Дмитріеву. » И такъ ты очень не весело началъ сельскую жизнь свою, мой любезнѣйшій другъ? Надѣюсь, что продолженіе будетъ лучше. Старайся дать хорошій оборотъ своему воображенію, чтобы оно, вопреки Сентябрю, играло цвѣтами. Долго ли жить намъ подъ гнетомъ рока? Наскучь горестью и скукою, мой любезый другъ, и будь веселъ какъ ребенокъ, сидящій на деревянномъ конѣ своемъ. У тебя есть Пегасъ: садись на него и погоняй изо всей мочи; чѣмъ грустнѣе твоему сердцу, тѣмъ сильнѣе погоняй его: онъ размычетъ твою горе по краснымъ долинамъ Эссалии. Поэтъ имѣетъ двѣ жизни, два міра: естли ему скучно и непріятно въ существенномъ, онъ уходитъ въ страну воображенія, и живетъ тамъ по своему вкусу и сердцу, какъ благочестивый магометанинъ въ раю съ своими семью гуріями. Vive et scribe! Все, что произведетъ Муза твоя, будетъ очень пріятно твоему другу; въ этомъ позволь мнѣ быть увѣреннымъ.»

«Вообрази, что я ѣду въ деревню, тогда, какъ другіе люди въ городъ возвращаются! Однакожь надѣюсь черезъ мѣсяцъ быть опять въ Москвѣ. Увѣдомь, когда могу тебя здѣсь видѣть: нельзя ли намъ вмѣстѣ съѣздить въ Петербургъ зимою?»

«Гаврила Романовичъ прислалъ ко мнѣ двѣ новыя піесы, и хочетъ, чтобы я непременно выдалъ вторую книжку Аонидъ. Это отчасти зависитъ отъ тебя: пиши, пиши!

1796, *Ноября* 6. «Возвратившись изъ деревни, я успѣлъ быть очень не здоровъ и выздоровѣть; читалъ піесу твою и больной и здоровый: она показалась мнѣ и въ томъ и другомъ состояніи равно хорошею. Благородство въ мысляхъ, связь и свободное ихъ теченіе въ чистомъ слоgѣ: вотъ ея достоинства. Пиши, мой любезный другъ; чѣмъ больше, тѣмъ лучше; чѣмъ разнообразіе, тѣмъ пріятнѣе. Сочини сказку, двѣ, три; выдумывай эпиграммы, и доказывай, что Русскіе подобно Французамъ могутъ имѣть остроуміе. Тогда о второй книгѣ Аонидъ не скажутъ того, что ты сказалъ о первой; не скажутъ, что въ ней нѣтъ ни сказокъ, ни эпиграммъ. Г. Р. (Державинъ) прислалъ мнѣ піесъ десять, изъ которыхъ на смерть Бецкаго самая лучшая. Одинъ стихъ размѣшилъ меня, и я вспомнилъ, что ты мнѣ сказывалъ. Михаилъ Матвѣевичъ занимается изданіемъ своихъ сочиненій, и поэму Владимира совсѣмъ передѣлалъ. Я прочитаю ему твое посланіе, которое будетъ для него безъ сомнѣнія очень пріятно.»

«Книгопродавцы дадутъ тебѣ за пѣсенникъ 200 рублей, и такъ что велишь дѣлать съ этими деньгами?

«Еслили спросишь, что я дѣлаю, то мнѣ стыдно будетъ отвѣчать: такъ мало, что почти ничего, имѣя впрочемъ охоту писать. Лишь только за перо, кто нибудь въ дверь или корректура на столъ. Четыре тома Писемъ Русскаго путешественника выдутъ черезъ мѣсяць, и будутъ къ тебѣ доставлены.»

ГЛАВА IV.

1797—1801.

Восшествіе на престолъ И. Павла.—Надежды.—Ода по случаю при-
сѣги.—Происшествіе съ Дмитріевымъ.—Изданія прежнихъ сочиненій.—
2 книжка Аонидъ съ предисловіемъ о сущности поэзіи.—Разговоръ о сча-
стіи.—Нѣсколько словъ о Русск. литературѣ для Гамб. журнала.—
Отрывокъ о любви.—Намѣреніе написать романъ: Картина жизни, по-
хвальные слова Петру I и Ломоносову.—Пантеонъ иностранной словес-
ности.—Жалобы на цензуру.—Намѣреніе оставить литературу.—
Доносы.—Обозрѣніе изданій 1791—1799.—Отрывки изъ писемъ къ
Дмитріеву и брату о домашнихъ дѣлахъ и обстоятельствахъ.—Изъ
записной книжки.—Отзывъ Каменева.—

Въ Ноябрѣ, 1796 года, скончалась Императрица Екате-
рина. 12-ю числа Карамзинъ сообщаетъ это извѣстіе Дмит-
ріеву. Кажется, что сначала онъ возымѣлъ надежду на
лучшія для себя обстоятельства въ литературномъ отно-
шеніи. Всѣ друзья его и покровители по Дружескому об-
ществу были возвращены изъ ссылки, и изъ деревень сво-
ихъ, и были пережалованы. Вотъ что писалъ онъ къ брату
отъ 17 Декабря... «Государь хочетъ царствовать съ прав-
дою и милосердіемъ, и обѣщаетъ подданнымъ своимъ бла-
гополучіе; намѣренъ удалиться отъ войны и соблюдать
нейтралитетъ въ разсужденіи воюющихъ державъ.—Тру-
бецкіе, И. В. Лопухинъ, Новиковъ, награждены за претер-
пѣніе; первые пожалованы сенаторами, Лопухинъ сдѣланъ
секретаремъ при Императорѣ, а Новиковъ, какъ слышно,
будетъ университетскимъ директоромъ. Вѣроятно И. П.
Тургеневъ будетъ также предметомъ Государевой милости,
когда пріѣдетъ въ Петербургъ.»

Въ этомъ пріятномъ *расположеніи* Карамзинъ писалъ къ Дмитріеву:

Декабря 29. «Я могъ бы ѣхать въ Петербургъ, но не скажутъ ли, что я *пѣду искать, добиваться*, и проч. Не лучше ли подождать васъ всѣхъ въ Москвѣ?»

Карамзинъ написалъ оду, на случай присяги Московскихъ жителей Императору Павлу, изъ которой выпишемъ нѣсколько стиховъ:

И такъ на тронѣ Павелъ первый?
Вънецъ Россійскія Минервы
Давно назначенъ былъ ему....

.....
Мы всѣ другъ друга обнимаемъ,
Россію съ Павломъ поздравляемъ.
Друзья! Онъ будетъ нашъ отецъ;
Онъ добръ и любитъ Россю нѣжно!

.....
Неправда, лезть! на вѣкъ сокройся!
Святая искренность, не бойся
Къ Царю приблизиться теперь!
Онъ хочетъ счастья миллионовъ,
Полезныхъ обществу законовъ;
Къ нему отверста мудрыхъ дверь.
Ето Павлу истину покажетъ,
О тайномъ злѣ Монарху скажетъ,
Подастъ ему благой совѣтъ,
Того онъ другомъ назоветъ.

.....
Уже отеческой рукою
Щедроты льешь на насъ рѣкою.
Едва возшелъ на свѣтлый тронъ,
И дверь въ темницахъ отворилась;
Свобода съ милостью явилась.
На тронѣ Павелъ, ты прощень!
Рекла,—и узы разрѣшились;
Отцы въ семейства возвратились,
Дѣтей, друзей своихъ обнять,
И Бога въ Павлѣ прославлять!

А вы, подруги бога Феба,
 Святыя Музы, дщери неба,
 Безъ коихъ сердцу свѣтъ не милъ!
 Ликуйте! Павелъ вашъ любитель,
 Наукъ, художествъ, покровитель!

.....
 Ты знаешь, о Монархъ любезный,
 Сколь ихъ дары душѣ полезны,
 И чѣмъ обязанъ смертный имъ.

.....
 Монархъ! не льстецъ, душою холодной,
 Къ чинамъ, къ корысти только жадной,
 Тебѣ хвалу сію поеть;
 Но Россѣ, Царя усердно чтущій,
 Съ природой, съ Музами живущій,
 Любитель блага, не суетъ.

.....
 Надежды не долго ласкали Карамзина.

6 Генваря, Дмитріевъ, первый другъ его, по ложному доносу, былъ посаженъ въ Петербургѣ подъ арестъ, въ домъ Генералъ-Губернатора Архарова, гдѣ, пробывъ два или три дня, былъ признанъ невиннымъ, и вслѣдствіе этого представленъ самому Государю. Карамзинъ долго не могъ успокоиться...

Карамзинъ вскорѣ увидѣлъ, что обстоятельства пере-мѣнились не къ лучшему, что литература не можетъ надѣяться на оборотъ дѣлъ, болѣе благопріятный, и что самъ онъ долженъ остаться въ прежнемъ положеніи, если не въ худшемъ. Тогда онъ, скрѣпя сердце, обратился къ принятому образу жизни, поддерживая связь съ литературою издаваемъ старыхъ сочиненій, за которыми приставали къ нему книгопродавцы, изготовленіемъ нѣжныхъ посланій къ женщинамъ и переводами невинныхъ повѣстей и отрывковъ съ Англійскаго, Нѣмецкаго и Французскаго языковъ.

Предложимъ обзорѣніе этихъ опытовъ или упражненій до кончины Павловой.

Прежде всего онъ издалъ Письма Русскаго путешественника, въ четырехъ книжкахъ (Изданіе было готово уже въ 1796 г. Объявленіе сдѣлано 1797, января 28.)

Въ предисловіи онъ сказалъ: «Я хотѣлъ при новомъ изданіи многое перемѣнить въ сихъ письмахъ, * и не перемѣнилъ почти ничего. Какъ онѣ были писаны, какъ удостоились лестнаго благоволенія публики, пусть такъ и остаются.

Пестрота, неровность въ слогѣ, есть слѣдствіе различныхъ предметовъ, которые дѣйствовали на душу молодого, неопытнаго Русскаго путешественника: онъ сказывалъ друзьямъ своимъ, что ему приключалось, что онъ видѣлъ, слышалъ, чувствовалъ, думалъ и описывалъ свои впечатлѣнія не на досугѣ, не въ тишинѣ кабинета, а гдѣ и какъ случалось, дорогою, на лоскуткахъ, карандашемъ. Много не важнаго, мелочи—соглашаюсь; но естли въ Ричардсоновыхъ, Фильдинговыхъ романахъ, безъ скуки читаемъ мы, напримѣръ, что Грандисонъ всякій день пилъ два раза чай съ любезною миссъ Биронъ; что Томъ Джонсъ спалъ ровно семь часовъ въ такомъ то сельскомъ трактирѣ, то для чего же и путешественнику не простить нѣкоторыхъ бездѣльныхъ подробностей? Человѣкъ въ дорожномъ платьѣ, съ посохомъ въ рукѣ, съ котомкою за плечами, не обязанъ говорить съ осторожною разборчивостію какого нибудь придворнаго, окруженнаго такими же придворными, или профессора, сидящаго въ шпанскомъ парикѣ на большихъ, ученыхъ креслахъ.—А кто въ описаніи путешествій ищетъ однихъ статистическихъ и географическихъ свѣдѣній, тому, вмѣсто сихъ писемъ, совѣтую читать Бишингову Географію.»

Это изданіе надписано: Семейству друзей моихъ Плесцевыхъ. «Къ вамъ писанное, вамъ и посвящаю.»

* Подъ первымъ изданіемъ Карамзинъ разумѣетъ помѣщеніе сихъ писемъ въ Московскомъ журналѣ и Аглаѣ.

Въ Августѣ 1797 вышла вторая книжка Аонидъ, которая была гораздо богаче и разнообразнѣе первой. Здѣсь были помѣщены: *Хераскова* Размышленіе о Богѣ, Блевета; *Державина* На новый 1797 годъ, съ воспоминаніями объ Екатеринѣ и надеждами на Павла, На смерть Бецкаго, Пчелка, Мечта и проч.

Дмитріевъ доставилъ множество лучшихъ своихъ стихотвореній: Искатели фортуны, Въ другу—

Не скоро ты, мой другъ, дождешься пѣсней новыхъ
Отъ Музы моея...

Самъ Барамзинъ напечаталъ: Въ бѣдному поѣту,
Престань, мой другъ, поѣтъ унылый,
Роптать на скудной жребій свой.

Отставку

И такъ въ отставку ты уволенъ?

Опытную Соломонову мудрость (изъ Вольтера).

Во цвѣтѣ пыльных, юныхъ лѣтъ,
Я нѣжной страстью услаждался.
Но ах! увялъ прелестный цвѣтъ,
Которымъ взоръ мой восхищался.
Осталась въ сердцѣ пустота,
И я сказалъ: любовь мечта.

Но всего примѣчательнѣе въ этомъ изданіи было предисловіе Барамзина, который прочелъ въ немъ лекцію стихотворнодѣтелямъ своего времени, заключающую много дѣльных замѣчаній.

«Первая книжка Аонидъ принята благосклонно (если не ошибаюсь) любителями Русскаго стихотворства; ровно черезъ годъ выходитъ и вторая—участь ея зависитъ отъ публики.

«Для чего между многими хорошими стихами помѣщаются въ Аонидахъ и нѣкоторые... очень не совершенные, слабые... или какъ угодно назвать ихъ?»

»Отчасти для ободренія незрѣлыхъ талантовъ, которые могутъ созрѣть и произвести со временемъ нѣчто совершенное; отчасти для того, чтобы справедливая критика

публики заставила насъ писать съ большимъ стараніемъ; чтобы читатели имѣли удовольствіе видѣть, какъ молодые стихотворцы годъ отъ году очищаютъ свой вкусъ и слогъ; наконецъ для того, чтобы не очень хорошее тѣмъ болѣе возвышало цѣну хорошаго. Однимъ словомъ, Аониды должны показать состояніе нашей поэзіи, красоты и недостатки ея. Не употребляя во зло правъ издателя, я осмѣлюсь только замѣтить два главные порока нашихъ юныхъ Музъ: излишнюю высокопарность, громъ словъ не у мѣста, и часто притворную слезливость*.

«Поэзія состоитъ не въ надумомъ описаніи ужасныхъ сценъ природы, но въ живости мыслей и чувствъ. Если стихотворецъ пишетъ не о томъ, что подлинно занимаетъ его душу; если онъ не рабъ, а тиранъ своего воображенія, заставляя его гоняться за чуждыми, отдаленными, несвойственными ему идеями; если онъ описываетъ не тѣ предметы, которые къ нему близки, и собственною силою влекутъ къ себѣ его воображеніе, если онъ принуждаетъ себя или только подражаетъ другому (что все одно), то въ произведеніяхъ его не будетъ никогда живости, истины, или той сообразности въ частяхъ, которая составляетъ цѣлое, и безъ которой всякое стихотвореніе (не смотря даже на многія счастливыя фразы), похоже на странное существо, описанное Гораціемъ въ началѣ эпистолы къ Пизонамъ. Молодому питомцу Музъ лучше изображать въ стихахъ первыя впечатлѣнія любви, дружбы, нѣжныхъ красотъ природы, нежели разрушеніе міра, всеобщій пожаръ натуры** и прочее въ семь родѣ.

* Я не говорю уже о неисправности рѣемъ, хотя для совершенства стиховъ требуется, чтобы и рѣемы были правильны.

** Къ издателю прислано было сочиненіе подъ титуломъ: *Конецъ міровъ*; оно показалось ему слишкомъ ужасно для Аонидъ.

Это сочиненіе принадлежало, вѣроятно, Магницкому: Николай Михайловичъ рассказывалъ, что Магницкій любилъ описывать ужасы, и присылалъ къ нему много подобныхъ сочиненій для напечатанія.

«Не надобно также безпрестанно говорить о слезахъ, прибирая къ нимъ разные эпитеты, называя ихъ блестящими и бриллиантными—сей способъ трогать очень ненадеженъ: надобно описать разительно причину ихъ; означить горестъ не только общими чертами, которыя будучи слишкомъ обыкновенны, не могутъ производить сильнаго дѣйствія въ сердцѣ читателя—но особенными, имѣющими отношеніе къ характеру и обстоятельствамъ поэта. Сія то черты, сія подробности, и сія, такъ сказать, личность, увѣряють насъ въ истинѣ описаній и часто обманываютъ; но такой обманъ есть торжество искусства.

«Трудно, трудно быть совершенно хорошимъ писателемъ и въ стихахъ и въ прозѣ; за то много и чести побѣдителя трудностей (ибо искусство писать есть конечно первое и славнѣйшее, требуя рѣдкаго совершенства въ душевныхъ способностяхъ); за то націи гордятся своими авторами; за то о превосходствѣ націи судятъ по успѣхамъ авторовъ ея. Отдавая справедливость вкусу и просвѣщенію нашихъ любезныхъ соотечественниковъ, почитаю за излишнее доказывать здѣсь пользу и важность литературы, которая, имѣя вообще вліяніе на пріятность жизни, свѣтскаго обхожденія, и на совершенство языка (неразрывно связаннаго съ умственнымъ и моральнымъ совершенствомъ каждаго народа), бываетъ всего полезнѣе, всего пріятнѣе для тѣхъ, которые въ ней упражняются: она занимаетъ, утѣшаетъ ихъ въ сельскомъ уединеніи; она настраиваетъ ихъ душу къ глубокому чувству красотъ природы, и къ тѣмъ нѣжнымъ страстямъ нравственности, которыя были и всегда будутъ главнымъ источникомъ земнаго блаженства; она доставляетъ имъ дружбу лучшихъ людей, или сама служитъ имъ вмѣстѣ друга. Кто въ наши времена можетъ быть ея непріателемъ? Никто... конечно; mais, говоритъ Вольтеръ, *mais s'il y a encore dans notre nation si polie quelques barbares et quelques mauvais plaisans, qui*

osent désapprouver des occupations si estimables; on peut assurer qu'ils en feraient autant, s'ils le pouvaient. Je suis très persuadé, que quand un homme ne cultive point un talent, c'est qu'il ne l'a pas, qu'il n'y a personne, qui ne fit des vers, s'il était né poète, et de la musique, s'il était né musicien.»

Въ концѣ года издалъ Карамзинъ еще Разговоръ о счастіи съ слѣдующимъ заключеніемъ, безопаснымъ даже въ то грозное время:

«Возможное земное счастіе состоитъ въ дѣйствіи врожденныхъ склонностей, покорныхъ разсудку, въ нѣжномъ вкусѣ, обращенномъ на природу, въ хорошемъ употребленіи физическихъ и душевныхъ силъ. Безпрестанное наслажденіе также невозможно, какъ безпрестанное движеніе; машину надобно заводить для хода, а работа заводитъ душу для чувства новыхъ удовольствій. Быть счастливымъ есть быть вѣрнымъ исполнителемъ естественныхъ мудрыхъ заповѣй; а какъ они основаны на общемъ добрѣ и противны злу, то быть счастливымъ есть... быть добрымъ.»

Онъ былъ намѣренъ (1797) издать еще какую то хрестоматію, съ цѣлію заработать что нибудь для себя. Но почему это намѣреніе не было приведено въ исполненіе, — неизвѣстно.

Въ Октябрѣ 1797, по просьбѣ издателей Французскаго журнала въ Гамбургѣ Spectateur du Nord, Карамзинъ написалъ Un mot sur la littérature Russe, напечатанное въ Октябрѣ.

По поводу этой статьи онъ писалъ къ Дмитріеву, который видно былъ недоволенъ ею.

11 Февраля, 1798 г. Мнѣ казалось, что такъ надобно было писать о Русской Литтературѣ для иностранцевъ, слегка, безъ дальнихъ подробностей, съ оборотомъ à la française. Означенныя мною картины и чувства изъ Русскихъ пѣсенъ не совсѣмъ выдумка, есть à peu près, чего и довольно. Отъ меня требовали нѣсколько строкъ о Русской Литтера-

турѣ вообще, и при томъ извлеченіе изъ моихъ писемъ. Но что объ этомъ говорить? Надобно писать, какъ кажется, а другіе пусть судятъ, какъ имъ кажется.

Объ этомъ отрывкѣ Карамзинъ писалъ къ Дмитріеву прежде, 18 Января 1798 г. «Издатель и читатели довольны, требуютъ еще, но я лѣнивъ. Развѣ мѣсяца черезъ два пошлю *извлеченіе изъ новаго Русскаго романа, который можетъ быть никогда не выйдетъ на Русскомъ языкѣ.* Хочешь знать титулъ? Картина жизни, но эта картина извѣстна только самому живописцу или маляру; и не гладамъ его, а воображенію.»

Изъ этихъ словъ мы видимъ, что Карамзинъ замышлялъ какой то романъ, который впрочемъ никогда не былъ написанъ.

Тогда же онъ написалъ на Французскомъ языкѣ отъ имени женщины отрывокъ о любви, который остался въ бумагахъ Дмитріева. Мы приведемъ его здѣсь сполна: онъ показываетъ отчасти настроеніе Карамзина, въ эту эпоху его жизни, и вмѣстѣ представляетъ такое описаніе любви, которому не много найдется подобныхъ по силѣ выраженія.

Мысли о Любви.

Говорятъ, что писать о любви можетъ только человѣкъ, воспламененный любовію. Но въ такомъ страдательномъ состояніи человѣкъ не способенъ къ соображеніямъ: онъ не обладаетъ свободою ума, необходимою для того, чтобы отдѣлиться отъ своихъ ощущеній, чтобы вникнуть въ нихъ, разобрать, разложить, видѣть ихъ цѣль, совокупность, отбѣнки. Подобно человѣку, борящемуся со смертію въ волнахъ быстрого потока, и исполненному только одного чувства—чувства своей опасности; имѣющему только одно желаніе, спастись своими усиліями:—такъ точно любовникъ, въ пылу своей страсти, чувствуетъ только свою любовь, желаетъ только соединенія съ своимъ предметомъ во всѣхъ

отношеніяхъ. — Всѣ способности его души, вниманіе, умъ, разсудокъ, уничтожены; его чувствительность обращена только въ одну сторону: это — стремленіе къ своей возлюбленной. Онъ боится размышленія: оно прервало бы чувство, которое наполняетъ его сердце, и въ которомъ онъ живетъ, мертвый для всего остальнаго. — Только тогда, какъ онъ придетъ въ себя, какъ буря страсти постепенно разсѣется, онъ будетъ въ состояніи говорить о силѣ любви, имъ испытанной, т. е. онъ постарается снять копию съ отсутствующаго оригинала, срисовать его на память. Копія можетъ быть очень хороша, но ей все таки будетъ не доставать чего то, и даже многого, многого, для совершеннаго сходства. Воспоминанія суть только зыбкія тѣни; ихъ покрываетъ какая-то завѣса, которая уничтожаетъ гармонію, составляющую единство, выразительность, душу предмета. Ж. Ж. Руссо, умирая отъ любви къ Г-жѣ Гудето, сжегъ бы самыя пламенныя письма своей Элоизы, найдя ихъ слишкомъ холодными.

Кто же опишетъ намъ любовь? Никто не можетъ описать ее такъ, какъ она есть въ сердцахъ восторженныхъ любовниковъ, съ ея огнедышущей энергіей, съ ея сладостно-лихорадочнымъ трепетомъ, — никто. — Но такъ много говорено объ ней. — Да, именно потому, что никогда никто не могъ сказать о ней все.

Тотъ, кто никогда не испыталъ сильныхъ страстей, думаетъ обыкновенно, что ихъ преувеличиваютъ въ романахъ; но тотъ, кто испыталъ ихъ силу, знаетъ, что легче бы представить воображенію неизмѣримость или вѣчность, чѣмъ изобразить нѣсколькими чертами пера всемогущество любви.

Описывая намъ нѣкоторыя проявленія этой страсти, думаютъ воспроизвести самое чувство: это все равно, какъ если бы сказали, что огонь солнечный въ своемъ источникѣ быть долженъ очень горячъ, потому что его

лучи отогрѣваютъ иногда замерзшую муху!.... Ахъ, истинный любовникъ тысячу разъ будетъ умирать за свою подругу, и все еще ему будетъ казаться, что онъ не сдѣлалъ ничего изъ того, что сердце его желало бы сдѣлать, дабы доказать ей неизмѣримость своей любви.

Твердость какого нибудь Сцеволы, который кладетъ свою руку въ огонь, и улыбается съ презрѣніемъ передъ грознымъ врагомъ Рима, неустранимость Регула, который добровольно возвращается въ Карфагенъ, чтобы умереть тамъ среди ужаснѣйшихъ мученій—все это исчезаетъ передъ духомъ слабой жепщины, которая любить, и должна бываетъ случайно принести жертву для своего возлюбленнаго друга.

Это—высокое изступленіе чувствительности, священнѣйшій огонь, который горитъ въ нашихъ душахъ, и вышастъ ихъ надъ человѣчествомъ.

Сердце любовника, упиваясь любовью, соединяясь, сливаясь съ сердцемъ своей подруги, касается неба въ восторгахъ своего блаженства, теряетъ, находитъ себя въ чувствѣ своего счастья, и опять теряетъ. Подобные любовники суть, въ глазахъ Божества, самое прекрасное зрѣлище на землѣ; они сами себѣ дѣлаютъ апотеозу по своему чувству, и если бы ихъ нашлось только двое въ цѣломъ свѣтѣ, наполненномъ милліонами злыхъ людей, небо было бы обезоружено въ своемъ праведномъ гнѣвѣ, и нечего было бы бояться человѣческому роду гибели, подобной гибели Содома.

Разсмотрите всѣ другія страсти: вопреки пышнымъ названіямъ, которыя даютъ ихъ идоламъ, служеніе имъ оставляетъ въ душѣ пустоту, доказывающую ихъ недостаточность для нашего счастья, между тѣмъ какъ душа, любящая съ природной своей силою, была бы совершенно счастлива, хотя осталась бы одна съ предметомъ своей

любви во всемъ мірѣ, который обратился бы въ безконечную пустыню.

Въ объясненіе блаженства будущей жизни говорятъ, что души наши найдутъ чистѣйшее наслажденіе въ вѣчномъ созерцаніи Бога. Любящіе получаютъ нѣкоторое здѣсь понятіе объ этомъ блаженствѣ въ удовольствіи, которое они находятъ, поглощая другъ друга взглядами. Что касается до прочихъ, то они не понимаютъ ничего въ этомъ объясненіи.

Одинъ великій писатель сказалъ, что, кромѣ физическаго удовольствія ничего нѣтъ, ни хорошаго, ни естественнаго въ любви. Этотъ великій писатель имѣлъ весьма малую душу.

Физическое удовольствіе не значитъ ничего въ истинной любви; предметъ ея слишкомъ святъ, слишкомъ божественъ въ нашихъ глазахъ, и не можетъ возбуждать желаній: чувства спокойны, когда сердце взволновано, — а оно всегда въ волненіи при этой страсти. Она не естествова, говоритъ онъ, мало есть душъ способныхъ къ такому чувству. Согласенъ, — но сила этихъ душъ развивается только этимъ чувствомъ: надо, чтобы онѣ испытали его, иначе онѣ будутъ томиться въ жизни, снѣдаться потребностью любви.

Чувство любви можетъ ли быть такъ могущественно въ нашей душѣ, чтобы поглощать въ себѣ всѣ способности, всю дѣятельность? Не должно ли приписать это чудо силѣ воображенія? Нѣтъ, нѣтъ. Мечта никогда не можетъ имѣть того пламеннаго жара, который чувствуетъ страстное сердце въ стремительныхъ своихъ порывахъ. Нѣтъ, природа, сама природа, ея непреодолимая сила, возноситъ насъ на эту высоту любви.

О вы, горячія сердца, которыя въ своихъ чувствахъ находите подтвержденіе моимъ мыслямъ, страстные любовники, вы, умѣющіе въ восторженныхъ объятіяхъ забывать даже презрѣніе, которое заслуживаютъ поносители вашего

счастія. Вы, будете всегда предметомъ моего поклоненія: я буду приносить вамъ въ жертву слезы моего сердца; я буду согрѣвать его огнемъ вашего счастія. Можетъ ли мнѣніе людей холодныхъ и порочныхъ бросать какую-нибудь тѣнь на ваши свѣтозарныя души? Могутъ ли эти низкія и злыя созданія препятствовать вашему святому союзу?

Вы любите другъ друга, слѣдовательно благословеніе Неба надъ вами, вы супруги, и ничто не должно васъ останавливать..... Но земля, непокорная законамъ Неба, растворяется иногда между вами, и глубокія пропасти васъ разлучаютъ, минуйте ихъ или погибайте вмѣстѣ; вы избѣжите покрайней мѣрѣ покушеній злобы, и вопреки ей будете еще счастливы. Такъ, сладко умирать вмѣстѣ съ тѣмъ, кого любишь! Праведный и милосердый Богъ открываетъ вамъ свое отеческое лоно, вамъ любезнѣйшимъ изъ его чадъ, потому что вы умѣли любить, и тамъ, среди небесныхъ духовъ, ваше счастіе не будетъ имѣть конца, потому что ваша любовь будетъ вѣчна.... И если бы безумное предположеніе,—не было ни будущности ни Бога, если бы все—было мечтою и прахомъ.... все же умрите: вы жили, вы вкусили самую чистую сладость жизни—вамъ нечего дѣлать болѣе въ свѣтѣ.»

QUELQUES IDÉES SUR L'AMOUR.

On dit, que ce serait à un homme, dont le coeur est enflammé d'amour, à écrire sur l'amour.

Mais dans cet état passif il n'est capable d'aucune combinaison d'idées, il n'a pas cette liberté d'esprit, qui lui serait nécessaire pour se séparer de ses sensations, les approfondir, analyser, décomposer, voir leur but, leur ensemble, leurs nuances. Comme un homme, luttant contre la mort dans les flots d'un rapide torrent, n'a qu'un seul sentiment: celui de son péril, n'a qu'un seul désir: celui de se sauver par ses efforts—un amant, au fort de sa passion, ne sent aussi que son amour, ne désire aussi que de s'unir à son objet sous tous les points de contact. Toutes les facultés de son âme, l'attention, la raison, le jugement, sont frappées de néant; sa sensibilité ne se porte que d'un seul côté: ce n'est qu'un élan vers son amante chérie. Il craint la réflexion: elle interromprait le sentiment qui remplit son coeur, et dans lequel il vit pour être mort à tout le reste. Ce n'est que quand il revient à lui-même,

ce n'est que quand l'orage de la passion se dissipe peu-à-peu, qu'il vous parlera de la force de l'amour, qu'il vient d'éprouver, c'est-à-dire, il essaiera de faire la copie d'un original absent, de peindre par souvenir. La copie peut être bien belle, mais il lui manquera toujours quelque chose, et même beaucoup, beaucoup pour la parfaite ressemblance. Les souvenirs ne sont que des ombres vacillantes; un certain voile les couvre et en détruit l'harmonie, qui fait l'ensemble, l'expression, l'âme de l'objet. J. J. Rousseau, mourant d'amour pour Md. d'Houdetôt, aurait brûlé les lettres, les plus passionnées de son Héloïse, parce qu'il les aurait trouvées trop froides.

Qui est ce qui nous peindra donc l'amour? Personne; tel qu'il est dans le cœur des amants passionnés, avec toute son énergie brûlante, tout son effervescence délicieuse, personne. Mais on en a tant parlé? Oui, précisément parce que l'on n'a jamais su en dire assez.

Celui qui n'a jamais éprouvé de grandes passions, croit ordinairement, qu'on les exagère dans les romans; mais celui qui en a ressenti la violence, sait qu'il serait plus facile de peindre à l'esprit l'immensité ou l'éternité, que de tracer, par quelques traits de plume, la toute-puissance de l'amour.

En nous décrivant quelques effets de cette passion, on croit la peindre elle-même; c'est comme si l'on disait, que le feu du soleil dans son foyer doit être bien chaud, parce que ses rayons raniment quelquefois une mouche gelée!... Ah! un vrai amant mourrait mille fois pour sa maîtresse, et ne ferait encore rien pour elle, rien de ce que son cœur voudrait faire, pour lui prouver l'immensité de son amour.

Le courage d'un Scévola, livrant sa main au feu dévorant, et souriant de mépris pour le terrible ennemi de Rome; celui d'un Régulus, retournant volontairement à Carthage pour—y mourir dans les supplices les plus effrayants, tout cela disparaît devant le courage d'une faible femme, mais qui aime, mais qui se trouve dans le cas de faire des sacrifices pour son ami chéri.

C'est un délire sublime de la sensibilité, le feu le plus sacré, qui brûle dans nos âmes et les élève au-dessus de l'humanité. Le cœur d'un amant, s'abreuvant, s'enivrant d'amour, s'unissant, se confondant avec celui de son amante, touche le ciel dans ces extases de félicité; se perd, se retrouve dans le sentiment de son bonheur et s'y perd de nouveau. Des amants pareils sont, aux yeux de la Divinité, le plus beau spectacle sur la terre; ils se divinisent eux-mêmes par leurs sentiments, et s'il n'y en avait que deux dans le monde, rempli de millions de méchants, le Ciel dans son juste courroux en serait désarmé, et le genre humain n'aurait point à craindre de périr comme la ville de Sodome.

Examinez toutes les autres passions, et malgré les noms pompeux, qu'on donne à leurs idoles, leur culte laisse toujours dans l'âme un certain vide qui nous prouve leur insuffisance pour notre bonheur; mais une âme aimante avec toute son énergie innée, survit seule, avec l'objet de son affection parfaitement heureuse dans l'univers, si l'univers n'était qu'un désert immense.

En voulant nous expliquer la félicité de la vie future, on nous dit, que nos âmes y trouveront la plus pure jouissance dans la contemplation éternelle de Dieu: eh bien, les amants ont déjà ici-bas l'avant-goût de cette félicité, dans le plaisir, qu'ils ont à se dévorer des regards; quant aux autres, ils ne comprennent rien à cette explication.

Un grand écrivain a dit, qu'excepté le plaisir physique il n'y avait rien de bon, rien de naturel dans l'amour. Ce grand écrivain avait une bien petite âme.

Le plaisir physique n'est rien dans le véritable amour; l'objet en est trop saint, trop divin à nos yeux, pour exciter des desirs; les sens sont tranquilles quand le coeur est agité et il l'est toujours dans cette passion. Elle n'est pas naturelle, dit-il, peu d'âmes en sont susceptibles. J'y consens; mais l'énergie de ces âmes ne se développe que par ce sentiment; il faut qu'elles l'éprouvent, ou bien elles ne feront que languir dans la vie, dévorées par le besoin d'aimer.

Un sentiment d'amour pourrait-il être si puissant dans notre âme, au point d'absorber toutes les facultés, toute son activité? Attribuera-t-on ce miracle là la force de l'imagination? Non, non! Ses créations n'ont jamais cette chaleur brûlante qu'un coeur passionné ressent dans ses élans rapides. Non c'est la nature, c'est elle-même, c'est sa force invincible qui nous élève à cette sublimité de l'amour.

O vous, dont le coeur ardent retrouve dans ses sentimens la vérité de mes deés, amants passionnés, vous qui dans vos étreintes, délicieuses savez oublier même jusqu'au mépris dû aux détracteurs de votre félicité! Vous serez toujours l'objet de mon culte; je vous porterai en offrande les larmes de mon coeur; je l'échaufferai au feu de votre bonheur. L'opinion des hommes froids et pervers - peut-elle jeter quelques ombres sur vos âmes rayonnantes? Peuvent-ils, ces êtres vils et méchans, mettre des obstacles à votre sainte union? Vous vous aimez: donc la bénédiction du Ciel est sur vous; vous êtes époux, et rien ne doit vous arrêter.... Mais la terre, rebelle aux loix du Ciel, s'ouvre quelquefois entre vous, et des abîmes immenses vous séparent: franchissez-les, ou bien périssez ensemble; c'est encore échapper à l'atteinte de la méchanceté; encore être heureux en dépit d'elle! Mourir avec ce qu'on aime est si doux! Un Dieu juste et bon vous ouvre son sein paternel, vous, ses enfans les plus chéris, parce que vous avez su aimer, et là, au milieu des intelligences célestes, votre bonheur sera sans fin, parce que votre amour sera éternel.... Et s'il n'y avait, une supposition insensée, ni avenir, ni Dieu: si tout n'était qu'illusion et poussière.... mourez toujours: vous avez vécu, vous avez savouré les purs délices de la vie; vous n'avez plus rien à faire dans le monde.

Par Md. de Lim.

Объ этомъ отрывкѣ Карамзинъ писалъ къ Дмитріеву, вѣроятно по поводу какого нибудь его замѣчанія:

Москва, 31 Декабря, 1797. — ... «Мысли мои о любви брошены на бумагу въ одну минуту, и не думалъ писать трактата, а хотѣлъ единственно сказать по *тогдашнему моему чувству*, что любовь сильнѣе всего, святѣе всего, *несказаннѣе всего*. Философія и страстная любовь не могутъ быть дружны, мой милый Иванъ Ивановичъ. Первая пишетъ только сатиры на послѣднюю; а тогда *жить и*

любить было для меня одно. Разсуждать о страстях можетъ только равнодушный человѣкъ; не въ бурю описывать бурю.»

Различные планы бродили въ его головѣ, привыкшей къ умственной дѣятельности. Онъ думалъ еще о похвальныхъ словахъ Петру I и Ломоносову.

20 *Сентября*... Мнѣ хотѣлось бы между прочимъ написать два похвальные слова: Петру великому и Ломоносову. Первое требуетъ, чтобы я мѣсяца три посвятилъ на чтение Русской Исторіи и Голикова: едвали возможное для меня дѣло. А тамъ еще сколько надобно размышленія! Не довольно одного риторства: надлежало бы доказать, что Петръ самымъ лучшимъ способомъ просвѣтилъ Россію; что измѣненіе народнаго характера, о которомъ твердятъ намъ его критики, есть ни что въ сравненіи съ источникомъ новыхъ благъ, открытыхъ для насъ Петровою рукою. Надлежало бы приподнять уголокъ той завѣсы, которою вѣчная судьба покрываетъ свои дѣйствія въ разсужденіи земныхъ народовъ. Однимъ словомъ, трудъ достоинъ всякаго хорошаго автора, но не всякій авторъ достоинъ такого труда. (Начало и конецъ этого письма, см. ниже с. 299).

Для Петровскаго слова сохранилось еще нѣсколько замѣтокъ, кои предложены будутъ ниже.

Карамзинъ занимался, въ это время, изданіемъ сочиненій Державина.

«Сочиненія Гаврилы Романовича дѣлаютъ мнѣ множество хлопотъ. Цензоры остановили въ печати два листа, а онъ упрямится, и не хочетъ переимѣнить замѣченныхъ ими мѣстъ. Что же пользы? Въ типографіи остановка, убытокъ, а мнѣ съ обѣихъ сторонъ неудовольствіе.» (Изъ письма отъ 10 *Декабря*, 1797 г. см. ниже с. 290.)

«Въ печатныхъ сочиненіяхъ Гаврилы Романовича есть пропуски, отъ того что они были въ манускриптѣ: какая безпечность послать рукопись въ типографію, не взявъ на себя труда прочитать ее.»

«Гаврило Романович мнѣ не отвѣчаетъ; видно онъ разсердился—жаль. Пожалуй спроси у него, что онъ прикажетъ дѣлать съ напечатанною книгою. Надобно чѣмъ-нибудь кончить. Я долженъ раздѣлаться съ типографіею. Еслии онъ не хочетъ выдавать напечатаннаго, то я брошу все въ огонь, и болѣе не скажу ему ни слова. Эта шутка будетъ мнѣ стоить рублей пятьсотъ и поболѣе. *Юня 17, 1798.*

Наконецъ въ 1798 году Карамзинъ собирался издать Пантеонъ иностранной словесности, о которомъ сей часъ говорить будемъ.

Вотъ всѣ занятія Карамзина, всѣ изданія, самыя невинныя, чуждыя политики, о предметахъ литературныхъ, отвлеченныхъ, нравственныхъ, о добрѣ и злѣ, объ истинѣ и счастьи, но и за нихъ цензура притѣсняла Карамзина больше и больше; наконецъ онъ столько получилъ непріятностей по поводу Пантеона, что рѣшался совершенно оставить литературу. Мы приведемъ здѣсь любопытныя мѣста изъ писемъ его къ Дмитріеву, которыя дадутъ намъ понятіе вообще о положеніи писателей того времени въ Россіи, и вмѣстѣ служить доказательствомъ, какъ самыя благонамѣренныя, самыя добросовѣстные изъ нихъ, могутъ подвергаться всякаго рода подозрѣніямъ, вслѣдствіе произвола, къ которому такъ склонно всякое невѣжество и всякая посредственность.

Изложимъ сперва планъ Пантеона по письму къ Дмитріеву: «*Марта 4, 1798 г.* Я работаю, то есть перевожу лучшія мѣста изъ лучшихъ иностранныхъ авторовъ, древнихъ и новыхъ; иное для идей, иное для слога. Греки, Римляне, Французы, Нѣмцы, Англичане, Итальянцы: вотъ мой магазинъ, въ которомъ роюсь каждое утро часа по три. Мнѣ надобно переводить для кошелька моего; а какъ благоразуміе велитъ осыпать необходимость цвѣтами, то я въ разсужденіи переводовъ сочинилъ для себя огромный и новый планъ, который мнѣ пока очень нравится, и ожив-

леть трудъ охотою. Посмотримъ, каково будетъ Цицероново, Бюффоново, Жанъ-Жаково краснорѣчіе на Русскомъ языкѣ! Между тѣмъ не все для слога; многое помѣщу въ этомъ цвѣтникѣ и для любопытства, для историческаго свѣдѣнія, для женщинъ, — изъ новыхъ журналовъ, изъ книгъ не очень извѣстныхъ. Даже и восточная литература входитъ въ планъ. Матеріалы готовятся; изрядная тетрадь лежитъ у меня передъ глазами; дней черезъ десять отдамъ въ цензуру первый номеръ. Вотъ тебѣ моя литературная новость.»

Въ слѣдующемъ письмѣ Карамзинъ опредѣлилъ точнѣе цѣль Пантеона: *18 Августа, 1798*. «Пантеонъ издаю не для университета, а для публики, которая не стала бы его читать, еслибы въ немъ не было ничего, кромѣ Демосоена и Цицерона и другихъ классическихъ риторовъ. Въ древности назывались Пантеонами храмы, посвященные всѣмъ богамъ: и громовержцу Юпитеру, и кузнецу Вулгану, и важной Минервѣ и пьяницѣ Силену. Въ наше время называются *Пантеонами* мѣста, посвященные *всѣмъ* удовольствіямъ, гдѣ, въ Парижѣ и Лондонѣ, даютъ маскарады, балы, концерты и проч. *Пантеонъ* литературы долженъ быть ни что иное, какъ собраніе *всякаго* рода твореній, и важныхъ и не важныхъ; слѣдственно тутъ можетъ быть и сказка, и отрывокъ, и Арабскій анекдотъ; иное для слога, иное для любопытства. Если бы я переводилъ только самыхъ лучшихъ авторовъ, слѣдственно и самыхъ извѣстнѣйшихъ, то знающіе Французскій и прочіе иностранные языки не стали бы читать моего собранія; а мнѣ хочется и для нихъ сколько-нибудь быть интереснымъ — и для того перевожу иное изъ журналовъ, мало извѣстныхъ, единственно для новости; посредственное неизвѣстное лучше очень хорошаго извѣстнаго. Однимъ словомъ, это родъ журнала, посвященнаго иностранной литературѣ. Пока не выдаю собственныхъ своихъ бездѣлокъ,

могу служить публикѣ собраніемъ чужихъ піесъ, не противныхъ вкусу и писанныхъ не совсѣмъ обыкновеннымъ Русскимъ, то-есть не совсѣмъ пакостнымъ слогомъ.» ... «Ласъ-Казасъ есть благочестивая піеса, она хороша для многихъ читателей; мнѣ въ ней полюбилась одна мысль. — Для чего не выдаю ничего собственнаго? Для того, что ничего или почти ничего не пишу, даже и стихами. Голова моя все какъ-то не свободна: то заботы, то неудовольствія, то... Богъ знаетъ что; однакожь все собираюсь, и выдавъ книжки три Пантеона (N В. для подспорья кошельку своему), вѣрно что нибудь начну, или начатое кончу. Только цензура, какъ черный медвѣдь, стоитъ на дорогѣ; къ самымъ бездѣлицамъ придирается. Я кажется и самъ могу знать, что позволено, и чего не должно позволять; досадно, когда въ безгрѣшномъ находятъ грѣшное».

Наконецъ терпѣніе самаго терпѣливаго и кроткаго чело-вѣка истощилось, и Карамзинъ написалъ къ Дмитріеву отъ 11 Октября 1798 г. «Я, какъ авторъ, могу исчезнуть заживо. Здѣшніе цензоры при новой эдиціи Аонидъ поставили X на моемъ посланіи къ женщинамъ. Такая же участь ожидаетъ и Аглаю, и Мои бездѣлки, и Письма Русскаго Путешественника, то есть, вѣроятно, что цензоры при новыхъ изданіяхъ захотятъ вымарывать и поправлять, а я лучше все брошу, нежели соглашусь на такую гнусную операцію; и такимъ образомъ черезъ годъ не останется въ продажѣ можетъ быть ни одного изъ моихъ сочиненій. Умирая *авторски* восклицаю: да здравствуетъ Россійская литература! — Впрочемъ цензоры крайне обязываютъ лѣнь мою, которая въ ихъ строгости находитъ для себя оправданіе....

Іюня 3. «Я размѣялся твоей мысли жить переводами. Русская литература ходитъ по міру съ сумою и съ влюкою: худая пожива съ нею! Не подумай, чтобы я боялся въ тебѣ имѣть совмѣстника, будучи самъ записнымъ пере-

водчикомъ; ты бы мнѣ не помѣшалъ. Я издаю Пантеонъ, а ты бы могъ издавать Политеонъ; всякій бы изъ насъ шелъ своею дорогою—но дѣло состоитъ въ томъ, что содѣжатели типографій не богатѣютъ, и смотрятъ сентябремъ на переводчиковъ. Все еще не посылаю къ тебѣ вышеупомянутаго Пантеона; его не выпускаютъ изъ типографіи безъ цензурскаго позволенія; но черезъ нѣсколько дней вѣрно получишь всю первую часть.»

Юля 27, 1798 г. «Витовтовъ сказывалъ мнѣ, что ты нашъ Д' Агессо, и приказный слогъ знакомишь съ ясною краткостію, чистотою, пріятностію. Vive le Procureur! Весело быть первымъ, а мнѣ и послѣднимъ быть мѣшаетъ цензура. Я перевелъ нѣсколько рѣчей изъ Демосоена, которыя могли бы украсить *Пантеонъ*; но цензоры говорятъ, что Демосоевъ былъ республиканецъ, и что такихъ авторовъ переводить не должно—и Цицерона также—и Саллустія также..... Grand Dieu! Что же выдетъ изъ моего Пантеона? Планъ издателя разрушился. Я хотѣлъ для образца перевести что-нибудь изъ каждаго древняго автора. Если бы экономическія обстоятельства не заставляли меня имѣть дѣло съ типографіею, то я, положивъ руку на алтарь Музъ, и заплакавъ горько, повялся бы не служить имъ болѣе, ни сочиненіями, ни переводами. Странное дѣло! У насъ есть Академія, Университетъ; а литература подъ завкою...»

Октября 24. «Цвѣтъ жизни болѣе и болѣе для меня увядаетъ. Желаю только одного: умереть спокойно. Не въ такомъ расположеніи издаются журналы, любезный другъ. Надобно чего-нибудь желать сильно, чтобы работать прилежно; а я, въ отношеніи къ свѣту ничего не желаю. Талантъ мой, какъ Сибирской плодъ, не дозрѣвъъ изсыхаетъ. Довольно, если иногда, улучивъ свободную минуту, напишу стиха два, и за то благодарю судьбу.

1800. *Марта 28.* «Вообрази, что Рижская цензура, то

есть Туманскій, остановила Нѣмецкій переводъ моихъ писемъ! Какъ людямъ хочется дѣлать зло.»

Изъ писемъ Карамзина къ Дмитріеву видно, что онъ не печаталъ въ Московскомъ журналѣ сочиненій Туманскаго, который былъ тогда въ неудовольствіи и на Дмитріева. См. выше с. 196.

Бромъ этихъ частныхъ неприятностей, Карамзинъ подвергся въ это время опасностямъ дѣйствительнымъ. Туманскій изложилъ на бумагѣ свое удивленіе по поводу разныхъ вольныхъ мыслей, встрѣтившихся ему въ Нѣмецкомъ переводѣ писемъ Русскаго путешественника не вѣрно впрочемъ переданныхъ), а подлинника будто бы онъ не знаетъ. Графъ Ростопчинъ не допустилъ этой клеветы до Государя, которая могла бы быть опасною для Карамзина.

Графъ Ростопчинъ, женатый на двоюродной сестрѣ Настасьи Ивановны Плещеевой, урожденной Протасовой, имѣлъ случай еще оказать услугу Карамзину по поводу другаго доноса, о которомъ самъ рассказывалъ И. И. Дмитріеву, какъ свидѣтельствуеть Д. Н. Бятышъ-Каменскій.

Одинъ недоброжелатель (изъ противной партіи) прислалъ И. Павлу ложный доносъ на Карамзина, выставяя его человѣкомъ вреднымъ для правительства, безбожникомъ: Знаешь ли ты Карамзина? спросилъ Императоръ дежурнаго своего Генераль-Адъютанта Ростопчина, давъ ему прочесть полученную бумагу.— Знаю, отвѣчалъ послѣдній,—съ отличной стороны по сочиненіямъ его, и не узнаю въ семь сочиненіи.— Я ожидалъ этого,— продолжалъ Павелъ 1-й, ибо мнѣ извѣстенъ доноситель; вотъ и рѣшеніе мое.—Произнеся эти слова, Государь бросилъ доносъ въ каминъ» (Словарь Б. Каменскаго, II, с. 133).

Другой недоброжелатель, или тотъ же, П. И. Бутузовъ, напечаталъ въ журналѣ, издаваемомъ Сохацкимъ, стихи,

посланіе къ другу, котораго онъ хвалилъ за то, что тотъ не имѣеть такихъ мыслей, какія печатаются въ Аоніадахъ и разныхъ сочиненіяхъ Карамзина, указываемыхъ въ примѣчаніяхъ.

А что предпринималъ самъ Карамзинъ противъ своихъ враговъ?

Никогда ничего. Онъ только написалъ послѣ, имѣя ихъ въ виду, нѣсколько словъ въ своей статьѣ: Чувствительный и холодный, кои приведемъ мы на своемъ мѣстѣ.

Исчислимъ изданія Карамзина въ царствованіе Императора Павла, присоединивъ къ нимъ и извѣстныя уже намъ изданія въ царствованіе И. Екатерины, со времени возвращенія его изъ путешествія.

1791 г. Московскій журналъ.

1792 г. Продолженіе Московскаго журнала.

1793 г. Аглая, книжка 1, зимою.

1794 г. Аглая, книжка 2, Октября 8.

— Мармонтелевы повѣсти, часть 1.

— Мои бездѣлки, 2 части.

1795 г. Смѣсь въ Московскихъ вѣдомостяхъ.

1796 г. Юлія, повѣсть (объявленіе Февраля 20).

— Мелина, повѣсть (объявленіе Февраля 20).

— Аониды, книжка 1. Юня 30.

— Аглая, изд. 2. (объявленіе въ газетахъ, Фев. 16).

— Ода на присягу И. Павлу.

— Бѣдная Лиза, изд. 2. (№ 93, объявленіе).

1797 г. Аониды, книжка 2 (Августа 5).

— Письма Рус. путешествен. въ 4 ч. Января 28.

— Мои бездѣлки, изданіе 2.

1798 г. Разныя повѣсти въ 2 частяхъ.

— Мармонтелевы повѣсти, ч. 2. (объяв. Января 27).

— Пантеонъ иностранной Словесности въ 3 ч. Дек. 18.

1799 г. Аониды, книга 3 (Юня 22).

Обратимся къ его домашней внутренней жизни, видной изъ писемъ къ брату и Дмитріеву, въ продолженіи Павлова царствованія:

1797.

Января 5. «Обнимаю тебя со слезами, мой любезный другъ! Громъ, который грянулъ надъ тобою, отдался въ моемъ сердцѣ. Какой случай! Я былъ внѣ себя отъ удивленія. Невинность твоя не могла быть долго въ подозрѣніи; но какое положеніе! Милый другъ! Какъ мнѣ жаль, что я не съ тобою! Тебя всѣ любятъ, но многіе ли такъ, какъ я? Боюсь, любезнѣйшій, чтобы этотъ случай не оставилъ по себѣ дурныхъ слѣдствій въ разсужденіи твоего здоровья. Ради Бога пиши ко мнѣ. Я надѣюсь, что милостивый нашъ Императоръ наградитъ тебя за претерпѣніе. Сто разъ цѣлую тебя со всею дружескою горячіюстію. Милая Настасья Ивановна любитъ тебя, какъ истинный твой другъ? Ты конечно будешь съ нею видѣться. Какъ самая нѣжная сестра брала она участіе въ твоей исторіи, и твое и ея письмо читалъ я со слезами.

Января 21. «Дружба твоя; мой любезнѣйшій, драгоценна моему сердцу; всѣ ласковыя твои слова доходятъ до него и производятъ въ немъ самыя пріятныя впечатлѣнія. Люби меня всегда, мой милый другъ, если ты любишь утѣшать людей! *Не вини меня, что я не съ тобою*; вѣрь, что я сердечный другъ твой, и не вини. Больно мнѣ слышать о твоихъ домашнихъ безпокойствахъ; не то, такъ другое, и мы съ добрымъ сердцемъ, съ добрымъ расположеніемъ, терзаемся весь свой вѣкъ. Что такое мѣшаетъ намъ жить счастливо. Мой милый другъ! утѣшайся тѣмъ, что тебя многіе любятъ, и всѣ хорошо о тебѣ думаютъ.

Февраля 26. Если маленькое письмецо мое тебя обезпокоило, прости меня. Мнѣ такъ было грустно! И

теперь невесело; и теперь еще я нездоровъ, сижу дома и наконецъ могу читать. Полно; это пройдетъ. Въ какое время вздумалъ было ты на меня разсердиться? Я же и не виноватъ. Богъ съ тобой. Сердце мое въ такомъ расположеніи, что я все всѣмъ прощаю: даже и тебѣ твою авторскую вспыльчивость.»

Обращаемъ вниманіе читателя на это письмо: какъ видно въ немъ добродушіе, любезность, кротость!

Марта 11. «Дружеское письмо твое, мой любезнѣйшій, влило нѣсколько капель бальзама въ мое сердце. Но мнѣ больно, что я огорчилъ тебя, человѣка, который истинно меня любитъ, который самъ имѣетъ нужду въ утѣшеніи. Слабость, слабость! Не стыжусь ее, но досажую. Будь, будь покоенъ, милый другъ! *Надо вѣрить Провидѣнію; будетъ съ каждымъ изъ насъ, чему быть назначено, и что мы заслуживаемъ;* я не хочу другаго, и соглашаюсь *терпѣть*, если не заслуживаю ни счастья, ни сподобившійся. Слабое сердце мое умѣетъ быть и твердымъ, вопреки всему. Теперь главное мое желаніе состоитъ въ томъ, чтобы не желать ничего, ничего: ни самой любви, ни самой дружбы.—*Да, я любилъ*, если ты знаешь хочешь, очень любилъ, и меня увѣряли въ любви. *Все это прошло;* оставимъ, никого не виню. (о большемъ свѣтѣ, см. выше с. 246).

«Я искалъ только средствъ жить счастливо въ уединеніи; теперь ничего не ищу. Называй же меня суетнымъ! Жизнь кажется мнѣ скучною, безплодною равниною; тамъ, впереди, что-то возвышается.... надгробный камень и вотъ эпитафія:

Богъ далъ мнѣ свѣтъ ума: я истины искалъ,
И видѣлъ ложь вездѣ—свѣтильникъ погашаю.
Богъ далъ мнѣ сердце: я страдалъ—
И Богу сердце возвращаю.

«Пока будемъ жить, сердце еще бьется, кровь течетъ въ жилахъ. Будь здоровъ, какъ я, но гораздо счастливѣе. Ты не хотѣлъ мнѣ сказать, что тебя дѣлаетъ несчастливымъ: не зная, беру во всемъ искреннее дружеское участіе, и желаю тебѣ спокойствія отъ всего сердца.

1797 *Марта* 17. «Императоръ уже въ Москвѣ, и живетъ за городомъ въ Петровскомъ дворцѣ; всякой день раза по три бываетъ въ городъ, но не прежде какъ чрезъ три недѣли торжественно въѣдетъ въ Москву. Экзерцицію здѣшнихъ полковъ былъ онъ не очень доволенъ, и сдѣлалъ, какъ сказываютъ, сильный выговоръ гн. Долгорукову.

Юня 6, къ *Дмитріеву*. «Сердечно благодарю тебя за послѣднее письмо твое: оно очень ласково. Я какъ ребенокъ: люблю, чтобы меня ласкали друзья мои. Друзья! какъ будто бы ихъ у меня много! Первой, другой—и только что не обчелся. Вчера возвратился я въ Москву ночью, съ простудой, и въ превеликой усталости; нашелъ письмо твое, прочиталъ его два раза, и легъ на постелю въ пріятномъ расположеніи духа: Очень, очень люблю тебя. — Для разсѣянія ѣздилъ я по Московскимъ окрестностямъ, видѣлъ прекрасныя мѣста и жалѣлъ, что у насъ не умѣютъ ими пользоваться. Черезъ нѣсколько дней опять куда-нибудь поѣду. Между тѣмъ всякій день брожу еще пѣшкомъ, и такимъ образомъ дѣлаюсь перипатетическимъ философомъ.

17 *Юня*. «Мнѣ что-то все очень грустно, хотя и не жгу теперь груди своей передъ каминомъ. Желаю только спокойствія Настасѣ Ивановнѣ и семейству ея. Если жизнь моя нужна въ свѣтъ, то развѣ для нее; *не смотря на частыя и смѣшныя ссоры*, она очень любитъ меня. Я также сердечно къ ней привязанъ. Чрезмѣрно беспокоюсь, мой милый другъ, *о другомъ человѣкѣ*; она поѣхала изъ Москвы больная, увѣривъ меня самымъ нѣжнымъ, самымъ трогательнымъ образомъ въ любви своей. Не зная,

что съ нею дѣлается! Жива ли, здорова ли она! Писать — но можетъ быть ей не отдадутъ письма моего. Однакожь рѣшусь. Часто вижу печальные сны, и дѣлаюсь невѣрнымъ. Клянусь Богомъ, что готовъ отказаться отъ любви ея, съ тѣмъ условіемъ, чтобы она была жива, здорова и счастлива!

10 *Августа*. «Здравствуй, здравствуй мой любезнѣйшій Академикъ, Оберъ-Прокуроръ, Статскій Совѣтникъ, и проч. и проч. Сердечно, сердечно радуюсь. Сдѣлалось то, чего тебѣ хотѣлось. Будь счастливъ, мой милый! Ты достоинъ всѣхъ лучшихъ даровъ фортуны. Во всѣхъ твоихъ удовольствіяхъ беру я, и буду всегда брать искреннее, живое участіе. Александръ Алексѣевичъ полюбилъ тебя всюо душою. и чувствуетъ всю цѣну твоей пріязни; онъ ее заслуживаетъ. — Я, мой другъ, надѣюсь когда-нибудь сдѣлаться философомъ. Лѣтъ за десять передъ симъ, или болѣе, Н. И. Новиковъ, закладывая въ Воспитательномъ домѣ свой домъ и деревню, просилъ меня быть въ числѣ *личныхъ* поручъ. Тенерь выходитъ всей суммы 150.000 рублей, и велѣно описать наше имѣніе; хотѣли даже описать и мои книги, и мои фраки. Такимъ образомъ я лишусь можетъ быть послѣдняго. *Повѣришь ли, что это меня не трогаетъ?* Если бы только мои Плещеевы могли выпутаться изъ долговъ, я согласился бы работать день и ночь для своего пропитанія. — Прости, мой милый другъ! Другое тревожитъ меня. Она живетъ или страдаетъ въ 10 верстахъ отъ Москвы, больна, кровь льется изъ груди, и я не могу видѣть ее!

Августа 26, къ брату. «Новость здѣсь та, что намъ опять позволяютъ носить фраки; но круглыя шляпы остаются подъ строгимъ запрещеніемъ.

31 *Августа, къ Дмитріеву*. «Здравствуй мой милый другъ! больно слышать мнѣ о твоихъ безпокойствіяхъ, о твоёмъ слабомъ здоровьѣ. Боги ничего не даютъ даромъ, говорили Греки, они все продаютъ. Тѣ же Греки называли необходимость *золотою*; это золото часто кажется намъ сусальнымъ,

но что же дѣлать? Неудобно, какъ можно равнодушнѣе поворачи́ться уставу судьбы. Жизнь есть игра, *et très souvent le jeu ne vaut pas la chandelle; faisons toujours bonne mine.* Старость еще отъ тебя далека, а будущее неизвѣстно. Я имѣю нѣкоторое право говорить о твердости; говорю, и не краснѣюсь.—Читай свои экстракты, господинъ оберъ-прокуроръ; но хотя изрѣдка, хотя одною строкою увѣдомляй меня о своемъ здоровьѣ. Люблю тебя всею душою, желаю тебѣ какъ можно болѣе удовольствій, какъ можно менѣе неудовольствій—и мысленно обнимаю моего друга.

14 *Октября* писалъ онъ къ брату: «Радуюсь и поздравляю брата Александра Михайловича; новое родство для меня очень приятно. Дай Богъ, чтобы онъ былъ совершенно счастливъ. Ему кажется не болѣе 25 лѣтъ: вотъ самое лучшее время жениться! Для меня оно уже проходить, если еще не прошло. Нѣтъ, любезный братъ! Миѣ по всей вѣроятности умереть холостымъ. Пусть женятся другіе.

Ноября 16, къ Дмитріеву. «Какъ ты проводишь время, могу вообразить себѣ; какъ я живу... едва ли стоить того, чтобы говорить. Главная печаль моя тебѣ извѣстна: несчастное состояніе Алексѣя Александровича. Все другое беспокоитъ меня теперь гораздо менѣе. Дальновидныхъ плановъ никакихъ не имѣю. Не ползаю передъ щастьемъ—нѣтъ! *le dos contre le dos.*—Когда сердце мое по старой привычкѣ вздохнетъ, заговорить, велю ему молчать. Надежда есть кокетка; ищетъ только рабовъ, обманеть и посмѣется. Правда, что зѣваю не рѣдко...

Какъ бѣденъ человекъ! Нѣтъ страсти,—горе, мука,
Безъ страсти жизнь не жизнь, а сжука.

Люби—и слезы проливай!

Покоень будь и вѣкъ зѣвай!

Этотъ *катренъ* сказавъ я одной молодой дамѣ, задремавъ подлѣ нея на диванѣ.

Mais je fais encore des vers galants. Двѣ женщины въ маскахъ, въ плащахъ, подошли ко мнѣ въ маскарадѣ.

Ничто, ничто сокрыть любезныхъ не могло!

На васъ и маски какъ стекло.

Прелестные глаза прелестныхъ обличаютъ;

Подъ маскою они не менѣ сияютъ.

Взглянуль—я сердце мнѣ

Сказало: *c'est moi!*

Одна изъ нихъ насадила у себя въ кабинетѣ *маленькій лѣсочикъ*, и хотѣла, чтобы я вдругъ написалъ къ нему стихи. Муза моя большимъ кускомъ мѣла въ минуту начертала на стѣнѣ слѣдующее:

Тебя, лѣсочикъ, насадила

Полина собственной рукой:

Кому же посвятила?—

«Богинѣ прелестей»—И такъ себя самой.

У другой, очень любезной женщины, есть табакерка, на которой изображены *мраморный столбъ* и *ландышъ*. Что это значить? спросили у меня. Я отвѣчалъ:

Любезное глазамъ, какъ *цвѣтъ* весенній, тлѣнно,

Любезное душѣ, какъ *мраморъ* невзвѣнно.

Вотъ еще катрень на эхо:

Мнѣ часто эхо измѣняетъ.

Твержу: «Милены не люблю!»

Но эхо въ роцѣ отвѣчаетъ:

Люблю!

Видишь, что и въ Москвѣ пишутъ стихи едва ли хуже вашего сотника, Родіона Чернявскаго.

Издатель Французскаго *Сѣвернаго Зрителя* требовалъ отъ меня *чего-нибудь*. Я послалъ къ нему: *Un mot sur la littérature russe*. Письмо мое напечатано въ Октябрѣ мѣсяцѣ журнала; но я не имѣю еще этой книжки.

Скажи Александру Алексѣвичу, что я нынѣ *весь* въ Итальянскомъ языкѣ; сплю и вижу *Метастазія*; его *Libertá* знаю наизусть.

Москва, 20 Ноября 1797 : «Здравствуй, мой любезнѣйшій Дѣйствительный статскій совѣтникъ! Мысленно обнимаю тебя. Будь всѣмъ, чѣмъ ты достоинъ быть—будь счастливымъ!

Естьли хочешь, чтобы я выдалъ третью книжку Аонидъ, то пришли (ради Аполлона) собранные тобою стихи. Сказываютъ, что коллекція твоя очень богата. Московскія Музы нынѣшній годъ безплодны: зову на помощь Петербургъ. Ты одолжишь меня, если пришлешь нѣчто изрядное.

Завтра отправлю къ тебѣ Аониды, 1 кн. и Разговоръ о частіи. Пантеона пришлю три книжки черезъ двѣ недѣли.»

10 Декабря, 1797. «Письмо твое меня очень обрадовало. Дружба твоя кажется не простываетъ отъ сенатскихъ дѣлъ; а это сердцу моему несказанно пріятно. Будь увѣренъ, милый другъ, что любовь твоя не переживетъ моей. По своему сердцу суди о моемъ. Даю тебѣ *бланкетъ*: пиши за меня всѣ возможные дружескія увѣренія—я подписываю, и не отопрусь отъ своей руки, пока будешь меня любить.

«Воображеніе твое по старой привычкѣ все еще рисуетъ каррикатуры. Спрятался въ свой кабинетъ, всунулъ спину свою въ каминъ etc. Повинуясь твоимъ мыслямъ, я живо представилъ себя въ этомъ положеніи и засмѣялся. — Нѣтъ, нѣтъ! Милая и несчастная вѣтреница сватилась съ моего сердечнаго горизонта безъ грозы и бури. Осталось одно нѣжное воспоминаніе, какъ тихая заря вечерняя. Но я все еще не попадаю въ долину Юсафатову; все еще на морѣ, какъ Синбадъ мореходецъ! Боюсь кораблекрушенія, но распускаю парусы! Досадное сердце не слушается разсудка; твержу наизустъ Эпиктета,

Mais, hélas! on a beau faire,
Le coeur y revient toujours,
Il revient à son penchant naturel.
Il demande à aimer

Приманки соблазнительны. Какъ птичка лечу въ сѣти; какъ рыбка берусь за уду. Однакожъ я еще довольно спокоенъ. На правой и на лѣвой сторонѣ вижу берегъ. Знаю, что такое женщина, что такое фантомъ любви, и въ самой неосторожности надѣюсь быть остороженъ.

Прилагаю *Quelques idées sur l'amour.* Не сказывай ни кому, что это піеса моя. Я называлъ ее сочиненіемъ одной дамы, и такъ не противорѣчить мнѣ.

Объ Аонидахъ и думать нечего. Ты не имѣешь времени писать, а мнѣ танцовать на сценѣ съ Московскими нашими стиходѣями какъ-то большой охоты нѣтъ. Къ тому же я теперь въ разсѣяніи, и долженъ еще работать для кошелька: *переводить, собирать матеріалы для христоматіи.*

31 Декабря, 1797. «Въ послѣдній день года пишу къ моему милому другу; желаю, чтобы онъ встрѣтилъ новый годъ съ веселою улыбкою, провелъ его, какъ можно лучше, любилъ меня, какъ можно больше, писалъ ко мнѣ, какъ можно чаще, жаловался на судьбу свою, какъ можно рѣже,» и проч. и проч. (продолженіе этого письма, см. выше с. 276).

«Говори мнѣ всегда о терніяхъ и розахъ жизни своей. Приходы и расходы твои соразмѣрны ли? Милая рука бросаетъ ли цвѣточки на скучной путь твой по лѣсамъ и болотамъ Ерихонскимъ! Я къ совмѣстницамъ не ревную тебя; иное дѣло совмѣстники.

Еще *impromptu*, или *назови какъ хочешь*:

Делины слова:

О время! Знаю власть закона твоего:
 Всѣ предести лица уносишь ты съ собою;
 Но нѣжность сердца моего
 Останется со мною:
 А тотъ, кто сердцу милъ,
 Меня за нѣжность полюбилъ.

Печаль и радость.

Съ печалью радость здѣсь едва ли не равна:
Надежда съ первой, съ другой *болѣзь* дана.

Эпиграмма на жизнь.

Что наша жизнь? Романъ. Кто Авторъ? Анонимъ.
 Читаемъ по складамъ, смѣемся, плачемъ... спимъ.

Отъ конца 1797 г. и до конца 1798 г. осталась записная книжка Карамзина. Помѣщаемъ ее сполна.

Ноября 9, 1797.

Тотъ, кто по любви къ истинѣ искренно признается въ своей несправедливости, едвали не выше того, кто всегда справедливымъ бываетъ.

La solitude est la mère du génie

Pour l'âme qui a été occupée par les passions, il n'y a plus que la gloire.

On demandoit à Newton, comment il avait su faire ses grandes découvertes. *En les cherchant toujours.*

L'esprit ne voit, que les ressemblances; le jugement et le génie voient les différences. C'est que les objets se ressemblent par les côtés les plus grossiers, au lieu qu'ils diffèrent par les plus délicats.

Le tems n'est que la succession de nos pensées.

Tout raisonnement juste est une découverte.

Le fonds d'un grand talent est toujours beaucoup de raison.

Pour les hommes nés avec un peu de talent, il n'y a que deux sortes de livres: ceux qui font penser, et ceux qui contiennent des faits.

Diderot parlait avec emphase de Shakespeare devant Voltaire. Ah! Monsieur, lui dit V., est ce que vous pouvez préférer à Virgile, à Racine, un monstre dépourvu de gout? C'est abandonner l'Apollon du Belvédère pour le Saint Christophe de Notre Dame. Diderot resta un moment sous le coup; mais ensuite: que diriez-vous cependant, si vous voyez cet immense Christophe marcher et s'avancer dans les rues avec ses jambes et sa stature colossale? Voltaire à son tour fut atterré par cette image imposante.

Мартъ 23 1798 г.

Une vérité, profondément sentie, agit toujours sur le caractère de notre vie morale. Mais y-a-t-il beaucoup d'hommes capables d'avoir des impressions fortes, de combiner les faits et d'en tirer ces resultats, qui, réunis sous un même point de vue, nous présentent ce qu'on appelle vérité?

Апрѣля 5.

Se plaire à bien faire est le prix d'avoir bien fait. *Rousseau.*

Апрѣля 19.

De faux sages unis sont toujours de faux frères.

Soyons de notre esprit les seuls législateurs;
Vivons libres du moins dans le fond de nos coeurs;
C'est le trône de l'homme; il régne, quand il pense.

Pompiignan.

Amour, désir inné, âme de la nature, principe inépuisable d'existence, puissance souveraine, qui peut tout, et contre la quelle rien ne peut, par qui tout agit, tout se renouvelle, divine flamme, germe de perpétuité, que l'Eternel a répandu dans tout avec le souffle de vie, précieux sentiment, qui peut seul amollir les coeurs féroces et glacés en les pénétrant d'une douce chaleur; cause première de tout bien, de

toute société, qui réunit sans contrainte et par les seuls attraits les natures sauvages et dispersées, source unique et profonde de tout plaisir, de toute volupté—amour, pourquoi fais-tu l'état heureux de tous les êtres et le malheur de l'homme?

—
Юля 11.

Мысли для похвального слова Петру 1.

Чтобы искусство Фидіаса тѣмъ болѣе поразило насъ, взглянемъ на безобразный кусокъ мрамора: вотъ изъ чего сотворилъ онъ Юпитера Олимпійскаго!

Что была Россія?

Рожденіе первой мысли.

Живое чувство изящнаго, источникъ величія, характеръ всѣхъ великихъ людей.

Ле-форъ.

Ревность и терпѣніе. Что говоритъ Бюффонъ о послѣднемъ?

Презрѣніе опасностей. Надежность побѣдить. «Не бойся; съ тобою Цесарь и счастье его!»

Оправданіе его системы. Молчите, мелкіе умы! Ходъ Натуры одинаковъ; одно просвѣщеніе, и одинъ способъ къ совершенству, къ счастью! (Левекъ). Должно ли намъ было остаться въ семъ духовномъ и моральномъ униженіи? Что значитъ ваша народная собственность (національный характеръ)? Одно назначеніе всѣхъ народовъ; другимъ способомъ не могъ онъ подвинуть насъ къ сей великой цѣли. Оправданіе нѣкоторыхъ жестокостей. Всегдашнее мягкосердечіе несомвѣстно съ великостію духа. *Les grands hommes ne voient que le tout.* Но иногда и чувствительность торжествовала.

Могу ли не воспламеняться любовію къ отечеству, представляя себѣ Петра?—Мѣста, гдѣ онъ ходилъ; рощи, имъ насажденныя....

Ognuno è reo, se l'amore è delitto.

—
Viver così vorrei,
Vorrei morir così.

—
Instabile o costanti
Sarai sempre il mio ben.

—
Conosco, ammiro
La tua virtù, la tua bellezza, e pure
Non ho cor per amar ti.

Июня 12.

Естьли Провидѣніе пощадитъ меня; естьли не случится того, (?) что для меня ужаснѣ смерти... займусь Исторією. Начну съ Джиллиса; послѣ буду читать Фергусона, Гиббона, Робертсона—читать со вниманіемъ и дѣлать выписки, а тамъ примусь за древнихъ авторовъ, особливо за Плутарха.

Июля 31.

Il y a de quoi bien et mal faire partout. Ment.

—
Il se faut reserver une *arriere*-boutique, toute notre, toute franche, en laquelle nous établissons notre vraie liberté.

—
Nous avons une âme contournable en soi même; elle se peut faire compagnie.

—
La foule me repousse à moi.
Heureux celui, que la mort délivre de la crainte de mourir.

—
Que tu es *frêle*, o société perverse.
Un boiteux t'a fondée, et un bossu te renverse.

Сентября 5.

Pourquoi travailler pour les autres?

Ils ne vous demandent rien; laissez-les donc tranquilles.

Et pourquoi est-ce qu'on apprend tant de choses aux enfans, qui ne vous demandent rien, et qui font le diable à quatre pour se débarrasser de vous?

Сентября 7-го.

Je n'avois plus d'amans: il me fallut un dieu.

1798 годъ.

18 Января 1798..... «Согласенъ, чтобы весь 98 годъ былъ для меня похожъ на конецъ 97-ю. Восторги рѣдки и дороги; ихъ почти страшно желать, особливо за тридцать лѣтъ; довольно, чтобы не очень беспокоиться, не очень скучать, имѣть нѣкоторыя удовольствія, чувствовать иногда свою цѣну, рѣдко на себя досадовать—такъ я, кажется, заключилъ прошедшій годъ, и такъ хотѣлъ бы жить въ теченіе нынѣшняго; въ концѣ стараго написалъ разговоръ о счастьи, а въ началѣ новаго вздумалъ писать о скукѣ! Философія можетъ утѣшать насъ по временамъ; но жизнь, потерявъ свою новостъ для сердца, течетъ медленно, томно, вопреки всѣмъ прекраснымъ теоріямъ мудрости. Судьба моя во власти Провидѣнія; но мнѣ нехотѣлось бы дожить до старости. Лучше жить не долго, да умереть хорошо, то есть покойно, тихо, безъ большаго страданія.»

«Вхожу въ твои чувства и вѣрю, что наше Русское честолюбіе не ослѣпляетъ тебя. Отъ всего сердца желаю, мой любезнѣйшій другъ, чтобы ты нашелъ способъ жить болѣе по своему вкусу. Безпокойство твое о родныхъ мило и прѣзываетъ всю доброту твоего сердца. Я знаю, какъ горестное положеніе любимыхъ людей тревожитъ душу!... Несчастье въ здѣшнемъ свѣтѣ привязывается со всѣхъ сторонъ къ чувствительнымъ сердцамъ; не свое, такъ чужое, а все мучить ихъ.»

«У меня нѣтъ копій съ письма моего къ издателю Французскаго Сѣвернаго зрѣтеля; оно напечатано въ Октябрѣ

мѣсяцъ журнала; если захочешь, то можешь найти его въ Петербургѣ.»

Января 28-го 1798 г. къ брату: Читая ваше письмо, я мысленно представлялъ себѣ заволжскія вьюги и метели. Хотя темно, однако же помню тамошнія мѣста; помню, какъ мы возвр ащались оттуда въ началъ зимы. Старыя воспоминанія бываютъ пріятнѣе. Новостей у насъ немного. Съ мѣсяцъ говорили все о банкѣ, а теперь говорятъ о запрещеніи фраковъ. Лѣтомъ по улицъ надобно будетъ ходить во Французскомъ кафтанѣ и кошельгѣ, или въ мундирѣ со шпагою.

11 Февраля 1798 г. къ Дмитріеву. Твои стихотворенія теперь переписываются. Я радъ читать корректуру, но не могу отвѣчать, чтобы совсѣмъ не было опечатокъ, проклятыя хоть какъ, такъ вкрадутся.

Марта 1-го 1798 г. Salut et amitié, любезнѣйшій мой П. И.!... Здоровъ ли ты? Привыкъ ли наконецъ къ своей оберъ-прокурорской должности? Легче ли для тебя работа?

15 Апрѣля 1798 г. Платонъ Петровичъ сказывалъ мнѣ, что ты въ письмѣ своемъ къ нему жалуешься на худое здоровье: долго ли тебѣ быть хилымъ? Учись у меня быть здоровымъ во всякое годовое время, и во всякомъ расположеніи духа. Ты разсмѣялся на мой счетъ: я люблю, чтобы друзья мои смѣялись; не люблю только, чтобы они бранились. Впрочемъ ни Orlando furioso, ни счастливой Медоръ, найдутъ со мною въ паралель.

Перевожу, печатаю свой Пантеонъ, имѣю иногда пріятныя минуты, иногда очень беспокоюсь, всегда очень люблю тебя.

29 Апрѣля. Мой другъ, кланяюсь тебѣ почти въ ноги: не помянись и сдѣлай. Пишу, кажется, довольно ясно; но вы, дѣловые люди, не очень входите въ просьбы и скоро забываете. Напримѣръ, я два раза писалъ къ тебѣ объ этомъ дѣлѣ; ты обѣщала стараться и вдругъ опять

спрашиваешь, что такое надобно Настасьѣ Ивановнѣ!! Мой другъ! я не много знаю слабую сторону людей; но мнѣ не хочется сказать тебѣ въ нѣкоторомъ смыслѣ: *и ты Брутъ?* О себѣ просить я ни кого не хочу, ни самыхъ тѣхъ, которые увѣряютъ меня въ отрицательной благосклонности — ни самыхъ даже друзей моихъ; но о друзьяхъ прошу смѣло не краснѣясь, и готовъ снести грубый отказъ. Къ тому же просьба моя справедлива, не безразсудная. Тебѣ надобно только спросить, и, если нужно, попросить о законномъ рѣшеніи дѣла въ очередь.

Я изъяснился; поставимъ точку.

Листовъ семь Пантеона пошлю къ тебѣ на той почтѣ.

Время и у насъ хорошо, но я худо имъ пользуюсь.»

Юня 3. «Бѣлосельскій все также милъ; искренно люблю его. Что же скажу о себѣ?... Сладкое и горькое, все перемѣшано въ моей чашѣ; боюсь, чтобы послѣднее не заглушило перваго. Обнимаю тебя нѣжно. Будь какъ можно счастливѣе!

Юня 17-го, 1798г. «Видно, что приказные хлопоты не свойственны душѣ твоей, когда онѣ такъ тревожатъ и гнетутъ ее. Слѣдственно дорого платишь ты за свое Оберъ-Прокурорство. Для такихъ упражненій надобно имѣть самую холодную и песчаную душу; иначе бѣдная пропадетъ съ грусти. Лѣнныя верблюды проходятъ благополучно мертвыя степи каменистой Аравіи: гордой, пламенной конь томится, сохнетъ, умираетъ среди песчаныхъ ея морей.

Ты будешь жить,

Но все тужить.

Для чего я рѣдко пишу? Думаю, что тебѣ нѣтъ времени часто ко мнѣ писать; а я люблю получать отвѣты на письма. Зная нѣсколько сердце человѣческое, знаю и то, что переписка со мною, въ темерешнихъ обстоятельствахъ, не можетъ быть для тебя очень интересна. Увѣренъ въ

дружескомъ твоимъ ко мнѣ расположеніи, но увѣренъ и въ томъ, что ты среди своихъ хлопотъ, надеждъ и страховъ, безъ нѣкотораго принужденія не можешь часто мною заниматься. Однимъ словомъ, скромность, а не лѣнь, бываетъ причиною моего молчанія.

Прости, мой другъ. Люблю и всегда любить тебя буду. Пантеона все еще не могу послать, не имѣя позволенія отъ ценсора.

(*Юля 27.* жалобы на цензуру, см. выше с. 281.)

Августа 18-го. (Послѣ объясненія о Пантеонѣ см. выше с. 279) Развѣ сообщить тебѣ какое *im-promptu!* Изволь. Я увидѣлъ въ одномъ домѣ мраморнаго Амура, и съ позволенія хозяйки исписалъ его карандашомъ съ головы до ногъ.

Сентября 20-го. Я долго не отвѣчалъ на письмо твое для того, что хотѣлъ отвѣчать стихами; но по сю пору не собрался. Свѣжихъ стиховъ нельзя писать безъ углубленія въ самага себя; а меня что-то недопускаетъ продолжительно заняться своими мыслями. Все обѣщаю себѣ, отлагаю до спокойнѣйшаго времени, и перо мое вѣрно бы засохло въ чернилицѣ, естли бы нужда незаставляла меня переводить, и то очень лѣнливо. Иногда забавляюсь только въ воображеніи разными планами. Напримеръ, мнѣ хотѣлось бы написать *два похвальныхъ слова: Петру Великому и Ломоносову...* (см. выше с. 278.)

Ты спросишь: О чемъ я хотѣлъ писать къ тебѣ, въ стихахъ? Объ Абидахъ. Теперь скажу прозою, что со всѣмъ еще не оставилъ намѣренія выдать 3-ю книжку; но если хочешь, то охотно уступаю тебѣ мое право, съ условіемъ, чтобы ты самъ написалъ нѣсколько шэсъ.

Октября 12-го 1798 г. Сердечно благодарю тебя за твое дружеское письмо, любезной мой Иванъ Ивановичъ. Я зналъ уже, чего ты лишился. Любезный намъ Александръ Ивановичъ рано убрался на ту сторону, на другой.

берегъ, откуда съ вѣстью къ намъ ни кто не возвращался, какъ говоритъ Шекспиръ. Разлука, и временная и вѣчная, горестнѣе для тѣхъ, которые остаются на мѣстѣ; отъѣзжающему легче.—Сердце твое сказало и говоритъ тебѣ все, что я сказать могу. Оно излилось въ *эпигр.* которая для меня любезна и трогательна своею простотою и чувствомъ

(Далѣе слѣдуютъ жалобы на цензуру, см. выше. с. 280.)

А пока еще нѣтъ ценсоровъ на чувства нашихъ сердецъ, будемъ любить, что насъ любить, и что намъ кажется мило! Прости, милый другъ! Обнимаю тебя въ мысляхъ со всею нѣжностію.

Р. С. Гаврило Романовичъ въ письмѣ своемъ сказалъ, (говоря о женитбѣ А. А. Плещеева), что и ты намѣренъ жениться. Я согласенъ съ тобою, что добрую жену скорѣе можно найти въ Сарептѣ, нежели на сценѣ большаго свѣта и въ такъ называемой *bonne compagnie*..

Ноября 8. Скажи, по крайней мѣрѣ, что ты не боленъ и не забылъ меня. А я не боленъ и не забылъ тебя. Лѣнивъ по прежнему, въ надеждѣ быть трудолюбивымъ черезъ нѣсколько времени. Однакожъ на сихъ дняхъ отправлю къ тебѣ пакетъ печатныхъ листовъ.

Хочешь ли знать, въ какомъ расположеніи духъ мой! Люди мнѣ почти тошны, а я все еще не могу отъ нихъ, и сержусь самъ на себя. Смотрю на вещи безпристрастнѣе, нежели когда нибудь: тѣмъ лучше, или тѣмъ хуже! Не люблю свѣта, и боюсь скуки въ уединеніи....

Las du monde, que j'apprécie
De ce qu'on nomme *amusement*,
Je voudrais lire.. un baillement
Vient m'avertir, que je m'ennuie;
Plus de piquantes nouveautés;
Tout est dit, tout est répété.
Le plaisir s'use pour les âmes,
Il s'use encore pour les esprits.

Декабря 13-ю, 1798 г. «Стихи отчасти хороши, отчасти изрядны, кромѣ описаній безъ животворнаго духа; это петербургская Н—въ. Ты и милостивъ и жестокъ. Какъ можно вымарать всѣ стихи свои? Они для меня всѣхъ дороже. Воля твоя: я воскрешу ихъ, сниму съ креста или крестъ съ нихъ. Естьли хочешь, можешь что-нибудь поправить; только непременно дозволяю украсить ими Аониды, естьли хочешь, чтобы Аониды были мнѣ милы. Особливо ни какъ не уступлю тебѣ романа, элегій, на исключеніе изъ олада Ломоносова потомства, надписи къ Бупидону, стиховъ къ Румянцову, къ новорожденной—то есть, все хочу напечатать. Можешь не поставить внизу ни одной буквы изъ твоего имени, могу ни кому не сказывать, что это твои стихи; однимъ словомъ, соглашаюсь на всякій договоръ.

«Нынѣшній годъ я буду почти только издателемъ, не написавъ, ничею или очень мало.

«Какъ лѣто было жарко, такъ зима холодна. Вы, дѣловые господа, менѣе нашего чувствительны къ дѣйствіямъ природы; однажъ, естьли ты все еще не носишь парика ни á la Titus, ни a la Brutus, ни à la Caracalla, то голова твоя должна теперь очень забнуть.

Декабря 30-ю 1798 г. Сердечно благодарю тебя, милаго друга, за ласковое, нѣжное заключеніе послѣдняго письма твое; оно меня очень тронуло. Я право думаю быть въ Петербургѣ, только не такъ скоро, отчасти по экономическимъ, отчасти по другимъ обстоятельствамъ; буду же болѣе всего для того, чтобы съ тобою видѣться, поговорить, походить, вмѣстѣ у кого нибудь побывать, вмѣстѣ на что-нибудь посмотреть и проч. Чувствую уже дѣйствіе лѣтъ, которое вливаетъ въ насъ свинцовую тяжесть, гнететъ человѣка къ центру земли, и затрудняетъ для него переходеніе съ мѣста на мѣсто. Но физическая неподвижность не мѣшаетъ моему воображенію летать очень

далеко. Когда Руссiй морозъ заставляетъ меня стучать зубами, и стягивать неприятнымъ образомъ всѣ мои шубы, тогда живо представляю себѣ счастливый климатъ Хижи, Перу, острововъ Св. Елены, Бурбоиа, Филиппинскихъ, и веселюсь мыслію, что тамъ будетъ покоиться прахъ мой, подъ сѣнію вѣчно-цвѣтущихъ, вѣчно-плодоносныхъ деревъ. Тамъ согласился бы я прожить до глубокой старости, разогрѣвая холодную кровь свою теплотою лучей солнечныхъ, а здѣсь боюсь и подумать о сѣдинахъ шестидесятилѣтія. Однакожь не думай, чтобы я такъ скоро намѣренъ былъ отправиться въ южную часть земнаго шара; нѣтъ, прежде побываю въ сѣверномъ Петербургѣ, въ гостяхъ у моего друга Ивана Ивановича.

«Напечатаю, что позволяешь; другое останется въ хаосѣ бумагъ моихъ. Присылай что хочешь и можешь, на почтовыхъ и на долгихъ. Аониды въ ценсурѣ, но у нихъ будетъ еще хвостикъ.»

1799 г.

Февраля 2, къ брату. Я давно не писалъ къ вамъ отъ того, что съ нѣкотораго времени все нездоровъ... Развѣ только весна можетъ возратить мнѣ здоровье и силы. Посылаю вамъ 2 часть Мармонтеля, первую доставлю послѣ, теперь ея нѣтъ въ лавкѣ. Что вамъ сказать новаго? Вездѣ приготовляются къ войнѣ, которая будетъ безъ сомнѣнія очень кровопролитна.

Февраля 7, къ Дмитріеву: Я недѣли три нездоровъ; болѣзнь привела меня въ такое ослабленіе, что я не задохнувшись не могу взойти на самое низкое крыльцо, блѣднѣю, худѣю, и плачу отъ истерики, какъ женщина. Лечусь; но болѣе надѣюсь на весну, нежели на докторовъ, естъли душа моя къ тому времени будетъ спокойна.

Марта 10, къ Дмитріеву. За двѣ твои холодныя записки едва ли должно мнѣ благодарить тебя. Однакожь надѣюсь,

что ледъ приказныхъ дѣлъ не превратитъ въ ледъ твоего сердца; теперъ же и весна наступаетъ. Здоровъ ли ты по крайней мѣрѣ? Я все еще слабъ. Развѣ хорошее время будетъ моимъ лекаремъ. Вообрази, что около двухъ мѣсяцевъ не ниѣмъ удовольствія ходить пѣшкомъ отъ слабости.— Я не перестану жалѣть о томъ, что твоихъ стиховъ будетъ такъ мало въ нынѣшнихъ Аонидахъ. Гдѣ твоя сатира, подражаніе Пóповой? Ради Аполлона пришли ее напечатать.»

Апрѣля 4-10. «Желаю, мой милый, чтобы скорѣе пришло то время, въ которое по словамъ твоимъ, могъ бы ты жить совершенно для музъ и дружбы. Мнѣ весело и воображать это! Тогда, чтобъ не унасть лицомъ въ грязь передъ тобою, и я началъ бы прилежнѣе молиться Аполлону стихами и прозой. Лѣтомъ жили бы мы въ маленькомъ, чистенькомъ домикѣ, на высокомъ берегу Москвы рѣки, въ семи верстахъ отъ города, гдѣ я третьяго году писалъ *Дарованія* и стихи къ *Върной*, давно невѣрной. Мѣсто самое романическое! Тамъ бы два друга, довольно опытные, довольно спокойные, но не совсѣмъ холодные, вспомнивъ иное, засмѣялись—вспомнивъ другое, вздохнули—и эхо рощи засмѣялось бы съ ними, эхо рощи вздохнуло бы съ ними. Изъ чувствъ рождались бы слова, изъ словъ стихи, изъ стиховъ можетъ быть наша слава, по крайней мѣрѣ наше удовольствіе. Гораций прославилъ *Тиволи*, а мы *Самарову юру* превратили бы въ Русскій Геликонъ.»

Мая 18-10. «Что значить холодный тонъ письма твоего, любезный мой Иванъ Ивановичъ? Мнѣ кажется, что я противъ тебя не виновать, и даже не могу быть виноватымъ въ сердцѣ своемъ. Ты можетъ быть улыбнешься; однакожъ я говорю, что чувствую. Впрочемъ готовъ и виниться передъ тобою; но ты жестокій человѣкъ скажешь: *дѣла, дѣла*, а не слова! и строгимъ взоромъ заставишь меня молчать. Дѣла!... Право, мнѣ кажется, что я для

тебя и сдѣлать могъ бы многое. Ты опять разсмѣешься и напомнишь мнѣ... ужинъ за день твоего отъѣзда. Не называй же себя излишно искреннимъ: ты потаилъ отъ меня свое чувство; я узналъ о твоёмъ—какъ сказать?—нѣжномъ неудовольствіи тогда, какъ пылъ столбомъ вилась уже за твоею кибиткою на Петербургской дорогѣ. Это меня тронуло. Оправдываться ли? Мнѣ казалось тогда, что ты мыслями своими былъ уже весь въ Петербургѣ, и я въ отищеніе уѣхалъ. Теперь жалѣю—и въ ожиданіи случая, въ которомъ, вмѣстѣ съ Лафонтеновымъ другомъ, могъ бы я предложить тебѣ кошелекъ и шпагу,

(*N'aurez-vous point perdu tout votre argent au jeu?*

En voici. S'il vous est venu quelque querelle, j'ai mon épee, allons)—Скажу, что люблю тебя всею душою, то есть, знаю цѣну твоего сердца, ума, пріятныхъ и добрыхъ свойствъ твоихъ, и желалъ бы всегда жить съ тобою вмѣстѣ. Обнимаю тебя мысленно—и полно!

«Аониды печатаются довольно скоро. Пьесы твои и въ корректурѣ читаю съ великимъ удовольствіемъ.»

Мая 19. «Аониды скоро выдутъ; есть недурныя пьесы. Я также намаралъ кое-что. Еслили буду по здоровью, то нынѣшнимъ лѣтомъ *стану писать прозою*, чтобы не загрузить умомъ. Въ противномъ случаѣ надобно думать о теплыхъ водахъ. Не вздумаешь ли и ты съѣздить со мною на нѣсколько мѣсяцевъ въ Карлсбадъ или въ Пирмонтъ? Я надѣюсь, что больнымъ дадутъ паспорта.

«Въ какомъ состояніи твоя библіотека? Я умножилъ свою новыми покупками, только не романами, а философскими и историческими книгами.»

Юня 26 «Большую часть времени провожу теперь въ деревнѣ; однакожь здоровье мое худо. Со стороны физики я сталъ совсѣмъ другой человѣкъ.

«Посылаю Аониды, дурно и слѣпо напечатанныя.

«Видишьли иногда Бѣлосельскаго? Напомни ему обо мнѣ; скажи, что и нынѣшній годъ мы пѣли въ Марейнѣ, жалѣя объ его отсутствіи.»

Юля 25. «Какъ давно ни строчки отъ тебя не имѣю.... Впрочемъ непринуждай себя, и если не хочется тебѣ писать къ человѣку, который все́мъ сердцемъ любитъ тебя, то не пиши. Я буду навѣдываться о твоёмъ здорьевѣ въ здѣшнихъ департаментахъ сената.»

«Живу опять въ городѣ, жалѣя о деревнѣ. *C'est là, qu'on est heureux sans trop penser á l'être*, говоритъ Ламбертъ. Если я не былъ щастливъ въ деревнѣ, то по крайней мѣрѣ часто твердилъ этотъ прекрасный стихъ. *C'est toujours quelque chose.*

«Настасья Ивановна хотѣта писать къ тебѣ. *Она давно уже обходится со мною холодно*; но я, бывая у нихъ довольно часто, люблю ихъ по прежнему, и буду гораздо щастливѣе тогда, когда они успокоятся въ разсужденіи своихъ обстоятельствъ.

«Пришли мнѣ Петербургскій журналъ *Новости*; я очень буду благодаренъ.

«Прости, милый Иванъ Ивановичъ! Мнѣ очень хочется, чтобы ты всегда, всегда любилъ меня, и почиталъ вѣрнымъ твоимъ другомъ.»

Къ брату Юля 16. «Спокойствіе въ нѣкоторыя лѣта есть одно изъ первыхъ благъ жизни. Я это начинаю чувствовать.

«Проживъ нѣсколько недѣль въ деревнѣ, сталъ я опять городскимъ жителемъ, и снова принялся за бостонъ, только съ худымъ успѣхомъ. Впрочемъ хотя живу и въ городѣ, однакожъ часто бываю въ полѣ. Окрестности Московскія, всегда мнѣ нравились и нравятся.»

Къ брату Сент. 18 «По сіе время не могу еще выхлопотать нашей родословной. Предки наши все́ находятся, кромѣ родоначальника Семіона; но въ этомъ нѣтъ

нужды: онъ извѣстенъ въ архивѣ по своимъ дѣтямъ. Не можете вообразить, какъ скучно имѣть въ судахъ какое-нибудь дѣло; секретари, регистраторы, ни шагу не дѣлаютъ безъ денегъ, да и взявъ еще не дѣлаютъ. Просьбу я подалъ, и родословную; теперь герольдія посылаетъ запросъ въ архивъ, а когда все это кончится, не знаю.

«Я сталъ гораздо здоровѣе, но только глаза болятъ.

Около этого времени приѣхалъ въ Москву молодой Казанскій купецъ и литтераторъ, авторъ баллады Громвалъ, Каменевъ. Ему хотѣлось познакомиться съ Московскими писателями. Ив. Вл. Лопухинъ представилъ его Ивану Петровичу Тургеневу, который спросилъ его въ шуткахъ, былъ ли онъ у старосты русской литературы, т. е. Хераскова.... «и поручилъ старшему сыну своему съѣздить со мною и рекомендовать меня десятнику литературы, г. Карамзину, который боленъ и нигуда не выѣзжаетъ.»

3 Октября. Каменевъ писалъ къ своему другу, С. А. Москотельникову: «Сію минуту пришелъ я отъ г. Карамзина. Онъ и Дмитріевъ, который былъ у него, приняли меня очень хорошо. Подробности сообщу послѣ.»

Октября 10. «Въ прошедшемъ письмѣ обѣщаль я вамъ сообщить подробности визита моего у г. Карамзина. Вотъ онѣ.

«Въ половинѣ 12 часу, съ старшимъ сыномъ г. Тургенева, поѣхали мы на Никольскую улицу и вошли въ нижній этажъ зелененькаго дома, гдѣ г. Карамзинъ занимаетъ квартиру. Мы застали его, съ Дмитріевымъ, читающаго 5-ю и 6-ю части его путешествія, которыя теперь въ Петербургской ценсурѣ, и скоро, вмѣстѣ съ Московскимъ журналомъ, будутъ напечатаны. Увидивши насъ, Карамзинъ всталъ изъ вольтеровскихъ креселъ, одитыхъ алымъ сафьяномъ, подошелъ ко мнѣ, взялъ за руку и сказалъ, что Иванъ Владимировичъ давно ему обо мнѣ говорилъ, что онъ любитъ знакомиться съ молодыми людьми, любящими литтературу, и, не давши мнѣ ни слова

вымолвить, спросилъ: не я ли присылалъ ему переводъ изъ Базани, и печатанъ ли онъ? Я отвѣчалъ и на то и на другое, какъ можно короче. Послѣ сего начался разговоръ о книгахъ, и оба сочинителя спрашивали меня наперерывъ: какіе языки мнѣ извѣстны? гдѣ я учился? сколько времени? что переводилъ? что читалъ? и не писалъ ли чего стихами? Я отвѣчалъ, что перевелъ оду Блейста.... Карамзинъ спросилъ Тургенева, перевелъ ли онъ переписку Юнга съ Фонтенелемъ изъ «Философіи природы», и начали говорить о сей книгѣ, которой сочинителя онъ не любитъ. Вотъ слова его: «Этотъ авторъ можетъ только нравиться тому, кто имѣетъ *темную* любовь къ литературѣ. Опровергая мнѣнія другихъ, самъ не говорить ничего сноснаго; ожидаешь много, приготовишься—и выйдетъ вздоръ. Нѣтъ плавности въ штилѣ, нѣтъ *зернистыхъ* мыслей; многое слабо, иное *плоско*, и онъ ни чѣмъ не *бриллируетъ*.» Карамзинъ употребляетъ французскихъ словъ очень много; въ десяти русскихъ есть одно французское. L'imagination, sentimens, tourment, énergie, erithète, expression, éxceller, и прочее, повторяетъ очень часто. Стихи съ римами называетъ *поблжденною трудностію*: стихи бѣлые ему нравятся. По его мнѣнію, Русскій языкъ не сотворенъ для поэзіи, а особливо съ римами; что окончаніе стиховъ на глаголы ослабляетъ экспрессию. Перебирая людей, имѣющихъ въ Базани свои бібліотеки, о васъ упомянулъ я, и сказалъ, что трудитесь въ переводѣ Тасса. Да не стихами ли? спросилъ Дмитріевъ. Я отвѣчалъ, что прозою, съ перевода Лебрюнова, и Карамзинъ призналъ этотъ переводъ за самый лучший. Дмитріевъ хвалилъ Фонъ-Визина, Богдановича, но Карамзинъ былъ противнаго мнѣнія, и когда первый читалъ нѣсколько стиховъ изъ поэмы «На разрушеніе Лиссабона». переведенныхъ, какъ онъ говоритъ, Богдановичемъ, то онъ критиковалъ стихи, называя ихъ слабыми и проч.—

Онъ росту болѣе нежели средняго, черноглазъ, носъ довольно великъ, румянецъ неровный и бакенбартъ густой. Говорить скоро, съ жаромъ, и перебираетъ всѣхъ строго. Сожалѣеть, что неумѣлъ воспользоваться отъ своихъ сочиненій. Дмитріевъ росту высокаго, волосовъ на головѣ мало, косъ и худощавъ. Они живутъ очень дружно и обращаются просто, хотя одинъ поручикъ, а другой генераль-поручикъ. Прощаясь со мной, просилъ меня, чтобъ я чаще къ нему ходилъ.» *

«Октября третьяго дня я сдѣлалъ визитъ г. Карамзину, и принять имъ столь же хорошо, какъ и въ первый. Сѣвши въ вольтеровскія свои кресла, просилъ онъ меня, чтобы я сѣлъ на диванъ, возвышенный не болѣе шести вершковъ отъ полу, гдѣ, какъ карла передъ гигантомъ, въ уничижительнѣйшемъ положеніи, имѣлъ удовольствіе съ часъ говорить съ нимъ. Г. Карамзинъ былъ въ совершенномъ дезабильѣ: бѣлый байковый скрутокъ, нараспашку, и медвѣжьи большіе сапоги составляли его одежду. Говоря о новыхъ Французскихъ авторахъ, (которыхъ я очень мало знаю), совѣтовалъ мнѣ читать ихъ, утверждая, что ничѣмъ не можно столь себя усовершенствовать въ истинѣ, какъ прилежнымъ чтеніемъ. Совѣтовалъ мнѣ сочинять что-нибудь въ нынѣшнемъ вкусѣ, и признавался, что до изданія Московскаго Журнала много бумаги имъ перемарано, и что не иначе можно хорошо писать, какъ писавши прежде худо и посредственно. Журналъ его скоро выйдетъ новымъ тисненіемъ. — Комнаты его очень хорошо убраны, и на стѣнахъ много портретовъ Французскихъ и Итальянскихъ писателей; между ними замѣтилъ я Тасса, Метастазія, Франклина, Буфлера, Дюпати и другихъ бельетристовъ. Сколь онъ ни добръ, сколь характеръ его ни кротокъ, но имѣетъ многихъ не-

* «Вчера и сегодня.» Книга 1 ст. 48 — 50.

пріятелей, которые изъ зависти ему вредить стараются. Нѣкто сочинилъ на него сѣдующую глупую эпиграмму:

«Былъ я въ Женевѣ, былъ я въ Парижѣ.

«Спесью сталъ выше, разумомъ ниже».

А на «Бездѣлки» его также кто-то * сдѣлалъ стихи:

«Собравъ свои творенья мелки,

«Русакъ Нѣмецкой надписалъ: «Мои Бездѣлки»,

«А умъ, увидя ихъ, сказалъ:

«Не много дива,

«Лишь надпись справедлива.»

Г. Дмитріевъ, почитатель и другъ Карамзина, узнавши, что послѣдніе стихи сочинены Шатровымъ, отвѣчалъ на нихъ:

А я, хоть и не умъ, но тожь скажу два слова:

Коль будетъ разумъ нашъ во образѣ Шатрова,

Избави, Боже, насъ отъ разума такова.

Окт. 31. «Въ понедѣльникъ былъ я у г. Карамзина и слышалъ отъ него, что одинъ изъ его пріятелей, Баронъ С-тъ, застрѣлился. Онъ удивился его глупости, и не понималъ, какая бы причина понудила 25-ти лѣтняго молодого человѣка.... лишить себя жизни.... Долго разсуждали мы съ г. Карамзинымъ о самоубійствѣ, говорили о Шпигсъ, который умеръ недавно естественною, и о Бруковѣ, умершемъ чрезъестественною смертію. Говорили о вашемъ переводѣ Тасса, и о его и моей ипохондріи, желали оба потерять жизнь параличемъ или апоплексіей, но ни пистолетомъ, и припоминали обычай древнихъ, сожигать тѣла покойниковъ. Я сидѣлъ у него болѣе часа, перебирая разныя матеріи, о которыхъ буду писать послѣ, а теперь извините....»

Отвѣтъ Карамзина на вопросъ о происхожденіи его слога помѣщенъ выше.

Къ Дмитріеву, Октября 24. «Я также надѣюсь, милый Иванъ Ивановичъ, что сердца наши не развынутъ; до гроба буду любить тебя съ дружескою нѣжностію. Ты не веселъ, я также (продолженіе см. выше с. 281).

Къ брату, 29 Ноября. «Болѣзнь, которая въ вашихъ мѣстахъ свирѣпствовала, и въ Москву пришла; здѣсь всѣ больны, или выздоравливаютъ. Я, въ числѣ послѣднихъ, все еще не могу оправиться. Вообще здоровье мое въ худомъ состояннн, и зима для меня очень тяжела. — Вы не отвѣчали мнѣ, братецъ, о нашемъ гербѣ. Надобно непременно вмѣстѣ съ свидѣтельствомъ изъ герольдіи послать и рисунокъ герба. Вы можетъ быть слышали отъ батюшки, изъ какихъ фигуръ онъ состоялъ. Нарисуйте какъ-нибудь, а я велю сдѣлать хорошенько, и пошлю въ Петербургъ. Безъ герба свидѣтельство изъ герольдіи едва ли пойдетъ въ дѣло; книга дворянская названа гербовникомъ для того, что въ нее вносятся гербы фамилій.»

Декабря 14, къ Дмитріеву: «Сердечно, сердечно обрадовался я твоей выгодной отставкѣ, которая даетъ мнѣ надежду жить съ тобою въ одномъ городѣ. Дай Богъ, чтобы ты совершенно былъ здоровъ, и скорѣе къ намъ прїѣхалъ. Сердце мое нетерпѣливо желаетъ обнять друга. Я уже думаю, какъ бы жить съ тобою вмѣстѣ, и въ городѣ и за городомъ. Спокойная жизнь можетъ поправить твое разстроенное здоровье. Здѣсь многіе вмѣстѣ со мною обрадовались прїятному извѣстію, и всѣ желаютъ чтобы ты въ Москвѣ поселился. Я сдѣлался было полуслѣпымъ; и теперь еще глаза болятъ; однакожь увижу тебя издали. Прїѣзжай скорѣе, милый другъ, и прїѣзжай здоровымъ!»

1800.

Къ брату, Марта 7. «Около трехъ недѣль лежалъ я на постелѣ отъ мучительной болѣзни, и для того не писалъ къ вамъ. Здоровье мое въ худомъ состояннн; кажется, что я не доживу до старости. Становлюсь слабъ не по лѣтамъ. Надѣюсь опять на весну. Хочется въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ выѣхать за городъ и подышать чистымъ воздухомъ. — Мальчикъ фореиторъ кажется мнѣ мало

способнымъ къ поваренному искусству. Развѣ не отдать ли Вуколку къ хорошему повару на годъ? Онъ уже нѣсколько времени учился. Доучить его въ годъ просятъ сто рублей. Миѣ надобенъ только лакей, который бы ѣздилъ за мною. Естьли вамъ угодно, то мы помѣнялись бы: я доставилъ бы вамъ чрезъ годъ очень хорошаго повара, а вы миѣ лакея. Впрочемъ, какъ вамъ угодно. Есть ли прикажите, то я отдамъ учиться и мальчика, года на два, потому что ему нельзя прежде выучиться. Между тѣмъ буду искать нанять вамъ повара; но въ какую цѣну? Увѣдомьте, буду ждать вашего отвѣта. И купить хорошаго повара никакъ нельзя; продаютъ однихъ несносныхъ пьяницъ и воровъ.»

Къ Дмитріеву, Марта 28. «Почтенный деревенскій житель, другъ любезнѣйшій, здравствуй! Давно ли въ Петербургъ? Давно ли въ Москвѣ? И вдругъ мыслямъ моимъ надобно искать тебя въ дикихъ сторонахъ Волги, въ древнемъ дворянскомъ замкѣ, противъ утесистой горы, покрытой... не знаю чѣмъ, помнится соснами, какъ ты сказывалъ.

«Беру искреннее участіе въ первыхъ горестныхъ твоихъ чувствахъ, мой другъ. *Одни старье, друіе больнѣ...* Но пріѣздъ твой долженъ былъ утѣшить и старыхъ и больныхъ. Ты какъ фебъ явился для освященія этой мрачности, по крайней мѣрѣ на время. Между тѣмъ весна улыбается на розовомъ облакѣ, и сыплеть на тебя свѣжіе цвѣты свои, за то, что ты нѣкогда воспѣлъ ее пріятнымъ голосомъ, вмѣстѣ съ Богородскими жаворонками. Скажи ей и нынѣ какое нибудь привѣтствіе въ стихахъ. Тебѣ ли молчать, когда говоритъ вся природа? А весною бываетъ она краснорѣчива. Разсыпай богатства поэзіи на богатства природы. Поэтъ и Богъ, Богъ и Поэтъ; дай жизнь и цвѣтъ мыслямъ своимъ о двухъ великихъ предметахъ; онѣ давно уже хранятся въ магазинахъ твоего

ленія. Это не помѣшаетъ тебѣ исполнять должности пансіоннаго содержателя. Поцѣлуй отъ моего имени любезнаго племянника Михаила Александровича Дмитріева; и я любилъ отца его! Между тѣмъ не забывай Москвы; возвратись къ намъ въ срокъ; будь честнымъ человѣкомъ, и сдержи слово. Увидишь, какъ здѣсь хорошо лѣтомъ. Я надѣюсь тотчасъ послѣ святой недѣли переѣхать за городъ на берегъ Москвы-рѣки, гдѣ книги, чай и трубка, будутъ для меня гораздо пріятнѣе. Посылаю тебѣ Хераскова Царя и Сумарокова стихи (Панкратія), въ которыхъ много шутиваго и забавнаго. Онъ имѣетъ талантъ. Скажи мнѣ свое мнѣніе. Я можетъ быть пристрастенъ.

(О Туманскомъ, см. выше с. 282).

«Я пишу теперь *нотицы* къ портретамъ Русскихъ авторовъ; естли хочешь, то пришлю ихъ къ тебѣ. *Бьетъ 11 часовъ, пора ѣхать ужинать.*»

Мая 2. «Не имѣю отъ тебя ни строчки, любезнѣйшій Иванъ Ивановичъ. Даже и десогитъ несоблюденъ Вашимъ Превосходительствомъ: авторъ поэмы Царя нѣсколько разъ спрашивалъ, полюбила ли она тебѣ; а я бѣдный человѣкъ, могъ только отвѣчать: *думаю—увѣренъ—но отвѣта нѣтъ!* Развѣ ты на меня сердить? За что же, любезный? я, право, болѣе нежели когда нибудь, чувствую твою цѣну. Хоть брани, да пиши! Мнѣ и грустно и досадно. Время у насъ несносное: холодъ, снѣгъ, дождь; и на гулянье перваго Мая почти можно было ѣхать въ саняхъ, я хотѣлъ рано убраться за городъ, на берегъ Москвы-рѣки; но теперь и думать нельзя. Одна забава играть въ бостонъ. Что ты дѣлаешь? И когда намъ ждать тебя? *я по уши влѣзъ въ Русскую Исторію; сплю и вижу Никона съ Несторомъ.*»

Мая 20. Кунцово. «Пишу къ тебѣ сидя на высокомъ берегу Москвы-рѣки, подъ тѣнью густыхъ липъ, и взглядывая на обширную равнину, которую вдали ограничи-

ваютъ рощи и пригорки: это мѣсто подарено царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ отцу Натальи Кириловны, и въ окрестностяхъ Москвы нѣтъ ничего ему подобнаго красотою. Хозяинъ живетъ въ Петербургѣ, а я рву ландыши на его лугахъ, отдыхаю подъ вѣтвями его древнихъ дубовъ, пью чай на его балконѣ! Свѣтъ принадлежитъ тому, кто имъ наслаждается: это миритъ меня съ Провидѣніемъ и съ недостойными богачами.»

«Между тѣмъ, любезнѣйшій другъ, гуляя и наслаждаясь, и говоря съ Ж. Жакомъ десять разъ въ день: о grand Etrel! о grand Etrel! считаю остальные волосы на головѣ своей, и вздыхаю. Прошли тѣ лѣта, въ которыя сердце мое ждало къ себѣ въ гости какого-то неописаннаго счастья; прошли годы тайныхъ надеждъ и сладкихъ мечтаний! Разсудокъ говоритъ, что мнѣ уже поздно думать о прибрѣтеніяхъ; даже и то, чѣмъ теперь наслаждаюсь, должно мало по малу исчезнуть. Такъ на шумномъ пиршествѣ утружденные гости, одинъ за другимъ, расходятся, музыка умолкаетъ, залы пустѣютъ, свѣчи гаснутъ, и хозяинъ ложится спать—одинъ! Природа очень многое хорошо устроила; но для чего сердце не теряетъ желаній съ потерей надежды? Для чего, на примѣръ, переставъ быть любезными, хотимъ еще быть любимыми? Ne lâs!

Что можетъ быть любви и счастья быстрѣе?

Какъ мигъ ихъ время пролетитъ.

Но дружба намъ еще милѣе,

Когда отъ насъ любовь и счастье бѣжитъ.

Къ брату, Мая 22. «Съ того времени, какъ стало у насъ ясно и тепло, живу я въ шести верстахъ отъ города, на высокомъ берегу Москвы-рѣки, и вижу такія прекрасныя мѣста, какихъ не много въ Россіи. Желалъ бы я, любезнѣйшій братъ, чтобы вы на Монгольферовомъ шарѣ слетали ко мнѣ въ гости, на чашку кофе, и погуляли со мною въ здѣшнихъ липовыхъ рощахъ. Мы поговорили

бы о всякой всячинѣ, а всего болѣе о томъ, сколько я люблю васъ.»

«Здоровье мое, слава Богу! въ хорошемъ состояніи. Деревенскій чистый воздухъ есть для меня бальзамъ.»

Къ брату, Юня 19. «Я надѣюсь, любезнѣйшій братъ, видѣться съ вами. Мнѣ больно думать, что уже столько лѣтъ мы не видались. Жизнь течетъ скоро; и почему знать, долго-ли мнѣ остается быть въ здѣшнемъ свѣтѣ. Не могу назначить времени; но сердечно желаю съѣздить въ Симбирскъ.»

Юня 20, къ Дмитріеву. «Давно я не писалъ къ тебѣ, любезнѣйшій другъ И. И. и не для того, чтобы мстить тебѣ за долгое твое молчаніе — и не для того чтобъ завеселился — и не для того, чтобы заработался — а всего больше не для того, чтобы рѣдко о тебѣ думалъ. Напротивъ, мнѣ очень грустно, что ты далѣе и далѣе отлагаешь свой отъѣздъ. Жертвовать собою похвально и добродѣтельно; однакожь я позволяю себѣ желать, чтобы ты скорѣе пріѣхалъ въ Москву. Я былъ бы счастливѣе съ тобою. Въ обстоятельствахъ моихъ сдѣлалась нѣкоторая переменна, и бѣдный другъ твой часто груститъ тихонько. И бостонъ уже меньше веселитъ меня; для того чаще бываю дома.»

«На этихъ дняхъ сочинилъ я маленькую драматическую сельскую піэсу для фамиліи Салтыковыхъ; она будетъ или не будетъ представлена черезъ три дня. На той почтѣя пришлю къ тебѣ пѣсни, которыми заключается эта бездѣлка. Я перемѣнилъ квартиру, и живу на Никольской въ домѣ Шмита, еслии не покойнѣе, то по крайней мѣрѣ красивѣе.»*

Ноября 15. «Ты не забудешь моей просьбы: ни слова, ни слова о моемъ расположеніи къ извѣстной тебѣ дѣвицѣ! Она есть нечто иное, какъ страшная безразсудная кокетка. По всей вѣроятности есть что нибудь между ею

* См. въ Дополненіяхъ отрывокъ изъ записокъ Вителя.

и маленькимъ музыкантомъ; одинъ человекъ увѣрялъ меня въ этомъ. И такъ могу ли любить ее? Съ книжницею я почти разстался. Суди теперь, на какую погоду указываетъ барометръ моего сердца! Назови все это дурачествомъ, если хочешь; но будь только спокойнѣе и люби меня!»

Декабря 3. «Ты спрашиваешь, что будемъ писать другъ къ другу? Я, что вздумается; ты, что занимаетъ тебя. Говори мнѣ о своей грусти, если это не умножаетъ ее; можешь быть увѣренъ, что говоришь не камню. Я же съ своей стороны увольняю тебя отъ слушанія моихъ жеремιάдъ, и не буду жаловаться на вѣтренность Амариллъ моихъ, которыя (слава Богу!) перепрыгнули отъ меня за ручей и скрылись въ лѣсу. Пусть тамъ гоняются за ними Сильваны, Фауны и простые Сатиры! Третьяго дня исполнилось мнѣ 35 лѣтъ отъ роду.

Время нравится прошло;
А плѣняться не плѣняя,
И пылать не воспаляя,
Есть худое ремесло.

говоритъ Нижегородскій поэтъ, надъ которымъ мы столько смѣялись у Хераскова. Онъ же еще, подражая Деянлю, изобразилъ портретъ меланхолича въ слѣдующихъ стихахъ:

Что меланхолича? нѣжнѣйшій переливъ
Отъ скорби и тоски къ утѣхамъ наслажденья,
Веселья нѣтъ еще, и нѣтъ уже мученья;
Отчанье прошло—но слезы осушивъ,
Она еще взглянуть съ улыбкою не смѣетъ,
И голову свою на руку опустивъ,
Видъ злополучія (отца ея) имѣетъ.
Блаженство для нее задумавшись мечтать.
И на прошедшее взоръ нѣжный обращать.

Бьюсь объ закладъ, что ты не можешь столько желать своего возвращенія въ Москву, сколько я желаю его. Хотя бы къ веснѣ далъ мнѣ тебя Богъ! говоритъ мое

сердце. Въ прошедшее лѣто я жилъ, наслаждался и мучился въ Кунцовѣ; въ слѣдующее хотѣлось бы мнѣ тамъ пожить съ сердцемъ на рукѣ, съ дружбою, съ натурою и съ книгами. Настасья Ивановна собирается въ Петербургъ; только недостатокъ въ деньгахъ ее задерживаетъ. Поздравь отъ меня сына ея Александра Алексѣевича, съ дочерью Надеждою. У него Надежда родилась, у меня надежда умерла.

Декабря 20, къ брату. Вы видѣли братецъ въ газетахъ, что родъ нашъ включенъ въ дворянскую книгу, и гербъ Государемъ подписанъ.

Декабря 23... «Настасья Ивановна конечно уже пріѣхала въ Петербургъ.—Encore une fois: ne lui parlez jamais de mes sentimens pour la demoiselle, que je n'aime plus, et qui est amoureuse de ce petit musicien, que vous connoissez; j'en sais tous les details. Elle même a dit, qu'elle m'avoit aimé, mais que ce sentiment s'est éteint dans son coeur, attaché pour toujours à Lerroy. Telles sont les femmes, et je ne peux que la plaindre. Извини, любезный, что я пишу тебѣ объ этомъ, общавъ не говорить о своихъ Амариллахъ. Оправданіе мое въ Обертовой баснѣ, которую ты очень хорошо перевелъ.»

«Знай, что 31 Декабря, въ 12 часовъ ночи, я буду пить твое здоровье съ добрыми пріятелями, которые у меня будутъ ужинать.»

Безъ означенія числа. «Платонъ Петровичъ сказывалъ мнѣ, что для тебя наняли квартиру; однакожь я надѣюсь, что ты согласишься жить со мною въ одномъ домѣ, на Никольской у Шмита, гдѣ во второмъ этажѣ есть прекрасныя комнаты, (шесть или семь), а я живу внизу, чисто и покойно. Какъ хочется, чтобы планъ мой состоялся! Это послужило бы къ большому для моего сердца утѣшенію; я привязался бы къ тебѣ, какъ вѣрная твоя собачка, однакожь не мѣшая тебѣ ничего дѣлать. Стали бы читать, писать, говорить о дружбѣ и чувствовать ее....

Quand l'infortune ôte le droit de plaire,
Interesser est le bien le plus doux.

Что жъ можетъ быть любви и счастья быстрѣе?
Какъ мигъ ихъ время пролетитъ.
Но дружба намъ еще милѣе;
Богда отъ насъ любовь и счастье бѣжить.

1801.

Къ брату, Февраля 19. «Теперь не имѣю болѣе надежды видѣть васъ въ Москвѣ; зима проходитъ. Мнѣ право это очень грустно. Къ тому же и писемъ отъ васъ не получаю. Хотя увѣдомляйте о себѣ искренно преданнаго вамъ брата, если судьба не дастъ намъ жить вмѣстѣ! Я здоровъ, но все не такъ какъ прежде; жду по обыкновенію своему, съ великимъ нетерпѣніемъ весны, чтобы выѣхать за городъ; и болѣе ничего не желаю.»

Къ брату, Февраля 26. «Вручитель сего, комиссіонеръ Алексѣя Ѳедоровича Малиновскаго, посланъ имъ за дѣломъ въ Симбирскъ. Одолжите меня, любезнѣйшій братецъ: будьте покровителемъ. Алексѣй Ѳедоровичъ мой искренній пріятель, и все, что для него сдѣлаете, будетъ для меня. Впрочемъ, дѣло его не очень важно и не мудрено, какъ увидите.»

Къ брату, Марта 9. «Голова моя такъ дурна, что я съ трудомъ пишу.»

Это было послѣднее письмо Карамзина въ царствованіе Императора Павла. Въ слѣдующемъ, *отъ 26 Марта*, онъ поздравлялъ брата уже съ «новымъ любезнымъ нашимъ Императоромъ.»

ГЛАВА V.

1801—1803.

Восшествіе на престолъ И. Александра I.—Назидательныя двѣ оды.—Первая женитьба.—Письма къ брату В. М. и Дмитріеву.—Истор. похвальное слово И. Екатеринѣ.—Примѣчательныя мѣста.—Вѣстникъ Европы и его цѣль.—Отличіе отъ М. Ж.—Мысли о своеобытности, объ отечественномъ языкѣ, о модѣ, о пользѣ авторства, о благихъ слѣдствіяхъ просвѣщенія.—Крестьянскій вопросъ.—Политическія статьи.—О круго-свѣтномъ путешествіи.—Объ уединеніи.—Грамматическія изслѣдованія.—Историческія статьи.—Семейныя обстоятельства въ 1802 г.—Бончина первой жены.—Обозрѣніе литературной дѣятельности.—Послѣдователи и подражатели.—Противники.—Заключеніе Вѣстника Европы.—Назначеніе исторіографомъ.

Съ восшествіемъ на престолъ Императора Александра, Марта 12, 1801 года, начинается новая эра какъ въ жизни литературной Карамзина, такъ и домашней. Онъ ожилъ и привѣтствовалъ молодого Императора стихами, примѣчательными, если не въ отношеніи къ поэзіи, то въ отношеніи къ мыслямъ, ими выраженнымъ, къ желаніямъ, которыя, какъ видно изъ нихъ, господствовали въ большинствѣ Русскаго образованнаго общества. Съ этой точки зрѣнія стихи дѣлаются историческимъ документомъ.

Карамзинъ съ самаго начала сравниваетъ восшествіе на престолъ Александра съ явленіемъ *весны*, которая приноситъ съ собою забвеніе всѣхъ мрачныхъ ужасовъ *зимы*, радуется обѣщанію Александра даровать златой вѣгъ Екатерины, когда милость вѣщала ея устами, и къ

повиновенію подданные подвигались одною любовію. Поэтъ предвидитъ много великихъ дѣлъ, но желаетъ, чтобы они относились только къ миру, къ справедливому суду, къ благимъ нравамъ, коихъ дворъ долженъ представлять образцы; предостерегаетъ молодаго государя отъ льстецовъ, которые описываются самыми черными красками; воспоминаетъ о Пожарскихъ и Долгорукихъ, и заключаетъ изображеніемъ музъ, которыя, снимая съ себя черный крещъ, ожидаютъ благоволенія Александра.

Предложимъ нѣсколько строфъ изъ первой оды:

Россіи Императоръ новый!
На тронъ будь благословенъ.

.
.

*Такъ милья весны явленье
Съ собой приноситъ намъ забвенье
Всѣхъ мрачныхъ ужасовъ зимы;
Сердца съ природой разцвѣтають,
И плодъ во цвѣть предвкушаютъ.
Весна у насъ, съ Тобою мы!*

Какъ Ангелъ Божій Ты сіяешь,
И съ первымъ словомъ обещаешь
Екатерины въкъ златой,

.

Когда монаршими устами
Вѣщала милость къ намъ одна,
И правила людей сердцами;
Когда и самая вина
Не рѣдко ея отпускалась;
И власть Монаршая казалась
Намъ властію любви одной.

.

Воспитанникъ Екатерины!
Тебя Господь Россіи далъ.
Ты урну нашея судьбины
Для дѣлъ великихъ воспріялъ:

*Еще изъ много въ ней хранится,
И духъ мой сладко веселится,
Предвидя ихъ блестящій рядъ!*

Монархъ! довольно лавровъ славы,
Довольно ужасовъ войны!

.
Ты будешь Геніемъ покоя;
Въ Тебѣ увидимъ мы Героя
Дилъ мирныхъ, правоты святой.
Возьми не мечъ.—*вѣсы* Ѡмиды,
И бѣдный, не страшась обиды,
Найдесть безъ злата вѣкъ златой.

.
Да царствуютъ *благе нравы!*
Примѣръ Двора для насъ законъ.

Есть родъ людей, Царю опасный:
Ихъ рѣчи какъ Идійскій медъ;
Улыбки милы и прекрасны;
По виду — ихъ добрѣе нѣтъ.
Они всегда хвалить готовы,
Всегда хвалы ихъ тонки, новы;
Имъ имя — *хитрые льстецы;*
Снаружи Ангеламъ подобны,
Но въ сердцѣ ядовиты, злобны,
И въ козняхъ адскихъ мудрецы.

Они отечества не знаютъ;
Они не любятъ и Царей,
Но быть любимцами жслаютъ;
Корысть ихъ богъ: лишь служить ей.
Имъ доступъ къ трону заградится,
Твой слухъ во вѣкъ не обольстится
Коварной, ложной ихъ хвалой.
Ты будешь окруженъ друзьями,
Россіи лучшими сынами;
Отечество одно съ тобой.

Довольно патриотовъ вѣрныхъ,
Готовыхъ жизнь ему отдать,

Друзей добра нелицемѣрныхъ,
 Могущихъ истину сказать!
 У насъ *Пожарскіе* сіяли,
 И *Долморукіе* дерзали
 Петру отъ сердца говорить;
 Великій соглашался съ ними,
 И звалъ ихъ братьями своими.
Монархъ! Ты будешь насъ любить!
 Ты будешь солнцемъ просвѣщенья.
Наукой счастливъ человекъ,

.....
 Се *Музы*, къ трону приступаю,
 И *черный крестъ* съ себя снимая,
Твоей улыбки милой ждуть!
Онъ сердца людей смягчаютъ;
Онъ жизнь нашу улаживаютъ,
 И *образу Царя поютъ!*

Молодой Государь прислалъ поздравителю брилліантовый перстень.

Въ одѣ на коронацію Карамзинъ выразился еще тверже и яснѣе: онъ говоритъ здѣсь о законахъ для самодержавія, объ его отвѣтственности предъ небомъ, о гнусности рабства, о достоинствахъ свободы, которая одна только можетъ любить, а не бояться, которая всѣмъ мила и согласна съ пользою Царей, которая можетъ существовать только тамъ, гдѣ есть уставы. Поэтъ идетъ въ храмъ исторіи, гдѣ надѣется найти дѣла Александровы.

.....
Сколь трудно править самовластно,
 И *небу лишь отчетъ давать!*

Но сколь велико и прѣкрасно
 Дѣлами Богу подражать!
 Его велѣнья въ прѣпоны;
 Но Онъ творя благотворитъ.
Онъ можетъ все, но свято чтитъ
Его жъ премурости законы—

И вѣбъ въ сiяніи своемъ
Течетъ всегда однимъ путемъ.

Короны блескомъ ослѣпленный
Другой въ подвластныхъ зреть—рабовъ;
Но Ты, душею просвѣщенный,
Не терпишь стука ихъ оковъ,
Тебѣ одна любовь прелестна:
*Но можно ли рабу любить?
Ему ли благодарнымъ быть?
Любовь со страхомъ не совмѣстна;
Душа свободная одна
Для чувствъ ея сотворена.*

*Сколь необузданность ужасна,
Столь ты, свобода, намъ мила,
И съ пользою Царей согласна;
Ты вѣчно славой ихъ была.
Свобода тамъ, гдѣ есть уставы,
Гдѣ добрый не боясь живетъ;
Тамъ рабство, гдѣ законовъ нѣтъ,
Гдѣ гибнетъ правый и неправый!
Свобода мудрая свята,
Но равенство одна мечта.*

Трудись!.. давай уставы намъ,
И будешь первый по дѣламъ!

Молодые наши судьи, къ которымъ нѣсколько разъ обращалъ я рѣчь, упрекаютъ старыхъ литераторовъ въ лести. Никакая лесть не опасна, сопровождаемая подобными уроками. Нѣтъ, Ломоносовъ, Державинъ, Карамзинъ, не льстили, какъ видимъ изъ приведенныхъ нами мѣстъ, а учили Царей между строками мнимой лести, которая принадлежала къ языку, обычаю, формамъ времени.

Ода представлена была Государю Д. П. Троицкимъ, котораго Карамзинъ просилъ слѣдующимъ письмомъ:

«Естьли приложенные стихи могутъ заслужить Ваше лестное для меня вниманіе, то я осмѣлился бы утрудить

Васъ просьбою вручить ихъ нашему Монарху въ знакъ патриотическаго усердія Московскихъ Музъ.—Зная, сколь время драгоцѣнно для Министра, помогающаго великому Государю управлять великою Имперією, не могу надѣяться, чтобы я получилъ отъ Васъ дозволеніе лично изъявить Вамъ мою сердечную признательность и то высокочитаніе, съ которымъ имѣю честь быть» и проч.

Въ Апрѣлѣ 1801 года Карамзинъ женился на Елисаветѣ Ивановнѣ Протасовой, родной сестрѣ его «единственнаго, несравненнаго друга,» Настасьи Ивановны Плещеевой. Всѣ сестры ся любили и уважали издавна Николая Михайловича, но меньшая между ними, Елизавета Ивановна, съ особеннымъ замѣтнымъ увлеченіемъ.

Увѣдомляя своего брата, отъ 24 Апрѣля, онъ пишетъ, что знаетъ ее уже 13 лѣтъ, слѣдовательно познакомился съ нею въ 1788 году.

Онъ жилъ съ ней только годъ и былъ очень счастливъ, что видно изъ слѣдующихъ писемъ къ брату:

Апрѣля 24-го. «Съ сердечною радостію увѣдомляю васъ, что я женился на Елисаветѣ Ивановнѣ Протасовой, которую 13 лѣтъ знаю и люблю. Она проситъ вашей дружбы, въ которой вы ей конечно не откажете. Женильба, не переѣнила образа моей жизни: я живу въ прежнихъ своихъ небольшихъ комнатахъ, съ тобою разницею, что буду чаще дома. Она имѣетъ только 150 душъ, но я надѣюсь, что съ моимъ доходомъ мы проживемъ годъ безъ нужды и съ пріятностію.—Посылаю вамъ, братецъ, стихи мои, за которые Императоръ прислалъ мнѣ перстень.»

Мая 26. «Мы къ вамъ давно не писали отъ того, что болѣе трехъ недѣль живемъ въ деревнѣ; хотя не далѣе восьми верстъ отъ Москвы, но въ городѣ бываемъ рѣдко, и то на часъ. Къ счастію время хорошо,

а мѣста еще лучше; живемъ въ тишинѣ, иногда принимаемъ нашихъ Московскихъ пріятелей, читаемъ, а всего болѣе прогуливаемся. Я совершенно доволенъ своимъ состояніемъ и благодарю судьбу. Моя Лизанька очень мила, и если бы вы узнали ее лично, то конечно бы полюбили еще болѣе, нежели по одной обязанности родства.»

«Посылаю вамъ экземпляръ прежнихъ стиховъ моихъ, и еще новые, сочиненные мною на прибытіе Императора въ Москву; но онъ уже раздумалъ быть къ намъ до коронаціи, и стихи мои остались подъ спудомъ.»

«Посылаю при семъ отпускную человѣку моему, Александру. Сдѣлайте одолженіе, братецъ, прикажите отдать ему ее, а у него взять ту, которую я далъ ему прежде, и по которой онъ былъ бы воленъ только по моей смерти. Я не хочу, чтобы онъ ждалъ конца моей жизни: пусть лучше будетъ совсѣмъ воленъ.»

Къ брату, безъ числа. «Здоровье Лизаньки не перестаетъ меня беспокоить: она даетъ мнѣ надежду быть отцомъ; но я очень боюсь за нее. Здѣсь все праздники, спектакли и веселья, изъ которыхъ я, по своему обыкновенію, никакого не видалъ, и не жалѣю.

«Императоръ уже нѣсколько разъ ужиналъ у Салтыкова, Графа Ивана Петровича, разъ у Апраксина, у Куракина, а вчера былъ пиръ у Шереметева, который, какъ говорятъ, стоилъ болѣе 100.000 рублей. Министръ Панинъ отставленъ: на его мѣсто Кочубей. Намѣстниковъ уже не будетъ, что кажется, и гораздо лучше. Посылаю къ вамъ, братецъ, пятую часть писемъ, а скоро пришлю и шестую.»

Къ брату, Августа 20. «Богъ знаетъ сколько времени я къ вамъ не писалъ, и отъ васъ не получалъ писемъ! Мы жили въ деревнѣ, не столько для удовольствія, сколько для здоровья моей Лизаньки, которая однажъ все не очень здорова. Вотъ, что меня единственно теперь тревожитъ!

Впрочемъ я могъ бы совершенно быть доволенъ судьбою и наслаждаться жизнью.»

«Государь расположенъ ко всякому добру, и мы при немъ отдохнули. Главное то, что можемъ жить спокойно. Теперь здѣсь все готовятъ къ прибытію Двора: слышно, что онъ будетъ здѣсь не далѣе мѣсяца. Квартиры страшно дороги. Я нанялъ для одного Нѣмецкаго посланника двѣ комнаты за 150 руб. въ мѣсяць.»

Къ брату. Декабря 31. «Мы съ Лизанькою живемъ тихо и смирно; я работаю, сижу дома и оставилъ почти всѣ свои знакомства, будучи веселъ и счастливъ дома.»

Въ этому періоду жизни его относятся стихи къ Эмили:

Подруга милая моей судьбы смиренной,
 Которою меня Богъ щедро наградилъ.
 Ты хочешь, чтобы я, спокойствомъ усыпленной,
 Для свѣта и для Музъ, талантъ мой пробудилъ,
 И людямъ о себѣ напомнилъ бы стихами.
 О чемъ же мнѣ писать? Въ душѣ моей одна,
 Одна живая мысль; я разными словами
 Могу сказать одно; душа моя полна
 Любовію святой, блаженствомъ и тобою:
 Другое кажется мнѣ скучной суетою,

Сказавъ, что малого всегда для насъ довольно;
 Что мы за все Творца благодаримъ,
 Не просимъ чуждаго, но счастливы своимъ,
 Моля Его, чтобъ Онъ безъ всякихъ прибавленій
 Оставилъ все какъ есть, въ самихъ насъ и вокругъ:
 Я вкусу знатоковъ не ужоу, мой другъ!
 Гдѣ тутъ поэзія? гдѣ вымысль украшеній?
 Я истину скажу; но кто повѣритъ ей?

Нѣтъ, милая! любовь супруговъ такъ священна,
 Что быть должна отъ глазъ нечистыхъ сокровенна;
 Ей сердце—храмъ святой, свидѣтель Богъ, не свѣтъ.

Карамзинъ занятъ былъ въ это время сочиненіемъ историческаго похвальнаго слова Императрицѣ Екатеринѣ. Ободренный благосклоннымъ принятіемъ двухъ его одъ, онъ вознамѣрился выразить яснѣ свои мысли о желаемомъ правленіи въ описаніи дѣйствій покойной Государыни, которыми стяжала она отъ своихъ поданныхъ признательную память. Примѣръ казался для Карамзина гораздо дѣйствительнѣе и полезнѣе всѣхъ умозрительныхъ, отвлеченныхъ разсужденій, тѣмъ болѣе что онѣ могли подать еще поводъ къ невыгоднымъ предположеніямъ о не прошенныхъ наставленіяхъ, а по мнѣнію другихъ, пожалуй, и дерзкихъ. Подъ щитомъ Императрицы Екатерины, которой имя было возвѣщено въ первомъ манифестѣ, Карамзинъ могъ гораздо безопаснѣе проводить свои собственныя мысли, гораздо успѣшнѣе внушать желаемыя понятія о царскихъ обязанностяхъ. Къ чести его надо припомнить, что онъ здѣсь совершенно забылъ несправедливость покойной Государыни, въ отношеніи къ нему самому, или объяснилъ ее безпристрастно естественностію ея подозрѣній, тѣми тревожными обстоятельствами и опасеніями, среди которыхъ она провела послѣдніе года своей жизни. Въ томъ и другомъ случаѣ онъ умѣлъ возвыситься надъ личностями, частностями и мелочами, и хотѣлъ только почтить благодѣянія, разлитыя Императрицею Екатериною въ отечествѣ, чтобъ ея преемникъ выразумѣлъ основательно ея достоинства, и вмѣнилъ себѣ въ обязанность идти по слѣдамъ ея. Въ этомъ отношеніи онъ пропустилъ, и даже не намекнулъ, объ ея недостаткахъ и порокахъ, потому ли что считалъ неприличнымъ принимать на себя слишкомъ явно учительный тонъ, опасался оскорбить тѣмъ самолюбіе молодого Государя, или считалъ неумѣстнымъ, въ похвальномъ словѣ, судить обо всей жизни въ совокупности, или, наконецъ, до того очаровался общимъ впечатлѣніемъ блистательнаго царствованія, что всѣ тѣни ускользнули въ эту минуту отъ его вниманія.

Ли́ра настроена была Карамзинымъ на высокою лады, и языкъ его въ этомъ сочиненіи возвышается вмѣстѣ съ предметомъ. Это уже не языкъ писемъ Русскаго путешественника и прочихъ произведеній его молодости: языкъ Похвального слова, вмѣстѣ съ Мареею Посадницею, о которой вскорѣ говорить будемъ, составляетъ переходъ къ Исторіи, возбуждаетъ новыя надежды на развитіе автора. и служитъ доказательствомъ его разнообразныхъ способностей. Вы слышите истиннаго оратора, который переходитъ отъ силы въ силу, и начинаетъ говорить со властію.

Екатерина безсмертна своими побѣдами, мудрыми законами и благодѣтельными учрежденіями. По этому простому и ясному чертежу Карамзинъ на нѣсколькихъ страницахъ представляетъ полное обзорѣніе ея царствованія въ картинѣ, истинно великолѣпной. Надо удивляться его умѣнью выбирать главныя существенныя черты изъ множества подробностей, его искусству представлять ихъ въ образахъ привлекательныхъ, соблюдать соразмѣрность въ частяхъ.

Первое отдѣленіе о войнахъ Турецкой, Польской, Шведской, не представляло особыхъ трудностей для таланта, давая краски такъ сказать готовыя, но второе и третье, по сухости предмета, по множеству составныхъ частей, ихъ относительной неизвѣстности, требовали усилій необыкновенныхъ: поддержать занимательность, упростить, сдѣлать доступнымъ для всѣхъ содержаніе — и авторъ вышелъ изъ своего труднаго положенія со славою.

Мы предложимъ здѣсь важнѣйшія мѣста изъ слова, примѣчательныя по силѣ, вѣрности, смѣлости, мыслей, или по краснорѣчію.

«Нетерпѣливыя мысли мои слѣшать устремиться на многіе предметы, столь любезныя уму и сердцу, но прежде,» говоритъ Карамзинъ въ началѣ, «означимъ главное и столь новое для Россіи, благодѣяніе Екатерины, которое изъясняетъ всѣ другія, и которое всѣми другими изъяс-

няется; означимъ, такъ сказать, священный корень нашего блаженства во дни ея—сію печать, сей духъ всѣхъ ея законовъ....»

Въ чемъ же Карамзинъ полагаетъ это главное и новое для Россіи благодѣяніе? (Слушатели! обращайтесь вниманіе и взвѣшивайте каждое слово). Въ чемъ состоитъ по его мнѣнію, священный корень нашего блаженства, (*слышите священный корень нашего блаженства*), печать, духъ законовъ Императрицы Екатерины?

«Она уважила въ подданномъ санъ человѣка, моральнаго существа, созданнаго для счастья въ гражданской жизни.... Екатерина преломила обвитый молніями жезлъ страха, взяла масличную вѣтвь любви, и не только объявила торжественно, что Владыки земные должны властвовать для блага народнаго, но всѣмъ своимъ долготѣнимъ царствованіемъ утвердила сію вѣчную истину, которая отнынѣ будетъ правиломъ Россійскаго трона: ибо Екатерина научила насъ разсуждать и любить въ порфирѣ добродѣтель....» (т. I, с. 302).

Замѣьте выраженія: «Владыки земные *должны* властвовать для блага народнаго, и это есть вѣчная истина, *утвержденная* Екатериною, потому что она *научила* насъ *разсуждать* и любить въ порфирѣ добродѣтель.»

Послушаемъ, на какихъ основаніяхъ держится необходимость самодержавія.

«Мое сердце не менѣ другихъ воспламеняется добродѣтелью великихъ республиканцевъ; но сколь кратковременны блестящія эпохи ея? Сколь часто именемъ свободы пользовалось тиранство, и великодушныхъ друзей ея заключало въ узы? Чье сердце не обливается кровью, воображая Мильтіада въ темницѣ, Аристиду, Фемистокла въ изгнаніи, Сократа, Фокіона, піющихъ смертную чашу, Катона самоубійцу, и Брута, въ послѣднюю минуту жизни уже не вѣрщаго добродѣтели? Или людямъ надлежитъ

быть Ангелами, или всякое многосложное правленіе, основанное на дѣйстви различныхъ волей, будетъ вѣчнымъ раздоромъ, а народъ несчастнымъ орудіемъ нѣкоторыхъ властолюбцевъ, жертвующихъ отечествомъ личной пользѣ своей» (312).

А въ чемъ состоитъ сущность самодержавія, по мнѣнію Императрицы Екатерины?

«Самодержавство разрушается, когда Государи думаютъ, что имъ надобно изъяслять власть свою не слѣдованіемъ порядку вещей, а перемѣною онаго, и когда они собственные мечты уважаютъ болѣе законовъ. Самое высшее искусство Монарха состоитъ въ томъ, чтобы знать, въ какихъ случаяхъ должно употребить власть свою: ибо благополучіе самодержавія есть отчасти кроткое и снисходительное правленіе. Надобно, чтобы Государь только ободрялъ, и чтобы одни законы угрожали. Несчастливо то государство, въ которомъ никто не дерзаетъ представить своего опасенія въ разсужденіи будущаго, не дерзаетъ свободно объявить своего мнѣнія.»

Въ заключеніе Императрица Екатерина говоритъ: Все сіе не можетъ понравиться ласкателямъ, которые безпрестанно твердятъ земнымъ Владыкамъ, что народы для нихъ существуютъ. Но *мы думаемъ, и за славу себя смѣляемъ сказать, что мы живемъ для нашего народа*.... (327.)

Карамзинъ, приводя эти слова, восклицаетъ: «я вѣрю своему сердцу: ваше конечно то же чувствуетъ. . . . Сograждане! сердце мое трепещетъ отъ восторга: удивленіе и благодарность производятъ его. Я лобызаю Державную руку, которая, подъ божественнымъ *вдохновеніемъ* души, начертала сіи священные строки! Какой Монархъ на тронѣ дерзнулъ—такъ, *дерзнулъ* объявить своему народу, что слава и власть Вѣнценосца должны быть подчинены благу народному; что не подданные существуютъ для Монарховъ, но Монархи для подданныхъ?» (327).

Послушайте еще, на какія правила и на какіе законы Императрицы Екатерины указываетъ Карамзинъ, относительно оскорбленій величества, нѣкогда столь страшныхъ и грозныхъ въ Римѣ.

«Монархиня говоритъ, что истинное оскорбленіе Величества есть только злодѣйскій умыселъ противъ Государя; что не должно наказывать за слова, какъ за дѣйствія, кромѣ случая, въ которомъ возмутитель проповѣдуетъ мятежь и бунтъ, слѣдственно уже дѣйствуетъ; что слова всего болѣе подвержены изъясненіямъ и толкамъ, что безразсудная нескромность не есть злоба, что для самаго безумнаго поносителя имени Царей должно опредѣлить только исправительное наказаніе; что въ самодержавномъ Государствѣ хотя и нетерпимы язвительныя сочиненія, но что ихъ не должно вмѣнять въ преступленіе: ибо излишняя строгость въ разсужденіи сего будетъ *униженіемъ разума, производитъ невѣжество, отнимаетъ охоту писать и гаситъ дарованія ума.*» (317).

«Монархиня презирала и самыя дерзкія сужденія, когда оныя происходили единственно отъ легкомыслія, и не могли имѣть вредныхъ слѣдствій для Государства: ибо она знала, что *личная безопасность* есть первое для человѣка благо, и что безъ нее жизнь наша, среди всѣхъ иныхъ способовъ счастья и наслажденія, есть вѣчное, мучительное безпокойство. Сей броткій духъ правленія, доказательство ея любви, и самаго почтенія къ человѣчеству, долженствовалъ быть и главнымъ характеромъ уставовъ ея.» (304).

А чѣмъ можетъ законодатель достигнуть главной цѣли своей: доставить гражданамъ счастье?

«Дайте способъ человѣку въ каждомъ гражданскомъ отношеніи находить то счастье, для котораго Всевышній сотворилъ людей: ибо главнымъ корнемъ злодѣяній бываетъ несчастье. Но чтобы люди умѣли наслаждаться и быть

довольными во всякомъ состояніи мудраго политическаго общества, то *просвѣтите ихъ.*» (319).

Выпишемъ прекрасныя слова Карамзина о распростра-неніи просвѣщенія въ народѣ.

«Екатери́па учреди́ла вездѣ въ малѣйшихъ городахъ, и въ глубинѣ Сибири—*народныя училища*, чтобы разлить, такъ сказать, богатство свѣта по всему Государству. Особенная комиссія, изъ знающихъ людей составленная, должна была устроить ихъ, предписать способы ученія, издавать полезнѣйшія для нихъ книги, содержащія въ себѣ главныя, нужнѣйшія чело́вѣку свѣдѣнія, которыя возбуждаютъ охоту къ дальнѣйшимъ успѣхамъ. служатъ ему ступеню къ высшимъ знаніямъ, и сами собою уже достаточны для гражданской жизни народа, выходящаго изъ мрака невѣжества. Сіи школы, образуя учениковъ, могутъ образовать и самыхъ учителей, и такимъ образомъ быть всегдашнимъ и время отъ времени яснѣйшимъ источникомъ просвѣщенія. Онѣ могутъ и должны быть полезнѣе всѣхъ Академій въ мірѣ, дѣйствуя на первые элементы народа; и смиренный учитель, который дѣтямъ бѣдности и трудолюбія изъясняетъ буквы, ариѳметическія числа, и рассказываетъ въ простыхъ словахъ любопытные случаи исторіи, или, развертывая нравственный катихизисъ, доказываетъ, сколь нужно и выгодно чело́вѣку быть добрымъ, въ глазахъ философа почтенъ не менѣе Метафизика, котораго глубокомысліе и тонкоуміе самымъ ученымъ едва вразумительно; или мудраго Натуралиста, Физиолога, Астронома, занимающихъ своею наукою только нѣкоторую часть людей. Если въ городахъ, едва возникающихъ, въ семъ новомъ твореніи Екатерины, еще не представлялось глазамъ ни палатъ огромныхъ, ни храмовъ великолѣпныхъ: то въ замѣну сихъ, иногда обманчивыхъ свидѣтельствъ народнаго богатства, взоръ патріота читалъ на смиренныхъ домахъ любезную надпись: *Народное училище* и сердце

его радовалось. Кто благоговѣлъ предъ Монархиней среди ея пышной столицы и блестящихъ монументовъ славнаго царствованія, тотъ любилъ и восхвалялъ просвѣтительницу отечества, видя и слыша, въ стѣнахъ мирной хижины, юнаго ученика градской школы, окруженнаго внимающимъ ему семействомъ, и съ благородною гордостію толкующаго своимъ родителямъ, нѣкоторыя простыя, но любопытныя истины, свѣданныя имъ въ тотъ день отъ своего учителя.»

Присоединимъ здѣсь отзвывы Карамзина о цензурѣ, которые полезно имѣть въ виду и въ настоящее время.

«Чтобы еще болѣе размножить народныя свѣдѣнія чрезъ книги, она дозволила заведеніе вольныхъ типографій, учредивъ благоразумную цензуру, необходимую въ гражданскихъ обществахъ: ибо разумъ можетъ уклоняться отъ истины, подобно какъ сердце отъ добродѣтели, и неограниченная свобода писать столь же безразсудна, какъ неограниченная свобода дѣйствовать. Но какъ мудрый законодатель, избѣгая самой тѣни произвольнаго тиранства, запрещаетъ только явное зло, и многія сердечныя слабости предастъ единому наказанію общаго суда или мнѣнія: такъ Монархиня запрещенію цензуры подвергала только явный развратъ въ важнѣйшихъ для гражданского благоденствія предметахъ, оставляя здравому разуму гражданъ отличать истины отъ заблужденій; то есть, она сдѣлала ее не только благоразумною, но и *снисходительною*, и сею довѣренностію къ общему суду приобрѣла новое право на благодарность народную.» (с. 368).

Вотъ какъ отзывается Карамзинъ объ отношеніяхъ Императрицы Екатерины къ ученымъ и литераторамъ.

«Европа съ удивленіемъ читаетъ ея переписку съ ними— и не имъ, но ей удивляется. Какое богатство мыслей и знаній! какое проицадіе! какая тонкость разума, чувства и выраженій! Та, которая истощила своимъ царствованіемъ всѣ похвалы міра, умѣла съ неподражаемою пріят-

востію хвалить цвѣты словесности, игру остроумія, тонкую черту сердца. Сколь трогательно такое снисхожденіе въ Монархинѣ! Но *унижается* ли Монархъ, когда онъ сходитъ иногда съ высокаго трона, становится на ряду съ людьми, и, будучи любимцемъ судьбы, платитъ дань уваженія любимицамъ природы, отличнымъ дарованіямъ? Власть разума не можетъ ли еще служить нѣкоторою опорой для политической власти? По крайней мѣрѣ она можетъ быть орудіемъ во всемъ, что касается до блага человѣчества. Такъ думалъ Августъ, Лудовикъ XIV, Фридрихъ и Петръ Великій, который, приходя къ Бюргаву, къ Лейбницу, говорилъ: *я съ вами человекъ!* Такъ думала и Великая Екатерина.» (с. 365).

...«Монархиня сама имѣла вкусъ и любила нашу словесность, и если бы она своими ободреніями не произвела еще болѣе талантовъ, виною тому независимость Генія, который одинъ не повинуется даже и Монархамъ, дикъ въ своемъ величїи, упрямятъ въ своихъ явленіяхъ, и часто самыя не благопріятныя для себя времена предпочитаетъ блестящему вѣку, когда мудрые Цари съ любовію призываютъ его для торжества и славы.» (364).

Въ изложеніи наказа, учрежденія о губерніяхъ, правъ Сената, наставленія Губернаторамъ, устава благочинія, городского положенія, грамоты дворянству и проч. нельзя не удивиться, повторяю, искусству выбирать главныя, существенныя черты изъ множества подробностей и частностей, и искусству представлять ихъ въ наглядныхъ такъ сказать образахъ.

Приведемъ великогѣбное описаніе собранія депутатовъ въ Москвѣ,

...«Теперь представляется мнѣ славнѣйшая эпоха славнаго царствованія! Россія имѣла многіе частныя, мудрые законы, но не имѣла Уложенія, которое бываетъ основаніемъ государственнаго благоустройства. Обыкновенные

умы довольствуются временными, случайными постановленіями. Великіе хотятъ системы, цѣлаго, вѣчнаго. Что Петръ Великій не могъ сдѣлать, то рѣшилась исполнить Екатерина. Чувствуя важность сего предпріятія, она хотѣла раздѣлить славу свою съ подданными, и признала ихъ достойными быть совѣтниками трона. Повелѣвъ собраться государственнымъ чинамъ, или депутатамъ изъ всѣхъ судилицъ, изъ всѣхъ частей имперіи, чтобы они предложили свои мысли о полезныхъ уставахъ для государства — Великая говоритъ: «Наше первое желаніе есть видѣть народъ Россійскій столь счастливымъ и довольнымъ, сколь далеко человѣческое счастье и довольствіе можетъ на сей землѣ простираться. Симъ учрежденіемъ даемъ ему опытъ нашего чистосердечія, великія довѣренности и прямыя материнскія любви, ожидая со стороны любезныхъ подданныхъ благодарности и послушанія.» Воображеніе мое не можетъ представить ничего величественнѣй сего дня, когда въ древней столицѣ нашей соединились обѣ гемисферы земли, явились всѣ народы, разсѣянные въ пространствахъ Россіи, языковъ, обычаевъ и вѣръ различныхъ: потомки Славянъ побѣдителей, Нормановъ, ужасныхъ Европѣ, и Финновъ, столь живо описанныхъ перомъ Тацитовымъ; мирные пастыри Южной Россіи, Лапландскіе ихтіофаги и звѣриными кожами одѣянные Камчадалы. Москва казалася тогда столицею вселенныя, и собраніе Россійскихъ депутатовъ сеймомъ міра. Имъ торжественно объявили волю Монархини — и Самоѣдъ удивился слыша, что нужны законы людямъ. * Имъ торжественно вручили сей славный наказъ Екатерины, писанный ею для избранной комиссіи депутатовъ, переведенный на всѣ Европейскіе языки, зеркало ея великаго ума и небеснаго человѣколюбія. Никогда еще Монархи не говорили съ

* Сей анекдотъ извѣстенъ: Самоѣдамъ никакъ не могли изъяснить, что такое законъ.

поданными такимъ плѣнительнымъ языкомъ! Никто, никто еще изъ сѣдящихъ на тронѣ столь премудро не изъяснялся, не имѣлъ столь обширныхъ понятій о наукѣ управлять людьми, о средствахъ народнаго счастья.»(309).

Изъ первой части мы ограничимся здѣсь изображеніемъ двухъ славнѣйшихъ полководцевъ, Румянцева и Суворова.

«Если таланты изъясняются сравненіемъ, то Задунайскаго можно назвать Тюренемъ Россіи. Онъ былъ мудрый полководецъ; зналъ своихъ непріятелей, и систему войны образовалъ по ихъ свойству; мало вѣрилъ слѣпому случаю и подчинялъ его вѣроятностямъ разсудка; казался отважнымъ, но былъ только проицателемъ; соединялъ рѣшительность съ тихимъ и яснымъ дѣйствіемъ ума; не зналъ ни страха, ни запальчивости; берегъ себя въ сраженіяхъ единственно для побѣды; обожалъ славу, но могъ бы снести и поражение, чтобы въ несчастіи доказать свое искусство или величіе; обязанный геніемъ натурѣ, прибавилъ къ ея дарамъ и силу науки; чувствовалъ свою цѣну, но хвалилъ только другихъ; отдавалъ справедливость подчиненнымъ, но огорчился бы въ глубинѣ сердца, если бы кто нибудь изъ нихъ могъ сравниться съ нимъ талантами: судьба избавила его отъ сего неудовольствія. — Такъ думаютъ о Задунайскомъ благодарные ученики его.» (288).

Изображеніе Суворова: «Взятіемъ Варшавы заключилъ при Екатеринѣ подвиги свои герой, котораго имя и дѣла гремятъ еще въ Италиі и на вершинахъ Альпійскихъ; на котораго еще взираетъ изумленная Европа, хотя мы уже осыпали цвѣтами гробъ его — цвѣтами, не кипарисами: ибо смерть великаго воина, который полвѣка жилъ для славы, есть торжество безсмертія, и не представляетъ душѣ ничего горестнаго. Суворовъ былъ одинъ изъ самыхъ счастливѣйшихъ полководцевъ: подобно Александру сколько разъ сражался, столько разъ побѣждалъ: подобно Цесарю, ставилъ себя выше Рока, и Рокъ не смѣлъ изблѣчить

его въ ошибкѣ. Что въ другомъ оказалось бы гибельною дерзостію, то въ немъ было спасительною надежностію и предчувствіемъ событія; онъ не шель а летѣлъ къ славѣ, которая съ своей стороны встрѣчала его на половинѣ пути. Вся военная теорія его состояла въ трехъ словахъ: взоръ, быстрота, ударъ — но взоръ сей даетъ природа не многимъ; но быстрота сія была тайною для самыхъ Аннибаловъ; но ударъ сей разителенъ единственно съ Суворовымъ. Онъ не любилъ ничего, кромѣ славы, ко всему прочему казался невнимательнымъ, нечувствительнымъ. Объ искусствѣ военнаго начальниковъ судилъ всегда по ихъ успѣхамъ: какихъ же высокихъ мыслей надлежало ему быть о самомъ себѣ? Нѣкоторые считали его жестокимъ — несправедливо: онъ любилъ побѣжденныхъ непріятелей, ибо они были живыми его трофеями. Суворовъ не хотѣлъ знать, какъ искусный полководецъ спасаетъ остатки разбитой арміи, ибо мѣсто перваго несчастнаго сраженія было-бъ ему могилою.»

Замѣтимъ, что о Потемкинѣ Карамзинъ упомянулъ только въ числѣ любимцевъ императрицы, а не соединилъ его имени съ именами Румянцова и Суворова.

Мы кончимъ наше обозрѣніе Похвальнаго слова приведеніемъ тѣхъ словъ Карамзина о приобретенныхъ отъ Польши земляхъ, изъ которыхъ читатели увидятъ, какъ старо настоящее о нихъ у насъ понятіе.

«Монархія взяла въ Польшѣ только древнее наше достояніе, и когда уже слабый духъ ветхія республики не могъ управлять ея пространствомъ. Сей раздѣлъ есть дѣйствіе могущества Екаторины и любви ея къ Россіи. Полоцкъ и Могилевъ возвратились въ нѣдра своего отечества, подобно дѣтямъ, которыя, бывъ долго въ горестномъ отсутствіи, съ радостію возвращаются въ нѣдра счастливаго родительскаго семейства. (289).

Польская республика была всегда ирацищемъ гордыхъ вельможъ, театромъ ихъ своевольства и народнаго униженія (297).

Похвальное Слово представлено было Государю также Д. П. Трощинскимъ, къ которому Карамзинъ написалъ слѣдующее письмо:

Милостивый Государь!

Обязанный вашей милостію, снова прибѣгаю къ ней. — Я осмѣлился сочинить похвальное Слово Екатеринѣ и приписать Императору. — Не откажите, милостивый государь, представить оное, вмѣстѣ съ *письмомъ*, Его Величеству, и быть моимъ покровителемъ въ случаѣ, если вы найдете, что сіе произведение стоитъ какого нибудь вниманія. — Второй экземпляръ прилагаю для библіотеки Вашего Высокопревосходительства.

Карамзинъ получилъ за поднесеніе своего сочиненія Государю брилліантами осыпанную табакерку, о коей такъ увѣдомляетъ брата (*12 февраля*): Императоръ прислалъ мнѣ за похвальное Слово Екатеринѣ табакерку съ брилліантами. Такимъ образомъ имѣю отъ него уже три подарка: два перстня и табакерку. —

Карамзинъ благодарилъ Трощинскаго слѣдующимъ письмомъ:

«Прося Ваше Высокопревосходительство изъявить предъ тронемъ мою всеподданнѣйшую благодарность за безцѣнный знакъ Монаршаго благоволенія, свидѣтельствую вамъ особенную сердечную мою признательность, какъ за ваше милостивое письмо, такъ и за оказанное мнѣ покровительство.»

Литературныя обстоятельства перемѣнились наконецъ къ лучшему, что доказывалось и свободнымъ напечатаніемъ, какъ одъ, такъ и Слова. Цензура обѣщала быть не столь строгою, какъ прежде. Печать не представляла болѣе опасностей. Книгопродавцы и типографщики приступили къ Карамзину съ убѣжденіями издавать журналъ, надѣясь

получить большія выгоды чрезъ любимаго публикою писателя, который такъ долго молчалъ, и котораго такъ нетерпѣливо желала читать она. Между ними особенно усердствовалъ любитель словесности, университетскій книгопродавецъ и типографщикъ, Иванъ Васильевичъ Поповъ, отъ котораго въ молодости я самъ это слышалъ.

Не даромъ въ первой статьѣ журнала было сказано: «хорошія сочиненія кажутся теперь книгопродавцамъ золотомъ, торговля ихъ возрастаетъ.»

Вотъ какъ начала распространяться любовь къ чтенію въ Россіи, съ легкой руки Карамзина.

Онъ рѣшился выступить опять на журнальное поприще, на которое давно уже вызывалъ его Дмитріевъ.

Имя данное имъ своему журналу было: Вѣстникъ Европы.

Къ брату онъ писалъ 31 Декабря, и просилъ собирать подписчиковъ. «Вы меня одолжите, если соберете нѣсколько охотниковъ для моего журнала. Онъ будетъ вѣрно доставленъ, если вы увѣдомите, кому и гдѣ его надобно.»

Цѣль Вѣстника Европы, желанія издателя, выражены такъ въ письмѣ къ нему, которымъ начинается первая книжка:

«Въ Россіи литература можетъ быть еще полезнѣе, нежели въ другихъ земляхъ: чувство въ насъ новѣе и свѣжѣе; изящное тѣмъ сильнѣе дѣйствуетъ на сердце, и тѣмъ болѣе плодовъ приносить. *Сколь благородно, сколь утѣшительно помогать нравственному образованію такою великою и сильною народомъ, какъ Россійскій; развивать идеи, указывать новыя красоты въ жизни, питать душу моральными удовольствіями и сливать се въ сладкихъ чувствахъ со благомъ друиыхъ людей!* И такъ я воображаю себѣ великій предметъ для словесности, одинъ достойный талантовъ.»

«Сколько разъ, читая любопытные Европейскіе журналы, въ которыхъ теперь, такъ сказать, всѣ лучшіе авторскіе

умы на сценѣ, желалъ я внутренно, чтобы какой нибудь Русскій писатель вздумалъ и могъ *избирать* пріятнѣйшее изъ сихъ иностранныхъ цвѣтниковъ и пересаживать на землю отечественную. *Сочинять* журналъ одному и трудно и невозможно; достоинство его состоитъ въ разнообразіи, котораго одинъ талантъ (не исключая даже и Вольтерова) никогда не имѣлъ. Но разнообразіе пріятно хорошимъ выборомъ; а хорошій выборъ иностранныхъ сочиненій требуетъ еще хорошаго перевода. Надобно, чтобы пересаженный цвѣтокъ не лишился красоты и свѣжести своей.»

Въ объявленіи на второй годъ (1803) Карамзинъ выразилъ цѣль свою подробнѣе: «Вѣстникъ будетъ сообразно съ его титуломъ, содержать въ себѣ главныя Европейскія новости въ литературѣ и въ политикѣ, все, что покажется намъ любопытнымъ, хорошо написаннымъ, и что выходитъ во Франціи, Англіи, Германіи и проч. Не большія піесы можемъ помѣщать *цѣлыя*, а изъ *важнѣйшихъ* книгъ дѣлать извлеченіе. Такимъ образомъ лучшіе авторы Европы должны быть въ нѣкоторомъ смыслѣ нашими *сотрудниками* для удовольствія Русской публики; а намъ остается изображать ихъ мысли, какъ умѣемъ. Не многіе получаютъ иностранные журналы, а многіе хотятъ знать, *что и какъ* пишутъ въ Европѣ: *Вѣстникъ* можетъ удовлетворять сему любопытству, и при томъ съ нѣкоторою пользою для языка и вкуса. Намъ пріятно думать, что въ Грузіи или въ Сибири читаютъ самыя тѣ піесы, которыя (двумя или тремя мѣсяцами прежде) занимали Парижскую и Лондонскую публику. Сверхъ того въ *Вѣстникѣ* будутъ и Русскія сочиненія въ стихахъ и прозѣ; но издатель желаетъ, чтобы они могли безъ стыда для нашей литературы мѣшаться съ произведеніями иностранныхъ авторовъ. Всякій истинный талантъ, рожденный дѣйствовать на умы въ своемъ отечествѣ, украшать словесность и языкъ, имѣетъ право требовать себѣ мѣста въ журналѣ, удостоенномъ

вниманія публики: обѣщаемъ ему нашу искреннюю благодарность. Мы не *аристократы* въ литературѣ. Смотримъ не на имена, а на произведенія, и сердечно рады способствовать извѣстности молодыхъ авторовъ. Желаемъ и просимъ также, чтобы намъ сообщали всякія любопытныя извѣстія изъ разныхъ мѣстъ Россіи, анекдоты, патріотическія мысли и замѣчанія.—Что принадлежитъ до критики новыхъ Русскихъ книгъ, то мы не считаемъ ее истинною потребностію нашей литературы, (не говоря уже о непріятности имѣть дѣло съ безпокойнымъ самолюбіемъ людей). Въ авторствѣ полезнѣе быть судимымъ, нежели судить. Хорошая критика есть роскошь литературы: она рождается отъ великаго богатства; а мы еще не Крезы. Лучше прибавить что нибудь къ общему имѣнію, нежели заняться его оцѣнкою. Впрочемъ не заикаемся говорить иногда о старыхъ и новыхъ Русскихъ книгахъ, только не входимъ въ рѣшительное обязательство быть критиками.—Въ политическомъ отдѣленіи будутъ какъ извѣстія, такъ и разсужденія; постараемся, чтобы читатели Русскихъ вѣдомостей не находили его излишнимъ. Не преступая границъ благоразумной осторожности, можемъ брать изъ Англійскихъ газетъ любопытные и забавные анекдоты, и проч. и проч.—Наконецъ скажемъ, что мы издаемъ журналъ для *всей* Русской публики, и хотимъ не учить, а единственно занимать ее пріятнымъ образомъ, не оскорбляя вкуса ни грубымъ невѣжествомъ, ни варварскимъ слогомъ. Честолюбіе наше не простирается далѣе.»

Вѣстникъ Европы имѣеть другой характеръ, чѣмъ Московскій журналъ. Тамъ господствовали отвлеченные вопросы, литература, искусство, теорія,—здѣсь занимаютъ первое мѣсто вопросы общественные. Цѣль журнала: знакомить читателей съ Европою, сообщать имъ свѣдѣнія обо всемъ, что тамъ происходитъ замѣчательнаго и любопытнаго. Читатели изъ двухнедѣльныхъ ясныхъ обо-

зрѣній Карамзина понимали яснѣе и узнавали короче положеніе Европы, чѣмъ узнается оно изъ ежедневныхъ нашихъ газетъ. Политическія статьи Карамзина въ высшей степени примѣчательны по своей ясности, вѣрности, убѣдительно-сти, мастерству изложенія. Ихъ читаешь до сихъ поръ съ такимъ любопытствомъ, какъ повѣсти. Столько ума, остроты, спокойствія, независимости! Карамзинъ предлагалъ свое мнѣніе о событіяхъ, о характерахъ дѣйствующихъ лицъ, напр. Бонапарте и Питта, о замыслахъ Французскаго правительства, объ ошибкахъ союзниковъ, объ упадкѣ Швейцаріи, объ отношеніи къ ней Франціи, о высадкѣ; даже о частныхъ мѣрахъ правительствъ, напр. объ учрежденіи почетнаго легіона, какъ опытный, дальновидный, самостоятельный, и вмѣстѣ краснорѣчивый публицистъ.

Второе мѣсто въ журналѣ занимали внутреннія дѣла, — не тѣ, которыя имѣютъ это названіе въ нашихъ фельетонахъ: Карамзинъ подавалъ свой голосъ почти о всѣхъ главныхъ недостаткахъ и злоупотребленіяхъ общественныхъ, — голосъ кроткій, нѣжный, челоуѣколюбивый, которымъ никакое самолюбіе не могло оскорбиться, и въ которомъ до сихъ поръ можно найти много поучительнаго.

Наконецъ въ Вѣстникѣ Европы начали появляться историческіе опыты, одинъ другаго удачнѣе, которыми онъ пробовалъ перо- (не теряя ни на минуту давняго намѣренія посвятить свой талантъ исторіи).

Во всякой почти книжкѣ Вѣстника было по собственной статьѣ Карамзина, кромѣ переводовъ.

Поговоримъ о главныхъ статьяхъ, и извлечемъ изъ нихъ примѣчательныя мѣста, какъ образчики его сужденій о насущныхъ Русскихъ предметахъ въ его время.

Въ статьѣ «О любви къ отечеству и народной гордости» онъ хочетъ возбудить сознаніе народнаго достоинства, начинавшее у насъ слабѣть, осуждаетъ пристрастіе къ ино-

страннымъ языкамъ, въ ущербъ стечественному, возстаетъ противъ подражательности, и призываетъ къ самобытной дѣятельности. Всѣ его слова мы можемъ повторить и теперь: такъ туго идетъ у насъ внутреннее развитіе, и такъ далеко онъ видѣлъ!

«Я не смѣю думать, чтобы у насъ въ Россіи было много патріотовъ; но мнѣ кажется, что мы излишне *смирены* въ мысляхъ о народномъ своемъ достоинствѣ — а смиреніе въ политикѣ вредно. Кто самага себя не уважаетъ, того безъ сомнѣнія и другіе уважать не будутъ.»

«Не говорю, чтобы любовь къ отечеству долженствовала ослѣплять насъ и увѣрять, что мы всѣхъ и во всемъ лучше; но Русскій долженъ по крайней мѣрѣ знать цѣну свою. Согласимся, что нѣкоторые народы вообще насъ просвѣщеніе: ибо обстоятельства были для нихъ счастливы; но почувствуемъ же и всѣ благодѣянія судьбы въ разсужденіи народа Россійскаго; станемъ смѣло на ряду съ другими, скажемъ ясно имя свое, и повторимъ его съ благородною гордостью». (II, с. 468)

«Мы никогда не будемъ умны чужимъ умомъ и славны чужою славою: Французскіе, Англійскіе авторы могутъ обойтись безъ нашей похвалы; но Русскимъ нужно по крайней мѣрѣ вниманіе Русскихъ. *Расположеніе души моей, слава Богу, со всѣмъ противно сатирическому и бранному духу*; но я осмѣляюсь попенять многимъ изъ нашихъ любителей чтенія, которые, зная, лучше Парижскихъ жителей, всѣ произведенія Французской литературы, не хотятъ и взглянуть на Русскую книгу. Того ли они желаютъ, чтобы иностранцы увѣдомляли ихъ о Русскихъ талантахъ? Пусть же читаютъ Французскіе и Нѣмецкіе критическіе журналы, которые отдають справедливость нашимъ дарованіямъ, судя по нѣкоторымъ переводамъ. Кому не будетъ обидно походить на Даламбертову мамку, которая, живучи съ нимъ, къ изумленію своему услышала отъ другихъ, что онъ

умный человекъ? Нѣкоторые извиняются худымъ знаніемъ Русскаго языка; это извиненіе хуже самой вины. Оставимъ нашимъ любезнымъ свѣтскимъ дамамъ утверждать, что Русскій языкъ грубъ и непріятенъ; что *chagnant* и *séduisant*, *expansion* и *vapeurs*, не могутъ быть на немъ выражены, и что, однимъ словомъ, не стоитъ труда знать его. Кто смѣетъ доказывать дамамъ, что онѣ ошибаются? Но мужчины не имѣютъ такого любезнаго права судить ложно. Языкъ нашъ выразителенъ не только для высокаго краснорѣчія, для громкой, живописной поэзіи, но и для нѣжной простоты, для звуковъ сердца и чувствительности. Онъ богатѣе гармонією, нежели Французской; способнѣе для изыянія души въ тонахъ; представляетъ болѣе *аналогическихъ* словъ, то есть сообразныхъ съ выражаемымъ дѣйствіемъ: выгода, которую имѣютъ одни коренные языки! Бѣда наша, что мы все хотимъ говорить по Французски, и не думаемъ трудиться надъ обработываніемъ собственнаго языка: мудрено ли, что не умѣемъ изъяснить имъ нѣкоторыхъ тонкостей въ разговорѣ? Языкъ важенъ для патріота; и я люблю Англичанъ за то, что они лучше хотятъ *свистать* и *шипеть* по Англійски съ самыми нѣжными любовницами своими, нежели говорить чужимъ языкомъ, извѣстнымъ почти всякому изъ нихъ.» (с. 473)

«Есть всему предѣлъ и мѣра: какъ человекъ, такъ и народъ начинаетъ всегда подражаніемъ; но долженъ со временемъ быть *самъ собою*, чтобы сказать: *я существую морально!* Теперь мы уже имѣемъ столько знаній и вкуса въ жизни, что могли бы жить, не спрашивая, какъ живутъ въ Парижѣ и въ Лондонѣ? что тамъ носить, въ чемъ ѣздить, и какъ убираютъ дома? Патріотъ спѣшитъ присвоить отечеству благодѣтельное и нужное, но отвергаетъ рабскія подражанія въ бездѣлкахъ, оскорбительныя для народной гордости. *Хорошо и должно учиться; но юре и челоузьку и народу, который будетъ всегдашнимъ ученикомъ.*»

Подобныя мысли Карамзинъ выразилъ еще яснѣе въ отрывкѣ: «Странность,» (с. 606) который мы помѣстимъ здѣсь сполна: такъ оно идетъ къ явленіямъ нашего времени.

«Французъ, который жилъ долго въ Россіи и возвратился въ свое отечество, публикуетъ оттуда въ Московскихъ газетахъ, что онъ близъ Парижа завелъ пансіонъ для Русскихъ молодыхъ дворянъ, и приглашаетъ родителей отправить къ нему изъ Россіи дѣтей своихъ на воспитаніе, обѣщая учить ихъ всему нужному, особливо же языку Русскому! Живучи въ уединеніи, я не знаю, что другіе подумали о такомъ объявленіи. Мнѣ кажется оно болѣе смѣшнымъ, нежели досаднымъ: ибо я увѣренъ, что наши дворяне не захотятъ воспользоваться благосклоннымъ предложеніемъ господина NN. Французы вѣтрены были и будутъ! Снисходительный человѣкъ во многомъ извиняетъ ихъ *leкомысліе*. Иначе какъ вздумать, чтобы родители въ отечествѣ нашемъ не имѣли способовъ воспитывать дѣтей, и могли безразсудно удалить ихъ отъ себя, забыть священный долгъ свой, и ввѣрить судьбу юныхъ сердець чужому, неизвѣстному человѣку? Мы готовы платить Французамъ, или другимъ иностранцамъ, за уроки въ ихъ языкахъ, которые нужны для благороднаго Россіянина, и служить ему средствомъ просвѣщенія: у насъ есть деньги! но у насъ есть и разсудокъ. Мы знаемъ первый и святѣйшій законъ природы, что мать и отецъ должны образовать нравственность дѣтей своихъ, которая есть главная часть воспитанія; мы знаемъ, что всякой долженъ расти въ своемъ отечествѣ и заранѣе привыкать къ его климату, обычаямъ, характеру жителей, образу жизни и правленія; мы знаемъ, что въ одной Россіи можно сдѣлаться хорошимъ Русскимъ — а намъ, для государственнаго счастья, не надобно ни *Французовъ*, ни *Анличанъ*! Пусть въ нѣкоторыя лѣта молодой человѣкъ, уже пригтовленный къ основательному разсужденію, ѣдетъ въ чужія

земли узнать Европейскіе народы, сравнять ихъ физическое и гражданское состояніе съ нашимъ, чувствовать даже и самое ихъ превосходство во многихъ отношеніяхъ! Я не боюсь за него: сердце юноши оставляетъ у насъ предметы нѣжнѣйшихъ чувствъ своихъ; оно будетъ стремиться къ намъ изъ отдаленія; подъ яснымъ небомъ Южной Европы онъ скажетъ: *хорошо; но въ Россіи семейство мое, друзья, товарищи моего дѣтства!* Онъ будетъ многому удивляться, многое хвалить, но не полюбитъ никакой страны болѣе отечества. Человѣкъ можетъ иногда ненавидѣть землю, въ которой онъ жилъ долго; но всегда, всегда любитъ ту, въ которой воспитывался: истина важная для отцевъ семейства и понятная для всякаго разума! Впечатлѣнія юности составляютъ главную драгоцѣнность души; они всего для насъ любезнѣе, подобно какъ самый простой весенній цвѣтокъ радуетъ насъ болѣе пышной лѣтней розы. Мѣсто, которое напоминаетъ человѣку первыя дѣйствія сердца и разума его, будетъ для него пріятнѣйшимъ мѣстомъ въ свѣтѣ. Если отецъ пошлетъ десятилѣтняго сына своего на пять или на шесть лѣтъ въ чужую землю, то чужая земля будетъ для сына отечествомъ: она дастъ ему первыя нравственныя, сильныя чувства, и сама натура привяжетъ его къ ней милыми, неразрывными узами. Возрастъ отрока есть развитіе нравственности и души; отъ 10 до 15 лѣтъ рѣшится судьба нашей жизни и чувствительности.»

«Когда благоразумный человѣкъ на долго ѣдетъ въ какую нибудь землю, то онъ старается заранѣе узнать ея обычаи, и если не дѣломъ, то хотя воображеніемъ, привываетъ къ нимъ, зная, что непривычка къ образу мыслей и жизни тѣхъ людей, съ которыми намъ ежедневно быть должно, производитъ для насъ многія, существенныя непріятности. А сынъ мой, которому опредѣлено жить и умереть въ Россіи, поѣдетъ образовать душу

свою во Францію? Ему надобно знать Русскихъ, съ которыми у него одно гражданское и нравственное счастье: а я пошлю его къ Французамъ! Положимъ, что всѣ Европейскіе народы съ нѣкотораго времени сближаются между собою характеромъ; но различіе все еще велико, и на всегда останется въ свойствахъ, обычаяхъ и нравахъ, происходящихъ отъ климата, образа правленія, судьбы нашихъ предковъ и другихъ причинъ, еще не изъясненныхъ философами.»

«Господинъ NN., учредитель Парижскаго пансіона, скажетъ намъ: «вы должны согласиться, что человѣкъ еще важнѣе гражданина: а человѣкъ можетъ лучше образоваться во Франціи, нежели въ Россіи.» Первое справедливо: на второе не согласимся. Мы уже, слава Богу! не варвары, у насъ есть всѣ способы просвѣщенія, какіе только могутъ найтись во Франціи; и тамъ и здѣсь учатъ одному, по однимъ авторамъ и книгамъ. Самый Французскій языкъ можно въ Петербургъ или въ Москвѣ узнать такъ же хорошо, какъ въ Парижѣ; положимъ, что и не такъ хорошо: но нѣкоторые совершеннѣйшіе его отѣнки награждаютъ ли за нравственный и политическій вредъ чужестраннаго воспитанія? Природный языкъ для насъ важнѣе Французскаго; а господинъ NN., не смотря на свое милостивое обѣщаніе, не выучить дѣтей нашихъ въ Парижѣ говорить такъ хорошо по Русски, какъ они здѣсь выучатся. Питомцы его, черезъ 6 или 7 лѣтъ возвратятся въ Россію, стали бы терзать слухъ нашъ варварскими своими фразами; они сказали бы намъ: *«говоримъ языкъ свой, мы знаемъ математики; мы представляемъ наши почтенія согражданамъ.»* А сограждане назвали бы ихъ глупцами, невѣждами, дурно воспитанными людьми: ибо кто не знаетъ своего природнаго языка, тотъ конечно дурно воспитанъ, хотя бы зналъ наизусть и всѣ книги Браминовъ. Они сказали бы симъ полу-Галламъ: «За чѣмъ вы къ намъ пріѣхали? за чѣмъ

«не остались во Франціи? Мы не признаемъ васъ земляками и своими, вы недостойны называться Русскими, которые «гордятся языкомъ Святослава, Владимира, Пожарскаго, «Петра Великаго. Вы не имѣете отечества: ибо и самые «Французы, не смотря на то, что вы прекрасно даете «чувствовать нѣмое Е, не признаютъ васъ Французами....» И добродушные родители, лишивъ себя неизъяснимаго удовольствія видить на лицѣ и въ душѣ милыхъ дѣтей расцвѣтаніе красоты физической и нравственной, вмѣсто благовоспитанныхъ людей увидѣли бы въ нихъ Французскихъ обезьянъ или попугаевъ, которые наименовали бы имъ всѣхъ Парижскихъ актеровъ, а не умѣли бы съ чувствомъ произнести священнаго имени Россіи, отца, матери и согражданъ.»

«Но я, подобно славному рыцарю Донъ-Кихоту, сражаюсь съ вѣтряными мельницами, принимая ихъ за исполиновъ. Конечно, никто изъ благоразумныхъ дворянъ Россійскихъ не подумаетъ отправить дѣтей своихъ въ пансіонъ къ Господину N. N, надъ которымъ безъ сомнѣнія и Французы смѣются.» (с. 606).

Соотечественники! Перечтите эти слова, сказанныя за 60 лѣтъ, и постарайтесь исправиться отъ нелѣпныхъ и престарѣлыхъ своихъ заблужденій!

Во второй статьѣ: «Исповѣдь» Карамзинъ хотѣлъ представить пустую жизнь богатаго барича и указать на нашу небрежность въ воспитаніи.

«Правда, что нѣкоторые люди смотрятъ на меня съ презрѣніемъ,» такъ заставляетъ Карамзинъ исповѣдываться своего героя, «и говорятъ, что я остыдилъ родъ свой; что знатная фамилія есть обязанность быть полезнымъ человѣкомъ въ государствѣ и добродѣтельнымъ гражданиномъ въ отечествѣ. Но повѣрю ли имъ, видя съ другой стороны, какъ многіе изъ нашихъ любезныхъ соотече-

ственниковъ стараются подражать мнѣ, живутъ безъ цѣли, женятся безъ любви, разводятся для забавы, и разоряются для ужиновъ? и проч. (166).

Въ статьѣ «О легкой одеждѣ модныхъ красавицъ XIX вѣка,» Карамзинъ вооружился противъ злоупотребленій тогдашней моды: «теперь въ публичномъ собраніи смотрю на молодыхъ красавицъ девятаго на десять вѣка, и думаю: гдѣ я? Въ Мильтоновомъ раю, (въ которомъ милая натура обнажалась передъ взоромъ блаженнаго Адама), или въ кабинетѣ живописца Апелла, гдѣ красота являлась служить моделью для Венерина портрета во весь ростъ?»

«Дѣйствіе всесильной люди, которую, подобно фортунѣ, должно писать слѣпою! Наши стыдливыя дѣвицы и супруги оскорбляютъ природную стыдливость свою, единственно для того, что Француженки не имѣютъ ея, безъ сомнѣнія тѣ, которыя прыгали контрадансы на могилахъ родителей, мужей и любовниковъ! Мы гнушаемся ужасами революціи и перенимаемъ моды ея!» с. 522.

Статью «О книжной торговлѣ и любви къ чтенію въ Россіи» авторъ заключаетъ мнѣніемъ: «хорошо, что наша публика и романы читаетъ». Можетъ быть въ наше время онъ сдѣлалъ бы нѣкоторые исключенія.

«Отъ чего въ Россіи мало авторскихъ талантовъ?» Не въ климатѣ, но въ обстоятельствахъ гражданской жизни Россіяны надобно искать отвѣта на вопросъ: для чего у насъ рѣдки хорошіе писатели. Хотя талантъ есть вдохновеніе природы, однакожъ ему должно развиться ученіемъ и созрѣть въ постоянныхъ упражненіяхъ. Автору надобно имѣть не только собственно такъ называемое дарованіе — то есть, какую то особенную дѣятельность душевныхъ способностей — но и многія историческія свѣдѣнія, умъ, образованный логикою, тонкій вкусъ и знаніе свѣта. Сколько времени потребно единственно на то, чтобы совершенно овладѣть духомъ языка своего? Вольтеръ

сказалъ справедливо, что въ шесть лѣтъ можно выучиться всѣмъ главнымъ языкамъ, но что во всю жизнь надобно учиться своему природному. Намъ Русскимъ, еще болѣе труда нежели другимъ.» с. 327.

Карамзинъ изображаетъ состояніе Русскаго языка въ его время, трудности выраженія мыслей, и въ заключеніе спрашиваетъ: «что же остается дѣлать автору! *выдумывать, сочинять выраженія, угадывать лучший выборъ словъ, давать старымъ нѣкоторый новый смыслъ, предлагать ихъ въ новой связи, но столь искусно, чтобы обмануть читателей, и скрыть отъ насъ необыкновенность выраженія!* Мудрено ли, что сочинители нѣкоторыхъ Русскихъ комедій и романовъ не побѣдили сей великой трудности, что свѣтскія дамы не имѣють терпѣнія слушать или читать ихъ, находя, что такъ не говорятъ люди со вкусомъ? Если спросите у нихъ: какъ же говорить должно, то всякая изъ нихъ отвѣчаетъ: «не знаю, но это грубо, несносно!» с. 529.

«Теперь спрашиваю: кому у насъ сражаться съ великою трудностію быть хорошимъ авторомъ, если и самое счастливое дарованіе имѣеть жесткую кору, стираемую единственно постоянною работою? Кому у насъ десять, двадцать лѣтъ, рыться въ книгахъ, быть наблюдателемъ, всегдашнимъ ученикомъ, *писать и бросать въ огонь написанное, чтобы изъ пепла родилось что нибудь лучшее?* Въ Россіи болѣе другихъ учатся дворяне; но долго ли? до пятнадцати лѣтъ; тутъ время идти въ службу, время искать чиновъ. сего вѣрнѣйшаго способа быть предметомъ уваженія. Мы начинаемъ только любить чтеніе; имя хорошаго автора еще не имѣеть у насъ такой цѣны, какъ въ другихъ земляхъ; надобно при случаѣ объявить другое право на улыбку вѣжливости и ласки. Къ тому же исканіе чиновъ, не мѣшаетъ баламъ, ужинамъ, праздникамъ; а жизнь авторская любитъ частое уединеніе. — Молодые люди

средняго состоянія, которые учатся, также спѣшать выдти изъ школы или университета, чтобы въ гражданской или военной службѣ получить награду за ихъ успѣхи въ наукахъ; а тѣ немногіе, которые остаются въ ученномъ состояніи, рѣдко имѣють случай узнать свѣтъ безъ чего трудно писателю образовать вкусъ свой, какъ бы онъ ученъ ни былъ. Всѣ Французскіе писатели, служащіе образцомъ тонкости и пріятности въ слогѣ, переправляли, такъ сказать, школьную свою реторику въ свѣтъ, наблюдая, что ему нравится, и почему? Правда, что онъ будучи школою для авторовъ, можетъ быть и гробомъ дарованія: даетъ вкусъ, но отнимаетъ трудолюбіе, необходимое для великихъ и надежныхъ успѣховъ. Счастливъ, кто, слушая Сиренъ, перенимаетъ ихъ волшебныя мелодіи, но можетъ удалиться, когда захочетъ. Иначе мы останемся при однихъ куплетахъ и мадригалахъ. Надобно заглядывать въ общество непремѣнно, по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыя лѣта, но жить въ кабинетѣ.»

«Чему быть трудно, то бываетъ рѣдко, однакожь бываетъ, и чувствительное сердце, живость мыслей, дѣятельность соображенія, вопреки другимъ явнѣйшимъ или ближайшимъ выгодамъ, привязываютъ иногда человѣка къ тихому кабинету и заставляютъ его находить *необъяснимую прелесть въ трудахъ ума, въ развитіи понятій, въ живописи чувствъ, въ украшеніи языка*. Онъ думаетъ—желая дать цѣну своимъ упражненіямъ для самаго себя—думаетъ, говорю, что трудъ его не бесполезенъ для отечества; что *авторы помогаютъ согражданамъ лучше мыслить и говорить*; что всѣ великіе народы любили и любить таланты, что Греки, Римляне, Французы, Англичане, Нѣмцы, не славились бы умомъ своимъ, если бы они не славились талантами; что достоинство народа оскорбляется безмысліемъ и косноязычіемъ дурныхъ писателей; что варварскій вкусъ ихъ есть сатира на вкусъ

народа; что образцы благороднаго Русскаго краснорѣчія едва-ли не полезнѣе самыхъ классовъ Латинской эло-венціи, гдѣ толкуютъ Цицерона и Виргилія, что оно избирая для себя патріотическіе и моральные предметы, можетъ благотворить нравамъ и питать любовь къ отечеству. — Другіе могутъ думать иначе о литературѣ: мы не хотимъ теперь спорить съ ними.» с. 532.

Въ подчеркнутыхъ нами словахъ Карамзинъ выразилъ тѣ убѣжденія, вслѣдствіе которыхъ онъ избралъ для себя литературную дѣятельность. О если бы они были раздѣлены достойными представителями молодого поколѣнія, которые наказали бы своимъ презрѣніемъ ремесленность, матеріальность, нигилизмъ своихъ предшественниковъ.

Статью «О новомъ образованіи народнаго просвѣщенія въ Россіи» Карамзинъ начинаеть торжественно:

«24 Января. державная рука Александра подписала безсмертный указъ о заведеніи новыхъ училищъ и распространеніи наукъ въ Россіи. Сей счастливый Императоръ — ибо дѣлать добро миллионамъ есть главное на землѣ блаженство — торжественно именуеть народное просвѣщеніе важною частію государственной системы, любезною сердцу Его. Многіе Государи имѣли славу быть покровителями наукъ и дарованій; но едва ли кто нибудь издавалъ такой основательный, всеобъемлющій планъ народнаго ученія, какимъ нынѣ можетъ гордиться Россія. Петръ Великій учредилъ первую Академію въ нашемъ отечествѣ, Елисавета первый университетъ, Великая Екатерина городскіе школы, но Александръ, размножая Университеты и Гимназіи, говоритъ еще: *да будетъ свѣтъ и въ хижинахъ!* Новая, великая эпоха начинается отнынѣ въ исторіи моральнаго образованія Россіи, которое есть корень государственнаго величія, и безъ котораго самыя блестящія царствованія бывають только личною славою Монарховъ, не отечества, не народа. Россія, сильная и счастливая во мно-

гихъ отношеніяхъ, унижалась еще справедливою завистию, видя торжество просвѣщенія въ другихъ земляхъ, и слабый, невѣрный блескъ его въ обширныхъ ея странахъ. Римляне, уже побѣдители вселенной, были еще презираемы Греками за ихъ невѣжество, и не силою, не побѣдами, но только ученіемъ могли наконецъ избавиться отъ имени варваровъ. Не одно народное славолубіе—хотя оно, вопреки коварнымъ лицемѣрамъ смиренія, есть душа патриотизма—не одно народное славолубіе терпитъ отъ недостатка въ просвѣщеніи: нѣтъ, онъ мѣшаетъ всякому дѣйствию благодѣтельныхъ намѣреній Правителя, на всякомъ шагу останавливаетъ его, отнимаетъ силу у великихъ, мудрыхъ законовъ, рождаетъ злоупотребленія, несправедливости, и однимъ словомъ—не позволяетъ государству наслаждаться внутреннимъ общимъ благоденствіемъ, которое одно достойно быть цѣлію истинно великаго, то есть добродѣтельнаго Монарха. Александръ, пылая святою ревностію къ счастью вѣранныхъ ему милліоновъ, избираетъ вѣрнѣйшее, *единственное* средство для совершеннаго успѣха въ своихъ великодушныхъ намѣреніяхъ: онъ желаетъ *просвѣтить* Россіянъ, чтобы они могли пользоваться его человѣколюбивыми уставами, безъ всякихъ злоупотребленій и въ полнотѣ ихъ спасительнаго дѣйствія» (350).

«Предупредимъ гласъ потомства, судъ историка и Европы, которая нынѣ съ величайшимъ любопытствомъ смотритъ на Россію, скажемъ, что всѣ новые законы наши мудры и человѣколюбивы, но что сей уставъ народнаго просвѣщенія есть *сильнѣйшее* доказательство небесной благодати Монарха, который во *всѣхъ* своихъ подданныхъ желаетъ найти признательныхъ, *всѣхъ* равно любить, и *всѣхъ* считаетъ людьми» (352).

«Усердіемъ своимъ къ народному просвѣщенію», такъ обращается Карамзинъ къ дворянамъ, «докажемъ, что мы не боимся его слѣдствій, и желаемъ пользоваться един-

ственно такими правами, которыя согласны съ общимъ благомъ государства и съ человеколюбіемъ» (353).

... «Глубокомысленный, важный умъ долженъ обуздать нетерпѣливость добраго сердца, которое, плѣняясь намѣреніемъ, хочетъ немедленныхъ плодовъ закона благодѣтельнаго. Нѣтъ, великія Государственныя творенія бывають медленны — такъ угодно небу — и если Россія въ одномъ смыслѣ удивляетъ насъ своими быстрыми, счастливыми успѣхами, то съ другой стороны она же доказываетъ, сколь трудны, неровны и неспоры шаги государствъ къ цѣли гражданскаго просвѣщенія. Историкъ означаетъ эпохи *рожденія и новыхъ силъ*: надобны вѣки для полного образованія. Какъ безъ надежды нѣтъ счастья, такъ безъ будущаго нѣтъ великихъ дѣлъ: въ немъ хранится вѣнецъ ихъ. Довольно, что сей безсмертный Уставъ для совершеннаго просвѣщенія Имперіи нашей требуетъ только — вѣрнаго исполненія; а можно ли сомнѣваться въ исполненіи того, что Монархъ Россіи повелѣваетъ Россіянамъ?» (с. 358).

Изложивъ въ предыдущихъ статьяхъ свои мысли вообще о просвѣщеніи, Карамзинъ въ статьѣ «о вѣрномъ способѣ имѣть въ Россіи довольно учителей» обращается къ дѣйствительности.

«Нынѣшнее счастливое состояніе Россіи, мудрый духъ правленія, спокойствіе сердець, веселыя лица, чувствительность Русскихъ къ добру, вселяютъ въ насъ охоту разсуждать о дѣлахъ общей пользы. Мы знаемъ старцевъ, которые, стоя на краю могилы, съ радостными слезами слушаютъ и говорятъ о надеждахъ человеколюбія, о благодѣтельныхъ слѣдствіяхъ просвѣщенія, которыхъ имъ безъ сомнѣнія не дождешься. Такія великодушныя, безкорыстныя чувства трогательны для всякаго, еще не мертваго душею. Разныя обстоятельства измѣнили нашъ простой, добрый характеръ, и запятнали его на

время; видимъ людей, углубленныхъ въ свою личность и холодныхъ для всего народнаго; но видимъ и патриотовъ въ которыхъ истинная Русская кровь еще пылаеть: ихъ сердце всегда откликается на голосъ отечества, когда онъ несется съ трона (347).

Мы не устаемъ дѣлать выписокъ. Карамзинъ разсуждаетъ такъ просто, такъ пріятно, такъ любезно, и вмѣстѣ такъ дѣльно, что разсужденія его получаютъ новую цѣну въ наше время, послѣ той нравственно-моровой язвы, которую мы перенесли въ послѣднее время, и, увы, еще переносимъ.

Изъ статьи: о вѣрномъ способѣ имѣть въ Россіи довольно учителей: «Есть два рода людей, у насъ и вездѣ: одни вѣрятъ силѣ и легкимъ успѣхамъ добра, радуются намѣреніямъ его, какъ дѣламъ, и—мимо всѣхъ возможныхъ или необходимыхъ препятствій—летятъ мыслию къ счастливому исполненію плана; другіе трясутъ головою при всякой новой идеѣ челоуѣколюбія, тотчасъ находятъ невозможности, съ удивительною методою раздѣляютъ ихъ на классы и статьи, улыбаются и заключаютъ обыкновеннымъ припѣвомъ лѣниваго ума: *какъ ни мудри, а все будетъ по старому!* Въ доказательство нашего безпристрастія согласимся, что первые не рѣдко обманываются; согласимся даже, что вторые чаще бываютъ правы: но скажемъ и то, что люди не успѣли бы ни въ чемъ хорошемъ и благородномъ, если бы всѣ имѣли такой образъ мыслей; смѣлые законодатели, творцы государственнаго блага, не сіяли бы тогда въ исторіи, и мы не научились бы судить о великихъ людяхъ по трудностямъ, которыя они преодолеваютъ» (340).

«Что въ самомъ дѣлѣ священнѣ храма наукъ, сего единственнаго мѣста, гдѣ челоуѣкъ можетъ гордиться самомъ своимъ въ мірѣ, среди богатствъ разума и великихъ идей? Воинъ и судья необходимы въ гражданскомъ обществѣ; но сія необходимость горестна для челоуѣка. Успѣхи

просвѣщенія должны болѣе и болѣе удалять государства отъ кровопролитія, а людей отъ раздоровъ и преступленій: какъ же благородно ученое состояніе, котораго дѣло есть возвышать насъ *умственно, морально, и приближать счастливую эпоху порядка, мира, благоденствія!*... Но я долженъ извиниться передъ читателями: такія мысли далеки отъ обыкновенныхъ побудительныхъ причинъ гражданской дѣятельности». с. 344.

Выпишемъ еще изъ статьи о Богдановичѣ мысли Карамзина объ авторствѣ, служащія дополненіемъ къ приведеннымъ выше:

«Мирныя, неизъяснимыя удовольствія творческаго дарованія, можетъ быть самыя вѣрнѣйшія въ жизни! Не рѣдко призраки суетности и другихъ страстей отвлекаютъ насъ отъ сихъ любезныхъ упражненій; но какой человекъ съ талантомъ, *вкусивъ ихъ сладость*, и послѣ вверженный въ шумную, дѣятельную праздность свѣта, среди всѣхъ блестящихъ забавъ его не жалѣлъ о плѣнительныхъ минутахъ вдохновенія? *Сильный, хорошій стихъ, счастливое слово, искусный переходъ отъ одной мысли къ другой*, радуютъ поэта какъ младенца, и не рѣдко на цѣлый день дѣлаютъ веселымъ, особливо если онъ можетъ сообщать свое удовольствіе другу любезному, снисходительному къ его авторской слабости. Оно живо и невинно; самый трудъ, которымъ его приобретаемъ, есть наслажденіе; а впереди ожидаетъ писателя благоволеніе добрыхъ сердець. Говорятъ о зависти; но ея жалкія усилія не рѣдко еще болѣе способствуютъ торжеству дарованій, и всегда, какъ легкія волны, отражаются твердымъ подножіемъ, на которомъ талантъ возвышается въ честь отечеству, ко славѣ разума и въ память вѣка.» (1.615)

А вотъ какъ въ этой же статьѣ Карамзинъ описываетъ желанную пристань автора:

«Мирная совѣсть, пятьдесятъ лѣтъ, проведенныхъ въ наблюденіи строгихъ правилъ чести, кроткая, но всегдашняя дѣятельность благородныхъ способностей человѣка: ума образованнаго и зрѣлаго, воображенія еще не угасшаго; чтеніе авторовъ избранныхъ, обхожденіе съ людьми добрыми и близкими къ сердцу, самое единообразіе простой жизни, любезное въ нѣкоторыхъ лѣтахъ, были счастьемъ Богдановича, истиннымъ и завиднымъ, котораго желаютъ всѣ люди, живущіе для славы собственной и пользы другихъ въ шумѣ свѣтскомъ, и котораго милымъ образомъ украшаютъ они *въ мысляхъ* послѣдніе дни свои въ мірѣ, дни отдохновенія и покоя!» (644)

Бъ разряду статей, относящихся до просвѣщенія, принадлежитъ еще извѣстіе «О публичномъ преподаваніи наукъ въ Московскомъ Университетѣ,» извѣстіе, которымъ Карамзинъ хотѣлъ въ особенности доставить удовольствіе своему покровителю, М. Н. Муравьеву, незабвенному попечителю Московскаго Университета:

«Никогда науки не были столь общепользны, какъ въ наше время. Языкъ ихъ, прежде трудный и мистическій, сдѣлался легкимъ и яснымъ. Знанія, бывшія удѣломъ особеннаго класса людей, собственно называемаго ученымъ, нынѣ болѣе и болѣе распространяются, вышедши изъ тѣсныхъ предѣловъ, въ которыхъ они долго заключались. Великіе гени, убѣжденные въ необходимости *народною* просвѣщенія, какъ для частнаго, такъ и для государственнаго блага, старались и стараются заманивать людей въ богатыя области наукъ, сообщая имъ важныя истины и свѣдѣнія не только понятнымъ, но и пріятнымъ образомъ, и ведутъ ихъ къ сокровищамъ ума путемъ, усѣяннымъ цвѣтами.»

«Въ сіе счастливое для наукъ время мудрое наше правительство размножило ихъ источники въ Россіи, и открыло имъ новые способы дѣйствовать на умъ народа. Бъ числу

сихъ способовъ принадлежать и *публичныя лекціи* Московскаго Университета. Цѣль ихъ есть та, чтобы самымъ тѣмъ людямъ, которые не думаютъ и не могутъ исключительно посвятить себя ученому состоянію, сообщать свѣдѣнія и понятія о наукахъ любопытнѣйшихъ. (III. 612).

«Московскій Университетъ отличается уже въ разныхъ частяхъ достойными учеными мужами; скоро новые профессоры, вызванные изъ Германіи, и въ цѣлой Европѣ извѣстные своими талантами, умножатъ число ихъ, и *первыи* университетъ Россійскій, подъ руководствомъ своего дѣятельнаго и ревностнаго къ успѣху наукъ попечителя, возвысится еще на степень славнѣйшую въ ученомъ свѣтѣ.» (617).

Бъ числу общественныхъ вопросовъ при началѣ царствованія Александра выдвинулся уже вопросъ крестьянскій. Карамзинъ подалъ и объ немъ свой голосъ. Онъ желалъ улучшенія быта крестьянъ только чрезъ ограниченіе власти помѣщиковъ, оставляя за ними право непосредственнаго надзора и право владѣнія.

Онъ старался доказать свою мысль слѣдующимъ образомъ: «Я выросъ тамъ, гдѣ живу нынѣ,» пишетъ онъ отъ имени сельскаго жителя. «Путешествіе и служба совершенно раззнакомили меня съ деревнею; однакожь сдѣлавшись рано господиномъ изряднаго имѣнія, и будучи, смѣю сказать, напитанъ духомъ филантропическихъ авторовъ, то есть ненавистію къ злоупотребленіямъ власти, я желалъ быть заочно благодѣтелемъ поселянъ своихъ: отдалъ имъ всю землю, довольствовался самымъ умѣреннымъ оброкомъ, не хотѣлъ имѣть въ деревнѣ ни управителя, ни прикащика, которые не рѣдко бываютъ хуже самыхъ худыхъ господъ, и съ удовольствіемъ искренняго человѣколюбія написалъ къ крестьянамъ: добрые земледѣльцы, сами изберите себѣ

начальника для порядка, живите мирно, будьте трудолюбивы и считайте меня своимъ вѣрнымъ заступникомъ во всякомъ притѣсненіи.»

Возвратившись наконецъ къ пенатамъ родины, помѣщикъ вмѣсто ожиданнаго благосостоянія крестьянъ нашель совершенную нищету и запустѣніе. Какъ это случилось?

«Воля, мною имъ (крестьянамъ) данная», отвѣчаетъ онъ, «обратилась для нихъ въ величайшее зло: то есть, въ волю лѣниться и предаваться гнустному пороку пьянства, дошедшему съ нѣкотораго времени до ужасной крайности, какъ въ нашей, такъ и въ другихъ губерніяхъ. Это язва, въ здѣшнихъ удаленныхъ отъ столицы мѣстахъ, есть новое явленіе: живо помня лѣта своего дѣтства, помню и то, что прежде въ одни большіе годовые праздники крестьяне веселились и гуляли, угощая другъ друга домашнимъ пивомъ или виномъ, купленнымъ въ городѣ. Нынѣ будни сдѣлались для нихъ праздникомъ, и люди услужливые, подъ вывѣскою орла, вездѣ предлагаютъ имъ средства избавляться отъ денегъ, ума и здоровья: ибо въ рѣдкой деревнѣ нѣтъ питейнаго дома.» (370).

Сельскій житель поселился въ деревнѣ, принялся за хозяйство, взялъ въ руки крестьянъ и дѣла пошли иначе: «безъ всякихъ Англійскихъ мудростей, безъ всякихъ хитрыхъ машинъ, *не усыпая земли ни золою, ни известкой, ни толчеными костями*—смѣю похвалиться, что и друзья земледѣлія и друзья человечества могутъ съ удовольствіемъ взглянуть на мои поля, село и жителей его. Всего же болѣе похваляюсь тѣмъ, что крестьяне благодарятъ меня за нынѣшнюю свою трезвость и заботливость, видя счастливые плоды ихъ: изъ бѣдныхъ они сдѣлались зажиточными, имѣютъ хлѣбъ, лошадей, скотоводство и надежду быть со временемъ сельскими богачами. Одинъ опытъ могъ увѣрить ихъ въ счастіи трудолюбія. Принудьте злаго дѣлать добро: отвѣчаю, что онъ

скоро полюбить его. Заставьте лѣниваго работать: онъ скоро удивится своей прежней ненависти къ трудамъ. Сократъ называлъ добродѣтель знаніемъ: всякой порокъ можно назвать невѣжествомъ, ибо онъ есть слѣпота ума, ибо въ немъ гораздо болѣе страданія, нежели пріятности.» (573).

«Иностранные глѣбокомысленные политики, говоря о Россіи, знаютъ все, кромѣ Россіи. *Я разсуждалъ также въ городскомъ кабинетѣ своемъ, но въ деревнѣ перемѣнилъ мысли.* У насъ много вольныхъ крестьянъ; но лучше ли господскихъ обрабатываютъ они землю? по большой части напротивъ. Съ нѣкотораго времени хлѣбопашество во всѣхъ губерніяхъ приходитъ въ лучшее состояніе: отъ чего же? отъ старанія помѣщиковъ: плоды ихъ экономіи, ихъ смотрѣнія, надѣляютъ изобиліемъ рынки столицъ. Если бы они, принявъ совѣтъ иностранныхъ филантроповъ, всѣ сдѣлали то же, что я прежде дѣлалъ: наложили на крестьянъ оброкъ, отдали имъ всю землю, и сами на всегда уѣхали въ городъ, то я увѣренъ, что на другой годъ пришло бы гораздо менѣе хлѣбныхъ барогъ какъ въ Москву, такъ и къ Петербургъ. Незнаю, что вышло бы черезъ пятьдесятъ или сто лѣтъ: время конечно имѣетъ благотворное дѣйствіе; но первые годы безъ сомнѣнія поколебали бы систему мудрыхъ Англійскихъ, Французскихъ и Нѣмецкихъ головъ. Она хороша, если бы мы, принявъ ее, могли заснуть съ Эпименидомъ по крайней мѣрѣ на цѣлый вѣкъ; но всякій изъ насъ хочетъ жить хорошо, спокойно и счастливо нынѣ, завтра и такъ даждѣ. Время подвигаетъ впередъ разумъ народовъ, но тихо и медленно: бѣда законодателю облетѣть его! Мудрый идетъ шагъ за шагомъ, и смотритъ вокругъ себя. Богъ видитъ, люблю ли человѣчество и народъ Русскій; имѣю ли предрасудки, обожаю ли гнусный идолъ корысти, но для истиннаго благополучія земледѣльцевъ

нашихъ желаю единственно того, чтобы *они имѣли добрыхъ господъ и средство просвѣщенія*, которое одно, одно сдѣлаетъ все хорошее возможнымъ.» (575).

Прошло слишкомъ полвѣка послѣ этого мнѣнія Карамзина. Время, котораго онъ несовѣтовалъ обгонять *тогда*, потребовало крестьянскаго освобожденія, но многіе замѣчанія Карамзина остаются вѣрными, и требуютъ до сихъ поръ вниманія: освобожденные и надѣленные землею крестьяне, не могутъ быть предоставлены себѣ, особенно при неограниченномъ разпространеніи кабаковъ, и имѣютъ нужду въ ближайшемъ надзорѣ и руководствѣ.

Переходимъ къ статьямъ политическимъ.

Первое свое превосходное обзорѣніе Европы въ началѣ XIX столѣтія Карамзинъ заключаетъ такъ: «Желаемъ чтобъ Амьенскій конгрессъ былъ въ исторіи славнѣе всѣхъ Утрехтскихъ и Ахенскихъ конгрессовъ; чтобъ съ него началась новая эпоха не только для политики, но и для самаго человѣчества; по крайней мѣрѣ истинная философія ожидаетъ хотя сего единственнаго счастливаго дѣйствія ужасной революціи, которая останется пятномъ восьмагонадесять вѣка, слишкомъ рано названнаго философскимъ. Но девятыйнадесять вѣкъ долженъ быть счастливѣе, *упривъ народы въ необходимости законнаго повиновенія, а Государей въ необходимости благодѣтельнаго, твердаго, но отеческаго правленія*. Сія мысль утѣшительна для сердца, которое въ самыхъ бѣдствіяхъ человѣческаго рода находитъ такимъ образомъ залогъ добра для будущихъ временъ.»

«Мы желаемъ увѣдомлять нашихъ читателей о мирномъ благоденствіи державъ, о полезныхъ учрежденіяхъ во всѣхъ земляхъ, о новыхъ мудрыхъ законахъ, болѣе и болѣе утверждающихъ сердечную связь подданныхъ съ Монархами. Военные громы возбуждаютъ нетерпѣливое любопытство: успѣхи мира пріятны сердцу. Оставляя издате-

лямъ вѣдомостей сообщать въ отрывкахъ всякаго рода политическія новости, мы будемъ замѣчать только важныя, и Вѣстникъ Европы въ продолженіи своемъ можетъ составить избранную библіотеку литературы и политики.» (539).

Въ статьѣ «Пріятныя виды, надежды и желанія нынѣшняго времени» замѣтимъ слѣдующія мысли:

«Революція объяснила идеи: мы увидѣли, что гражданскій порядокъ священъ даже въ самыхъ мѣстныхъ или случайныхъ недостаткахъ своихъ; что власть его есть для народовъ не тиранство, а защита отъ тиранства, что разбивая сію благодѣтельную эгиду, народъ дѣлается жертвою ужасныхъ бѣдствій, которыя несравненно злѣе всѣхъ обыкновенныхъ злоупотребленій власти; что самое Турецкое правленіе лучше анархіи, которая всегда бываетъ слѣдствіемъ государственныхъ потрясеній; что всѣ смѣлыя теоріи ума, который изъ кабинета хочетъ предписывать новые законы моральному и политическому міру, должны остаться въ книгахъ, вмѣстѣ съ другими, болѣе или менѣе любопытными произведеніями остроумія; что учрежденія древности имѣютъ магическую силу, которая не можетъ быть замѣнена никакою силою ума; что одно время и благая воля законныхъ правительствъ должны исправить несовершенства гражданскихъ обществъ; и что съ сею довѣренностію къ дѣйствию времени и къ мудрости властей должны мы, частные люди, жить спокойно, повиноваться охотно и дѣлать всевозможное добро вокругъ себя.»

«То-есть, Французская революція, грозившая испровергнуть всѣ правительства, утвердила ихъ. Если бѣдствія рода человѣческаго въ какомъ нибудь смыслѣ могутъ назваться благодѣтельными, то симъ благодѣніемъ мы, конечно, обязаны революціи. Теперь гражданскія начальства вѣрны не только воинскою силою, но и внутреннимъ убѣжденіемъ разума.»

«Съ самой половины осьмагонадесять вѣка всѣ обыкновенные умы страстно желали великихъ переменъ и новостей въ учрежденіи обществъ; всѣ они были, въ нѣкоторомъ смыслѣ, врагами настоящаго, теряясь въ лестныхъ мечтахъ воображенія. Вездѣ обнаруживалось какое-то внутреннее неудовольствіе; люди скучали и жаловались отъ скуки; видѣли одно зло и не чувствовали цѣны блага. Проницательные наблюдатели ожидали бури; Руссо и другіе предсказали ее съ разительною точностію; громъ грянулъ во Франціи... мы видѣли издали ужасы пожара, и всякій изъ насъ возвратился домой благодарить небо за цѣлость крова нашего и быть разсудительнымъ.

«Теперь всѣ лучшіе умы стоятъ подъ знаменами властителей, и готовы только способствовать успѣхамъ настоящаго порядка вещей, не думая о новостяхъ. Никогда согласіе ихъ не бывало столь явнымъ, искреннимъ и надежнымъ».

«Съ другой стороны правительства чувствуютъ важность сего союза и общаго мнѣнія, нужду въ любви народной, необходимость истребить злоупотребленія.» (587).

Переходя къ Россіи авторъ видитъ все, разумѣется, въ еще болѣе розовомъ свѣтѣ.

«Взоръ Русскаго патриота, собравъ пріятныя черты въ нынѣшнемъ состояніи Европы, съ удовольствіемъ обращается на любезное отечество. Какой надежды не можемъ раздѣлять съ другими Европейскими народами, мы ослѣпленные блескомъ славы и благотвореніями челоуѣколюбиваго Монарха? Никогда Россія столько не уважалась въ политикѣ, никогда ея величіе не было такъ живо чувствуемо во всѣхъ земляхъ, какъ нынѣ. Италіянская война доказала міру, что колоссъ Россіи ужасенъ не только для сосѣдовъ, но что рука его и вдали можетъ достать и сокрушить непріятеля. Когда другія державы трепетали на своемъ основаніи, Россія возвышалась спо-

бойно и величественно. Довольная своимъ пространствомъ, естественными сокровищами и милліонами жителей; не имѣя ни въ чемъ совмѣстниковъ; не желая ни чьей гибели, не боясь никакой державы; не боясь даже и союзовъ противъ себя, (ибо они не согласны съ особенными выгодами Государствъ въ отношеніи къ ней), она можетъ презирать обыкновенныя хитрости дипломатіи, и судьбою избрана, кажется, быть истинною посредницею народовъ.»

Прошло 65 лѣтъ. Самые умные государственные люди только что повторяютъ это.

«Главнымъ, важнѣшимъ благомъ въ ея внутреннемъ состояніи назову я... нынѣшнее общее спокойствіе сердца; оно всего дороже и милѣе; оно есть вѣрное доказательство мудрости начальства въ гражданскомъ порядкѣ. Съ другой стороны другъ людей и патриотъ съ радостію видитъ, какъ свѣтъ ума болѣе и болѣе стѣсняетъ темную область невѣжества въ Россіи; какъ благородныя, истинно-человѣческія идеи болѣе и болѣе дѣйствуютъ въ умахъ; какъ разумокъ утверждаетъ права свои, и какъ духъ Россіянъ возвышается.» (590).

«Просвѣщеніе истребляетъ злоупотребленіе господской власти, которая и по самымъ нашимъ законамъ не есть тиранская и неограниченная. (591).

«Россійскій дворянинъ даетъ нужную землю крестьянамъ своимъ, бываетъ ихъ защитникомъ въ гражданскихъ отношеніяхъ, помощникомъ въ бѣдствіяхъ случая и природы: вотъ его обязанности! За то онъ требуетъ отъ нихъ половины рабочихъ дней въ недѣлѣ: вотъ его право!»

«Но патриотизмъ не долженъ ослаблять насъ; любовь къ отечеству есть дѣйствіе яснаго разсудка, а не слѣпая страсть, и жалѣя о тѣхъ людяхъ, которые смотрятъ на вещи только съ дурной стороны, не видятъ никогда хорошаго, и вѣчно жалуется, мы не хотимъ впасть и въ другую крайность, не хотимъ увѣрить себя, что Россія

находится уже на высочайшей степени блага и совершенства. Нѣтъ, мудрое правленіе наше тѣмъ счастливѣе, что оно можетъ сдѣлать еще много добра отечеству.»

«На примѣръ (не говоря о другомъ): какимъ великимъ дѣломъ украсится еще вѣкъ Александровъ, когда исполнится Монаршая воля его; когда будемъ имѣть полное, методическое собраніе гражданскихъ законовъ, ясно и мудро написанныхъ?»

«Александръ даруетъ намъ собраніе законовъ, то-есть Кодексъ, или систему гражданскихъ законовъ, опредѣляющихъ взаимныя отношенія гражданъ между собою. Тогда законовѣденіе будетъ наукою всѣхъ Россіянъ и войдетъ въ систему общаго воспитанія.» (593)

«Мы упомянули о воспитаніи: можно сказать, что дѣти у насъ воспитываются лучше отцовъ своихъ; но сколько еще желаній и надеждъ, въ разсужденіи сего предмета, имѣть въ запасъ патріотическое сердце? какимъ общимъ нравственнымъ правиламъ слѣдуютъ родители въ образованіи дѣтей своихъ? Много-ли у насъ характеровъ? И молодой человѣкъ съ рѣшительнымъ образомъ мыслей не есть-ли рѣдкое явленіе? (593).

«Безъ хорошихъ отцовъ нѣтъ хорошаго воспитанія, не смотря на всѣ школы, институты и пансіоны».

«Любя жить дома, мы имѣли бы способовъ заниматься не только воспитаніемъ дѣтей, но и хозяйствомъ, которое заставило бы насъ лучше соображать расходы съ доходами.»

Обращаясь къ Русскимъ богатымъ людямъ, полагающимъ славу въ роскоши, говорить:

«Россія требуетъ отъ васъ одной разсудительности, честности, однѣхъ гражданскихъ и семейственныхъ добродѣтелей, требуетъ, чтобы вы заставляли иностранцевъ удивляться не мотовству своему, а порядку въ вашихъ имѣніяхъ и домахъ: вотъ дѣйствіе истиннаго просвѣщенія!

Я послалъ бы всѣхъ роскошныхъ людей на нѣскольکو времени въ деревню, быть свидѣтелями трудныхъ сельскихъ работъ, и видѣть, чего стоитъ каждый рубль крестьянину: это могло бы излечить нѣкоторыхъ отъ суетной расточительности, платящей 100 рублей за ананасъ для десерта. «Но богатствомъ должно пользоваться?» Безъ сомнѣнія. Во первыхъ заплатите долги свои; во вторыхъ приведите крестьянъ вашихъ, если можно, въ лучшее состояніе; а потомъ оставьте отечеству памятники вашей жизни. Сдѣлайте что нибудь долговременное и полезное; учредите школу, госпиталь; будьте отцами бѣдныхъ, и превратите въ нихъ чувство зависти въ чувство любви и благодарности; ободрите земледѣіе, торговлю, промышленность; способствуйте удобному сообщенію людей въ государствѣ: пусть этотъ новый каналъ, соединяющій двѣ рѣки, и сей каменный мостъ, благодѣяніе для проѣзжихъ, называется вашимъ именемъ! Тогда иностранецъ, видя столь мудрое употребленіе богатства, скажетъ: «Россіяне умѣютъ пользоваться жизнью и наслаждаться богатствомъ!»

«Не желаю быть мечтателемъ; но въ царствованіе Александра могутъ ли добрыя желанія и патріотическія надежды быть мечтами?» (508).

«Кто не увѣренъ въ патріотической ревности сихъ достойныхъ мужей, возвеличенныхъ пменемъ *Министровъ Россіи*, державы, которая никогда не была столь близка къ исключительному первенству въ цѣломъ свѣтѣ, какъ нынѣ? Славный путь дѣятельности открывается для всякаго изъ нихъ!... Способствовать утвержденію мудрой политической системы въ Европѣ, торжеству святаго правосудія внутри Имперіи, благоустройству во всѣхъ частяхъ ея, мирнымъ искусствамъ гражданственности и народному просвѣщенію, котораго одно имя столь любезно душѣ благородной, и безъ котораго нѣтъ ни славы, ни

величія, ни морали въ государствахъ... какія обязанности!» (Вѣстникъ Европы, 1802. Часть V, с. 234 въ извѣстіяхъ и замѣчаніяхъ).

«Министръ нашего Монарха въ Борфу, предложилъ тамошнему Сенату учрежденіе семи народныхъ школъ, и въ предложеніи его находятся сіи достойныя замѣчанія слова: *мнѣніе, что народы для спокойствія и безопасности правителей должны пресмыкаться во тьмѣ невѣжества, есть ложное и для человечества оскорбительное мнѣніе!* Русскій можетъ во всѣхъ земляхъ теперь громко произнести имя свое. Слава вѣку и Александру!» (ib. 1803, ч. X, с. 234).

«Повторимъ истину несомнительную: въ девятомъ-надесять вѣкѣ одинъ тотъ народъ можетъ быть великимъ и почтеннымъ, который благородными искусствами, литературою и науками способствуетъ успѣхамъ человечества въ его славномъ теченіи къ цѣли умственного и моральнаго совершенства.» (Изъ статьи о случаяхъ и характерахъ въ Рос. Исторіи, 1, 566).

Выпишемъ нѣсколько мѣстъ изъ статьи: О Россійскомъ посольствѣ въ Японію.

«Въ первый разъ флагъ Россіи окружитъ шаръ земной, и въ странахъ, гдѣ едва имя ея извѣстно, услышать языкъ нашего отечества; увидятъ въ Русскихъ не хищниковъ, не тирановъ, которые нѣкогда слѣшили по слѣдамъ Колумба злодѣйствовать въ новомъ мірѣ, но друзей человечества, предлагающихъ народамъ взаимныя выгоды торговли; увидятъ любопытныхъ наблюдателей природы, которые выдутъ на берегъ съ орудіями мирныхъ наукъ, а не смерти.» (1. 393).

«И такъ сія важная экспедиція должна имѣть слѣдствіемъ своимъ: 1) открытіе для насъ морской торговли съ Китаемъ, съ Японіею, можетъ быть съ Южною Америкою и съ Индіею; 2) образованіе Русскихъ колоній и торговыхъ заведеній на островахъ и твердой землѣ въ Сѣвер-

ной Америкѣ; 3) наблюденія, открытія ученія, благотѣтельныя вообще для успѣховъ разума человѣческаго. (394).

«Есть люди—и Русскіе, безъ сомнѣнія очень скромныя—которые утверждаютъ, что Россія не должна думать о знаменитости въ мореплаваніи, (ибо гавани ея запираются льдомъ на шесть мѣсяцевъ въ году), и что благоразуміе велитъ намъ довольствоваться продажей и куплею на мѣстѣ. Петръ Великій не такъ думалъ. Мудрено ли? Онъ былъ Русскій въ душѣ и патріотъ; а сіи господа или *Англomаны* или *Галломаны*, и желаютъ называться Босмополитами. Только мы, обыкновенные люди, не можемъ съ ними парить умомъ выше низкаго патріотизма; мы стоимъ на землѣ, и на землѣ Русской; смотримъ на свѣтъ не въ очки систематиковъ, а своими природными глазами; думаемъ, что въ нынѣшнемъ состояніи вещей государство не можетъ достигнуть до совершеннаго величія безъ флотовъ и великихъ успѣховъ мореплаванія; а славное происхожденіе Русскихъ, ихъ гордость народная, неприимѣрная храбрость и внутренняя сила государственная, указываютъ намъ на первую степень въ политикѣ. Если бы Петръ Великій не завелъ флота, то Англійскій фрегатъ пришелъ бы иногда бомбардировать Ревель, и всякій островъ могъ бы смѣло оскорблять Русскихъ: наши арміи не имѣли бы средствъ наказать дерскихъ за моремъ; а сія мысль не утѣшительна для народнаго, справедливаго самолюбія обширнѣйшей Имперіи въ свѣтѣ. Сверхъ того сильному государству надобны деньги; а ихъ нельзя имѣть много безъ выгодной внѣшней торговли, которая возбуждаетъ, усиливаетъ внутреннюю промышленность. Россія богата естественными дарами; но они драгоценны единственно своимъ *великимъ количествомъ*; ихъ можно вывозить только моремъ. Безъ собственныхъ купеческихъ кораблей мы находимся въ совершенной зависимости отъ чужестранныхъ мореплавателей и куп-

цовъ, отпуская, что имъ взять угодно. *Перевозъ* вещей есть также большая выгода—занимаетъ, питаетъ, обогащаетъ множество людей: для чего уступать его другимъ народамъ?... «Но Русскія моря замерзаютъ!» Однакожь кромѣ Чернаго, которое соединяетъ насъ съ Средиземнымъ, пока Геллеспонтъ открытъ для кораблей нашихъ... (Константинополь такъ близокъ! И Турецкая Имперія такъ ветха!...) Да и сіе неудобство главнаго *нынѣшняго* Русскаго порта, то-есть Бронштадтскаго, можетъ быть побѣждено усилиями торговаго ума и промышленности. Корабль имѣетъ время сходить въ Лондонъ, въ Гавръ, въ Бордо; и чтобы не стоять ему праздно 6 мѣсяцевъ, для чего не воспользоваться симъ временемъ для отдаленнаго мореплаванія съ новымъ грузомъ, чтобы возвратиться лѣтомъ? Было время, когда сѣверные мореходцы Норманы, не чужіе Русскимъ—считались первыми въ Европѣ; являлись безпрестанно на берегахъ Франціи, Италиі, правда, не для торговли, а чтобы славиться храбростію. Русскимъ недостаетъ одного для ихъ мореплаванія: смѣлаго духа предприимчивости; но онъ созрѣетъ вмѣстѣ съ нашимъ политическимъ умомъ, и любезный, благодѣтельный Монархъ нашъ способствуетъ его развитію сею важною Японскою экспедиціею. Теперь военные корабли снабдили купеческіе офицерами и матросами: со временемъ купеческіе могутъ снабдить ими военные, какъ въ другихъ земляхъ бываетъ. Самолюбіе наше не должно оскорбляться тѣмъ, что мы, предпринимая окружить землю, должны были нынѣ купить Англійскіе корабли, или для скорости, или для того, что они лучше и надежнѣе Русскихъ: давно-ли занимаемся искусствомъ мореплаванія? давно-ли мы, какъ сказалъ Ломоносовъ, *сидѣли на лодкѣ въ мужь?* Вспомнимъ, что и самая Англія покупала нѣкогда чужіе корабли для своей Индѣйской торговли: Ганзейскіе города продавали ихъ купцамъ Лондонскимъ. Теперь Англія есть первая морская держава!»

«Пусть вѣтры благополучные несутъ нашихъ Аргонавтовъ по обширному океану! Мы будемъ слѣдовать за ними взорами и сердцами! Пусть они обозрѣваютъ моря, какъ легкое передовое войско обозрѣваетъ мѣсто, гдѣ скоро должна явиться армія! Мы жгли флоты неприятельскіе на Эгейскомъ морѣ, истребляли ихъ на Балтійскомъ счастіемъ, великимъ духомъ Екатерины и Русскою храбростію: намъ остается доказать, что можемъ господствовать на семь элементъ и народною, торговою, умною предприимчивостію.» (397).

Скажемъ нѣсколько словъ объ остальныхъ статьяхъ Карамзина, разнообразнаго содержанія, въ Вѣстникѣ Европы.

О счастливейшемъ времени въ жизни. Эта статья служитъ продолженіемъ Разговора о счастіи и Переписки Мелодора и Филалета, помѣщенной въ Аглаѣ, и заключаетъ систему его житейской философіи:

«Не даромъ всѣ народы имѣли древнее преданіе, что земное состояніе человѣка есть его паденіе или наказаніе; сіе преданіе основано на чувствѣ сердца. Болѣзнь ожидаетъ насъ здѣсь при входѣ и выходѣ; а въ срединѣ, подъ розами здоровья, кроется змѣя сердечныхъ горестей. Живѣйшее чувство удовольствія имѣетъ въ себѣ какой-то недостатокъ; возможное на землѣ счастіе, столь рѣдкое, омрачается мыслию, что или мы оставимъ его, или оно оставитъ насъ.»

«Однимъ словомъ, вездѣ и во всемъ окружаютъ насъ недостатки. Однакожъ, слова: *благо* и *счастіе*, справедливо занимаютъ мѣсто свое въ лексиконѣ здѣшняго свѣта. Сравненіе опредѣляетъ цѣну всего: одно лучше другаго— вотъ благо! одному лучше, нежели другому— вотъ счастіе!»

«Какую же эпоху жизни можно назвать *счастливейшею по сравненію*? Не ту, въ которую мы достигаемъ

до физическаго совершенства въ бытіи, (ибо человекъ не есть *только* животное), но *последнюю степень физической зрѣлости*—время, когда всѣ душевныя способности дѣйствуютъ въ полномъ развитіи, а тѣлесныя силы еще не слабѣютъ примѣтно; когда мы уже знаемъ свѣтъ и людей, ихъ отношенія къ намъ, игру страстей, цѣну удовольствій и законъ природы, для нихъ установленный; когда разумъ нашъ, богатый идеями, сравненіями, опытами, находитъ истинную мѣру вещей, соглашаетъ съ нею желанія сердца, и даетъ жизни общій *характеръ благоразумія*. Какъ плодъ дерева, такъ и жизнь бываетъ всего сладостнѣе *предъ началомъ* увяданія.» (111.328).

...«Въ сіе же время дѣйствуетъ и торжествуетъ Геній... Ясный взоръ на міръ открываетъ истину, воображеніе сильное представляетъ ея черты живо и разительно, вкусъ зрѣлый украшаетъ ее простотою, и творенія ума чело-вѣческаго являются въ совершенствѣ, и творецъ дерзаетъ наконецъ простирать руку къ потомству, быть современникомъ вѣковъ и гражданиномъ вселенной. Молодость любитъ въ славѣ только шумъ, а душа зрѣлая справедливое, основательное признаніе ея полезной для свѣта дѣятельности. Истинное славолубіе не волнуетъ, не терзаетъ, но сладостно покоитъ душу, среди монументовъ тлѣнія и смерти открывая ей путь безсмертія талантовъ и разума: мысль, утѣшительная для существа, которое столько любитъ жить и дѣйствовать, но столь не долговѣчно своимъ бытіемъ физическимъ!»

«Дни цвѣтущей юности и пылкихъ желаній! Не могу жалѣть о васъ! Помню восторги, но помню тоску свою; помню восторги, но не помню счастья: его не было въ сей бурной стремительности чувствъ къ безпрестаннымъ наслажденіямъ, которая бываетъ мукою; его нѣтъ и теперь для меня въ свѣтѣ, но не въ лѣтахъ кипѣнія страстей, а въ полномъ

дѣйстви ума, въ мирныхъ трудахъ его, въ тихихъ удовольствіяхъ жизни единообразной, успокоенной, хотѣлъ бы сказать я солнцу: *остановися!* если бы въ тоже время могъ сказать и мертвымъ: *возстаньте изъ гроба!* (с. 330).

Заключеніе *Анекдота* относится къ той же житейской философіи: «Будемъ несчастливы, когда угодно Провидѣнію отнимать у насъ радости, но останемся на театръ до послѣдняго дѣйствія—останемся въ училищѣ горести до той минуты, какъ таинственный звонокъ перезоветъ насъ въ другое мѣсто!—А вы, молодые люди, въ несчастіяхъ и въ потеряхъ своихъ не обманывайте себя мыслию, что рана ваша неисцѣлима: нѣтъ! юное сердце, пылая жизнь, излечается отъ горести собственною внутреннею силою, и сіе выздоровленіе обновляетъ его чувствительность къ удовольствіямъ жизни.—Иное дѣло, когда человѣкъ, подобно вечернему солнцу, приближается къ своему западу: тогда единственно утраты бываютъ невозвратимы; но и тогда, чтобы не дѣйствовать вопреки плану природы, не должно умирать для свѣта прежде смерти. Если между гробомъ и нами нѣтъ уже никакого земнаго желанія, если не можемъ наконецъ быть дѣятельны для своего счастья, то будемъ дѣятельны, хотя для разсѣянія, хотя для удовольствія другихъ людей, опираясь на якорь *религии*, которая, подобно надеждѣ, бросаетъ его человѣку въ бѣдствіяхъ, но не обманываетъ человѣка такъ, какъ надежда, ибо *ничего не обѣщаетъ ему въ здѣшнемъ свѣтѣ!* » (с. 544).

Мысли объ уединеніи. «Быть счастливымъ или довольнымъ въ совершенномъ уединеніи можно только съ неистощимымъ богатствомъ внутреннихъ наслажденій, и въ отсутствіи всѣхъ потребностей, которыхъ удовлетвореніе вѣдъ насъ; а человѣкъ отъ первой до послѣдней минуты бытія есть существо зависимое. Сердце его образовано

чувствовать съ другими и наслаждаться ихъ наслажденіями. Отдѣляясь отъ свѣта, оно иссыхаетъ подобно растенію, лишённому животворныхъ вліяній солнца. (с. 534).

«...Нѣтъ, нѣтъ! человѣкъ не созданъ для всегдашняго уединенія и не можетъ передѣлать себя. *Люди оскорбляютъ, люди должны и утѣшать его.* Ядъ въ свѣтѣ, антидотъ тамъ же. Одинъ уязвляетъ ядовитою стрѣлою, другой вынимаетъ ее изъ сердца, и лѣетъ цѣлительный бальзамъ на рану» (с. 535).

«Но временное уединеніе бываетъ сладостно и даже необходимо для умовъ дѣятельныхъ, образованныхъ для глубокомысленныхъ созерцаній. Въ сокровенныхъ убѣжищахъ природы душа дѣйствуетъ сильнѣе и величественнѣе; мысли возвышаются и текутъ быстрѣе; разумъ въ отсутствіи предметовъ лучше цѣнитъ ихъ, и какъ живописецъ изъ отдаленія смотритъ на ландшафтъ, который должно ему изобразить кистью, такъ наблюдатель удаляется иногда отъ свѣта, чтобы тѣмъ вѣрнѣе и живѣе представить его въ картинѣ. Жанъ-Жакъ Руссо оставилъ городъ, чтобы въ густыхъ тѣняхъ Парка размышлять объ измѣненіяхъ человѣка въ гражданской жизни, и слогъ его въ семъ твореніи имѣетъ свѣжесть природы».

...«Всѣмъ рожденнымъ съ нѣкоторою особенною живою воображеніемъ, всѣмъ эпикурейцамъ чувствительности, совѣтую иногда вдругъ изъ шумнаго многолюдства переходить въ глубокую тишину уединенія, которое производитъ тогда неизяснимое въ насъ дѣйствіе. Напримеръ, кто, оставя величолѣпный балъ, гдѣ, по словамъ Деліля, блистаютъ красотой, одеждою, и въ, выѣзжаетъ за городъ, и входитъ одинъ въ ночной бѣракъ лѣса, тотъ чувствуетъ въ себѣ какую-то новую, тайную силу души, никогда не возбуждаемую свѣтомъ и его явленіями. Такія

противоположности разительны, и могутъ быть источникомъ живыхъ удовольствій. Величественный шумъ деревь, качаемыхъ вѣтромъ надъ моею головою, говоритъ одинъ писатель, есть мистическій языкъ природы, который бываетъ для меня священнѣе послѣ городского шума». (с. 536).

«Скажемъ наконецъ, что уединеніе подобно тѣмъ людямъ, съ которыми хорошо и пріятно видѣться изрѣдка, но съ которыми жить всегда тягостно уму и сердцу! (537).

Въ отрывкѣ: *Чувствительный и холодный*, представлена ярко противоположность этихъ характеровъ: внимательный читатель находитъ нѣкоторыя черты, принадлежащія самому Карамзину, а другія его другу Петрову, см. ниже.

Мы должны упомянуть здѣсь еще о двухъ статьяхъ, относящихся къ Грамматикѣ. Карамзинъ и имъ умѣлъ дать такую форму, что ихъ прочтаетъ съ удовольствіемъ самый свѣтскій читатель, — не говоримъ уже о томъ, что здѣсь предлагаются важныя замѣчанія, которыя даютъ понятіе о томъ, сколько и какъ думалъ онъ о правилахъ языка.

Въ статейкѣ своей: *Великой мужъ Русской Грамматики* онъ говоритъ: «Россійская Грамматика есть донынѣ богиня въ пеленахъ: никто еще не обнажилъ всѣхъ ея тайностей. Гораздо легче имѣть полную, ясную, мудрую систему гражданскаго законодательства, нежели языка; гораздо легче всѣмъ судьямъ сдѣлаться правосудными, нежели всѣмъ писателямъ грамотными».... (III. с. 325).

А вотъ какъ разсуждаетъ его герой о глаголахъ, осуждая ррѣбленіе ихъ по *неокончательному наклоненію*, и ^{бога}азывая его невѣрность и сбивчивость. «Мой другъ! сказалъ онъ: намъ даютъ правила; по всякое изъ нихъ рождаетъ исключеніе. Я могу вы-

твердить наизусть и безпрестанно ошибаться: слѣдовательно правила не основательны. Напримѣръ авторы говорятъ, что глаголы, которые въ *неопредѣленномъ наклоненіи* оканчиваются на *ать*, перемѣняютъ сіи буквы въ *изъявительномъ наклоненіи* *перваго лица настоящаго времени* на *ю*, но они должны тотчасъ примолвить, что глаголы *плакать*, *кликать* и многіе другіе уклоняются отъ сего закона! Не будемъ клеветать на языкъ: онъ имѣетъ вѣрныя законы для измѣненія буквъ въ разныхъ случаяхъ *маюла*; но мы только еще не открыли ихъ. Изъяснимъ *великое малымъ*, и скажемъ, что натура во всѣхъ твореніяхъ и разрушеніяхъ слѣдуетъ вѣчнымъ единообразнымъ законамъ, которые однакожь по большей части укрываются отъ натуралистовъ. *Спряженія* во всѣхъ коренныхъ языкахъ составляютъ главную трудность: кто приведетъ ихъ у насъ въ ясную систему, того ожидаетъ вѣнецъ безсмертія; но сей великій мудрецъ, сей блаженный смертный, еще не родился. Я посѣдѣлъ надъ *маюлами*—и—не дерзаю думать о системѣ!»

«Однакожь Небо награждаетъ друзей истины и если не совсѣмъ, то хотя сколько нибудь озаряетъ ихъ свѣтомъ ея. Такимъ образомъ и мнѣ удалось открыть въ разсужденіи *маюловъ* истинное правило, *истинное*, говорю: ибо оно не имѣетъ исключенія.» (с. 320).

Подъ великимъ мужемъ Русской Грамматики Карамзинъ разумѣлъ Профессора Московскаго Университета, Барсова *. Это былъ ученикъ Ломоносова, рассказывалъ самъ Карамзинъ, профессоръ — педантъ, но честный

* Барсовъ занимался дѣйствительно много Русскимъ языкомъ и написалъ Грамматику. Карамзинъ помѣстилъ у себя въ Московскомъ журналѣ его Систему событій россійскихъ, съ особеннымъ правописаніемъ. Свидѣтельство Г. Сербиновича подтверждается извѣстіемъ Калайдовича, помѣщеннымъ въ лѣтописяхъ г. Тихонравова, кн. VI, с. 113.

благородный человекъ, и добрый цензоръ. Карамзинъ пользовался совершенною его довѣренностію. — Когда лѣтомъ живаль онъ за городомъ, то, прїѣзжая на нѣсколько дней въ Москву, привозилъ къ Барсову по нѣсколку десятей чистой бумаги, и Барсовъ охотно скрѣплялъ ее по листамъ, вполне увѣренный, что Карамзинъ не способенъ употребить во зло довѣренности его, а Карамзинъ, сочиняя свои статьи въ сельскомъ уединеніи, по переписаніи ихъ на проценированныхъ бѣлыхъ листахъ, прямо изъ города пересылалъ ихъ въ типографію. Доброе старое время!

Въ шуточной статейкѣ о *Русской грамматикѣ гражданина Модрю* есть также дѣльныя замѣчанія, напримѣръ: «Изображая выгоды Русскаго языка, онъ (г. Модрю) находитъ великую въ возможности ставить слова, какъ хочешь. Это говорили и наши грамматики, но справедливо ли? Мнѣ кажется, что для переставокъ въ Русскомъ языкѣ есть законъ; каждая даетъ фразѣ особенный смыслъ; и гдѣ надобно сказать: *солнце плодотворитъ землю*, тамъ *землю плодотворитъ солнце*, или: *плодотворитъ солнце землю*, будетъ ошибкою. Лучшій, то есть истинный порядокъ, всегда *одинъ* для расположенія словъ; Русская грамматика не опредѣляетъ его: тѣмъ хуже для дурныхъ писателей! и право ошибаться не есть выгода» (с. 600).

Въ статьѣ о *Богдановичѣ*, изъ которой мы привели уже нѣсколько мыслей, Карамзинъ далъ образчикъ простаго, занимательнаго, трогательнаго жизнеописанія, и представилъ въ немъ очень милый, легкій разборъ Душеньки, предупреждая читателей: «Желая украсить гробъ сего любезнаго поэта *собственными ея цвѣтами*, напомнимъ здѣсь любителямъ Русскаго стихотворства лучшія мѣста *Душеньки*. Она не есть поэма героическая; мы не можемъ, слѣдуя правиламъ Аристотеля, съ важностію разсматривать ея *басню, нравы, характеры и выраженіе* ихъ;

не можемъ, къ счастью, быть въ семь случаѣ педантами, которыхъ боятся Грація и любимцы ихъ. Душенька есть легкая игра воображенія, основанная на однихъ правилахъ нѣжнаго вкуса; а для нихъ нѣтъ Аристотеля. Въ такомъ сочиненіи все правильно, что забавно и весело, остроумно выдуманно, хорошо сказано. Это, кажется, очень легко и въ самомъ дѣлѣ не трудно — но только для людей съ талантомъ. Пойдемъ же безъ всякаго ученаго масштаба, въ слѣдъ за стихотворцемъ; и чтобъ лучше цѣнить его дарованіе, будемъ сравнивать Душеньку съ Лафонтеновымъ твореніемъ (I. 617).

Объ историческихъ статьяхъ Вѣстника Европы мы будемъ говорить особо.

Въ 1802 году Карамзинъ написалъ еще нѣсколько очерковъ къ портретамъ Русскихъ писателей, издававшимся товарищемъ его дѣтства, П. П. Бекетовымъ, очерковъ легкихъ, живыхъ, занимательныхъ.

Мы исчислили статьи Карамзина, но сколько разсыпано еще мелкихъ, важныхъ замѣчаній, при чужихъ переводныхъ статьяхъ, во всѣхъ родахъ, напимѣръ:

О цѣлости Турецкой Имперіи, 1803, №12, с. 311: «Кто могъ бы вообразить въ 16 или въ 17 вѣкѣ, что со временемъ Христіанскія державы будутъ дружески заботиться о цѣлости Турецкой Имперіи? Вотъ торжество великодушія или политики!»!

О крайностяхъ въ политикѣ (N 9, с. 56): «Злой роялистъ не лучше злаго якобинца. На свѣтѣ есть только одна хорошая партія: друзей челоуѣчества и добра. Они въ политикѣ составляютъ тоже, что эклектики въ философіи».

О пьянствѣ, №15, с. 217: «Гибельная страсть... въ Россіи, особливо вокругъ Москвы, дѣлаетъ по крайней мѣрѣ столько же зла, какъ въ сѣверной Америкѣ между дикими народами... не только нищета и болѣзни, но и

самыя злодѣйства бывають слѣдствіями сего ужаснаго порока... Но что говорить о такомъ злѣ, которое всѣмъ извѣстно»; (№17, с. 46) «о гнусномъ порокѣ пьянства, дошедшемъ съ нѣкотораго времени до ужасной крайности... Эта язва въ здѣшнихъ удаленныхъ отъ столицы мѣстахъ есть новое явленіе: живо помня лѣта своего дѣтства, помню и то, что прежде въ одни годовые большіе праздники крестьяне веселились и гуляли, угощая другъ друга домашнимъ пивомъ или виномъ, купленнымъ въ городѣ».

О мѣстѣ для гулянья въ Москвѣ (№16, с. 286): «Иногда думаю, гдѣ быть у насъ гульбищу; достойному столицы, и не нахожу ничего лучше берега Мосевы рѣки между каменнымъ и деревяннымъ мостомъ, если бы можно было сломать тамъ Кремлевскую стѣну, гору къ соборамъ устлать дерномъ, разбросать по ней кусточки и цвѣтники, сдѣлать уступы и крыльцы для восхода, соединить такимъ образомъ Кремль съ набережною, и внизу насадить алею. Тогда, смѣю сказать, Московское гульбище сдѣлалось бы однимъ изъ первыхъ въ Европѣ, древній Кремль съ златоглавыми соборами и готическимъ дворцомъ своимъ, большая гора съ пріятными отлогостями и цвѣтниками; рѣка не малая и довольно красивая, съ двумя мостами, гдѣ всегда движется столько людей; огромный Воспитательный домъ съ одной стороны, а съ другой— длинный, необозримый берегъ съ маленькими домиками, зеленью и громадами плотоваго лѣса; вдали Воробьевы горы, лѣса, поля — вотъ гульбище, достойное великаго народа! Тогда житель Парижа или Берлина, сѣвъ на уступъ Кремлевской горы, забылъ бы свой бульваръ, свою Лиговую улицу... Воображаю еще множество лодокъ и шлюпокъ на Москвѣ рѣкѣ съ разноцвѣтными флагами, съ роговою музыкою: ежедневное собраніе людей на бе-

регу ея безъ сомнѣнія произвело бы сію охоту забавляться и забавлять другихъ... Сверхъ того Кремль есть любопытнѣйшее мѣсто въ Россіи по своимъ богатымъ историческимъ воспоминаніямъ, которыя еще возвысили бы пріятность сего гульбища, занимая воображеніе».

«Но это одна мысль. Кремлевская стѣна есть нашъ Палладіумъ: кто смѣетъ къ ней прикоснуться? Развѣ одно время разрушить ее, также какъ оно разрушило стѣну вокругъ Бѣлаго города и Землянаго: ибо и сей послѣдній былъ нѣкогда окруженъ башнями (деревянными)... И такъ удовольствуемся своимъ бульваромъ!»

Нечего говорить о выборѣ переводныхъ статей. Что касается до повѣстей, то мѣсто Мармонтеля въ Вѣстникѣ Европы заняла Г-жа Жанлисъ, и Карамзинъ перевелъ ея повѣстей на двѣ части, кои вскорѣ и были изданы особо, точно такъ и разныя повѣсти въ двухъ частяхъ.

Самыя пустыя объявленія запечатлѣны талантомъ, отличаются своими оборотами, напр. «Деньги, присланныя изъ Петербурга отъ неизвѣстной особы для бѣдной семнадцатилѣтней Шведки, о которой было упомянуто въ Вѣстникѣ, получены и въ тотъ же день отданы господину Гейдеке, пастору новой Лютеранской церкви, который взялъ на себя имѣть попеченіе о сей женщицѣ. Она совершенно здорова, и всякое воскресенье приходитъ въ церковь. Увѣдомляя о томъ великодушную незнакомку, осмѣливаюсь прибавить, что желаю быть всегда достойнымъ порученій благотворительности».

«Издатель долженъ въ сей послѣдней книжкѣ Журнала своего оскорбить нѣжную скромность Петербургской незнакомки — то есть, вторично назвать ее великодушною...» Онъ получилъ и отдалъ, кому слѣдуетъ, деньги, присланныя ею на содержаніе школы, учрежденной въ Москвѣ

при новой Лютеранской церкви. Достойный пасторъ, тронутый симъ даромъ щедрости, хотѣлъ знать имя благодѣтельница; но могъ ли я удовлетворить его желаніе, зная единственно прекрасный слогъ и добродѣтельное сердце ея?»

«Издатель съ великимъ удовольствіемъ помѣстилъ въ Вѣстникъ сіе объявленіе (о школѣ учрежденной для иностранцевъ въ Москвѣ при новой Лютеранской церкви), сердечно желая успѣха всякому полезному заведенію и предпріятію. г. Пасторъ Гейдеке, надѣясь на великодушное вспоможеніе Русскихъ, отдаетъ справедливость ихъ просвѣщенной благотворительности. Вотъ случай доказать, что мы не отличаемъ иностранцевъ отъ согражданъ нашихъ, когда можно сдѣлать имъ добро, и что права человѣчества всего для насъ священнѣе.»

Мы должны теперь обозрѣть семейную жизнь Карамзина въ продолженіи изданія Вѣстника Европы. Мы оставили его въ концѣ 1801 года совершенно счастливымъ, покойнымъ и довольнымъ въ этомъ отношеніи.

Сообщаемъ теперь письма, изъ коихъ увидимъ, что счастье продолжалось не долго.

1802 г.

Къ брату, января 7. ...Благодарю васъ, любезнѣйшій братъ, за то, что вы вспомнили имянинника: я вамъ заплатилъ тѣмъ же въ день вашихъ именинъ. Живучи розно, будемъ хотя частыми воспоминаніями платить долгъ истинному братству и родству. Простите, если иногда долго не пишу; но ради Бога, не думайте, чтобы это происходило отъ холодности. Люблю и почитаю васъ сердечно, и въ чувствахъ души моей васъ никогда не забываю. Будучи увѣренъ и въ вашей братской дружбѣ, повторяю вамъ, что я благодарю ежеминутно Провидѣніе за обстоя-

тельства моей жизни, а всего болѣе за милую жену, которая дѣлаетъ меня совершенно счастливымъ своей любовью, умомъ и характеромъ. Вамъ я могу хвалить ее. Богъ благословляетъ меня и съ другихъ сторонъ. *Я черезъ труды свои имѣю все въ довольствѣ;* желаю только здоровья Лизанькѣ и себѣ; желательно, чтобы Богъ не отнял у меня того, что имѣю; *и новаго мнѣ не надобно.*

Къ И. И. Дмитріеву, Января 14.... «Ты не хотѣлъ мнѣ сказать ни слова о расположеніи твоего духа, и сократилъ письмо свое дурною оговоркою. У меня довольно времени на то, чтобы любить тебя и тобою интересоваться; иначе съ журналомъ вышла бы у меня ссора. Прошу тебя сердечно быть въ письмахъ говорливѣе; говори мнѣ о своихъ родныхъ, своихъ упражненіяхъ; я радъ слушать даже всѣ медицинскія подробности твоего здоровья. Чтобы на то убѣдить тебя, скажу, что нерѣдко самъ хвораю, и по прежнему беспокоюсь о Лизанькѣ, въ ожиданіи Марта мѣсяца. Пишу, пишу, и все думаю, что мало. Этотъ журналъ требуетъ великихъ трудовъ. Но если буду здоровъ и веселъ въ Мартѣ, то меня станетъ, и я набросаю въ книжки довольно собственнаго. Пренумерановъ не мало около, 580; вѣроятно, что и прибавится. Скоро пришлю тебѣ второй номеръ; также и слово Ек. Хорошо и прекрасно, если бы ты въ счастливый часъ вздумалъ чѣмъ нибудь подарить журналиста, или лучше сказать, друга своего; я сердечно бы обрадовался всякому цвѣтку твоему. Мнѣ пріятно будетъ знать и видѣть, что ты занимаешься стариннымъ хорошимъ ремесломъ.

Къ брату, Февраля 12. «Посылаю вамъ, братецъ новое свое сочиненіе: *Слово похвальное Екатерину;* желаю, чтобы оно сдѣлало вамъ нѣкоторое удовольствіе. Здоровье мое не очень хорошо; и теперь съ трудомъ пишу къ вамъ отъ простуды. Пожелайте, любезный братецъ, чтобы Мартъ

мѣсяцъ прошелъ для меня благополучно: моя Лизанька должна родить въ половинѣ его.»

Къ И. И. Дмитріеву, Февраля 12. «Мнѣ грустно слышать отъ тебя, что ты не выходишь изъ дряхлыхъ. Я самъ, мой милый другъ, занемогалъ безъ тебя раза четыре; и теперь съ трудомъ пишу отъ страшной головной боли. — Дней шесть не думаю о журналѣ, и ни за что не принимался. Такъ трудно быть счастливымъ въ здѣшнемъ свѣтѣ! Когда все есть, такъ нѣтъ здоровья. Безпокоюсь также и объ Лизанькѣ; время рѣшительное приходитъ, и сердце у меня очень дрожить. Слышалъ ли ты о потерѣ Пельскаго? Жена его умерла родами: онъ со всѣхъ сторонъ несчастливъ, и всякій день долженъ бояться своихъ заимодавцевъ. Посылаю тебѣ Похвальное слово Екатеринѣ, дурно напечатанное. Въ Москвѣ нельзя думать о хорошихъ изданіяхъ. Теперь начнутъ критиковать меня: это гораздо легче, нежели писать. Богъ съ ними! Мнѣ грустно, что я долженъ писать въ Петербургъ, и нѣкоторымъ образомъ кланяться; это не ободряетъ талантъ. Искренно скажу, что ничего не желаю, а чтобы публика нашла удовольствіе въ этомъ произведеніи.

«Пожелай, мой милый, чтобы я или самъ умеръ въ Мартъ мѣсяцъ, или былъ радостнымъ мужемъ и отцемъ:»

Къ Дмитріеву, въ Мартъ. «Я отецъ маленькой Софьи. Лизанька родила благополучно, но еще очень слаба. Выпей пѣлую рюмку вина за здоровье матери и дочери. Я уже люблю Софью всею душою и радуюсь ею. Дай Богъ, чтобы она была жива и здорова, и чтобы я могъ показать тебѣ ее, когда къ намъ возвратишься! Желаю сердечно скорѣе увидѣть тебя. Прости, милой! Будь здоровъ и покоенъ! Люблю тебя душою и сердцемъ. Императоръ прислалъ мнѣ табакерку съ брилліантами, не очень блестящими. Обнимаю тебя со всею нѣжностію дружбы.»

Къ брату. «Поздравляю васъ съ племянницею Софьею; которая родилась благополучно. Лизаньба моя слаба, но впрочемъ, слава Богу! хорошо себя чувствуетъ. Вы конечно раздѣлите радость мою быть отцомъ. Маленькая Софья уже забавляетъ меня какъ нельзя болѣе. Теперь я всякую минуту занятъ и матерью и дочерью.»

«Императоръ прислалъ мнѣ за Похвальное слово Екатерины табакерку съ брилліантами. Такимъ образомъ имѣю отъ него уже три подарка: два перстня и табакерку.»

Къ брату, Апрѣля 15. «Все безпокоюсь о моей Лизанькѣ, которая по сіе время не можетъ оправиться и очень слаба грудью. Это мѣшаетъ мнѣ радоваться вашей племянницею, которая, слава Богу! здорова. Вчера привили мы ей оспу. Говорятъ, что она очень похожа на меня. Мы намѣрены черезъ нѣсколько дней переѣхать въ загородный домъ, въ надеждѣ, что сельскій воздухъ поможетъ Лизанькѣ. Здоровье есть великое дѣло и безъ него нѣтъ счастья; а еще прискорбиѣе, когда боленъ тотъ, кого мы болѣе себя любимъ. Богъ видитъ, что мнѣ всякая собственная болѣзнь была бы гораздо легче.»

Къ брату. «Пишу къ вамъ изъ деревни, изъ Свирлова, гдѣ я живу съ моею больною Лизанькою, во всегдашнемъ страданіи и горѣ. Она очень нездорова, и самыя лучшія Московскіе доктора не помогаютъ ей. Она день и ночь кашляетъ, худѣетъ—и такъ слаба, что едва можетъ сдѣлать два шага по горницѣ. Я не могу теперь радоваться и дочерью; все мнѣ грустно и постыло; всякій день плачу, потому что я живу и дышу Лизанькою.»

Къ брату.... «Что принадлежитъ до меня, любезнѣйшій братъ, то безпокойство мое о Лизанькѣ не уменьшается, а увеличивается ежедневно: она часъ отъ часу хуже и такъ слаба, что не могу описать ея состоянія; дней пять

я, какъ сумасшедшій, тоскую и плачу, и еще долженъ скрывать отъ нея мою тоску. Къ несчастію, не могу имѣть ни какой довѣренности къ медикамъ: мнѣ кажется, что они морятъ ее, а не помогаютъ ей! Но какъ же теперь и оставить ихъ, когда она уже въ такомъ состояніи? Однимъ словомъ, я никогда въ жизни не былъ такъ несчастливъ, какъ нынѣ, любя мою Лизаньку во сто разъ болѣе самаго себя. Что со мною будетъ, извѣстно одному Богу; но всякій человѣкъ передъ непріятельскою батареею спокойнѣе меня. Пожалуйте о вашемъ бѣдномъ братѣ, который не многого проситъ у судьбы для своего счастья, и у котораго она грозитъ отнять все утѣшеніе въ свѣтѣ! Простите, милый братъ. У меня теперь только одна мысль и одно чувство. Съ горестнымъ сердцемъ обнимаю васъ мысленно.»

Карамзинъ между тѣмъ писалъ, переводилъ, и въ его трудахъ не примѣтно было вліяніе его горести.—Марѳа Посадница начата была во время болѣзни и дописана послѣ кончины. Такова была сила его таланта и сила его воли!

М. А. Дмитріевъ, со словъ своего дяди, Ивана Ивановича, рассказываетъ въ Мелочахъ изъ запаса моей памяти (с. 36) слѣдующее объ этомъ времени: «Карамзинъ любилъ страстно.... Видя безнадежность больной, онъ то рвался къ ея постели, то отрывается былъ срочною работою журнала, который составлялъ его доходъ и былъ необходимъ для семейства. Это было мучительное время его жизни! Утомленный, измученный, бросился онъ однажды на диванъ и заснулъ. Вдругъ видитъ во снѣ, что онъ стоитъ у вырытой могилы, а по другую сторону стоитъ Екатерина Андреевна, (на которой онъ послѣ женился), и черезъ могилу подаетъ ему руку. Этотъ сонъ тѣмъ страннѣе, что въ эти минуты, занятый умирающею

женою, онъ не могъ и думать о женитьбѣ, и не воображалъ жениться на Екаторинѣ Андреевнѣ.»

Супруга Николая Михайловича скончалась 4 Апрѣля, 1802 года.

(«Князь Андрей Ивановичъ Вяземскій, по разсказу К. П. А., бывший съ Барамзинымъ въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ, и не задолго передъ тѣмъ самъ лишившійся своей супруги, — зная о болѣзни Елизаветы Ивановны, поѣхалъ съ семействомъ своимъ за городъ въ Свирлово навѣстить его. Дорогою обогнали они гробъ. Подѣхавъ къ дому, князь пошелъ къ Николаю Михайловичу, въ сопровожденіи слуги своего, а семейство оставалось въ экипажѣ, и скоро увидѣло возвращавшагося слугу съ печальнымъ извѣстіемъ. На вопросъ Екаторины Андреевны о здоровьѣ Елизаветы Ивановны, онъ отвѣчалъ: приказала долго жить!»)

«Князь Петръ Андреевичъ, которому тогда было только 10 лѣтъ отъ роду, крѣпко запомнилъ этотъ случай и самое выраженіе въ отвѣтѣ слуги, столько обыкновенное въ Русскомъ народѣ, которое, однакъ, довелось ему внимательно услышать въ первый разъ.»)

Бантышъ Каменскій, (въ своемъ Словарѣ, II, с. 134) свидѣтельствуешь:

«Съ блѣднымъ лицомъ, открытою головою, шелъ Барамзинъ около пятнадцати верстъ, (отъ Свирлова до Донскаго монастыря), подлѣ печальной колесницы, положи руку на гробъ; самъ опускалъ его въ могилу; бросилъ первую горсть земли. Друзья подошли къ нему, предлагали ему мѣсто въ каретѣ. «Оставьте,» отвѣчалъ Барамзинъ — «приходите завтра. Присутствіе ваше будетъ необходимо.» — Онъ не могъ тогда облегчить душевной скорби слезами: она изсушила ихъ!»

Брата онъ увѣдомляетъ такъ о своей потерѣ: «Я лишился милаго ангела, который составлялъ все счастье моей

жизни. Судите, каково мнѣ, любезнѣйшій братъ. Вы не знали ее, не могли знать и моей чрезмѣрной любви къ ней; не могли видѣть послѣднихъ минутъ ея безцѣнной жизни, въ которыя она, забывая свои мученія, думала только о несчастномъ своемъ мужѣ. Уже болѣе трехъ недѣль я тоскую и плачу, узнавъ совершенное счастье для того единственно, чтобы на вѣкъ его лишиться. Остается въ горести ожидать смерти, въ надеждѣ, что она соединитъ два сердца, которыя обожали другъ друга. Люблю Сонюшку за то, что она дочь безцѣнной Лизаньки, но ничто не можетъ замѣнить для меня этой потери. Снова принимаюсь за работу, которая нужна и для Сонюшки, естъли Богъ и ее не отниметъ у меня; но прежде работа была мнѣ удовольствіемъ, а теперь быть можетъ только однимъ минутнымъ разсѣяніемъ. Все для меня исчезло, любезный братъ; въ предметъ остается одна могила. Стану заниматься трудами, сколько могу: Лизанька того хотѣла.»

Къ брату, Августа 19. «Участіе, которое вы берете въ моей горести, для меня утѣшительно. Въ самомъ дѣлѣ я достоинъ сожалѣнія всѣхъ добрыхъ людей: былъ такъ счастливъ, такъ доволенъ судьбою, и сталъ вдругъ самый бѣдный человѣкъ въ свѣтѣ. Время конечно притупляетъ горестъ, но не можетъ возвратитъ счастья, а что прибыли и въ спокойствіи, когда жить не весело? Я же совсѣмъ отсталъ отъ свѣта: дышалъ Лизанькою, и работалъ подлѣ нея, чтобы не быть бесполезнымъ отечеству, и чтобы мы могли жить безъ нужды. Теперь я одинъ въ свѣтѣ, какъ въ пустынѣ. Сонюшку я люблю нѣжно, но это чувство не можетъ замѣнить потеряннаго; въ тому же безпрестанно боюсь и ея лишиться. Куда ни взгляну, все вижу смерть передъ собою; послѣдняя минута моего ангела не выходитъ изъ моихъ мыслей; и если бы работа не служила мнѣ

нѣкоторымъ разсѣяніемъ, то не знаю, какъ бы я жилъ съ своею грустью. До сего времени живу еще въ той деревнѣ, гдѣ закрылись глаза ея, и сплю на томъ диванѣ, гдѣ она страдала и скончалась. Между тѣмъ въ Москвѣ я перемѣнилъ домъ, и нанялъ на *Малой Дмитровскъ*, у *Мосо-лова*, куда прошу васъ, братецъ, и надписывать ко мнѣ письма. Ваша племянница довольно здорова и весела; бѣдная не чувствуетъ своего несчастія. Вы могли бы съ удовольствіемъ взглянуть на нее, любезнѣйшій братецъ: она хороша, какъ ангелъ, и улыбается такъ умно, такъ пріятно, что посторонніе радуются ея. Я былъ бы гораздо менѣе несчастливъ, если бы не боялся потерять ее.»

Къ брату, Сентября 17. «Я переѣхалъ съ своею сиротою въ городъ, и перевезъ съ собою тоску, которая давить меня. Дома грустно, а выѣзжать не хочется. Работа была единственнымъ моимъ убѣжищемъ, а съ нѣкотораго времени почти совсѣмъ не могу заниматься. Этотъ ударъ потрясъ до основанія всю мою душу, и милая Лизанька взяла съ собою въ могилу все, что было во мнѣ лучшаго. Сонюшку люблю безъ памяти; но эта любовь есть теперь для меня не радость, а страхъ; не смѣю и думать, чтобы я имѣлъ утѣшеніе видѣть ее большую. Сердечно благодарю васъ за всѣ ласковыя слова въ письмѣ вашемъ на счетъ моей и вашей Сонюшки. Она похожа и на меня и на мать; умильна и пріятна личикомъ. Любите ее заочно и пишите къ намъ.»

Къ брату, Ноября 12. «Состояніе души моей не перемѣняется, и перемѣниться не можетъ, любезнѣйшій братъ. Между тѣмъ стараюсь заниматься, и всего болѣе утѣшаю себя въ горѣ милою вашею племянницею, которая по немножку растетъ и привыкаетъ ко мнѣ. Теперь она, слава Богу, здорова. Боюсь того времени, какъ у ней пойдутъ зубки; это всегда сопряжено бываетъ съ болѣзнями. Какъ

бы мнѣ хотѣлось показать вамъ свою малютку. Можетъ быть любовь отцовская меня обманываетъ, только мнѣ кажется, что она прекрасный ребенокъ. Въ одно время и утѣшаюсь ею, и грущу! Но крайней мѣрѣ, что нибудь еще привязываетъ меня къ здѣшнему свѣту. Выѣзжаю рѣдко, и всякій разъ чувствую, что душа моя стала совсѣмъ не та. И счастье, которымъ я наслаждался съ моею Лизанькою, и несчастіе, которое узналъ, потерявъ ее, отвратили меня отъ свѣта.»

Къ брату, Декабря 22. «Съ сердечной чувствительностію принимаю вашу братскую откровенность, любезнѣйшій братецъ, и радъ сказать вамъ все, что могу въ разсужденіи вашей милой питомицы, которую люблю заочно, за то, что она васъ веселитъ и занимаетъ.* Здѣсь есть очень изрядные пансіоны, въ которыхъ воспитываются порядочныя дѣвушки; когда ваша малютка придетъ въ лѣта, то я съ радостію берусь выбрать для нея самый лучший пансіонъ, если буду живъ. Но для чего, любезнѣйшій братъ, вы хотите лишитъ себя удовольствія воспитывать ее на глазахъ своихъ? Она будетъ вашимъ утѣшеніемъ, а вы научите ее любить васъ и быть благодарною. Я вообще не хорошаго мнѣнія о пансіонахъ: въ нихъ можно выучиться по-Французски и другимъ бездѣлицамъ, а сердце нерѣдко портится. Для чего не взять вамъ къ себѣ хорошую учительницу?

* «Эта воспитанница—необыкновенное явленіе въ тогдашней Русской жизни, «говоритъ издатель писемъ Н. М. къ брату въ Атенѣ 1858 г., «не говоря о томъ, что она знала въ совершенствѣ многія литературы, но она изучала потомъ Латинскій языкъ и страстно предалась положительнымъ наукамъ. Ей хотѣлось хоть разъ въ жизни видѣть Исторіографа, славой котораго она гордилась, какъ своей собственной, даже преподавала частнымъ образомъ историческія лекціи для дамъ, придерживаясь его манеры изложенія. Употребивъ всѣ средства, она прибыла, наконецъ, изъ Симбирска въ Петербургъ собственно за тѣмъ, чтобъ познакомиться лично съ Карамзинымъ. Но Карамзина уже не было тогда на свѣтѣ.»

Въ пансіонъ надо платить рублей 500, а за семь или восемь сотъ рублей можно имѣть порядочную мадану. Надобно образовать сердце и просвѣтить умъ. Первое всего болѣе отъ васъ зависитъ, для втораго нужны хоронія книги и стараніе учительницы. Французскій языкъ нуженъ для того, что на немъ болѣе полезныхъ книгъ. Малютка, живучи съ вами, можетъ узнать все нужное для украшенія разума. Въ пансіонѣ она приобрѣла бы одинъ талантъ, который мудрено сообщить въ деревенскомъ воспитаніи, то-есть талантъ музыки. Пріятно знать ее, но можно и безъ того быть любезною дѣвушкою. Вотъ мои мысли, но если вы, милый братъ, когда нибудь рѣшитесь отпустить ее въ Москву, то я сердечно радъ всѣмъ способствовать благу ея, и вы конечно смѣло можете надѣяться на меня. Располагайте мною во всякомъ случаѣ, какъ вашимъ добрымъ братомъ. Между тѣмъ, прошу за меня поцѣловать вашу малютку. Если моя Сонюшка будетъ жива, то она вмѣстѣ со мною будетъ любить ее. Какъ скоро найду надзирательницу, то васъ увѣдомлю, и напередъ прошу вѣрить моей попечительности.»

Въ 1803 году Карамзинъ продолжалъ издавать, какъ мы видѣли, Вѣстникъ Европы, и лѣто провелъ по прежнему въ Свирловѣ.

4 Марта, 1803, къ брату. Я черезъ нѣсколько дней думаю ѣхать за городъ, въ самое то мѣсто, гдѣ Богъ разлучилъ меня съ Лизанькою. Мнѣ конечно будетъ грустно: но вообще я сталъ гораздо покойнѣе...

Въ Свирлово переѣхалъ къ нему на житье и Жуковскій.

«Туда къ Жуковскому пріѣзжалъ однажды, въ 1803 году, молодой Блудовъ, какъ рассказывалъ онъ К. С. Сербиновичу, но къ великому сожалѣнію не засталъ Карамзина, и не могъ съ нимъ познакомиться. Въ слѣдующемъ 1804

году Жуковский уже самъ повезъ его къ Карамзину и познакомилъ. Первое свиданіе произвело глубокое впечатлѣніе на 19-ти лѣтняго юношу. Онъ искалъ случаевъ чаще видѣть Карамзина, и съ тѣхъ поръ часто бывалъ у него въ Москвѣ.»

(Увидѣлъ же Карамзина въ первый разъ, какъ онъ мнѣ рассказывалъ, въ Москвѣ, въ залѣ Благороднаго собранія, гдѣ давали Гайденову ораторію: Сотвореніе міра. Слова ея были переведены Карамзинымъ. «И теперь еще помню», говорилъ графъ Дмитрій Николаевичъ, «насмѣшливый, тонкій взглядъ Дмитріева, и меланхолическую, скромную фигуру Карамзина. Это было еще при Павлѣ).

Июня 6. Я былъ въ великомъ безпокойствѣ о моей Сонюшкѣ... теперь она, слава Богу! здорова, и я спокойнѣе. Находя одно утѣшеніе въ ней, боюсь и страдаю, какъ скоро она нездорова. Сдѣлавъ одну важную потерю, человѣкъ уже не увѣренъ ни въ чемъ на землѣ. — Мнѣ пріятно воображать, любезнѣйшій братъ, что вы, подобно мнѣ, занимаетесь милою малюткою, и что она утѣшаетъ васъ, какъ меня Сонюшка утѣшаетъ. Родительское сердце не можетъ быть пусто: когда оно не страдаетъ, то наслаждается. Дай Богъ и вамъ и мнѣ вырастить своихъ милыхъ».

«Я нанимаю прекрасный сельскій домикъ, и въ прекрасныхъ мѣстахъ близъ Москвы. Бываю по большей части одинъ, и когда здорова Сонюшка, то, не смотря на свою меланхолю, еще благодарю Бога! Сердце мое совсѣмъ почти отстало отъ свѣта. Занимаюсь трудами вопервыхъ для своего утѣшенія, а во вторыхъ и для того, чтобы было чѣмъ жить и воспитывать малютку. Мнѣ хочется до того времени выдавать журналъ, пока будетъ у меня столько денегъ, чтобы жить безъ нужды, а тамъ хотѣлось бы мнѣ приняться за трудъ важнѣйшій... (см. ниже).

13 Октября. Сердечно обрадовался я вашему намѣренію пріѣхать нынѣшней зимою въ Москву... Это будетъ великимъ утѣшеніемъ для моего сердца, къ вамъ искренно привязаннаго. Жизнь такъ коротка, а я лучшія ея лѣта провелъ, къ несчастью, въ разлукѣ съ вами... Дурное время заставило меня наконецъ выѣхать изъ деревни, гдѣ я жилъ пять мѣсяцевъ. Не могу вообще жаловаться на свое здоровье, но зрѣніе мое слабѣетъ; это заставляеть меня отказаться отъ журнала; но' примусь за исторію, которая не требуетъ срочной работы.

Вѣстникомъ Европы который кончился 1803 годомъ, заключается второй періодъ литературной дѣятельности Карамзина.

Обозримъ, что онъ сдѣлалъ въ продолженіи 15-ти лѣтъ.

Онъ очистилъ Русскій языкъ, освободилъ его изъ-подъ классическаго вліянія, указалъ настоящее теченіе рѣчи, обработалъ слогъ, обогатилъ Словесность, представилъ сочиненія во всѣхъ родахъ: письма, повѣсти, разсужденія, похвальныя слова, разговоры, возбудилъ участіе къ сочиненіямъ знаменитыхъ писателей, познакомилъ съ иностранными литературами, перевелъ множество образцовыхъ произведеній со всѣхъ новыхъ языковъ; привелъ въ движеніе Словесность, распространилъ охоту къ чтенію; умѣлъ возбудить любовь къ занятіямъ; коснулся до всѣхъ современныхъ вопросовъ; училъ, т. е. далъ примѣръ, разсуждать политически; началъ возбуждать участіе къ Русской старинѣ, и познакомилъ съ древними иностранными путешественниками; наконецъ, что важнѣе всего, Карамзинъ образовалъ цѣлую школу учениковъ, послѣдователей, преемниковъ, между которыми первое мѣсто занимаетъ *Жуковский*, начавшій свою литературную дѣятельность переводомъ Сельскаго кладбища, Греевой элегій, и повѣстью Вадимъ Нов-

городскій, въ подражаніе Марѣ Посадницѣ, которую напечаталъ Карамзинъ въ послѣдней книжкѣ Вѣстника Европы. П. И. Макаровъ издавалъ Московскій Меркурій въ одно время съ Вѣстникомъ Европы 1803 года, журналъ легкаго чтенія, въ духѣ Карамзина; его слогомъ. В. В. Измайловъ издалъ тогда же Путешествіе въ полуденную Россію, князь П. И. Шаликовъ Путешествіе въ Малороссію. Панкратій Сумароковъ принялъ на себя продолженіе Вѣстника Европы. Это были первые ревностные послѣдователи Карамзина и подражатели. За ними послѣдовали товарищи и друзья Жуковскаго: Мерзляковъ, Гнѣдичъ, Воейковъ, Тургеневъ, Блудовъ, Дашковъ, Жихаревъ, Вяземскій.

Впрочемъ вся литература подчинилась его вліянію, и большинство писателей старались писать его языкомъ. Баченовскій, Гречъ, Глинка, Востоковъ, Озеровъ, Брыловъ, писали языкомъ Карамзина, хотя нѣкоторые, напримѣръ Баченовскій, и не сознавались въ томъ.

Публика оцѣнила труды и заслуги Карамзина; по справедливости Карамзинъ былъ въ ея глазахъ представителемъ Русской Словесности, и сталъ рядомъ съ Ломоносовымъ.

Явились подражатели, которые, идя по его направленію, доходили до крайностей и подали поводъ къ реакціи. Къ числу противниковъ присоединились и завистники, которымъ несносенъ всякій успѣхъ на какомъ бы то поприщѣ ни было. Послышались эпиграммы, сочиненъ пасквиль, на первую женитбу Карамзина, Впрочемъ довольно приличный, (Байсаровымъ).

Шишковъ, горячій ревнитель церковнаго языка, вооружился противъ такъ называемыхъ нововведеній Карамзина цѣлою книгою: О старомъ и новомъ слогѣ (1803), которую начинаетъ такъ:

«Всѣхъ, кто любитъ Россійскую Словесность, и хотя нѣсколько упражнялся въ оной, не будучи зараженъ неисцѣ-

лимою и лишающею всякаго разсудка страстію къ Французскому языку, тотъ развернувъ большую часть нынѣшнихъ нашихъ книгъ съ сожалѣніемъ увидить, какой странный и чуждый понятію и слуху нашему слогъ господствуетъ въ оныхъ. Древній Словенскій языкъ, повелитель многихъ народовъ, есть корень и начало Россійскаго языка, который самъ собою всегда изобилень былъ и богатъ, но еще болѣе произвелъ и обогатился красотами, заимствованными отъ сроднаго ему Эллинскаго языка, на коемъ витѣствовали гремящіе Гомеры, Пиндары, Демосеены, а потомъ Златоусты, Дамаскины, и многіе другіе Христіанскіе проповѣдники. Кто бы подумалъ, что мы, оставя сіе многими вѣками утвержденное основаніе языка своего, мачали вновь созидать оный на скудномъ основаніи Французскаго языка? Кому приходило въ голову, съ плодородной земли благоустроенный домъ свой переносить на бесплодную болотистую землю?»

Макаровъ, въ послѣдней книгѣ Меркурія, вступился за Барамзина, и, разбирая книгу Шипкова, сказалъ:

«Послѣ Ломоносова мы узнали тысячи новыхъ вещей; чужестранные обычаи родили въ умѣ нашемъ тысячи новыхъ понятій; вкусъ очистился; читатели не хотятъ, не терпятъ выражений, противныхъ слуху; болѣе двухъ третей Русскаго Словаря остается безъ употребленія: что дѣлать? Искать новыхъ средствъ изъясняться. Удержать языкъ въ одномъ состояніи не возможно: такого чуда не бывало отъ начала свѣта. Языкъ Гомера не перемѣнился ли совершенно? Потомки Перигловъ, Фокіоновъ и Демосееновъ должны, какъ чужестранцы, учиться тому, которымъ предки ихъ гремѣли на каедрѣ Аѳинской. Русская Правда однимъ-ли слогомъ писана съ Уложеніемъ царя Алексѣя Михайловича? Всякій ли Французъ можетъ нынѣ понимать Монтаня, или Рабеле? И должно ли винить пи-

сателей вѣка Людовика XIV за то, что они не подражали писателямъ времени Франциска I, или Генриха IV? Должно-ли винить Феофана, Кантемира и Ломоносова, что они первые удалились отъ своихъ предшественниковъ, которыхъ сочинитель Разсужденія о слогахъ предлагаетъ намъ теперь въ образецъ? Языкъ слѣдуетъ всегда за науками, за художествами, за просвѣщеніемъ, за нравами, за обычаями. Пройдетъ время, когда и нынѣшній языкъ будетъ старъ: цвѣты слога вянутъ, подобно всѣмъ другимъ цвѣтамъ. Въ утѣшеніе писателю остается, что умъ и чувствованія не теряютъ своихъ пріятностей, и достигаютъ до самаго отдаленнаго потомства. Красавицы двадцать третьяго вѣка не станутъ можетъ быть искать могилы бѣдной Лизы; но въ двадцать третьемъ вѣкѣ другъ Словесности, любопытный знать того, кто за 400 лѣтъ прежде очистилъ, украсилъ нашъ языкъ, и оставилъ послѣ себя имя, любезное отечественнымъ благодарнымъ музамъ, другъ Словесности, читая сочиненія Карамзина, всегда скажетъ: «Онъ имѣлъ душу; онъ имѣлъ сердце!» *

... «Всего непріятнѣе видѣть фразы г. Карамзина, перемѣшанныя въ сей книгѣ съ фразами ученическими, и писателя, которому наша Словесность такъ много обязана, поставленнаго на ровнѣ съ другими. По счастью, всеобщее и отличное къ нему уваженіе, котораго онъ ежедневно получаетъ новыя доказательства, не зависитъ отъ мнѣнія одного человѣка. Г. Карамзинъ сдѣлалъ эпоху въ исторіи Русскаго языка. Такъ мы думаемъ, и, сколько намъ извѣстно, такъ думаетъ публика. Сочинитель разсужденій о слогахъ думаетъ иначе, но противорѣча мнѣнію всеобщему, надежало, кажется, говорить не столь утвердительно; надежало вспомнить, что одинъ человѣкъ мо-

* Московскій Меркурій, 1803 года Декабрь, с. 162—164.

жетъ ошибиться; а тысячи, когда судятъ по вещамъ очевиднымъ, рѣдко ошибаются. Г. Карамзинъ сдѣлался извѣстнымъ всему ученому свѣту; его сочиненія переведены на разные языки и приняты вездѣ съ величайшею похвалою: какъ патріоты, мы должны бы радоваться славѣ, которую соотечественникъ нашъ пріобрѣтаетъ у народовъ чужестранныхъ, а не стараться затмить ее! Покажемъ своимъ читателямъ одинъ примѣръ изъ критики на фразы г. Карамзина (стр. 176):

«Когда путешествіе сдѣлалось потребностію души моей...» Свойственно ли по Русски говорить: потребность души моей, и можно ли путешествіе называть потребностію, надобностію, или нуждою души? Если сочинителю мало показалось сказать: когда я любилъ путешествовать, то могъ бы онъ премногими другими, сродными языку нашему оборотами, рѣчь сію выразить, какъ на примѣръ: когда душа моя питалась, услаждалась путешествіями, или когда путешествіе было единственнымъ изъ вождѣннѣйшихъ желаній моихъ, и тому подобными.»

«Безъ всякаго сомнѣнія можно путешествіе назвать потребностію души; тѣло имѣетъ потребности физическія, а душа моральныя. Напротивъ того, нельзя сказать: когда путешествіе было единственнымъ изъ вождѣннѣйшихъ желаній моихъ; ибо вождѣленіе значить тоже, что желаніе, и вождѣленнѣйшее желаніе также будетъ хорошо, какъ желаннѣйшее желаніе.»*

Дмитріевъ требовалъ непремѣнно, чтобы Карамзинъ самъ отвѣчалъ на книгу Шишкова. Карамзинъ отговаривался, но наконецъ далъ слово. «Когда привезешь ты мнѣ статью?» — «Черезъ двѣ недѣли.»

Карамзинъ къ назначенному сроку привозитъ отвѣтъ на тетради, довольно толстый. Дмитріевъ совершенно дово-

* Ив. с. 189—192.

лесь. Карамзинъ начинаеть чтеніе. Дмитріевъ въ полномъ удовольствіи. По окончаніи чтенія Карамзинъ говоритъ: «Ну вотъ видишь, я сдержалъ свое слово: я написалъ, исполнилъ твою волю. Теперь ты позволи мнѣ исполнить свою.» И съ этимъ словомъ бросаетъ тетрадь въ каминъ.

Карамзинъ довольствовался нѣсколькими общими замѣчаніями о литературныхъ врагахъ, въ статьѣ своей: Чувствительный и холодный. Онъ приписалъ Эрасту авторство, имѣвшее значительный успѣхъ.

«Чувствительное сердце есть богатый источникъ идей: если разумъ и вкусъ помогаетъ ему, то успѣхъ несомнителенъ, и знаменитость ождаетъ писателя. Эрастъ жилъ уединенно, но скоро обратилъ на себя общее вниманіе; умные произносили имя его съ почтеніемъ, а добрые съ любовію, ибо онъ родился нѣжнымъ другомъ челоувѣчества, и въ твореніяхъ своихъ изобразилъ душу страстную ко благу людей. Призракъ, называемый славою, явился ему въ лучезарномъ сіяніи и воспламенился его ревностію безсмертія.» (632)

...«Скоро зашипѣли ехидны зависти, и добродушный авторъ нажилъ себѣ непріятелей. Сіи чудные люди, которыхъ онъ не зналъ въ лице, блѣднѣли и страдали отъ его авторскихъ успѣховъ, сочиняли гнусные, ядовитые пасквили, и готовы были растерзать челоувѣка, который не оскорбилъ ихъ ни дѣломъ, ни мыслию. Напрасно Эрастъ вызывалъ завистниковъ своихъ писать лучше его: они умѣли только изливать ядъ и желчь, а не блистать талантомъ... Дарованія ума всегда оспориваются, и причина ясна: души малыя, но самолюбивыя, какихъ довольно въ свѣтѣ, хотятъ возвеличиться униженіемъ великихъ... (633) Эрастъ... внутренно утѣшался мыслию, что зависть и вражда умираютъ съ авторомъ, и что творенія его найдутъ въ потомствѣ одну справедливость и признательность—слѣд-

ственно онъ все еще обманывалъ себя воображеніемъ: развѣ холодныя души не удивляютъ насъ жаромъ своимъ, когда онѣ терзаютъ память бѣднаго Жанъ-Жака? Злословіе есть наслѣдственный грѣхъ людей: живые и мертвые равно бываютъ его предметомъ.» 637.

Мысль Шишкова, хоть и не ловко, односторонне, пристрастно выраженная, послужила однакоже безъ сомнѣнія полезнымъ указаніемъ Карамзину, который, можетъ быть, самъ не примѣчая того, сдѣлался осторожнѣе.

Относясь съ кротостію къ своимъ противникамъ, или презирая ихъ, Карамзинъ самъ былъ недоволенъ своими трудами въ другомъ отношеніи: ему мало было тѣхъ, которые онъ могъ, лишь задумалъ, оканчивать; его влекло въ темную даль; ему хотѣлось такого дѣла, которому не видать бы было конца; онъ желалъ искать новыхъ способностей въ своей душѣ, новыхъ силъ.

Въ Декабрьской книгѣ Карамзинъ распростился съ своими читателями, объяснивъ имъ:

«Сею книжкою заключается *Вѣстникъ Европы*, котораго я былъ издателемъ. Въ продолженіи его не буду имѣть никакого участія.»

«Обстоятельства, важныя для меня, а не для публики, не дозволили мнѣ выдать въ срокъ послѣднихъ четырехъ нумеровъ; но кто съ величайшею исправностію издалъ ихъ 44, и сверхъ условія прибавлялъ нѣсколько лишнихъ страницъ почти во всякой книжкѣ, тотъ можетъ надѣяться на благосклонное снисхожденіе читателей.»

«Изъявляю публикѣ искреннюю мою признательность. Я работалъ охотно, видя число пренумерантовъ. *Вѣстникъ* имѣлъ счастье заслужить лестные отзывы самыхъ иностранныхъ литераторовъ: многія Русскія сочиненія переведены изъ него на Нѣмецкой и Французской, и помѣщены въ журналахъ, издаваемыхъ на сихъ языкахъ.—Любопытныя

желали знать, кто сочинялъ нѣкоторыя піесы въ *Вѣстникѣ*?... Бромъ... все остальное въ прозѣ писано издателемъ. Удовольствіе читателей казалось мнѣ важнѣе авторскаго хвастовства — и для того я не подписывалъ своего имени подъ сочиненіями.»

«Милость нашего Императора доставляетъ мнѣ способъ отнынѣ совершенно посвятить себя дѣлу важному, и безъ сомнѣнія трудному: время покажетъ, могъ ли я безъ дерзости на то отважиться.»

«Между тѣмъ съ сожалѣніемъ удаляюсь отъ публики, которая обязывала меня своимъ лестнымъ вниманіемъ и благорасположеніемъ. Одна мысль утѣшаетъ меня: та, что я долговременною работою могу, (если имѣю какой нибудь талантъ), оправдать доброе мнѣніе согражданъ о моемъ усердіи къ славіи отечества и благодѣяніе великодушнаго Монарха».

Какому же дѣлу Карамзинъ намѣревался посвятить себя?
Русской Исторіи.

Въ Имянномъ Его Императорскаго Величества указѣ, данномъ кабинету, отъ 31 октября, 1803 года, сказано: какъ извѣстный писатель, Московскаго Университета почетный членъ, Николай Карамзинъ, изъявилъ намъ желаніе посвятить труды свои сочиненію полной Исторіи отечества нашего, то мы, желая ободрить его въ толь похвальномъ предпріятіи, Всемилостивѣйше повелѣваемъ производить ему, въ качествѣ Исторіографа, по двѣ тысячи рублей ежегоднаго пенсіона, изъ кабинета нашего.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	стр.
ГЛАВА I. (1766—1789). —Происхождение.—Дѣтство.—Нѣмецкій учитель.—Воспитаніе.—Любовь къ чтенію.—Романы.—Пансіонъ Москов. Профессора Шадена.—Занятія.—Вступленіе въ военную службу.—Знакомство съ И. И. Дмитріевымъ.—Первые литературные опыты.—Оставленіе службы.—Жизнь въ Симбирскѣ. И. П. Тургеневъ.—Отъѣздъ съ ничѣ въ Москву, вступленіе въ кругъ Новиковскаго Дружескаго общества.—А. А. Петровъ.—Его вліяніе.—Московскія занятія.—Участіе въ Дѣтскомъ чтеніи.—Переводы, изданія.—Знакомства.—Семейство Плещеевыхъ.—Переписка съ И. И. Дмитріевымъ.—Оставленіе Дружескаго общества.—Намѣреніе путешествовать.—Первое письмо съ дороги	1
ГЛАВА II. (1789—179) .—Путешествіе.—Посѣщеніе Канта въ Кенигсбергѣ.—Берлинъ.—Разговоръ съ Николаемъ.—Мысли о критикѣ, о театрѣ.—Потсдамская церковь.—О переводахъ Гамлера.—Разговоръ съ Морицомъ.—Внезапный отъѣздъ.—Дрезденская галлерія.—Окрестности.—Разговоръ о безсмертіи души.—Воспоминаніе о Геллертѣ.—Свиданіе съ Платнеромъ, Вейссе.—Бесѣда съ Герднеромъ.—Знакомство съ Виландомъ.—Впечатлѣнія Швейцаріи.—Бесѣда съ Зафатеромъ и прочими Цюрихскими учеными.—Воспоминаніе о Геснерѣ.—Оберландъ.—Благоговѣнное настроеніе.—О Руссо.—Доброе дѣло.—Пребываніе въ Женевѣ.—Прогулка въ Ферней.—О Вольтерѣ.—Размышленія.—Богъвън.—Знакомство съ Боннетомъ.—Отъѣздъ.—Свиданіе съ Маттисономъ въ Лювъ.—Представленіе Карла IX, Шенье.—Мысли о французской трагедіи и о Шекспирѣ.—Мысли о совершенствованіи рода человѣческаго.—Восторгъ предъ Парижемъ.—Характеристика Французовъ.—Мысли о революціи.—Парижская жизнь. Спектакли.—Концерты.—Лебрюнова Магдалина.—Знакомство съ Бартеlemi.—Девятый вѣкъ.—Мысли о русской исторіи и о преобразованіяхъ Петра I.—О Декартѣ.—Мнѣніе о Французахъ и похвала имъ.—Прощаніе съ Парижемъ.—О Беккерѣ.—Припадокъ грусти.—Впечатлѣніе Лондона.—О роскоши.—Генделева ораторія.—Ниттъ.—Размышленія о жизни.—Англійская семейная жизнь, въ противоположность съ нашею.—О женщинахъ и мужчинахъ.—Англійскія свойства.—Возвращеніе въ отечество.—Заключеніе.	74
ГЛАВА III. (1791—1796). —Возвращеніе въ Петербургъ.—Знакомство съ Державиннымъ.—Планы.—Объявленіе о Москов. Журналѣ.—Взглядъ на изданіе.—Первая книжка.—Новые стихотворные размѣры.—Отзывъ Державина.—Объявленіе на 1792 г.—Огорченія.—Разлука съ Петровымъ.—Отрывки изъ писемъ къ Дмитріеву.—Обозрѣніе М. Ж. въ 1792 г.—Гроза надъ Новиковымъ и его обществомъ.—Ода къ милости.—Бѣдная Лиза.—Наталя, боярская дочь, и проч.—Прекращеніе Журнала.—Догадки о причинахъ.—Кончина Петрова.—Письма къ Дмитріеву.—Изданіе Аглаи, кн. I. (Что нужно автору. Нѣчто о наукахъ, остр. Борнгольмъ); кн. 2 Переписка Филарета и Мелодора, Аонская жизнь, Илья Муромецъ).—Участіе въ Моск. вѣдомостяхъ 1793.—Каразинъ оставляетъ литературу.—Успѣхи въ большомъ свѣтѣ.—Письма.—Кончина И. Екатерины	168

II

ГЛАВА IV. (1707—1801).—Восшествіе на престолъ И. Павла.—Надежды.—Ода по случаю присяги.—Происшествіе съ Дмитриевымъ.—Изданія прежнихъ сочиненій.—2 книжка Аонидъ съ предисловіемъ о сущности поэзи.—Разговоръ о счастіи.—Нѣсколько словъ о Русск. литературѣ для Гамб. журнала.—Отрывокъ о любви.—Намѣреніе написать романъ: Картина жизни, похвальные слова Петру I и Ломоносову.—Паптеонъ иностранной словесности.—Жалобы на цензуру.—Намѣреніе оставить литературу.—Доносы.—Обозрѣніе изданій 1791—1799.—Отрывки изъ писемъ къ Дмитріеву и брату о домашнихъ дѣлахъ и обстоятельствахъ.—Изъ записной книжки.—Отзывъ Каменева. 362

ГЛАВА V. (1801—1803).—Восшествіе на престолъ И. Александра I.—Назидательныя двѣ оды.—Первая женитьба.—Письма къ брату В. М. и Дмитріеву.—Истор. похвальное слово И. Екатерины.—Примѣчательныя мѣста.—Вѣстникъ Европы и его цѣль.—Отличіе отъ М. Ж.—Мысли о свободности, объ отечественномъ языкѣ, о модѣ, о пользѣ авторства, о благихъ слѣдствіяхъ просвѣщенія.—Крестьянскій вопросъ.—Политическія статьи.—О кругосвѣтномъ путешествіи.—Объ уединеніи.—Грамматическія изслѣдованія.—Историческія статьи.—Семейныя обстоятельства въ 1802 г.—Кочыня первой жены.—Обозрѣніе литературной дѣятельности.—Послѣдователи и подражатели.—Противники.—Заключеніе Вѣстника Европы.—Назначеніе исторіографомъ 318